Новый Журнал

198-199

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 редактор Роман Гуль
1981-1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Е. Магеровский
1984-1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 Редакционная коллегия
1990-1994 редактор Юрий Кашкаров

пятьдесят четвертый год издания

(март-июнь 1995)

Кн. 198-199 **НЬЮ-ЙОРК** 1996

Редактор Вадим Крейд

Редакционная коллегия:
Сергей Голлербах
Марк Раев
Всеволод Сечкарев
Игорь Чиннов
Зоя Юрьева

Секретарь редакции
Александр А. Пушкин

Обложка работы Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW
MARCH-JUNE 1995
©1996 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

Просим издательства, редакции газет и журналов СНГ всякий раз ставить нас в известность о намерении перепечатать произведения, когда-либо помещенные на страницах "Нового Журнала"
Редакционная коллегия

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Дрейцер — Госпожа. Рассказ 5
И. Муравьева — Филимон и Бавкида. Рассказ 21
А. Антонович — Снега в новом году. Рассказ 48
Н. Мальцева, Д. Бобышев, Г. Барабтарло — Стихи 64
Н. Сарафанников — Три осенних эскиза. Рассказы 72
В. Яновский — Ересь нашего времени. Роман 91
В. Синкевич, И. Близнецова, А. Грицман — Стихи 168
Д. Бобышев — Эстетическая формула Иннокентия Анненского 178
Б. Дижур, Р. Левинзон, В. Гандельсман — Стихи 187

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Письма *Г. В. Адамовича* И. В. Чиннову 194
И. Грэм — Артур Сергеевич Лурье 211
А. Бахрах — По памяти, по записям... III (окончание). Публикация *Г. Поляка* 227
А. Даманская — На экране моей памяти. Публикация *О. Демидовой* 273
Письма *К. Д. Бальмонта* А. Ранниту. Публикация *Ж. Шерона* 316
П. Шибанов — Севастопольский эпизод. (Полвека со старой книгой). Публикация *А. Богословского* 323
гр. А. Комаровский — Воспоминания 348
А. Нилин — Переделкино. Зимняя дача 381

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

М. Раев — Реформы в истории России 400
М. Поповский — Вера, церковь и моя профессия 408
Л. Юниверг — Эрих Голлербах как издатель и библиофил 422
К. Андроникашвили-Пильняк — Загадочная история дневников провинциала 431
А. Либерман — Волшебная сказка и строгий расчет 443

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Голлербах — А. Русакова. Символизм в русской живописи; *С. Голлербах* — Алэн Герра. Прогулки по русской Ницце; *Л. Ратникова* — Новая антология русских поэтов-эмигрантов; *В. Дмитриев* — Встречи. Альманах-ежегодник 1995; *В. Дмитриев* — Helen Yakobson. Crossing Borders 450

Эмиль Дрейцер

Госпожа

Рассказ

Когда пассажиры вышли из автобуса, водитель, средних лет мужчина в кепке и рыжей кожаной куртке, уже было тронул с места, как увидел в зеркале над головой, что в салоне, в предпоследнем ряду, замешкалась пассажирка в бежевом плаще. Прислонив голову к оконному стеклу, она, казалось, задремала от дорожной скуки. Водитель крикнул: "Кончай спать, мамаша! Шереметьево!"

Вера Васильевна прилетела в Москву четыре дня назад — утренним рейсом из Нью-Йорка. "Боинг" шел на посадку. Прижавшись щекой к стеклу иллюминатора, она в нетерпении вглядывалась в медленно поворачивающуюся под крылом землю. Там, внизу, было пасмурно — шли последние дни сентября. Много лет работая агентом бюро путешествий, она и сама летала не раз. Всегда удивлялась, что вот неважно, как долго висишь в небе, но стоит самолетным шасси коснуться посадочной полосы, мигом спадает напряжение, и чувствуешь себя пассажиркой обыкновенного городского автобуса — как будто и не было многих часов парения над землей...

Но сейчас было не до этих пустяшных ощущений. Вера Васильевна была вся объята тревожной радостью. Никак не могла осознать, что наконец-то ЭТО наступило. Мимо пронеслись, подпрыгивая, склады аэропорта. От одного его имени стесняло дыхание. "Ше-ре-ме", "ше-ре-ма", "ше-ре-мо" — казалось, бормотали древнерусские колдуны. Дальше следовал воробьиный звук "тье" и возглас восхищения "во!"

Стоя в зале ожидания у транспортера, по которому дол-

жен был появиться из занавешенного резиновыми лентами багажного отделения чемодан, Вера Васильевна краем глаза поглядывала на высоких молодых парней, по лицу и одежде русских, прислушивалась к их речи. Как чудесно она звучала! Казалось, это был не людской говор, а птичий пересвист. "Пи...уть, чи...воть, ...аять..." — только и доносилось до нее. Все другие, не способные к перелету звуки, оставались под носами молодых людей, никуда не улетали, только вот эти "у-ють" и "а-ять" она и слышала. Какая это была несказанная музыка, от которой запрыгало в ее груди уже немолодое, больное сердце!

Она не забыла родной язык. В церкви Сант-Лоуренса служба шла на английском, но Вера Васильевна слушала, как переговариваются друг с другом вполголоса пожилые русские прихожане. Не было в их голосах той певучести, что была у этих молодых парней! Мелодия русской речи и дала ей первое незримое подтверждение — она на родине. Даже не верилось, что это оказалось таким несложным делом. От Нью-Йорка всего восемь часов лета... А ведь доводилось забираться куда дальше! В Токио, в Буэнос-Айрес. То были длинные перелеты, такие, что совершенно выматывали, когда поташнивало даже от одного взгляда на целлофановые пакеты с самолетной едой. А тут задремать не успела — а вот стоит уже на русской земле. "Господи, — думала она с нахлынувшим жаром сердца, — отчего я так долго тянула! Уже давно можно было отложить все дела в сторону и поехать". Все как-то не получалось...

В таможне была длинная очередь. Оглядываясь по сторонам, Вера Васильевна увидела русских парня и девушку в киоске беспошлинной торговли неподалеку. Она решила, что обязательно заговорит с ними. Хотя они были для нее просто старавшимися выглядеть повзрослее и посолиднее детьми, сердце ее забилось часто, как давно уже не билось в ее американской жизни.

Ей не терпелось поскорее пройти голубые пограничные дверцы, наподобие тех, что прикрывают входы в провинциальные американские салуны. Хотелось, выйдя наружу,

первым делом, оглядевшись, не смотрит ли кто, погрузить свои негнущиеся, узловатые от артрита пальцы прямо в грунт, рядом со стволом какого-нибудь деревца. Не терпелось притронуться к родной, давно оставленной земле.

На небольшом пятачке за широкими дверьми аэропорта деревьев не оказалось. Все торопились на автобус, идущий в Москву. Заняв место у окна, она жадно всматривалась в проплывавшие мимо угрюмые огромные дома и зябкие домишки, в редких прохожих на улицах. Начал накрапывать дождь. Приблизилась спина мужчины в темно-синем пластиковом плаще. Порванный в проймах плащ был явно мал ему. Мужчина шел, втянув голову в плечи, держа над головой, дном кверху, пустое цинковое ведро, новое, видимо, только что купленное. Автобус поравнялся с ним, и она заметила желваки на щеках, несколько покрасневший от стылого воздуха кончик носа.

Вера Васильевна обратила внимание, что за мужчиной, несколько сбоку от него, трусила собака, рыжая, с большим белым пятном вокруг левого уха, с виновато опущенным хвостом — обыкновенная дворняжка, каких она видела в разных странах, но ей она показалась удивительно близкой, как будто ее собственной, домашней. В приливе нежности она почувствовала, что даже понимает душевное состояние животного: в чем-то, видимо, провинилась перед хозяином и теперь бежит за ним в слабой надежде, что тот простит. Время от времени рыжехвостая боязливо оглядывалась на бегу, словно проверяла, не видят ли другие собаки ее позор. Все ее трусящее рядом с хозяином тело как бы говорило: "Ничего не поделаешь, сестрицы, голод — не тетка, еще не на такое унижение приходится идти ради куска". Вера Васильевна улыбнулась собаке, помахала ей кончиками пальцев и перевела взгляд на молодую женщину в длинном и широком, глубоко запахнутом, старом, похожем на мужское, пальто из черного габардина. Дожидаясь, пока автобус пройдет мимо и можно будет пересечь улицу, она цепко держала в своей руке руку бледнолицей девочки лет восьми. Видимо, она ухватила дочкину ладонь в последнюю минуту:

в той же руке у нее болталась холщевая сумка, из которой торчал батон серого хлеба. И женщина, и девочка в простой своей каждодневной озабоченности показались Вере Васильевне такими дорогими: "Милые вы мои", — мысленно проговорила она.

Удивляясь наплыву собственных чувств, она в то же время находила их вполне уместными. "Родина ведь! — сказала она сама себе. — Сколько лет прошло!" Было все — замужество, дочь, другие страны, а вот теперь казалось, что главное в ее жизни осталось здесь, на этой земле, в небольшом районном центре близ Запорожья, в доме, где прошло ее детство, где жила с отцом и матерью много лет назад. Это было давно и в то же время совсем недавно — во вчерашнем сне. Был маленький сад с тремя грушами, вишней и кустами жасмина, обнесенный бледно-зеленым, выцветшим на солнце забором: батя все обещался перекрасить. В жаркие дни на острия деревянных планок садились божьи коровки и, потоптавшись, приподнимали жесткие спинные капоты, выпрастывали нежные желудевого цвета крылья и снимались вверх.

В такие дни она выходила в легком цветастом платье за калитку, огибала стоящий на пригорке родительский дом. За ним всегда было ветрено. Ветер приносил с полей запах полыни, от которого потом болела голова. Ветер был сильный, облеплял платье, держал в нежных объятиях, и ей казалось, что она летит в дальние-предальние страны, куда обычно устремляются не люди, а птицы по осени.

С чего началось ее расставание с родиной? Она запомнила: с того летнего утра, когда она, двенадцатилетняя девочка, сквозь щели наглухо закрытых ставень разглядела двух немецких солдат с длинношеими, как у давно не кормленных гусей, противотанковыми пулеметами, лихо закинутыми на плечо. Воротники гимнастерок были распахнуты — ни дать ни взять работники возвращаются с поля, с косами и тяпками. Сначала все боялись немцев, ждали, что будет. Но ничего особенного долго не было. Жили как можно тише, выходили наружу только по крайней надоб-

ности — к рынку купить подсолнечного масла или муки. Когда новая жизнь стала привычной, страшила меньше, в одну ночь все переменилось. На заборах появился приказ: всем молодым — на площадь с вещами для отправки в Германию. Мать отпускать не хотела, плакала, нутром чуя, что дочь больше не увидит...

После войны Вера очутилась под Франкфуртом, в лагере для перемещенных лиц. Тогда в общей сумятице и решилась ее судьба. Девчонка со скуластым личиком стала девушкой с длинной русой косой, увидев которую ахнул взрослый мужчина, майор американской армии. Ну, что она понимала, выходя замуж за этого вечно улыбавшегося иностранца! Что мы вообще понимаем, когда лет нам неполных восемнадцать!.. Он увез ее в свой Сант-Лоуренс, в штат Вирджинию. Из худощавого майора превратился в скором времени в толстого полковника. Они с Чаком были, возможно, не самой счастливой парой на земле, но жили в общем-то мирно, как живут многие супруги, постепенно забывшие молодую страсть, их сведшую. Чак умер неожиданно — утром, за завтраком, от удара.

Она потом долго пыталась понять, как получилось, что дочь не стала близким человеком. И поняла так: не дали. Муж был "восп" (белой расы англосаксонский протестант) и очень своим "воспяным" происхождением гордился. Все не упускал возможности упомянуть, что его предки высадились на американском континенте чуть не с первым европейским кораблем. Дочку посылал то и дело к теткам, двум бледно-ржавым, сухим и тощим "воблам", как Вера про себя их называла — каждый праздник, а то и без праздника, просто так, пожить. Своих детей у них не было, вот они племянницей и забавлялись. Да и дочь получилась "воспяная", их породы. Худая, бледнолицая, с веснушками по всему телу. Чуть подросла — тетки настояли отдать в пансионат для девиц из хороших семей. Только на каникулы Вера с ней и виделась, но и тут тетки нет-нет да и налетали в своих огромных, как тарантасы, автомобилях с откидным верхом и укатывали дочь к себе. Чего говорить, упустила родное дитя!

Хелен выросла чужой. Вышла замуж — устроили те же тетки — за мальчишку опять-таки из своих — из "воспяной" состоятельной семьи. С матерью встречалась по "аппойнтментам", назначенным и оговоренным заранее часам — от и до. Вера Васильевна сначала недоумевала по поводу такой холодности — надо же, с родной матерью видеться по расписанию! — но потом поняла: дочь стеснялась ее старомодности. Хоть Вера Васильевна приехала в Америку совсем молодой, светского лоска и манер не обрела. Когда бы она ни приезжала, Хелен никого в гости больше не звала — ни своих новых подруг, ни приятелей мужа — адвокатов. Впрочем, по поводу последних Вера Васильевна ничуть не сокрушалась: скучнее этой породы людей она не встречала.

Приблизился и замер рядом с ней свежеокрашенный, цвета спичечной серы, киоск у станции метро. Вера Васильевна получила жетон из зеленоватой полупрозрачной пластмассы, подивилась ему — напомнил леденец ее детства, — но автомат сработал, пропустив к эскалатору, потянувшему ее с чемоданом вниз, в утробу Москвы.

До поезда в Запорожье оставалось несколько часов. Она вышла на одной из станций: хотелось посмотреть Москву. Ступив на уличный тротуар, она подождала, пока успокоится перекатывающееся внутри тяжелым шаром сердце: прямо перед ней прогромыхал вынырнувший, казалось, прямо из детства, из воскресных поездок в Запорожье, пожарно-красный трамвай. За годы вне родины только раз у нее так же потянуло книзу сердце: когда увидела ползущий в гору с сухим треском кабельный вагон в Сан-Франциско, куда прилетела с Чаком на свадьбу к его двоюродному брату...

Увлекая за собой свой темно-вишневый чемодан фирмы "Самсонит" на роликах, Вера Васильевна не спеша побрела вдоль улицы, поражаясь ее ширине. "А почему бы и нет!" — радостно сказала она себе. Ее родина — огромная, земли много. Надо улицу провести — не скупись, отмеривай сколько хочешь. В этом тоже было родное, русское — широта и нерасчетливость. Как обрыдла ей за много лет англо-саксонская бережливость мужа и его сестер! У Чака

была хорошая военная пенсия, но так уж было заведено посидеть, помечтать, побродить по улицам Сант-Лоуренса, дать душе потомиться было грехом, а непрестанное копошение вокруг их дома — скосить ли траву под бобрик, перекрасить ли стену гаража, до дурного блеска наващивать капот и колесные колпаки их "Кадиллака" — все несрочные дела, но работа, неважно какой малости, постоянное занятие для рук, с утра до вечера, были непременным правилом, почитались добродетелью...

Вера Васильевна шла и радовалась не нежданной, а давно припасенной радостью. Сколько лет об этом мечтала: походить по московским улицам! Одно было неприятно, хотя она и гнала от себя это чувство: уж очень неряшливо и не прибрано было вокруг. То там, то здесь валялись на тротуаре то разбитые винные ящики, то куски картонных сигаретных коробок. Куда бы Вера Васильевна ни посмотрела, слоилась пыль, которую начали прибивать капли моросящего дождя — на мостовых, на тротуарах, в подъездах домов, даже на подоконных козырьках. Пыли было так много, что ясно было: ее нанесло ветром не вчера. Она была устоенная, плотно сбитая, изрядно перемешавшаяся с городским мусором — окурками, трамвайными билетами, обрывками газет. "Почему не убирают?" — досадовала Вера молча и в то же время стыдилась своего чувства: родина ведь, ей надо прощать. Хотелось увидеть родную землю краше, чем она ее застала. Она испытала ту неловкость, когда ненароком попадаешь в комнату любимого человека в тот момент, когда он еще не отошел от сна, сидит на постели с бессмысленным помятым лицом и даже говорить не может, вместо приветствия мычит...

Вера Васильевна не интересовалась политикой, но читала все, что писали в американских газетах о России. Знала, что начались хорошие перемены. Она так долго не отваживалась на визит и только несколько месяцев назад узнала, что ей, бывшему "перемещенному лицу", давно можно было без опаски приехать сюда. Вера Васильевна была благодарна такой возможности, полна добрых чувств, простила родной

стране все, даже незаслуженную многолетнюю враждебность к людям ее судьбы. Время в России сейчас такое, говорила она себе: вся государственная машина затарахтела, как будто какая-то самая главная гайка свинтилась и попала в зубчатку, вот-вот всю машину раскрошит. Ну, ничего, пошлет Бог — все наладится...

Она очутилась на каком-то проспекте, в центре Москвы. Вдоль тротуара вытянулись в ряд стеклянные киоски, расцвеченные флажками неправдоподобно ярких, химических — алых и фиолетовых — колеров. Очевидно, объявили ярмарку. В киосках продавали пластиковые сумочки и сувениры, ужасно сделанные, без всякого вкуса. К стойке с едой подошла юная пара — худая девушка в легком, не по погоде, платье и юноша со слабым пушком на верхней губе и маленьким островком такого же пуха на подбородке. Они долго пересчитывали зажатые в ладони девушки мятые купюры. Набралось на два пирожка и бутылку фруктовой воды, в которой плавала подозрительная взвесь. Парочку это, видимо, не смутило. Получив пирожки, они отошли к одному из столов, который вытирала для них влажной темно-серой тряпкой пожилая женщина с суровым лицом. Молодые люди стали жадно есть, осторожно, чтобы не потревожить осадок, запивая водой из бутылки. Их пальцы быстро промаслились, но бумага на столах была грубая, вощеная, ею ничего не вытрешь. Вера Васильевна ощутила невольную досаду. Она слышала, что в России не хватает бумаги, знала, что ее родина — бедная, но ее поражала какая-то непонятная бесшабашность, непродуманность бедности. Вере Васильевне тоже хотелось есть, но ничего, кроме жирных пирожков и съежившихся, подозрительного бурого цвета котлет в киосках не было. Ни того, ни другого она есть не стала.

— Скажите, пожалуйста, — набравшись духу, сказала она суровой уборщице, — как добраться до Киевского вокзала?

Она обрадовалась, что та ее сразу поняла, приняла за свою, и глухим голосом, не отрываясь от протирки столов, объяснила, как проехать.

Вера Васильевна намеревалась побывать в Запорожье не-

смотря на то, что за годы писания в Красный Крест и в местные загсы, так и не смогла найти никого из родни. Ни тетю, мамину сестру, ни даже соседок. Война разметала всех, ни одной веточки их семейного дерева нигде не осталось. Но Веру Васильевну безудержно тянуло взглянуть на бывшее свое жилище, на последнюю лунку в земле, из которой жуткой войной был вырван ее корешок.

Поезд в Запорожье отошел на двадцать минут позже назначенного. Носком туфли она вытолкала комки газет на полу ее купе в коридор. Ей досталась верхняя полка. На нижней сидел парень со свесившимися на глаза волосами. У него было пустое, без всякого выражения лицо. Вера Васильевна догадалась, что он был пьян. Пахло спитым чаем, стылым табачным дымом и потом. В купе ввалился проводник, худой высокий старик, бросил на матрац комплект постельного белья и, не повернув головы, ушел в свое купе. Вера Васильевна почувствовала, что изнемогает от усталости и после того, как проводник снова с грохотом откатил дверь купе, внося два стакана чая в одной руке и горку миниатюрных кирпичиков сахара в другой, она, собрав последние силы, взобралась на полку и вскоре заснула.

К Запорожью подъехали бледно-серым утром. Отряхиваясь от ночного сна, поеживаясь от утренней прохлады, Вера Васильевна с трудом отыскала в зале ожидания справочное. Надо было узнать, как проехать к бывшему дому. Уже перед самой войной отец получил работу в городе, слесарем на металлургическом комбинате. Они перебрались в пригород Запорожья, жили в комнате с окном, выходящим во двор небольшого дома на улице Гарибальди. В справочном после бесконечного ожидания, когда работница в сером пиджаке с огромными плечами, с непомерно оттененными тушью веками глаз, кричала в трубку: "Ты почему в школу не пошел, горе ты мое!", Вере Васильевне объяснили, что дом, в котором она когда-то жила, — давно внутри городской черты, до него можно добраться на автобусе.

Выйдя на привокзальную площадь, Вера Васильевна окинула взглядом прилегающие улицы. Город показался ей пу-

стым и вымороченным. Пахло застарелой гарью. Немногие прохожие шли по улицам грустные, угрюмые, будто подавленные какой-то тайной тоской. Их лица были неприветливыми и озабоченными. Неулыбчивыми были даже дети — и малыши, и подростки. Видимо, им тоже передавалась общая беда. Когда автобус, наконец, подкатил, она села в него не без опаски: светлый плащ было трудно уберечь от грязи. Автобус походил на облитого водой из дворницкой кишки и вывалявшегося в пыли щенка.

Поднимаясь по ступенькам в салон, она неприятно поразилась, что ее несколько раз толкнули в спину. Она в удивлении оглянулась на толкавших, но по их лицам, сосредоточенным и безучастным, увидела, что никто из них не заметил, что произошло что-либо особенное. Автобус рванул с места, несколько пассажиров повалились друг на дружку, но никто не высказал неудовольствия.

Теперь, стоя в проходе лицом к лицу с другими пассажирами, Вера Васильевна видела их совсем близко и, несмотря на их сумрачность, находила, как и в Москве, родными и милыми. Она почувствовала, что к ним обращается что-то неизрасходованное в ее душе — то ли желание кого-то пожалеть, то ли материнская нежность, не выплеснувшаяся в полной мере на Хелен. Синева под глазами у детей! "Авитаминоз, что ли", — подумала Вера Васильевна, и у нее защемило сердце. Несмотря на осень, овощей в магазинах, видимо, не хватало. В сумках везли все ту же, что и в Москве, полусгнившую картошку и такую же, в темно-желтых кружевах, капусту прошедшего лета.

С трудом, приставляя к глазам очки, тыкаясь в записку и расспрашивая встречных, где улица Гарибальди, Вера Васильевна нашла дом под номером три дробь четыре.

Она нерешительно вошла во двор и остановилась. Каким маленьким он стал! Будто не сговариваясь, сползлись навстречу друг другу щербатые стены желтовато-серых флигельков. Стекла окон то здесь, то там были выбиты, вместо них желтели фанерные заплаты. Казалось, уставились на нее со всех сторон скучающим хмурым взором одноглазые

великаны. Она узнавала этот двор — так много раз видела его в своей памяти и в своих снах! — и в то же время не узнавала. В глубине двора стоял насквозь проржавленный остов того, что некогда было небольшим автомобилем. На нем не было ни колес, ни руля, ни дверных ручек — вообще ничего, что можно отвинтить или оторвать.

Звякнула болтавшимся замком, вытянутым наружу, покосившаяся с облупившейся темно-бурой краской дверь парадного. На порог, щурясь от света, выступил и в нерешительности остановился мальчик лет девяти с костлявым лицом, в темно-серой клеенчатой шапке. Он посмотрел на Веру Васильевну:

— Тетень, кого ищете, что ль?

Она молчала, не в силах ничего сказать. Мальчик, видимо, догадался по ее светлому плащу с застежками на плечах марки "Лондонский туман", зачем она здесь.

— Хотите скажу, где кто? — сказал он, не сходя с порога, из стеснительности, видимо, не решаясь приблизиться.

Он стал тыкать немытым пальцем в сторону окон первого этажа:

— Вот эти померли. Тут — в Норильск уехали. Эти — в Казахстан. А вот здесь старушка одна жила-жила, а весной ее на кладбище повезли.

Вера Васильевна вспомнила, что слева, у входа во двор, в подвале жила в семье дворника Григоренко девочка Майя, с которой она дружила. Теперь подвала не было. Его засыпали землей. Это почему-то Веру Васильевну особенно удручило. Как же так! Жили люди, работали, смеялись, иногда дрались и пели, а теперь никого нет, только прямоугольник утоптанной земли и остался. Ей казалось, что и этот город, и всю страну медленно засыпает пыль — того и гляди, ее родина станет ископаемым, и много веков спустя, быть может, начнут археологические изыскания и невзначай обнаружат ее... Веру Васильевну охватила тоска, и она покинула двор с тяжелым сердцем. Так снится сон, ты знаешь, что он, быть может, самый важный в твоей жизни, но просыпаешься и вспомнить ничего не можешь. Сон ушел, всосался, как

морская приливная волна в прибрежный песок; только и следов, что легкая, исчезающая на глазах пена...

Вера Васильевна заторопилась на вокзал, к вечернему поезду. Он оказался почтовым, неторопливым, шел около суток, останавливался часто и подолгу. Она выходила поеживаясь на перрон и смотрела на старых женщин в блеклых, много раз стиранных, головных платках. В щербатых мисках, а порой просто в руках, они протягивали пассажирам червивые груши-падалки, съежившиеся грибы, мелкие, словно голубиные, яйца и сморщенные яблочки. Как будто навсегда отощала, вот-вот перестанет и вовсе родить русская земля! Из репродуктора в вагоне гремела казавшаяся совсем некстати музыка — резкая, разухабная, некрасивая, как будто ревела дурным голосом, стараясь во что бы то ни стало саму себя развеселить, деревенская пьяная баба...

Прибыв в Москву, Вера Васильевна села у вокзала в забрызганное грязью пегое такси и поехала в гостиницу на одной из центральных площадей, где у нее был заказан номер. В Сант-Лоуренсе, когда покупала билет в Москву, коллега-агентша посоветовала ей говорить в России только по-английски, чтоб "получить лучший сервис". Тогда Вера Васильевна упрямо замотала головой — оскорбилась за свой народ, за напраслину и поклялась себе, что ни за что никому не скажет на родине, что из Америки, будет для всех своей, домашней душой. Подойдя к окошку администратора в цент-ре вестибюля и увидев в нем женщину в темно-синем бушлате с двумя оторванными пуговицами, Вера Васильевна улыбнулась ей и сказала:

— Пожалуйста, мне комнату. С душем. Я заказывала.

Женщина, не повернув головы, продолжала смотреть куда-то вниз, под стол, грызя мелкими зубами яблоко.

Вера Васильевна подождала немного, хотя понимала, что администраторша не могла ее не заметить. Чувствуя, что краснеет от унижения, она осторожно постучала в стекло согнутым пальцем.

Не отрывая яблока ото рта, женщина за стеклом буркнула:

— Читать надо, прежде чем в окошко суваться!

— Простите, — сказала Вера. "Боже, почему она так со мной разговаривает! Я ведь ничего дурного ей не сделала". Ей стало стыдно за эту женщину, потом — за себя, за свою глупую наивность... "Неужели и впрямь все дело в том, что я — своя? Но к своим должно быть больше нежности!"

Вера Васильевна отступила на шаг от окна, поискала глазами объявление, но не увидела его. Опасаясь нового взрыва недовольства (администраторша теперь крутила ложечкой в стакане мутного чая), осторожно сказала:

— Простите, а где написано?

— Слепая, что ль? — рявкнула администраторша и ткнула пальцем в клочок линованной бумаги, прилепленный в левом углу окошка.

Вера Васильевна достала из сумки очки и с трудом разобрала корявую надпись синим карандашом: "Мест нет".

— Но у меня тут заказано, — сказала она. — Посмотрите на Каткову...

Она сохранила девичью фамилию, после смерти мужа переписала на нее все документы. Последнее дело, всегда считала она, забыть, какого ты роду-племени...

— Нет у меня никакой брони, — сказала администраторша и презрительно шмыгнула носом. — Нечего меня на понта брать, — добавила она и тыльной стороной ладони провела по губам.

Хотя Вера Васильевна не поняла, что такое "броня" и что значит "брать на понта", ее целиком, как пламя сухую ветку, охватил пронизавший ее насквозь стыд. Почему эта женщина так с ней обходится? Откуда эта неприязнь и ненависть? Заныло сердце, сдавило грудь, и Вера Васильевна оглянулась, ища глазами окно. Хватая ртом воздух, она доплелась до него и опустилась в одинокое скрипнувшее под ней кресло с полустертым суконным, когда-то бордовым сидением. Она сидела без мыслей, сосредоточившись на боли, прикрыв ладонью глаза, не зная, что делать. Ждала, когда боль отпустит, и не заметила, как из глаз сами собой потекли слезы. Очнулась она только тогда, когда кто-то

потормошил ее осторожно, потянув за рукав плаща. Она подняла лицо и в первую минуту подумала, что над ней склонилась мама: то же доброе и участливое лицо в белом головном платке.

— Пойдемте ко мне, — сказала женщина. — У меня есть раскладушка...

Женщина оказалась гостиничной кастеляншей. Она повезла Веру Васильевну с чемоданом на автобусе, которого пришлось долго ждать, ежась от ветра и начинающегося дождя, на окраину Москвы. Сердце по-прежнему не отпускало. В комнате кастелянши, в правом углу, у окна, в том самом месте, где в доме вериных родителей потускневшим золотом мерцала икона, громоздился на тумбочке телевизор. На нем тянула кверху руки фаянсовая фигурка балерины, придерживающая накинутую на экран ярко раскрашенную — желтую с зеленым — шелковистую косынку с какой-то пронзительной блондинкой с мушкой над верхней губой и вызывающе-игривой ужимкой. Вере Васильевне показалось, что пахло свежезамешенным тестом — и она опять вспомнила маму, утреннюю, еще сонную, в длинной ночной рубахе, раскатывающую тесто для лапши. Потянув еще раз носом воздух, поняла, что ошиблась. Пахло тем же, чем и от самой хозяйки квартиры — заварным крахмалом.

Прежде чем уложить Веру Васильевну на алюминивый шезлонг, хлипкий, но вполне удобный, если лежать в нем не ворочаясь, кастелянша напоила гостью чаем с конфетами подозрительного вкуса — не то залежалый ирис, не то какой-то шоколадный заменитель из сои. Поговорили о том о сем, о новых временах, об Америке... Но Вере Васильевне было не до разговоров. Она почувствовала усталость, да такую, какой давно не помнила, и тихо, ничком легла на постель. Боль под лопаткой усилилась, стало жарко, по лицу потекли капельки пота. Вера Васильевна лежала, боясь глубоко вздохнуть, ожидая, когда приступ пройдет. Слезы вперемешку с потом поползли по лицу, закапали на подушку. Ей стало неудобно, что пачкает белье, и она поду-

мала, что даст кастелянше денег побольше, чтобы та не сердилась на нее.

Ночью ей снился покойный муж. Он явился почему-то в нижнем белье, в русских кальсонах с завязками, что чрезвычайно удивило Веру Васильевну: Чак никогда их не носил. С чего это он? "Боже!" — толкнулось сердце во сне: полковник повернулся, потянулся куда-то кверху и в сторону — и стало у нее в груди тепло. Отчего — сразу не поняла, пока не увидела, что Чак, похудев жутким образом в минуту и став выше ростом, подсел к ней на край раскладушки и был уже вовсе не покойником-мужем, а батей, папанечкой, родненьким. Вот так же, когда девочкой хворала горлом, приходил к ней ночью, садился рядом, курил, подходя каждый раз к форточке и пуская в нее дым, похлопывал осторожно рукой по плечу и бормотал: "Здоровей, здоровей, доня"... А тут наклонился, посмотрел ей в глаза и сказал совсем нежно, как говаривал тогда девчонке:

— Ну как, доня? Как там живется тебе, в Америци?

Она сказать ничего не может, в горле душит нарыв, только хрипит и чувствует сквозь сон ломоту во всем теле. Отец нагнулся к ней и сделал то, что бывало делывал в детстве, когда у нее был жар. Сказал: "Закрой глазы" и, когда она опустила веки, стал осторожно дуть ей в лицо, отчего ей стало прохладно. От него пахло махоркой, но слаще этого запаха и роднее для нее не было. "Что же это! — подумала Вера Васильевна, просыпаясь в ночи, и горько стало. — Как же так! Неужели всю жизнь живи, хоть дочь, хоть муж, хоть подруги, а так вот и нет на поверку никого ближе отца с матерью. Почему такое сиротство в мире, если никогда никто роднее их не становится?" Она понимала, что не потеряй она их в войну, все равно их давно бы уже отняли у нее старость и болезни. "Где же теперь мне место! Ни там, ни здесь... Ветрено в мире, везде ветер, ничто не держится на земле, и нигде нет покойного места".

Ветер вырвался откуда-то из-за угла, подхватил ее и потащил в неизвестную сторону...

Утром она с трудом поднялась, чувствуя непомерную

усталость. Собралась, дала кастелянше денег, сколько та сказала, и еще прибавила. Потом, поглядев на тихое милое лицо кастелянши, сама себе удивляясь, сделала то, чего сама от себя не ожидала — поклонилась ей в ноги. Та ахнула и обняла ее. "Ох, и настрадалась ты, сердешная, на чужбине-то!" — сказала.

Вера Васильевна плелась к автобусу, таща за собой, как молодого бычка за рога, почему-то потяжелевший чемодан — ведь ничего не покупала! Из-под распухших от ночных слез глаз взглядывала на прохожих, родных для нее людей — и чужих. Почувствовала — больше сюда не приедет. Ехать больше некуда. Разве что в Африку, совсем чужую сторону. Некуда больше ехать, некуда. Везде на свете — Африка...

По дороге в аэропорт она чувствовала, что силы ее оставляют. Сердце учащенно билось, но Вера Васильевна не испугалась. При мысли о смерти не было страха, а было, наоборот, спокойно, даже немного радостно. Отпускало внутри при мысли, что, может быть, в первый раз по-настоящему отдохнет от всего — от боли, от тоски и печали, какой была наполнена ее жизнь. И совсем не нужно будет думать, где же у человека дом. Какая должна быть мука умирать для тех, кто жил счастливо!.. Слава Тебе, Господи, в том Твое провидение, спасибо...

Автобус тем временем уже подкатывал к серому, в водяных подтеках зданию аэропорта, на котором мигали бледно-зеленые нитки в отсыревших неоновых трубках — ШЕРЕМЕ... Последние две буквы лишь время от времени вспыхивали, чтобы тут же снова погаснуть.

Водитель потом ругался два дня подряд в диспетчерской, рассказывая, какая это морока, когда кончаются иностранцы — в милицию объяснение пиши, и в КГБ, и ихнее посольство свое расследование ведет. Давно пора плюнуть на Москву — перевестись в область, бабуль на базар подвозить. Крепкие старушки, ни за что не мрут, не то что эти избалованные американки. Нашла где умирать — в автобусе! Не могла до своих Штатов добраться. Одно слово — госпожа.

Ирина Муравьева

Филимон и Бавкида·

ГЛАВА 1

В загородном летнем доме жили Филимон и Бавкида. Солнце просачивалось сквозь плотные занавески и горячими пятнами расползалось по отвисшему во сне бульдожьему подбородку Филимона, его слипшейся морщинистой шее, потом, скользнув влево на соседнюю кровать, находило корявую, сухую руку Бавкиды, вытянутую на шелковом одеяле, освещало ее ногти, жилы, коричневые старческие пятна, ползло вверх, добиралось до открытого рта в черных волосах, усмехалось, тускнело и уходило из этой комнаты, потеряв всякий интерес к спящим. Потом раздавалось кряхтенье. Она просыпалась первой, ладонью вытирала вытекшую струйку слюны, тревожно взглядывала на похрапывающего Филимона, убеждалась, что он не умер, и, быстро сунув в разношенные тапочки затекшие ноги, принималась за жизнь.

Она хлопотала и торопилась, потому что к тому моменту, как он проснется, нужно было приготовить завтрак, сходить за водой, вымыть террасу — грязи она не терпела. Питьевую воду набирали из колодца, а та, которая шла из садовых кранов, считалась недостаточно чистой, поэтому ею только умывались, мыли посуду, стирали. Ночью был сильный дождь, глинистые дорожки скользили. Боясь упасть, она осторожно ступала надетыми на босу ногу резиновыми галошами, перегнувшись на правую сторону, где вспыхивала от ее неловких движений ледяная прозрачная вода в узком и высоком эмалированном ведре.

Филимон и Бавкида — герои одноименной повести Овидия — муж и жена, дожившие до глубокой старости в идиллической любви и согласии.

"Женя! Евгень-Васильна! — дребезжал Филимон. — Который час?" Она приотворяла дверь с террасы: "Да десять уже, Ваня. Вставай. Прошла голова?" "Померяй-ка лучше, — прокашливался Филимон, – а то кто его знает..." "Береженого Бог бережет", — успокаивала она и, присев на краешек постели, охватывала его руку черным резиновым рукавом измерительного аппарата. Оба затаивали дыхание. Бульдожий подбородок Филимона мелко дрожал от слабости. "Ну, вот и хорошо, — облегченно вздыхала она, — Вот и молодец. Сто сорок на восемьдесят. Иди чай пить. Скоро Аленушку привезут".

Три года назад младшая дочь Татьяна родила большое бледное дитя. Татьяна была не замужем, и долго никто не обращал на нее внимания — до того она походила на отца, вся в его бульдожью породу. Но вот, наконец, съездила в туристическую по Венгрии и Чехословакии и вернулась оттуда беременной.

"Он у меня женится, мерзавец! — грохотал Филимон. — А не то в порошок сотру! Полетит из органов, сукин сын! Куда Макар телят... Ишь, распоясылись!"

Но время шло, Татьяна так и жила нерасписанной, таскала свой острый живот на предзащиту, стучала ночами на машинке, пропадала в библиотеке, а за месяц до родов получила-таки кандидатскую степень и место старшего преподавателя в Политехническом институте. Это, наверное, заставило призадуматься работника органов с небольшой ранней лысиной и аккуратным лицом, который, хоть и не женился, но не избегал ее, иногда ронял сквозь каменные губы нерешительные предположения о трехкомнатном совместном кооперативе и на второй день после рождения ребенка принес в роддом кулечек подтаявшей маслянистой клубники.

Девочку назвали Аленушкой, и, чем старше она становилась, тем меньше подходило ей это сказочное длинное имя. Обезумевшая от материнских инстинктов Татьяна раскормила бедную Аленушку до подопытных размеров. В три года она выглядела на шестилетнюю, и вещи ей приходилось покупать в той секции "Детского мира", где было написано "Одежда для младших школьников". С песнями, причитаниями, игруш-

ками, книжками, колотушками усаживали за стол плотно обернутое салфеткой мучнистое, с огромными бантами, создание и заталкивали в упирающийся рот булки с паюсной икрой, куски молодой телячьей печенки, черную смородину, тертую с сахаром, заливали густым морковным соком. Спеленутая салфетками Аленушка пробовала сопротивляться, кричала басом, колотила плотными ножками по высокому детскому стульчику. "А вот летит, летит, летит воробышек, — умоляла Татьяна, — а вот мы его сейчас — ам!! Аленушка, давясь, вырывала съеденное, и тут же ее умывали, переодевали в чистое для младших школьников, дрожащими руками мазали новую икру на новые булки, пронзительной машиной давили бугристую рыночную морковь...

"Вставай, Ваня, — говорила Бавкида. — Сегодня Аленушку привезут".

"Ну? — радостно ужасался Филимон. — На рынок, значит, надо, а, Жень?"

"Сходим, сходим, пока жары нет. Или ты дома оставайся. Я одна".

"Да чего одна? Я с тобой, — дребезжал он. — Э-хе-хе..."

Она следила, чтобы он не забыл принять все свои лекарства, закапывала в его мутные выпуклые глаза заграничные капли, лезла под кровать и, расставив огромные растрескавшиеся пятки, долго шарила там в поисках его закрытых башмаков на микропорке. Вместе шли они на рынок, и так же, как он, она суетливо здоровалась со знакомыми, хвалила хорошую погоду, расспрашивала про здоровье, льстила чужим детям в колясках, и даже посмеивалась так же, как он: "э-хехе, хе-хе..."

Иногда на Филимона находили приступы ярости. Она пугалась их, потому что каждый такой приступ мог кончиться инсультом. Поселковые мальчишки ломали рябину, сидя верхом на чужом заборе. Филимон набухал лиловой кровью и бросался на забор с высоко поднятой палкой, украшенной тяжелым медным набалдашником: "Я вас сейчас! Хулиганье поганое! Убью сволочей!" — хрипел он. Она сзади хватала его за локти: "Пойдем, Ваня! Брось ты их! Ва-а-ня!" Тяжело отдуваясь и дыша со свистом, Филимон продолжал свой путь к

станции, медленно успокаиваясь:"Ну, сволота! Ну, погань! Перестрелять не жалко!" И опять она поддакивала: "Да уж, конечно... Мараться об них... Себя бы поберег!" "Порядка нет, Евгень-Васильна! — грустнел бледно-лиловый от недавнего гнева Филимон. — Потому такое поведение, что ни в чем нет никакого порядка... Распустились..." "Молчи ты, Ваня, — пришептывала она и тут же улыбалась кривой лицемерной улыбкой: "Ты смотри, кого мы встретили! Сколько лет, сколько зим!" "Э-хе-хе, — обмякал Филимон, смешно приседая от косноязычного умиления при виде очередного знакомого с колясочкой. – Вот, значит, кто нас опередил! Нам, поди, и смородины на базаре не оставили? Э-хе-хе..."

После обеда к дачному забору подъезжала ведомственная машина. Нерасписанный зять помогал доставить Аленушку к деду с бабкой. Из машины вылезала худая с тяжелой челюстью и ярко-белыми ломкими волосами Татьяна, изнемогая под тяжестью заснувшей дочери. Они кубарем скатывались с лестницы ей навстречу. "А вот и наши, а вот и наши, — сюсюкал Филимон. — Давай, Женя, на стол накрывай. Вот и приехали. Внученьку дедушке привезли..." Пообедав, уставшая Татьяна в открытом сарафане собирала ягоды или качалась в гамаке с газетой, а они наполняли водой пластмассовую ванночку, выставляли ее на солнце и вдвоем, стукаясь сгорбленными плечами, купали в ней пузатую, перекормленную Аленушку, которая, выпучив голубые глаза в небо, расплескивала мыльную воду своими пухлыми неповоротливыми руками. Вечером Татьяна, подчернив брови и густо намазавшись розовой помадой, торопилась на электричку, а они оставались с Аленушкой. Тогда Филимон начинал читать ей сказки: "Я б для батюшки царя родила богатыря", — бормотал он, сам засыпая и монотонно покачивая детскую кроватку. Аленушка громко икала. "Ай, беда какая, — сокрушался Филимон. — Водички ей, Женя, малиновой водички внученьке..."

Наикавшись и наглотавшись малиновой воды, Аленушка засыпала. Филимон разворачивал газету. Она домывала посуду узловатыми плоскими пальцами. Усталость одолевала ее, и в голову лезли мысли о том, что завтра нужно опять пойти на

базар (забыли купить ревеня — у Филимона нелады с желудком!), перестирать все Аленушкины маевки, вымыть наверху комнату, потому что в пятницу Татьяна может приехать не одна, а с уклончивым нерасписанным зятем, и тут уж надо в лепешку разбиться, но обеспечить им семейный уют, и вкусный обед, и чистое, лосняшееся, сытое до икоты дитя, чтобы у нерешительного мужчины с ранней лысиной и каменными губами появилось твердое ощущение, что вот это и есть его дом, дача, жена и дочь.

"Нет, — хрипел Филимон, грозя куда-то в газету седовласым дрожащим кулаком, — Нет, при хозяине бы такого не было! Перестреляли бы всех к такой-то матери!" Возводил закапанные заграничным раствором мутные глаза на небольшой портрет в траурной рамке. Большеносое, черноусое лицо, снизу подпертое жестким воротником военного френча, ласково и коварно щурилось на Филимона. "Эх-хе-хе, — вздыхал тот, успокаиваясь, — эх-хе-хе, Евгень-Васильна..." И тут же понижал голос: "Женя, я думаю, сообщить бы надо, что еврей этот иностранные газеты достает и читает — это раз, а самое-то главное — "голоса" ловит. С ихнего балкона все слышно. Меня не проведешь! Сообщить бы надо, Евгень-Васильна..." Она насухо вытирала чистым полотенцем растопыренные пальцы: "Себя побереги, Иван Николаич! Ты свое отслужил! Куда теперь сообщать?"

В глубине души ей казалось, что в свое время Филимон допустил промах, слишком рьяно отстаивая ценности комсомольской юности и не соглашаясь на признание каких бы то ни было ошибок известного периода. Его фанатическое упрямство и привело к тому, что сейчас, в старости, у них не было персональной машины с шофером, приходящей прислуги, дачи в Барвихе. Была, правда, однокомнатная квартира в доме на Кутузовском, была хорошая пенсия, ведомственная поликлиника, заказы два раза в месяц. Но у других-то, помельче Филимона, не имевших за спиной долгие годы ответственной работы в ЦК Узбекистана, у других-то было больше! И она жалостливо смотрела на своего честного несгибаемого старика, уткнувшегося в газету под портретом большеносого покойника, и думала, что, конечно, он опять прав: сообщить-

то надо бы, но времена наступили такие, что и не знаешь: куда сообщить? Кому? Как бы не засмеяли...

"Спать ложись, Ваня, — уговаривала она. — Аленушка может ночью проснуться. Не выспимся... Завтра на рынок с утра. У меня обеда нет... Ты с ней на полянке побудешь, пока я управлюсь..." Кряхтя, укладывались на кровати, застеленные одинаковыми шелковыми одеялами. Филимон сразу же начинал посвистывать коротким свирепым носом. Она еще поправляла подушку под Аленушкиной головой, проверяла, выключен ли газ на кухне, закрыта ли на замок входная дверь. Опять ложилась. Луна, просочившись сквозь щель занавески, лизала ее съехавшую набок щеку с черным кустиком длинных волос. Из сада тянуло жасминовой свежестью. Соловей, дождавшись своего часа, разрывался где-то между землею и небом. Под его неутомимый голос она засыпала.

В одну из таких ночей ее разбудило тонкое бормотание, Она в страхе открыла незрячие еще глаза, села на постели. "Убь-ю-ю-ю, ай-я-я-я! У-ю-ю! Кыш! — бормотал тоненьким дробным голосом Филимон, делая странные разрывающие движения слабыми белыми пальцами. — Убью-ю-ю-ю сво-оата-а-а!" "Ваня!" — вскрикнула она и подбежала к нему. Лицо его было ярко-багровым, веки плотно зажмурены. "Иван Николаич!" — не соображая, что делает, она затрясла его за плечо. Багровый Филимон раскрыл бульдожий рот с коротким мясистым языком, который сразу вывалился наружу, как будто его оторвали. Тогда, сунув босые ноги в резиновые калоши, она, как была в байковой ночной рубашке, простоволосая, выбежала на улицу и, задыхаясь, побежала по черной дороге вниз, к сторожке, где был единственный на весь дачный поселок телефон. Через час два санитара заталкивали в машину накрытое белой простыней короткое тело со свистом дышашего Филимона, а она, сжав обеими руками большую отвисшую грудь в байковой ночной рубашке, объясняла им, что не может ехать с мужем в больницу, не с кем оставить внучку. Вернувшись в полную черной серебристой тьмой комнату с открытым в жасминовые заросли окном, она села на развороченную постель, с которой только что унесли багрового старика, и тихо, сдержанно всплакнула. Слезы были

какие-то неосознанные, почти механические: жалко же его. Умрет, не дай Бог. Всю жизнь вместе. Готовые фразы отпечатались в ее голове, словно кто-то написал их жирным шрифтом: Умрет, не дай Бог. Жалко его. Всю жизнь вместе. Аленушка проснулась и басом заплакала. Она, надрываясь, взяла ее на руки: "Нельзя, нельзя плакать. Дедушка заболел. Жалко дедушку". Аленушка икнула оглушительно и затихла. Утром приехала на такси Татьяна, осталась с ребенком, а она помчалась в Кремлевскую больницу, где в паутине трубочек плавился на кровати слегка побледневший Филимон, узнавший ее и с трудом пошевеливший своей заросшей седой шерстью короткой рукой. Посидев с ним полчаса, одернув простыню, обтерев влажным теплым полотенцем его утыканное редкими волосками бульдожье лицо, она с бьющимся сердцем поплелась караулить в коридоре лечащего врача, чтобы услышать от него, что Филимон не безнадежен, инсульта как такового нет, и надо надеяться, что он пойдет на поправку. У нее отлегло от сердца, и весь этот жаркий июль она провела в городе, каждый день таскаясь на троллейбусе сначала на рынок, а потом в больницу, ночами варила ему диетические супы, протирала куриную печенку, не доверяя даже Кремлевке и проборматывая про себя, что домашнее всегда лучше. Как-то раз, сидя у его постели, она вдруг задремала, уронив худую голову с пегим пучком волос на затылке. Во сне ей показалось, что она сидит на каких-то нарах в раскаленном, полном голых женщин бараке, и причесывается. Приснившееся было так нелепо и страшно, что она тут же и проснулась со слабым старушечьим стоном. Перед ней лежал румяный Филимон в красной домашней пижаме и с аппетитом ел толстыми волосатыми пальцами принесенную ею клубнику. Спросонья ей показалось, что он порезался, что пальцы его в крови, и она испугалась. Но почти выздоровевший Филимон вдруг подмигнул ей правым, недавно избавленным от катаракты глазом, и спросил: "А помнишь, Евгень-Васильна, как я за тебя посватался?" Она затрясла головой, засмеялась, прикрыв ладонью заросший черными волосами рот, и сквозь смех ответила: "Да кто это помнит! Сколько лет-то прошло? Пятьдесят почти! Вот уж опомнился!"

"Да как! — и Филимон облизал сладкую клубничную кровь с большого пальца. — Э-хе-хе... дай, думаю, на ентой черненькой поженюсь! И поженился! Помнишь, Жень?" Она тихо колыхалась от какого-то щекочущего блаженного смеха: "И поженился? Греховодник ты старый, вот что! Только что вылечили и тут тебе такие разговоры! Лежи тихо! Может, яблочко натереть? У меня и терка с собой, дома не стала, хотела, чтоб свеженькое..." "Да-а-а, — не слушая ее, продолжал Филимон. — И поженился! И свадьбу сыграл! И увез енту черненькую за моря, за горы, в глубокие норы! Э-хе-хе-хе..." Она достала из сумки терку, стала было тереть ему яблочко, и вдруг опять заснула, уронив голову. И опять голые женщины обступили ее в раскаленном бараке.

Прошло больше года. Дачный сезон подходил к концу, хотя дни стояли жаркие, полные солнца. В воскресенье утром она поднялась совсем рано, нагрела ведро воды и почему-то понесла его за сарай, в глухие крапивные заросли. "Вот здесь и помоюсь", — сказала она себе, начисто забыв, что у нее есть собственная банька, выкрашенная голубой пронзительной краской. В баньке вчера парился Филимон. Она стегала его веником по красной сгорбленной спине с большими, угольно-черными родинками, а он, придерживая ладонями мохнатый седой живот, приказывал: "Поддай жарку, Евгень-Васильна! Жарку не жалей!" "Да куда тебе жарку, Ваня, — образумливала она его, босая, в сатиновом полузастегнутом халате, вытирая сгибом руки градом катившийся с лица пот. — Ты про давление свое подумай! Жарку..." "О-хо-хо! — рыкнул коротенький, лопающийся от густой крови Филимон и отпустил свой живот на свободу. — Давление у меня в порядке. От бани русскому человеку одно здоровье, больше ничего!" Он облокотился руками на лавку, повернувшись к ней спиной, чтобы она еще постегала его веником и смыла остатки мыльной пены. Ей вдруг стало тошно от этой красной сгорбленной спины с угольно-черными родинками, расставленных кривых ног в редких прилизанных волосах, хлопьев пены на ягодицах... "Что-то мне душно здесь, Ваня, — пролепетала она. — Вытирайся, да пойдем чай пить. Аленушку пора укладывать..."

"Душно? – струсил Филимон. — Чего тебе душно? Пойдем, пойдем, раз такие дела..." Пили чай на террасе: она, Филимон и Татьяна с Аленушкой. В саду с мягким шелестящим звуком срывались с веток и падали на землю яблоки. Каждое падение заставляло ее вздрагивать. На столе образовалось круглое пятно света от низко висящего розового абажура, доставшегося им от прежних хозяев дачи. В этом пятне светились мокрые зернышки красной икры, белый хлеб с большими дырками, крупно нарезанный яблочный пирог с золотыми, местами подгоревшими боками. Голос Татьяны, уговаривающий Аленушку допить сливки, звучал подобно утиному кряканью. Аленушка давилась над стаканом и выпускала изо рта сливочные пузыри. "Ай-яй-яй, — прокрякала Татьяна и голой костлявой рукой вытерла Аленушкин подбородок. — Вот бабушка сейчас наши сливочки — ам! Вот придет чужая нехорошая девочка и наши сливочки — ам!" Аленушка задышала тяжело, как лягушка, и ее слегка вырвало на кружевную грудку. "О-ох! — задребезжал Филимон. — О-ох, внученька... Давай, Женя, тряпочку! Внученьку опять..." Она было побежала в кухню за тряпкой, но вдруг остановилась от страха: прямо на ее глазах раздувшееся животное с лиловыми, трясущимися щеками лезло на другое животное, поменьше, с выпученными глазами и огромным зеленым бантом в голове, делающим его похожим на лягушку. Между этими двумя суетилась голая костлявая рыба с расходящимися во все стороны ребрами и вставшими дыбом ломкими волосами. Рыба при этом оглушительно крякала и разевала узкий голый рот с обломками белых костей внутри. Она прислонилась к притолоке и зажмурилась. Голова медленно и торжественно зазвенела как пасхальный колокол. "Давай, Женя, тряпочку, — угрожающе произнес знакомый голос. — Тряпочку нам давай. Ты чего?" Она открыла глаза. В круглом пятне абажурного света сидели и смотрели на нее складчатый, красный после бани Филимон, голая до ключиц бескровная Татьяна и насосавшаяся сладких жиров замученная огромная Аленушка с бело-розовой рвотой на кружевной грудке. Она спохватилась, нашла тряпку и, почему-то дрожа от страха, подала ее Филимону. Их руки слегка столкнулись. Ей показалось, что он

сейчас ударит ее, показалось, что в руке его лежит острое, вспотевшее, чем он сейчас перережет ей вены. Она быстро отступила и заискивающе улыбнулась. Татьяна подхватила Аленушку и побежала умывать ее на кухню. Филимон протянул ей обратно ненужную тряпку. "Эхе-хе, хе-хе, — пробормотал он и, уже не прячась, погрозил ей маленьким острым ножом. — Эхе-хе-хе, Евгень-Васильна..."

Ночью она почти не спала. Вставала, подходила к окну, смотрела на скользкую, еле держащуюся на небе, переполненную соком луну. На громко храпящего Филимона боялась даже оглянуться. Казалось, что, несмотря на громкий храп, он наблюдает ее из темноты открытыми зелеными глазами. Под одеялом было немного спокойнее. Одеяло было защитой, крепостью. Но как только она заворачивалась в него, глаза сразу же начинали слипаться. А спать было нельзя. Филимон только и ждал, чтобы она заснула. Для чего? Она и сама не знала. То ей начинало казаться, что он не только не убьет ее, но, напротив, полезет к ней в кровать ласкаться ("сказал поженюсь и поженился" — вспоминалось ей), и надо будет тихо лежать под тяжестью его большого мохнатого живота, то казалось, что он выгонит ее на улицу, чтобы она сторожила их дом вместо цепной собаки (какое-то воспоминание, связанное с цепной собакой, мучило ее, но она не понимала, какое!), то — и это было самое страшное — она почти чувствовала прикосновение его маленького острого ножа с налипшими на него волосками...

На рассвете она надела халат и начала беззвучно бродить по дому. Вошла в детскую комнату. Вместо Аленушки на кровати лежала мертвая разбухшая кукла и притворялась спящей. Кукла не хотела превращаться обратно в человека, не хотела расти, потому что знала, что ее ждут одни несчастья и насмешки. И она, ужасаясь, пожалела ее и погладила по холодной голове своей закапанной старческими коричневыми пятнами рукой. Потом, крадучись, поднялась наверх по скрипучей узкой лестнице, остановилась перед дверями, за которыми спали Татьяна и приехавший вечером на электричке аккуратный несговорчивый зять. Сначала ей послышалось хрипенье. Потом — булькающий звук женского горла, напо-

минающий какое-то плавное "рл-нрл-рл-нрл". Она поняла, что зять душит или уже задушил Татьяну, но ей было страшно вмешаться, и она решила еще постоять и послушать. "Рл-нрл-рл", — пробормотала Татьяна. Ни одного слова она не поняла, хотя Татьяна произносила их довольно громко. Зато тихие ответы зятя не только разобрала, но и сразу почему-то запомнила. "С любой в принципе женщиной можно получить физическое удовольствие, — раздельно произнес зять и что-то перекусил, щелкнув зубами. — В принципе, я считаю, с любой. Но можно ли с любой женщиной остаться жить семейной жизнью — это большой и большой вопрос. Принципиальный, я считаю". И он опять что-то перекусил. Татьяна гулко крякнула в ответ. "Я в принципе не собираюсь уходить от этого разговора, — продолжал зять. — Потому что время само за себя говорит. И если я буду уверен, что в моем доме весь порядок будет подчиняться моим принципиальным требованиям, то я готов хоть завтра начать думать по поводу этого решения". Он еще немножко подушил ее, потому что Татьяна опять хрипнула. "Мы в принципе можем расписаться, если этот шаг не отзовется в моей жизни беспорядком и неповиновением". Из Татьяниного горла полилось "рл-нрл-рл", и тогда зять сказал "Согласен", и они оба замолчали. Не выдержав, она тихонько приотворила дверь, заглянула в образовавшуюся щелку. Зять с висящей на боку длинной прядью волос, которую он днем зачесывал через голову, чтобы закрыть лысину, лежал на бескровной Татьяне и несильно душил ее, то приподнимаясь, то опускаясь. Ее приближения они не заметили и, голубовато-бледные от наступающего утра, продолжали свой разговор. Все это вызвало у нее смешанное чувство ужаса и отвращения, хотя в глубине души вспомнилось, что когда-то она сама желала, чтобы Татьяна и этот человек вот так лежали по ночам в вымытой ею комнате. Сдерживая громкое дыхание, она спустилась вниз, забралась под одеяло и крепко заснула. Проснулась очень скоро, лихорадочно вскочила, нагрела на кухне ведро воды и пошла за сараи, в глухие крапивные заросли. "Вот здесь и помоюсь", — сказала она себе и начала торопливо раздеваться. Раздевшись догола и распустив по плечам жидкие пегие волосы, она

начала осторожно поливать себя водой из темно-синей в белых крапинках кружки. Вода была слишком холодной, и все ее тело покрылось мурашками. Потом взяла кусок хозяйственного мыла, быстро, крепко намылилась и опять зачерпнула воды из ведра. "Женя! — послышался где-то совсем близко дребезжащий голос Филимона. — Евгень-Васильна! Ты куда запропастилась?" Она в ужасе опустилась на корточки, вжала голову в задрожавшие колени. Лопухи и крапива скрывали ее от него. Земля закачалась от приближающихся шагов. Филимон шарил в траве большой палкой с тяжелым медным набалдашником, разыскивая свою Бавкиду. Бавкида, раскорячившись, сидела на земле в сизой пленке хозяйственного мыла. Зубы ее стучали от страха. Она поняла, что он зашел за сарай и сейчас увидит ее. Тогда она беззвучно сказала себе: "Спаси и пронеси, Господи!" и отползла прямо в крапиву, не чувствуя ожогов. В пяти шагах от нее стоял маленький лиловый Филимон в летней белой панамке, белой ночной рубахе, туфлях на босу ногу. Он не видел ее своими мутными больными глазами. "Женя! — пробормотал он, волнуясь. — Да где ж она подевалась!" Потом он снял со стенки ключ и начал открывать сарай. Она вспомнила, что это был лагерный барак, а никакой не сарай, что сарай это просто так, для отвода глаз, чтобы дачные соседи не приставали с расспросами, а на самом деле они только что приехали в Узбекистан из Москвы, и Филимон заступил на место начальника женского лагеря. Она вспомнила, что осталась одна с только что родившейся Ларисой, что у нее пропало молоко за время переезда, что она нагрела воды в большом чугунном чане, потому что Ларису надо искупать и самой помыться. Дом, который для них предназначался, был еще не готов, и поэтому они поселились временно в маленьком, летнем, свалив все свои чемоданы прямо в угол. Филимон уже распорядился, чтобы того, кто был ответственен за их прием и жилье, как следует пропесочили, и велел ей перетерпеть несколько дней. Приехали они вчера, она измучилась от криков голодной дочери, от наступившей мигрени, которая, бывало, наваливалась на нее и не отпускала по целым неделям. Их встретили на станции, повезли в дом к какому-то жирному, словно перевязанному невидимыми

ниточками поперек жира, узбеку, там усадили на пуховые перины прямо на пол, кормили жирным пловом, поили вином и горячим чаем, узбек улыбался улыбкой, похожей на опрокинувшийся месяц, и на груди его торопливо звенели медали. "Да-а, — ложась спать, сказал ей Филимон, растягивая в зевоте бульдожью челюсть. — Да-а... наведу я им порядок. Распоясылись".

Он постоял еще немного, пошарил палкой. Потом снял свою панамку и вытер ею глаза. Она никогда не видела, чтобы он плакал. "Женя, — всхлипывая, сказал Филимон. — Ты где? Что ты меня пугаешь?" Подбородок его мелко задрожал. Она поняла, что он притворяется, желая вытащить ее из крапивы. "Нет уж, хватит, — пробормотала она самой себе. — Нет уж, ты у меня покрутишься..." Филимон повернулся и, всхлипывая, ушел в дом будить Татьяну и зятя. А она, пригибаясь, переползла к той части забора, где была большая, заставленная фанерными щитами дыра, и вырвалась на свободу. Прямо за забором начинался еловый лес.

"У меня никто не убежит, — сказал Филимон и стукнул по столу волосатой рукой. — Здесь лесов нет! Бежать некуда! Чтоб завтра были на месте!" Она, перемывая посуду, одобрительно кивнула. Филимон песочил стоящего перед ним угреватого человека в форме. Обжигаясь, ел приготовленный ею борщ — хороший, густой, кровянистый борщ, в котором плавали кусочки желтого жира. Человек в форме смотрел в его тарелку злыми затравленными глазами. "Понял меня? — прохрипел Филимон, опрокидывая в рот рюмку и переводя дыхание, словно он только что вынырнул со дна реки. — Все. Можешь идти". Она вытерла руки чистым полотенцем, подсела к нему: "Кто убежал-то, Ваня?" "Две суки. Еврейка одна и русская. Вчера еще. Найдут. Ну, уж я их пропесочу! Запомнят меня! — Его ясные голубые глаза навыкате налились кровью. — Ну, уж запомнят!" Ребенок заплакал в соседней комнате. Она пошла туда и вернулась. "Зубик-то ты наш видел? — пропела она. — У Ляли второй зубик прорезался!" "Ишь ты, — одобрительно

хмыкнул Филимон и потрепал ее по руке. — Зубик, говоришь... Поглядим..." Они постояли над детской кроваткой, полюбовались на маленький беличий зубик в детском ротике, "Ишь ты, повторил Филимон и нахмурился. — А одна-то из этих стерв брюхатая ушла. Беременная, мне доложили. На шестом месяце". "Ну? — удивилась она. — Ребенка, значит, даже не пожалела. Сама пропадет и его погубит. Мать тоже мне!" "Пойдем, Женя, прокатимся! — зевнул Филимон. — Заворачивай девку. Ветерком подышим!" Он сидел впереди, рядом с шофером. Она сзади. Степь была покрыта темно-красными маками, горела огнем. "Ишь ты, — сказал он, оборачиваясь к ней и улыбаясь во всю ширину челюсти. — Помнишь, как в Большом в царской ложе сидели? Такой же, вроде, цвет..." Ночью он навалился на нее своим сытым мохнатым животом. Она угодливо, боясь разонравиться ему, притворно-радостно задышала. "Ты моя чернушечка, — засыпая пробормотал он через несколько минут. — Ишь ты... Убью сук. Сказал — и убью. На дереве повешу. Распоясылись..."

К полудню ее нашли и привели домой. Она покорно вышла из леса — голая, вся в багровых крапивных ожогах, безжизненно опустив свои большие, плоские от работы руки. Зять с одной стороны и веснушчатый милиционер с другой нерешительно подталкивали ее к калитке, и милиционер, хмурясь, делал неловкие движения, стараясь как-то заслонить ее, хотя, по счастью, именно в этот момент на аллейке никого не было, кроме прислонившейся к забору бескровной Татьяны, которая при виде появившейся матери затряслась, как в ознобе, и стала стаскивать с себя кофту. "Тут такое дело, — сказал хмурившийся милиционер, не глядя на Татьяну. — Тут, я понимаю, медицинская помощь нужна. Дом для умалишенных. Или еще что-нибудь. Но мы тут вам не подмога". "Мама, — прыгающими губами выдохнула Татьяна. — Ты чего?" "Незачем в принципе задавать ненужные вопросы, — отчетливо сказал зять и разозлился. — Нужно ввести ее в дом". Она услышала то, что он сказал, и затрясла головой: "Сама

войду, сама войду, — залопотала она. — Обедать пора, сама, сама..." Поддерживаемая Татьяной, поднялась по ступенькам террасы и в дверях увидела Его. Толстый, испуганный Филимон глядел на свою голую, растрепанную, в красных пятнах по всему телу Бавкиду и пятился, оседая и закрывая лицо волосатыми руками. Бавкида подавилась от ужаса и чуть не упала. Зять и Татьяна подхватили ее. "Папа! — истерически крикнула Татьяна. — Дай ей одеться! Дай что-нибудь! Нельзя же так!" "Сейчас, сейчас, — засуетился Филимон, оседая и пятясь. — Что же это такое, батюшки мои!" Он стащил с вешалки какой-то старый плащ и осторожно, боясь дотронуться до голой старухи, передал его дочери. Татьяна дрожащими руками натянула на нее плащ и, плача, сказала: "Что делать-то будем?" "Увезти, увезти, — испуганно задрожал Филимон. — Как же так? Лечиться надо. Врачи, они свое дело знают... Лечиться надо... А то что же... Заболела наша бабушка... Беда-то..." Вдруг Бавкида упала на колени перед Татьяной. Зять не успел подхватить ее. "Служить вам буду. Ноги твои мыть буду. Не прогоняй". "Ма-ама! — разрыдалась Татьяна. — Господи! Иди в комнату, ложись. Спи. Мама!" Стуча зубами, она вошла в комнату и, не снимая плаща, забралась в постель. "Сплю, сплю, — забормотала она. — Непорядок какой... Сплю".

Филимон плакал и вытирал трясущиеся бульдожьи щеки седыми кулаками. "Ты уж тогда меня-то хоть отвези в город, — умолял он Татьяну. — Или уж вы, Борис, окажите милость, помогите до Москвы престольной добраться. Я с больным человеком в одном доме находиться не могу. Мне вид ее может спазмы сосудов вызвать". "Папа, — рассудительно говорила взявшая себя в руки Татьяна. — Горячку не надо пороть. Понаблюдаем ее пару дней. Я все равно здесь. Боря здесь сегодня и завтра. Жалко же. Может, это минутное помешательство, возрастное". "В принципе может такое быть, — подтвердил зять. — Мне говорили, у нас в отделе у одного товарища был такой же эпизод с теткой. Прошел в принципе бесследно..."

ГЛАВА 2

"Можно я, Ваня, дома останусь? — прошептала она сквозь сон. — Дети нездоровы, и я какая-то..." "Нет, — ответил Филимон. — Нельзя. Обязана быть на концерте. Все начальство будет. И чтобы без фокусов". Зал был переполнен. Они сидели в первом ряду. На сцене, украшенной флагами и цветами, в три ряда стояли женщины в белых халатах. Во сне она вспомнила, что это было особой гордостью Филимона, его изобретением: шестьдесят новых больничных халатов доставили в лагерь за неделю до концерта. Мертвые женщины, одетые для погребения, во всем белом и чистом, разевая гнилозубые рты, пели громкими голосами: "...и танки наши быстры..." Филимон морщился от удовольствия, хотя нижняя половина его лица сохраняла свое обычное свирепое выражение. Допевшие песню покойницы по команде повернули налево и, шаркая ногами в войлочных больничных тапочках, пошли за кулисы. Зал зааплодировал. Потом на сцене появились три другие женщины, не участвовавшие в пении, в тех же белых халатах, с большими маковыми венками на головах, отчего казалось, что из волос у них рвется пламя, и вручили приехавшему начальству огромную вышитую подушку с красным шелковым обещанием посередине: "Честным трудом на благо Родины заслужим прощение партии и народа!" Сон прятал от нее того, кто вместе с Филимоном поднялся по ступенькам. Она ощущала только само слово "начальство", и постепенно ей стало казаться, что Филимон поддерживал волосатыми пальцами шершавое и темное, в скрипящих сапогах, не имеющее ни лица, ни тела. Начальство протянуло что-то вместо руки, чтобы взять подаренную подушку, и тут одна из покойниц с красным огнем в волосах плюнула ему в лицо. "Сволочь! — кричала покойница, которую уже уволакивали, торопливо, на ходу избивая. — Сволочь!" Ей зажали рот, но

она успела еще выкрикнуть сквозь кровь и пену: "Пропадите вы все пропадом! Сволочь!"

Страшно было смотреть на Филимона, сидящего рядом с ней в первом ряду и ждущего окончания концерта. Каменный и неподвижный, он уже не аплодировал, не морщился. Зубы его тихонько скрипели. Потом повернул на нее невидящие глаза: "Домой поедешь одна. На ужине тебе делать нечего". "А ты?" — кутаясь в плащ, натянутый Татьяной на голое, обожженное крапивой тело, прошептала она. "Что я? — переспросил Филимон и сжал бугристый черный кулак. — У меня дела есть".

В доме хорошо и вкусно пахло пловом, виноградным вином, свежим хлебом. Старуха-узбечка, из местных, поклонилась ей, шепотом сказала, что дети давно спят. Она сбросила на ковер надоевший плащ, вытянулась на кровати, закрыла глаза. Ночью пришел Филимон. От него резко, удушливо пахло потом. "Ну, — спросила она и села на перине. — Нашли Аленушку?" "Приказываю расстрелять, — ответил Филимон и раскрыл в зевоте тяжелую челюсть. — Саботаж в пользу иностранной разведки. Враг действовал в условиях лагеря. Распоясылись... — Он поставил к стенке новые блестящие сапоги, почесал под рубашкой живот. — Запомнят меня, так-то..."

"Как она проснется, ты меня предупреди, — трусливо прошамкал Филимон и спрятался за большой, голубой, в красных цветах чайник. — Не могу ее видеть. Пока не убедимся. Нет уж, дудочки... Болезнь болезни — рознь... Умереть не дадут спокойно... Что за дела?"

Татьяна подошла и наклонилась над ней. На Татьяне был белый больничный халат. Маки в волосах давно почернели и высохли. Запах плова и свежего хлеба шел от ее наклонившегося тела. "Мама! — сказала Татьяна. — Лучше тебе?" "Аленушка-то где? — вдруг схитрила она, вспомнив, как зовут ту маленькую женщину с бантом в голове. — Полдничать пора. Скажи, чтоб ей ягод нарвали". При слове "ягоды" ее слегка затошнило, но она справилась, виду не подала. "Скажи, чтобы нарвали, а то я на вас всех жаловаться буду. Есть куда, слава

Богу. Не в пустыне живем. Голодом мучаете ребенка..." Татьяна испуганно вздохнула и вышла на террасу. Филимон и зять посмотрели на нее. "Лучше, — неуверенно сказала Татьяна. — Поспала. Приходит в себя". "На все время нужно, — согласился зять. — Конечно, мы вас с потерявшим рассудок человеком не оставим. Хотя в принципе, это немалые хлопоты..."

Ночью она проснулась и поняла, что это последняя ночь перед свадьбой. Завтра они поженятся. Руки у него железные, крепкие. Когда он пару дней назад схватил ее за грудь, она еле перевела дыхание от боли. Что же, мужчина. Они все такие. За этим, по крайней мере, как за каменной стеной. Боль и потерпеть можно, В деревне у него мать и сестра. Сам до всего дошел, сам образование получил. На таких земля держится. И власть советская. И все, чего мы добились, на таких держится. А грудь так просто не оторвешь. Она засмеялась в темноте. Посидела, подумала. И вдруг поняла, что ей надо сделать. Завтра он проснется и первым делом выпьет свой кефир, купленный на станции. Каждое утро он пьет кефир со смородиной. Это до завтрака. Потом уж они завтракают вместе. Аленушку кормят в четыре руки, в две глотки. Песни и сказки — до хрипа. Так вот в этот кефир лучше всего и высыпать. Сразу высыплю, никто не догадается. И никакой свадьбы. Татьяна с Аленушкой проснутся, все уже сделано, завтрак давно на столе. А он ушел. Куда ушел? Откуда я знаю? Ушел и все. До сих пор грудь ломит. Вот ведь какой грубый. Зато жизнь прожили — дай Бог всякому. А высыпать все-таки надо. Потому что страшно. Главное, что страшно. Придет, и опять схватит. Ночью разденется догола и навалится. Опять рвота, роды. Страшно. Стараясь не скрипеть дверью, она вышла на террасу, нежно освещенную переполненной соком луной. Взяла стеклянную тоненькую розетку для варенья. Молоток из тамбура. Вышла на лестницу. Разбила розетку молотком. Никто и не услышал. Спит. Хорошо. Она принялась тихонько колотить по розетке молотком, стараясь измельчить разбитые куски. Узбеки любят этот способ. Легко, чисто. Как кровь пойдет из живота, так уже все. Она собрала расколотое, зажала

его в кулаке, вернулась на террасу. Открыла дверцу битком набитого холодильника. Всыпала осколки в масленку. Закрыла ее крышкой. Вытерла руки и заодно поменяла у рукомойника полотенце. (Вот уж Татьяна неряха!) Вернулась в комнату, в которой его не было (шелковая застеленная кровать мерцала пустотой), завернулась в одеяло и заснула.

"Какой отец! Какой отец! — пела она своей матери, разворачивая свертки с подарками. У матери от жадности горели глаза. Руки тряслись. Мать была запугана, труслива, лицемерна. В детстве она боялась ее до тошноты, и, став взрослой, никогда не советовалась с ней и никогда ничем не делилась. — Все для детей! Все для детей! Татьяна хочет балетом заниматься. Другой бы отец — знаешь, как? Цыкнул бы: какая из тебя балерина! Выбрось дурь из башки! А этот: на здоровье! Поступишь в училище Большого театра. Пляши, пока не надоест! Все для детей!" Мать схватила дрожащими руками отрез серого габардина. "И это мне?" — расплылась она в такой же кривой и фальшивой улыбке, которой улыбалась ее дочь, желая сказать кому-то приятное. "Все тебе. Все он. Так и сказал: уважить надо. Сам все отбирал. И обувь, и теплое. И так и сказал: Нине Тимофеевне с уважением от родного зятя. Ха-ха-ха! Видишь, какой?" Мать трясла скользкой головой: "Конечно, Женя, конечно. Вы понятно на какой службе были... Тяжело, я думаю. Не всякого пошлют. Только самых достойных. Кристальной души людей. Понятно, понятно. Климат-то там какой? Погода какая?" "Жарко, мама, очень. Летом очень уж жарко. Но дом у нас был чудесный. Две террасы, сад фруктовый — свой. Весной красота такая, что глазам больно: маки кругом, вся пустыня, все холмы в маках. Так и горят. Чудесно. Я с детьми. Нянька была, женщина приходила через день, полы мыла. Еще одна приходила готовить. Все местные. На концерты, в театр мы в город ездили. Шофер свой, машина. Я тебе говорю — все". Мать завистливо свистела тонким пупырчатым горлом: "Ну-и-и! А меня спрашивали: как там ваша дочка после столицы в таких местах? Я говорю: все в порядке, все хорошо, а у самой душа

болит: как ты там, думаю. Одна все-таки. Двое детей. Иван занят, поди, целый день". "Занят — это правда. Целый день занят. С преступниками же дело имели. Разве о себе вспомнишь? Страшные люди. Враги. Но Ваня всегда был гуманен. Ни одного несправедливого поступка. Дисциплина. Потому что ведь они тоже люди. Ведь они на исправление посланы. Мы надеялись, что в них совесть проснется. Мы старались".

Маленький восковой Филимон постучал в комнату Татьяны. Она открыла ему в нейлоновом халате с кружевами, заспанная. "Папа, что ты не спишь? Вы меня с ума сведете!" "Понимаю, понимаю, — забормотал Филимон. — А все же хотелось бы в город попасть. Глаз не сомкнул, Боюсь. С умственно неполноценными дела не имел. Отродясь. С бандитами — да, с преступными элементами. Но со здоровыми. А здесь глаз не сомкнул". "Господи! — завелась Татьяна. — Ты себя послушай! Она тебе кто? Чужая, что ли? Вы же жизнь прожили!" "Да это кто вспоминает, — задрожал Филимон и переступил ногами в больших желтых тапочках. — Прожили, прожили. Всяко было. А что же мне сейчас в жертву ее болезни остаток дней приносить? Не для того я кровь проливал, да... На самых тяжелых участках. Жизнь прожили. Кто его знает, как мы прожили?" "Ты, никак, заговариваешься? — ужаснулась Татьяна. — Папа! Ну, хоть жалость-то в тебе осталась? Ты посмотри на нее!" "Жалость, жалость, конечно, — скороговоркой выдохнул Филимон. — Меня всю жизнь никто не жалел. Все для других. Все для вас. Теперь имею право на отдых. Она меня, может, зарезать хочет. Кто знает, что больному человеку в голову придет?" "Да какое зарезать! — зашаталась Татьяна. — Ее пальцем тронешь, она падает!" — "Именно, именно, — прошамкал Филимон и жарко задышал ей в лицо из бульдожьего рта. — Мне сон был. Именно что зарезать. Чужая душа — потемки. Беда. Отвезите меня в город". "Оставь меня! Что ты меня будишь посреди ночи!" — Татьяна захлопнула дверь перед его носом. Зять приподнялся с подушек. Длинная прядь свисала с лысой головы: "Это же не дом, а сумасшедший дом, если разобраться!

И если вы думаете, что я при своей нагрузке могу тянуть еще и это... Очень сожалею, но вынужден поправить..."

...Она слышала, как они возятся где-то, ходят по лестнице, шепчутся. Очень хорошо. Теперь они будут ее бояться. А то что же это такое: все спихнули на одного человека. И воду носи, и детей воспитывай, вечером в Большом театре надо быть. Сам товариш Сталин придет. В царской ложе все и рассядутся. У Филимона как назло выскочил ячмень. Прямо перед балетом. Он даже зарычал от злости. "Ваня, — говорю, — Ваня! Это же не преступление! У всякого может случиться!" Он на нее чуть не с кулаками: "Понимаешь свиную пятницу! Товарищу Сталину на глаза с таким рылом показаться!" Ячмень смазали яичным белком, припудрили немного, чтобы не так заметно. Все равно, глаз — как машинная фара. Она не любила украшений. Но Филимон велел надеть ожерелье. Она согласилась. Пусть так, как он хочет. Платье малиновое, ожерелье белое. Откуда он его принес? Не сказал. Ожерелье странно пахло. То ли телом чужим, то ли каким-то деревом.

"Почему у тебя усы-то? — вдруг разозлился Филимон. — Ты кто: мужик или баба?" Она посмотрела в зеркало: действительно — усы. Вот здесь две волосинки и здесь — одна. Как же это они выросли? Она и не заметила. Выдрала щипчиками. Когда товарищ Сталин вошел в ложу, они все встали. У Филимона глаз с припудренным ячменем налился слезами, подбородок задрожал. Вот ведь как мужчины умеют чувствовать. Разве по нему скажешь? Отец-то заботливый, и муж... Мало сказать заботливый, сюсюкать не любит, а все в дом, все в семью, ни на одну женщину никогда и не посмотрел...

"Ты меня завтра ночевать не жди, — сказал Филимон. — Мне надо по лагерям проехать. Ревизия. Нелады там, я слышал. Порядка нет". Уехал. В доме хорошо, чисто, виноградным вином пахнет, хлебом. Ночью духота. Она все с себя сбросила, даже простыню. Спокойно, привольно. Никто пальцами по ней не шарит, никто не храпит в шею. Он вернулся через три дня, веселый. Лицо, правда, усталое, помятое. Пообедал и завалился спать. До нее даже не дотронулся.

На следующий день опять как сквозь землю провалился. И через день то же самое. Возвращался помятый, веселый, свирепый. На нее, на детей — ноль внимания. Стала стирать ему рубашку — вся в женских волосах. Светлые волосы, как паутинки. Она ничего не сказала, сделала вид, что так и надо. Мужчина. Они все такие. Этот-то хоть первый раз сорвался. А то все работа, все семья. Пусть покуражится. Добрее будет. Хотя, конечно, душа заныла. Она ее стиснула руками, выжала, выкрутила как тряпку, ни слезинки. Пусть его. Куда он от меня денется? Лариса, Татьяна. Что он нас на лагерницу какую-нибудь променяет? Так и не узнала, чьи были те волосы. Месяца два он возвращался домой поздно, до нее не дотрагивался. Ну, и хорошо, хоть тело отдохнуло. Потом опять навалился с неохотой, молча. Наладилось постепенно. Все как всегда. Их разве переделаешь?

Пойдем на рынок, Аленушке ревеня купим, тебе ревеня купим, мне ревеня купим. Аленушке-то зачем ревень? А что же такого? Это она сейчас маленькая, а когда вырастет? Тоже будет с желудком мучиться. Пусть ревень полежит про запас. Вон какая дивчина вымахала, скоро свататься будут. Эхе-хе-хе... Борис этот какой-то непонятный. Женится — хорошо, а не женится — еще лучше. Это я вам по секрету. Татьяну уж очень жалко. Она у нас только на вид такая суровая. А сердце слабое. Роды были поздние, сколько крови потеряла, кесарево сделали. И боится она этого Бориса, как огня боится. Он и по неделям может не звонить. Очень занят. Конечно, такая работа, что не расслабишься, не до гулянок. Хотя о ребенке мог бы подумать. Нельзя же все на одного человека. Это сейчас Филимон стал так ластиться: "Женя, Женя, давай прислугу наймем, что ты все одна?" А раньше, бывало, как рыкнет: "А ну поворачивайся! Ишь ты, барыня! Мы всех бар давно вырезали!" Она слова поперек — никогда. Говорили же про Булдаева, что он жену своими руками повесил. Надоела — и повесил. Пост такой занимал, что никто и не пикнул. Самоубийство на почве болезни мозга. Не справилась женщина. Может, и так. А слухи ходили разные. Филимон тоже как-то на нее разозлился и заорал: "Удавлю своими руками!" Она,

конечно, посмеялась... Мужчина. Они все такие. Только бы покуражиться.

"Ты же хотел остаться сегодня, — умоляюще сказала Татьяна. — У тебя же отгулы..." Зять шумно втянул кофе в длинное узкое горло. "Сегодня не получится. Вся эта неделя забита, в принципе. Но если что... Я буду ждать сообщений. Конечно, если что... Я пришлю машину". У Татьяны вздрогнул бульдожий отцовский подбородок: "Ты извини, Боренька, что так вышло... Старые люди..." "Да, — согласился зять. — Жуткое дело — эта старость. Хоть бы средство какое придумали... Принципиально бы легче стало. Где она? В комнате?" "Спит, — вздохнула Татьяна. — Я решила не входить пока. И отец спит. Наглотался валидола". "Что ему ночью-то не спалось? — пробормотал зять и опять втянул кофе. — Струсил, что ли?" "Ах, не спрашивай! — помрачнела Татьяна, и по ее бескровности побежали красные полосы. — Как подумаю, до чего они дошли! Ведь ты вспомни, как они жили! Рука в руку, душа в душу. Никто не знал, как другому угодить. Слова грубого не слышали". "Да, — опять согласился зять. — Жить бы так всем. Что называется: пара". Тут она и вышла из спальни, семеня ногами и слегка приседая от сахарной улыбчивости. Плаща на ней не было, было платье с белым воротником, праздничное. Зачем только такое платье и привезли на дачу? Сдуру, должно быть. Но вот и пригодилось. Волосы она не успела причесать, так и болтались, пегие, по плечам. А туфли надела. Татьяна ахнула: "Мама!" "Что — мама? — заулыбалась она, пряча страх. — Я тебе уже сорок лет мама! Ха-ха-ха! Поспала и думаю: пора за дело! А то так всю жизнь проспишь! Обед-то готовили на сегодня?" Зять и Татьяна переглянулись. Она неторопливо подсела к столу. Налила себе чаю дрожащими руками. Главное, чтобы они не поняли, как она боится. Спросить бы про него: жив ли? Она заулыбалась пуще: "А вы, Борис, никак удирать собираетесь? Жаль, жаль... Погода такая... Сходили бы на речку, рыбу бы поудили". От слова речка тоже стало не по себе. Вода ведь: бросят туда ночью, в темноте, что потом кому докажешь? Отхлебнула чаю, поморщилась: невкусно. Компот

надо варить. Ревеня туда побольше, смородины, крапивы. Кисло, густо, чтобы ложка стояла. Не умеет у меня Татьяна готовить, вот он на ней и не женится. Зять кашлянул нерешительно: "Ну, я так понимаю, в принципе, что основная опасность миновала. Могу спокойно тебя оставить". Он быстро поправил непокорную прядь, облизнул губы с налипшей икринкой. Портфель в руку, и уже у калитки. Так и след простыл. "Пойду Аленушке грибов нарву, — лицемерно сказала она. — Или малинки лесной. Я тебе всегда, Таня, говорила: небо и земля — наша малина и лесная. Там и вкус, и аромат, все другое, никакого сравнения. Витамины". "Мама! — рванулась было Татьяна. — Не ходи! Ты же слабая такая! И что-то с тобой еще... Ну, не ходи!" Спросить бы ее, спросить бы: жив ли он? А то чего зря прятаться? Может, его уже и закопали? Так я тогда платье сниму, туфли сброшу, будем обед варить. А если жив? Нет, уж рисковать не хочется. Это по молодости только тянет: рисковать. А уж в наши-то годы, эхе-хе-хе... Отставила чашку, сказала разумно: "Ладно тебе, Таня. Я вас с Лялей вырастила, Аленушку тебе выкормила, что ж ты меня теперь за дуру считаешь? Погулять по лесу нельзя?" И пошла по лестнице, замирая от ужаса, потому что пришлось повернуться к запертой двери в его спальне спиной. Проходя мимо куста смородины, смахнула червяка с ветки (все ягоды пожрали, ребенка кормить нечем!) У калитки обернулась: он стоял в дверях и смотрел на нее. Рот его был открыт, глаза мутные (капли-то забыли!), белая ночная рубашка, босой. Она прикинула: бросится догонять или нет? Да куда ему! Ноги корявые, неловкие. Она успеет убежать. Так что вот теперь я и позабавлюсь: помашу ему рукой: "Здравствуй, Ваня! Доброе утро!" Она помахала Филимону дрожашими пальцами. "Куда это она? – просипел Филимон, хватаясь за Татьянино плечо. — Куда она пошла-то?" "Погулять, — тихо сказала Татьяна. — Ягод хочет нарвать. Ей лучше". "Доченька! — захлюпал Филимон. — Ты у меня одна на свете! Сделай милость: увези!" "Говорю тебе: ей лучше! Погулять пошла! Завтракать садись!"

Через два часа бросились искать: Татьяна и две сердобольные соседки. Прочесали весь лес. Нету. Татьяна побежала

в милицию, история повторилась. Нашли в осиннике и привели. Она прижимала руки к сердцу, оправдывалась: "Да что вы, ей Богу! Погулять нельзя! Мне доктор велел дышать лесным воздухом!" Соседки только плечами пожимали: "Вы глядите, Таня, а может, и правда: ничего такого? Ну, устала ваша мама на кухне пахать, ну, хочется ей расслабиться!" "Что вы с ума-то сходите? Вот я и говорю! — смеялась она. — Не дают мне подышать! Всю жизнь на мне ездят! Уж кажется, перед смертью-то имею право! Погулять-то я имею право?" Татьяна смотрела на нее сжимающимися и разжимающимися зрачками: "Ты меня разыгрываешь, что ли? Что с тобой?" "Да говорю тебе человеческим языком: ничего! — отмахнулась она. — Устала я на кухне пахать! Тебе и все то же самое скажут! Дай ты мне проветриться!" Татьяна не выдержала, заплакала: "Мама! Пожалей меня! У меня голова кругом идет! Ты в себе или нет?"

Хорошо, что она проста, ничего не поймет. Пусть считает, что мне погулять хочется. У нее мозги всегда были какие-то дырявые. В науке умна, а в жизни хуже младенца. Ее-то я обведу вокруг пальца, лишь бы она уехала, лишь бы нас с ним вдвоем оставили. Я его сама и закопаю. Все равно, пока все в свои руки не возьмешь, ничего не получится. Кто — кого. Убежать не дали. Выход один. Тоже страшно, конечно. Зато это уж самый последний страх. Еще попугаюсь немножко и — свобода.

"Нет уж, дудки! — хохотал Филимон. — Ты мне свою племяшку не подсовывай! У меня баба — во! На большой палец! Женился, и как в раю! Уважение полное. Скажу: ноги мой — и будет мыть! Нет! Такую поискать! Вот она приедет через недельку и милости просим! Убедисся сам. Зверь-баба!" "Как звать-то? — спросил наполнивший стаканы холодной прозрачной водкой, в расстегнутом на груди френче. — Скажи, как звать, и выпьем за твою бабу!" "Женей, — ласково прохрипел Филимон. — Такая чернушечка, кошечка такая, крепышечка". "Ишь, тебя скрутило, — усмехнулся слушатель. — Никогда за тобой такой нежности не знал..." "Какая

нежность? — удивился Филимон и опрокинул в рот стакан. — Нежность, говоришь... На нашей работе нежничать не положено. Я на этих баб насмотрелся, сам знаешь! Пять лет в начальниках проторчал. И голых, и всяких. Они при мне мыться были обязаны, если захочу, во как! Для порядка! Я ж как врач! Лечу их, сук, к жизни возвращаю!" "Ну и как? скривился приятель. — Мылись? Для порядка?" "А чего? Конечно, мылись! Мылись-вытирались, не сопротивлялись!" "Соскучишься ты без этой работы!" "Да нет, уж хватит, — помрачнел Филимон. – Поважнее есть дела на свете. Раз партия посылает, мое дело подчиниться. А Женя за мной, как лошадь за хозяином. Беру за повод и веду. Вот как..."

Не справлюсь я с ним, ни за что не справлюсь. Плохо. Он ведь все притворяется, И то, что старый, и то, что больной. Никакой он не старый. Если тогда не умер, то уж никогда и не умрет. Будет мучить. Ноги свои заставит мыть. Сначала Аленушку искупаю, а потом в этой воде (не греть же лишний раз!) буду ему ноги мыть. Вот и стекло не подействовало. Мало наколола. Но теперь уж не исправишь. Молоток спрятали, розетки спрятали. Уходить пора. Жили люди в лесу, еще как жили! Целыми семьями, с детьми. Обживусь и Аленушку с Татьяной к себе возьму. Маленькие мои дочки. Родила, выкормила. Обживусь и заберу от него. А то он их еще в этот барак спрячет. Скажет: поработайте-ка! Распоясылись... Не будет вам никакого театра. Никаких-таких балетов.

Она тихо натянула платье. Сняла наволочку с подушки, положила в нее резиновые галоши, батон хлеба, мыло в мыльнице. Кажется, все. Это на первое время. Там уж люди помогут. Здесь, конечно, лесов нет, но маки погуще всех лесов будут. Спрячусь в маки, а там видно. Узбеки нас любят. У них здесь до советской власти такое было! Каменный век. Она спустилась с лестницы, держась за перила. Лунный свет наполз на ее лицо. Небо серело в ожидании рассвета. Ей вдруг захотелось поцеловать Аленушку. Она положила наволочку на ступеньку, бесшумно вернулась в комнату. Аленушки нигде не было. Она попыталась вспомнить, куда же ее могли уложить

спать, и запуталась. В боковой комнате он, наверху Татьяна. Где же Аленушка? Неужели с ним? Господи, Господи! Она мелко закрестилась непривычными пальцами. Ведь он притворяется! Как же Татьяна не понимает? Она постояла в темноте, переминаясь с ноги на ногу. Ну, в другой раз. Прощайте.

Александр Антонович

Снега в новом году

Звонкая стояла погода.

То, что называется — зимь.

Мотив, который он насвистывал, был прост. То ли придуманный только что, то ли услышанный когда-то давно, еще по ту сторону памяти, он странно соответствовал городу, накинувшему песцовую шубу на голое, давно не мытое тело. И пустой вертлявый переулок, и погашенные в холод окна, и снег, который он, косолапя, загребал ногой и пускал по тихому низкому ветру, и то, что он немного выпил, и то, что выпил он именно так, как хотел — один, ни от кого не завися, и еще то, что дома его ждала собака, с которой нужно будет сразу же идти гулять, все это поместилось в простом и долгом мотиве, немного похожем на "Green fields".

А выпил он хорошо. И деньги у него были. Случайно, правда, но были. Подвалило. И напиваться ему не хотелось. Когда есть деньги, это особенно приятно. И никто не тянул его танцевать.

Он просидел у стойки бара долго и ушел только после того, как ушла черноволосая девушка, сидевшая за столиком в углу. Девушку эту взгляд его выбрал случайно, и не потому, что сидела она одна, а потому, что в позе ее почувствовал он ту усталую раскрепощенность, которую так ценил сейчас в себе, а еще потому (и, наверное, это было главным), что ему было удобно, не оборачиваясь, не напрягая шею и не принуждая свое отяжелевшее от бессонниц лицо к так давно надоевшей игре, просто сидеть на изгибе стойки и смотреть на эту

одинокую фигуру за красной клеточкой стола с бутылкой сухого вина и одиноким песочным пирожным, один вид которого вызывал жажду и заставлял облизывать губы.

Когда она ушла, пройдя близко-близко, склонив голову чуть на бок, через шаг цокая каблучком (второй был без подковки) и от этого чуть прихрамывая и идя прямее обычного, когда она ушла, пройдя близко-близко, заставив его бессознательно принюхаться к оставленному ею воздуху и ощутить даже не запах, а просто тепло, прядь волос и грустное ощущение бывшей близости, когда она ушла, он вначале пожалел, что не подсел к ней, не разговорился, не подал ей легкое, совсем не зимнее пальто на искусственном рыбьем меху и потом не прошагал с ней до троллейбуса, а, может быть, и до такси, вначале он пожалел обо всем этом, но потом все прошло и осталась только эта длинная мелодия, которую он насвистывал, идя по пустынному вдрызг занесенному переулку.

И он был благодарен ей за эту мелодию, за эту ночь.

И зима была настоящая, какая редко теперь бывает в конце декабря.

— Все совсем не так уж плохо... — подумал он.

Потом уже, когда он гулял с собакой — большим рыжим боксером, который носился по бульвару, разрывал лапой снег и внимательно принюхивался к таинственным запахам собачьего эсперанто, он начал ощущать холод и понял, что уходит из него тот самый легкий хмель, который так просто и хорошо поднял его над ненужностью последних дней этого старого, старого года. И он взял собаку на поводок и быстро пошел, почти побежал к дому.

Таща за собой отставшую на поворотах собаку, он взбежал по заслеженной мокрыми следами лестнице и уже на последней площадке почувствовал, что эта внезапная вспышка яростной тоски переходит в усталость.

Но пустая квартира, которая открылась внезапно, рывком плохо прикрытой двери, встретила его плотным, слежавшимся воздухом, запахом невыброшенных окурков и резким теплом раскаленных батарей отопления. Все это остановило его в том

последнем напряжении, от которого бессонная ночь показалась бы приятным лекарством. И, застыв в этом настроении, он почувствовал скованность движений и медленно, ощущая каждую мышцу разгоряченного пробежкой тела, разделся.

На кухне в шкафу, уже совершенно обнаглев, скреблись мыши, и звук этот стелился по полу квартиры, и когда он, не зажигая света, прошел в комнату и упал на неубранную с утра постель и вновь услышал эту возню, то окончательно осознал свое одиночество.

И мысли о встрече нового года, мысли, которые пришли к нему, когда он только шел в бар и мимо, задевая его, шли радостные мужчины и, как стрельцы, тащили на плечах темные, подернутые ледком прошедшей оттепели туши елок, эти мысли вновь настигли его. Только тогда он подумал об этом легко и, как говорили в прошлом веке, не без приятственности. Подумал он тогда, что купит армянского коньяка себе и сахарную кость собаке, и зажгут они свечи на елке, и сядет он за журнальный столик, и выпьет немного и даже какой-нибудь хороший тост придумает, и мыши будут шебуршиться в шкафу, и это будет той деталью, которая сделает его дом уютным, и музыка, которую он поставит, без зазора наложится на его настроение, и от этого будет совсем хорошо. А когда собака устанет грызть свою кость — думал он тогда — когда собака устанет и ляжет, привалившись свои большим теплом к его ногам, тогда он — радостно мечтал он — тогда, уже в Новом году, он выпьет последнюю рюмку, выкурит сигарету, возьмет собаку и выйдет на улицу и будет ходить и поздравлять всех с новым годом, поздравлять незнакомых веселых людей, абсолютно незнакомых, то есть делать то, чего он хотел так часто, но почти всегда стеснялся. И будет прекрасный Настоящий Новый Год. Совсем новый. Совсем.

Но так думал он тогда, а сейчас, лежа в неубранной с утра кровати, отчего простыни казались волглыми, и по телу, как предчувствие болезни, пробегал противный легкий озноб, лежа сейчас, думал он, что это будет пустая, вызубренная, как

скучный урок, квартира, и будут резкие телефонные звонки, от которых будет радостно проваливаться сердце, а потом будет постоянно оказываться, что кто-то неизвестный, вдрызг пьяный просто набрал не тот номер и нужно будет ему втолковывать, чтобы он перезвонил и что никаких Люсь, Вась и Надь здесь нет; а потом будет опять трижды пустая квартира, и будут скрестись эти проклятые мыши, и будет скрипеть в коридоре рассыхающийся паркет, и звук этот почему-то вызовет страх, и когда он схватит собаку и выбежит, да, именно выбежит на улицу, то расхристанные компании будут идти навстречу и с пьяными подголосками петь песни, которые он сам пел когда-то, и — думал он — ни к кому ты не подойдешь и никого ты не поздравишь, потому что никому не нужна эта игра в доброту и простодушие — все и так слишком устали от этой игры и если кто-то и ответит и улыбнется, то опять же только играя, только подыгрывая тебе, что, конечно, тоже не так уж плохо.

Он думал так и, хотя знал, что все это, может быть, и неправда, душа его наполнилась острой горечью только что зародившейся тоски и еще ожиданием, верой в какую-нибудь прекрасную неожиданность вроде телефонного звонка или какой-нибудь случайной встречи. Именно и только случайной...

Это предчувствие неожиданно сковало его и, пока он лежал и намеренно не двигался, пока он боролся с этой долгой пронизывающей болью и смотрел в потолок, на котором была только светлая тень окна, он почувствовал, что должен что-то делать и, поняв это, еще несколько минут сдерживал себя, а потом резко встал, снова оделся, поднял сонную, зевающую и потягивающуюся собаку и вышел на улицу.

Ветер, который вечером мог крутить лишь легкую, несерьезную поземку, усилился, и когда он отворил дверь парадного, то в лицо ему ударила белая плотность летящего над землей снега, и он остановился и открытым ртом глубоко, почти до разрыва легких, вдохнул холодный, тающий во рту воздух. Он вдохнул так же, как вдыхает первую, немного пьянящую затяжку давно не куривший человек. Его даже

слегка качнуло от этого крепкого, настоянного на больших пространствах, воздуха, и поэтому часть его надежды на счастливую неожиданность ушла, словно ветер выдул это лежащее на поверхности настроение, и осталось в нем только желание двигаться и идти против ветра, и устать.

Ходил он долго, уже ни о чем не думая, а сознавая и отмечая каждый шаг, каждый взмах руки и не видя ни зеленоватых ликов фонарей, ни черных деревьев с белой абстрактной инкрустацией снега. Собака уже замерзла и поджимала по очереди лапы, и он сам замерз, но все равно шел, зачем-то громко вслух считая шаги, будто отмеряя расстояние до дуэли, и, словно отмерив положенное, остановился и резко повернул назад.

Когда он входил в парадное, очки его запотели, но он не снял их и не протер, а точнее — не оттаял пальцами стекол, а поднимался медленно, видя перед собой только белую ровную плоскость, однообразную, как стена больничной палаты, когда видишь ее в первый раз и не знаешь еще, что через несколько дней изучишь каждую микроскопическую трещину, каждый слишком густо положенный мазок краски.

Наощупь, словно играя с самим собой в прятки, он одной рукой нащупал замочную скважину, а второй медленно, словно подбирая отмычку, вставил ключ и от этой таинственности, от этого детского священнодейства, вдруг увидев себя со стороны, хмыкнул, и звук этот гулко и холодно прозвучал в грязном пустом парадном и затих только далеко внизу, у игрушечного сугробика снега, надутого сквозь щель под дверью.

Он лег и долго не мог согреться, а когда согрелся, то понял, что лежит с закрытыми глазами, поджав к самому подбородку колени, и внутриутробная эта поза уже неудобна. Он выпрямился, и озноб вновь пробежал по его телу и затих где-то на затылке. Он чему-то улыбнулся и через несколько минут уже спал.

Спала и собака. И снился ей обрывистый, восходящий к соснам берег и большая вода, и запахи — чуть-чуть сухой корочкой сыра (надо поискать!), немного золой сгоревшего

костра, уже сильнее рыбой, которую внизу, у реки, чистила хозяйка, а в основном — водой, травами, сосновыми иглами и муравьями.

А ему снилось белое поле с крохотной фигуркой там, далеко, почти на горизонте, и фигурка эта махала ему рукой и, наверное, кричала что-то, но она была слишком далеко и он не слышал ничего, кроме ватной пустоты начинающейся оттепели, и он смотрел на эту черную запятую на разлинованном поземкой листе и, сквозь сон, понимал, что надо двигаться, идти туда, но не мог. Так продолжалось всю ночь и поэтому, когда он проснулся (было уже около одиннадцати), когда он проснулся, он не почувствовал ни бодрости, ни силы, а только деревянную усталость, которая бывает, когда ночуешь на казенных замызганных скамьях какого-нибудь дрянного аэропорта, а за щелястой стеной буянит нелетная погода, и во рту только привкус дешевых сигарет, и в самом плеске дождя заключена грядущая многочасовая бездеятельность.

Так он проснулся.

Смутно, без радости он подумал, что все зачеты уже позади и поэтому время надо будет убивать самостоятельно — сходить в кино, или... Или... повторял он, или... но так и не продолжил. Эта безысходная свобода вначале заставила его стиснуть зубы, а потом перешла в широкие размеренные движения — одеться, заварить кофе, накормить собаку, и потому к своему скромному завтраку он приступил уже спокойным, с небольшой издевкой думая о своих настроениях — "интересно, что бы сказал по этому поводу дядя Фрейд?" он покачал головой и сорвал с календаря листок.

Так наступило утро тридцатого декабря.

Так наступило это предпоследнее утро.

И когда он вышел на улицу — в кино, так в кино!.. когда он вышел на улицу, то, словно находясь в совершенно другом измерении, никак не мог попасть в ритм бегущей, мятущейся толпы, людей со сползшими шапками и размотанными шарфами, людей, справлявших последний шабаш високосного года. Они проносились мимо него, и он почти удивлялся или, во всяком случае, завидовал их скорости, озабоченности и

тому безумному горящему в глазах огню, который всегда отличает Людей Дела от простых смертных. И хотя он шел медленно и смотрел на эту величественную панику спокойно и иронично, но жесткий, подстегивающий ритм всеобщего движения постепенно начинал завладевать им, и он уже несколько раз ловил себя на желании подойти к одной из многих очередей и поинтересоваться — "что дают?", но останавливал себя и пытался идти медленнее, но уже не мог, потому что за ним, когда он однажды бессознательно ускорил шаг, за ним уже пристроилась и бежала толпа людей, и кто-то жарко дышал в спину, и он подумал, что, замедли он ход, кто-то сзади гаркнет — "Лыжню!", и он будет вынужден швырнуться к стенке и стоять так весь остаток дня, пропуская мимо себя потную, шуршащую и ничего не видящую кроме "где?" и "почем?" толпу. И прошел он уже и кинотеатр и продолжал нестись дальше, и уже сам дышал в чью-то красную спину, и шарф его веял за спиной, и ему казалось, что кто-то сзади уже утирал ему этим шарфом набегающий на глаза пот.

И вдруг он увидел, что навстречу ему несут шкаф. Обыкновенный трехспальный шкаф, который, поставь его в современной квартире, испортил бы существование каждому, кто осмелился бы пойти на этот неразумный шаг. Но так или иначе — шкаф несли, и он разминал толпу по стенке, словно создавая барельеф памяти неизвестных покупателей.

В самом появлении этого шкафа на суетной улице было что-то судьбоносно-сюрреалистическое, и потому он вместе с остальным населением вжался в стенку, был расплющен, выматерен и оставлен стоять. Шкаф давно пронесли, но он все еще стоял, словно приклеенный к красной волосатой шубе, к которой уже привык за время своей вынужденной пробежки. Простояв так немного, он понял, что стоит в очереди и, решив поинтересоваться за чем стоит, приподнялся на цыпочки и увидел, что далеко впереди какой-то маленький человечек с челкой пепельных волос продает открытки. И еще не до конца понимая, зачем он это делает, купил дюжину открыток, наскоро, чтобы не потерять странно-приподнятое настроение, расплатился и, пройдя еще немного вперед,

свернул в переулок и медленно пошел домой, стараясь не наступать на снег, который окаймлял узенькую тропинку, весело протоптанную по снеговой целине давно не убиравшегося старенького переулка.

Весь этот переулок с лавой снега, стекающей с уютных покосившихся домов, неожиданно вынырнувшей черной чугунной оградой, за которой светился пятачок двора с развешенными и уже задубевшими на морозе простынями, почти неразличимыми на фоне высоких, захлестывающих старую кирпичную кладку стены сугробов, весь этот переулок с его тихой заглушенной и усиленной скрипом снега музыкой шагов, весь этот переулок почему-то слился в нем в то, что раньше называли Рождество, и это слово, и уже горящие сквозь промоины льда в некоторых низких окнах голубые шары, и опять это — хруп, хруп... все это замело его и осталась только теплота будущего, которое всегда начинается с горящей елки, внезапно наступившей тишины и укола света, неизвестно как прорвавшегося сквозь неплотно сомкнутые ресницы; все это вновь родилось в нем, и он назвал это счастьем и был прав, как всегда бывают правы счастливые люди, у которых есть мужество, назвав однажды себя счастливыми, продолжать верить в это и знать, что это действительно так тогда и было.

И он, словно стараясь удержать себя в том рождественском просветлении, не свернул в тоненькую веточку одноэтажного проулка, откуда проходным двором, мимо неестественно розовой облупившейся стены какого-то барака, можно было быстро дойти почти до дома, он не свернул в этот проулок, а прошел дальше, уже весело балансируя на канатике снеговой тропинки, прошел туда, где переулок, упираясь в мрачную, без единого окна красную стену, отражался вправо и, словно забыв свой белый святочный язык, уже цедил обманчивую тишину сквозь редкие зубы наметанных дворниками стогов сена, и он не понял этого, нового для него, языка и будто оглох, и обморочно зазвенело в ушах, и он повернул к дому, думая уже о свисте разогревающегося чайника и собаке, которая будет лежать у ног, и о дне, который будет умирать в

окнах, словно отлетая за белые крыши, туда, где посреди белого поля навсегда осталась зовущая, такая далекая черная тень.

И так оно и было.

Придя домой, он бросил на стол купленные открытки. Стопка от удара пошла веером и почему-то бросилось в глаза их праздничное разнообразие. И странное желание, пришедшее к нему, когда он еще стоял в очереди за этими открытками, желание пойти на попятную и поздравить всех своих бывших друзей с новым годом с надеждой вернуться туда, откуда он ушел, как ему казалось, навсегда, желание это пропало. Осознав это, он собрал со стола открытки и выровнял их в плотный полосатый по краям параллелепипед и с треском провел по уголку указательным пальцем, а потом еще раз и еще, рассеянно наблюдая, как, не двигаясь с места, внезапно появляются и исчезают елочьи лапы, розовые шары и лупоглазые зайцы.

Он долго не мог уснуть.

Светлый свет окна на потолке бледнел, становясь резче — в доме напротив гасли и гасли окна. Наконец погасло последнее, и его комната расширилась, поднялся вверх и стал невидимым потолок, и только свет луны время от времени очерчивал линию подоконника и пропадал, занесенный редкими, уходящими от мороза, снеговыми облаками.

Он встал и подошел к окну. Там, как провал в памяти, темнел дом и только внизу, на втором этаже, горела синяя ночная лампа. Он наощупь вытащил из стопки одну открытку и, не зажигая огня, облокотившись на холодный подоконник, дождался нерезкого лунного света и, не думая о стиле, торопясь написал: "Если... то в 11 или когда захочешь раньше по известному тебе адресу. Прости. Только счастья!", потом оделся, положил открытку в карман куртки, закурил и, оставив удивленную собаку дома, вышел на улицу.

Весь путь до ее дома совершенно не удержался в его памяти. Казалось, что, только выйдя из своего дома, он сразу же вошел в давно и тревожно известное ему парадное. Глухо, во всю ширину мраморных лестниц, проскрежетала дверь, и

это показалось ему странным, потому что, когда он в прошлой своей жизни открывал эту дверь, он никогда не замечал ни ее тяжести, ни скрежета, ею издаваемого. Что это — издержки памяти или что-то действительно изменилось в мире за прошедший отрезок жизни.

Серая кошка брызнула из-под ног и, пролетев пролет, уселась на подоконнике огромного, давно не мытого окна, выходившего во двор, уставленный крохотными сарайчиками и украшенный десятком хилых деревьев. Для него там, за окном, был только провал неба, и серый свет этого неба между двумя нерезкими бликами ложился на черные толстые перила и на широкие ступени, и он, стоя в темноте высокого парадного, видел только изломанную, почти органную музыку серого и черного, и колокольчики бликов на перилах придавали этой музыке тревожность и ту завершенность, которая появляется в нас от неба, уходящего в проем между нависшими над головой соснами, когда сам ты лежишь на остывающих в ночь желтых ломких иглах, и когда руки твои горят от домотканой колючести опавшей хвои, и запоздалый муравей, пробегая по запястью, возвращает тебя к твоей земле и к шороху ветра в кустах внезапно взорвавшейся бузины, и к запаху полыни оттуда, с полей, пересеченных оврагами, над которыми уже парят удивительно резкие на фоне красного заката тени сов.

Наверху, этаже, наверное, на третьем, загремел замок и хлопнула дверь, и послышались осторожные медленные шаги, и кошка, услышав их, потянулась, нервно дрожа хвостом, и он почему-то испугался, как пугался в детстве серьезной музыки, испугался чужого и, как ему показалось, враждебного пространства, и он сунул в ее почтовый ящик открытку, рванул на себя скрежет двери и вышел в сдуваемую с невысоких крыш снежную пыль.

Вернувшись домой, он разделся и подошел к окну. Там ничего не изменилось — тот же мазок лунного света на подоконнике, тот же погасший дом напротив.

Тут луну снова занесло облаками, и синий свет в окне второго этажа забормотал какие-то сонные слова, и ему за-

хотелось спать, и колючий сквозняк, дувший в щели незаклеенного окна, нашептывал — "Спать... спать...", и так уютно и тепло было в квартире, что, когда он лег, то почти сразу поплыла над ним луна, а потом выросли черные деревья и проросли сквозь луну, и она оказалась яблоком, и он потянулся за ним и, стоя на цыпочках, зачем-то до боли вытягивая шею, сорвал его, и наступила тьма.

И уже не слышал он, как вошла в комнату собака и подошла к окну, и, принюхиваясь к холодному, пахнущему морозом воздуху, стекающему с подоконника, долго сидела и смотрела на луну и на полосы мелкого снега, летящего с крыши, и думала о чем-то грустном — может быть, о недосягаемых кошках, а может быть, о спящем и таком беззащитном сейчас хозяине. А когда луна ушла за крышу дома, собака глубоко вздохнула и не пошла на свое место, а легла тут же, уткнув большую несуразную голову в вытянутые вперед лапы.

И уже под утро, когда внизу заскрежетали лопатами сказившиеся из-за московской прописки дворники и, словно по команде, начали зажигаться окна, вычерчивая на черной плоскости дома несложный кроссворд, уже под утро, когда собака потянулась и поплелась на свое давно остывшее место досыпать, уже под утро, когда детям снится, что они летят куда-то и тогда они сжимаются в комочек под сползающим одеялом, уже под утро приснилась ему тихая река с растущими из воды деревьями, отражение которых терялось в прилипшем к воде тумане, приснилась ему река со скрипами уключин и двумя осторожными воронками за кормой и приснились ему еще (и это он запомнил навсегда), приснились летящие над водой белые птицы и ободок солнца, и вкус первой сигареты, и синий скат палатки, и кислый запах убитого росой костра; когда это ему все приснилось и доснилось до крика с берега и до шелеста куги по борту лодки и до плавного удара в мягкий, подмытый песчаный берег, когда ему доснилось все это, в комнате было уже светло и солнце лежало у него в ногах, и ломоть неба в окне был настолько ярок и синь, что он сразу проснулся и встал, и весь большой день, который предстояло

ему прожить, так просто и ясно вписывался в эту морозную синь неба, что день этот показался ему той заведомо удачной работой, после которой кроме усталости остается еще и радость, и уверенность в том, что все в жизни произойдет как надо — верно и точно.

Так он проснулся, и день, весь день, который он провел в беготне по магазинам, весь этот день, который, начнись он подругому, поместился бы в две авоськи, весь этот день был для него как несложный, но никогда не повторяющийся мотив, сложившийся из этого неба и этого солнца, и этого ярко-желтого песка на синем снегу, и девушки, улыбнувшейся ему сквозь оттаянное ладошкой стекло троллейбуса, весь этот день сложился из поднятых воротников и красных носов, из случайно рассыпанного кем-то конфетти, из шума и гомона, как конфетти, разноцветного и округлого, весь день сложился в нем из этих мелочей, и они так точно подошли друг к другу, как будто были заранее продуманы и изготовлены вдумчивым старательным мастером — резчиком по времени.

Приготовление нехитрой еды и неумелое накрывание стола заняло намного больше времени, чем он думал.

И вот уже радио прогудело одиннадцать, и он уже накрыл стол, и уже переоделся и сидел теперь на краешке стула, готовый в любую минуту вскочить и открыть дверь, и он вскакивал, но не потому что в дверь стучали, а потому что слышались ему шаги на лестнице, и он узнавал их, и шаги действительно были, но они обрывались у чужих дверей и наступала тишина, и тогда он вновь закуривал и опять садился на краешек стула, без интереса слушая чарльстоны и твисты, которыми вдруг скоропостижно заболело радио, и уже было полдвенадцатого, и уже не хлопали двери, и только за стеной уже чуть нетрезво раскачивался шейк, и где-то далеко за бульваром поднялась в небо одинокая зеленая ракета, и ровно и мощно светились заиндевелые квадраты окон в доме напротив, и только внизу на втором этаже так же сонно горел синий ночник.

И уже наступила пятнадцатиминутная готовность, и уже хлопнула в потолок и обдала всех пеной первая, неумело и не

вовремя открытая бутылка шампанского, и у чьих-то парадных уже стояли на приколе зеленоглазые пустые такси, и автобусы уже мчались кто куда, и уже ясно чувствовали свою обреченность мятущиеся по перекресткам неудачники с авоськами, из которых торчали желтые шляпки "Столичной" и окаменевшие на морозе батоны, и они, эти неудачники, уже сбивались в группы, и несколько вконец отчаявшихся человек уже разложили на бульварной скамейке всевозможную снедь, и уже ходил по рукам невесть откуда появившийся граненый стакан, уже были забыты ждущие жены, и можно было с уверенностью сказать, что через час они в полном составе прибудут к ближайшему из чьих-то знакомых и поднимут на ноги всю компанию, и будут медленно оттаивать и добродушно пьянеть, и что будут они благословлять тот спешивший по своим делам автобус, который обрек их на эту чуть сумасшедшую, но веселую и необычную встречу, о которой будет долго помниться и которую невозможно будет повторить.

Но было уже без пяти, и он уже понял, что это — всё, и пересел со стула на продавленный диван и уже смял в плотный серебряный катышек фольгу с шампанского, и уже открутил проволоку, но шампанское было холодное и пробка не вылезала и не давила в ладонь, а была будто вклеена в бутылку, и даже руками невозможно было ее вытащить, и тогда он взял пробку зубами, и она неожиданно легко поддалась, и в лицо ему ударил кисловатый винный дымок, а в бутылке зашуршали и еле слышно зацокали пузырьки газа. Он налил, выпил и почувствовал, как прошелестела в горле эта легкая колючая жидкость и сказал спящей у ног собаке — "С новым годом!", но собака не обратила на него внимания, и он растолкал ее, посадил, поставил перед ней тарелку с колбасой, налил себе коньяку и ножкой рюмки дотронулся до еще сухого после сна собачьего носа.

Он выпил.

Собака закусила.

Как это ни странно, он воспринял все это, как должное. Тот голубой день, который он прожил сегодня, каждая легкая

маленькая деталь, запомненная и светло понятая им, всё это было настолько хорошо и этого было настолько много, что он даже обрадовался.

— Вот так и живем... — только и подумал он, встал и зажег ряд тоненьких свечек и погасил свет, и светящийся желтый эллипс, покачивающийся над столом, и прошедшее сквозь грубо граненую рюмку пламя, все это окончательно смыло его уже почти прошедшую настороженность, и ему захотелось музыки, столь же неземной и вечной, как пламя свеч, глядя на которые, возвращаемся мы на круги своя, возвращаемся к себе и смотрим в себя, и видим — что мы есть на самом деле.

Он поставил Баха, и хорал согнул пламя свеч, и помог себе мутным звоном оконного стекла и тогда выпрямился и, тонко звякнув рюмкой, почти замолк и стал неслышим, и будто вздохнул, и окончательно оборвал в себе едва уловимую нежность и заговорил гордо и сильно, заговорил так, словно убеждал себя в чем-то несбывшемся, но прекрасном.

А он сидел и уже не слышал ни музыки, ни шума за стеной. Сейчас его уже совершенно не волновало кто был прав в навсегда ушедшем году. Все ушло, оставив его наедине с будущим.

Когда он очнулся, свечи уже оплыли и в тишине шипел и щелкал проигрыватель с испорченным автостопом. Он залпом выпил рюмку, закурил и медленно пошел вокруг стола, аккуратно задувая свечи. Делал он это осторожно, словно боясь сдвинуть в себе камушек, с которого может начаться лавина. Когда осталась гореть только одна свеча и от нее резкими тенями разбежались по стенам бутылки и рюмки, и тени эти качались и дергались, когда осталась гореть только одна свеча, и не стало пола, и казалось, что идешь ты по бездне, покрытой тоненькой пластинкой ноябрьского льда, и от этого хотелось раскинуть руки и ступать на цыпочках, когда осталась гореть только одна свеча, он выключил проигрыватель, медленно оделся, взял собаку и вышел на лестницу.

Внизу уже хлопали двери, и кто-то уже громко прощался, повторяя — "С новым годом вас! Растите большие, здоровые и толстые!"

Он старался идти медленно, придерживая обгонявшую его собаку. Когда они были на третьем этаже, дверь наконец хлопнула и говорящий, яростно ступая подкованными ботинками, прошагал вниз, потом взвизгнула дверь парадного и наступила тишина.

На улице шел снег.

Шел снег и потому в воздухе потеплело, и по тому, как исчезали следы первых отгулявшихся, по тому, как быстро исчезали эти следы, было ясно, что снег этот надолго, может быть, даже на всю жизнь.

Они вышли на бульвар, и он снял с собаки ошейник, и она рванула вперед, и снег поглотил ее, поглотил, как и весь ничего не понимающий город.

Он шел медленно, и старинные стволы лип медленно проходили мимо него и исчезали, теряясь в огромном снеге.

Внезапно из белой тишины появилась его запорошенная снегом собака и пошла рядом с ним, и он понял, что впереди кто-то есть и поэтому потерял в себе эту белизну и из памяти его всплыло и заставило идти еще медленнее то самое чувство ожидания, которое он так и не смог до конца подавить в себе вчера, и он шел, и смотрел вперед, и уже не замечал, что улыбается.

Чему?!

И он увидел выплывающую из белой темноты детскую горку, и увидел девчонку-девочку-девушку, которая медленно, будто бы во сне, поднималась наверх, садилась на фанерку и съезжала вниз, а съехав, сидела несколько секунд, неподвижно, положив подбородок на поджатые колени и вглядываясь в то огромное светлое пространство, в котором ей предстояло жить. Потом она вставала и снова поднималась на горку, и, смешно покачивая незавязанными ушами своей пыжиковой шапки, снова съезжала вниз и сидела, и смотрела, как падают огромные, с ладонь, снежинки.

И пуст и выбелен был бульвар, и только великодержавные липы медленно проходили мимо него, проходили туда, где летело с горки его прошлое в пыжиковой шапке, и когда он оглянулся, то увидел только застывшее на ходу дерево и свой

неглубокий уже едва заметный след. И он, сам не зная зачем, повернул назад и пошел быстро, но, когда он подошел к горке, там уже никого не было, и только снежинки лениво стекали по черному льду.

И он нашел фанерку, и поднялся на горку, и собака его взошла за ним, и он сел, и, почувствовав почти забытое им детство, съехал вниз и услышал, как, царапая когтями лед, скатилась за ним собака.

Он поднял голову и увидел, как, стремительно нарастая, падали на него снежинки, и в нем зазвучала высокая органная нота, и будто зазвенели колокольцы, и тогда послышался ему храп лошадей, и эта нота поднималась и росла, и уже была им, и он почти не мог дышать, потому что вместо дыхания был только этот переполнявший его звук, и снега, падающие с небес, позванивали и падали мягко, как в ладони, и были теплы, и он засмеялся, зная, что смеется хорошо, открыто, как давно уже не смеялся, и снега эти все летели и летели, и не было им конца, как нет конца у жизни, у прекрасной печали сложившейся любви, как нет конца той музыке, которая начинается в каждом человеке, когда у него есть будущее.

И снега падали уже тяжело, но в этой тяжести видел он только уверенность в себе и в жизни, которую он так сейчас любил.

1968—1996

Москва—Нью-Йорк

Надежда Мальцева

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

Не встанет Илион, низвергнутый богами,
и буря, разметав ахейские суда,
уйдет от берегов. Всё движется — куда?..
Когда найду ответ, в какой бубонной яме
позднейшие лежат и ропщут города
на языке, уже затронутом распадом?
Всё заросло плющом и диким виноградом.
О, знанье чуждое, незримый след следа,

тень света, всем былым присущая Элладам!
Но даже тень его не суждена тому,
кто ищет родину, сокрытую во тьму,
и тирсы вручены неистовым менадам,
чтоб ослепить певца! Лохмотья парусов,
обломок мачты всплыл и снова скрылся в пене,
и не слышны уже об Илионе пени
там, за стеклом дверей, закрытых на засов.

Когда б не глупый спор, зачем Парис Елене?
Когда бы не Гомер, что нам троянский бой?
О, влажность пыли, о, немыслимый прибой,
о, в море навсегда ушедшие ступени!..
Кто знает, Менелай, привыкший спать с рабой
и, может быть, жены не ведавший ни разу,
на прелести ее рукой махнул бы сразу,
расстанься конкурент с другой своей алчбой?

Но призрак был тогда, по древнему рассказу,
похищен вопреки гекзаметрам слепца,
но список кораблей прочитан до конца,
но к морю, подчинясь священному экстазу,
менады вновь бредут, — но пена пахнет кровью...
Что от отечества скитаться в стороне,
что бормотать о нем с собой наедине,
когда оно само подходит к изголовью?

1985

Дмитрий Бобышев

ЗАВИТКИ

Бортнянский. Хор с оркестром. И — Россия.
Над весями висит, светясь, Ave Maria.
Мы слушаем его, ее, как бы впервые,
взмывая на воздушных завитках.

И музыке в ответ великой, малой, белой
Капелла звездная над певческой Капеллой
в подпругах всеми скрипами запела...
И Аз из глубины тогда воззвах.

дек. 1970 — фев. 1996

Геннадий Баравтарло

ФОМА И ЕРЕМА

Ну, что, калече, как тебе хромается?
— Чем под гору трудней, тем легче в гору.
И что ж, далече так плестись да маяться?
— Котомка трет, зато колодки впору.

— Давно ль бредешь-то?
— Посох мой из ясеня,
В версту моей печали, ей ровесник.
— А много ли добра с тобой припасено?
— Я видел двух, но много неизвестных.

— Оглох ты что ль? Куда путь держишь, сказывай.
— Туда ведут неторные дороги.
Там тени движутся в тени топазовой,
Их лица в межесвете серы, строги.

Там отблески зарниц иссиня-розовых
На небесах мигают бледно-синих...
— Известно — под осиной подберезовик,
А под березой, дескать, подосинник.

...Бредут то врозь, то вместе, спотыкаются...
— О чем ты, не пойму я, друг сердечный. —
...Всё шепчут что-то, кланяются, каются,
И тянут на-подъем свой гнет заплечный.

— Ну, будет толковать... возьми вот ситного. —
...Бредут всё вверх, и нет меж них усталых,
И не отводят взгляда неусыпного
От отсвета зари на дальних скалах.

Благодарю покорно.

БАЛЛАДА

Роща стала редеть, отступать, и в прозоре
Показалась наезженная колея
И наизволок церковка. В таксомоторе
Он, она, и дитя на руках у нея.

Подкатили и стали, присев на рессоре;
Дверцы настежь, как крылья с обеих сторон;
Вышли; вынесли; ждали у флигеля; вскоре
Их позвали, — его не пустили, и он

Стал ходить взад-вперед, мимо щели в заборе,
Поневоле шагая быстрей у окна.
В храме кончилась служба, толпились в притворе,
Но во флигеле — не проронила она

Ни единого звука. Ну, что ж, все ли в сборе?
От обедни звонят, и пора им давно
За ограду — и с Богом, за долы, за море
Досягающее до заката; оно

Докатилось до гавани; там, крохоборя,
Рыщут чайки над ней, груз чаинок на дне,
Крепкий воздух настоян на иодистой флоре, —
И от моря до моря только вёрсты одне.

О, какой окоём! что за яркие зори!
Здесь ли им коротать беспризорные дни?
И с платком в кулаке и соринкой во взоре
Ждут у моря погоды покорно они.

* * *

Тоска, от страха чуть живая,
Как кол осиновый в спине.

Я помню, раз в окне трамвая,
Вокзала мимо проезжая —
Трамвая в поднятом окне
Я видел... показалось мне,
Что я вдруг понял пантомиму
Кивавших часто тополей,
Бежавших вдоль путей в полутора
Шагах, заглядывавших внутрь,
Цеплявшихся копной ветвей
За рамы моего трамвая,
Друг другу их передавая,
Шепча рассеянный привет,
И как-то сразу отставая.

Стояло сгорбленное утро,
Одно из тех невзрачных утр —
Согбенных, мрачных, но помимо
Того еще и злых, простывших,
Невыспавшихся и заплывших —
Что от тебя воротят взгляд,
А час спустя, необъяснимо,
Искательно в глаза глядят
И шепчут горестно, прости, мол,
И ты бормочешь вздор в ответ.

Одно из тех, из косолапых,
Из косоглазых тех одно,
Занесшее тревожный запах
Мне в дребезжащее окно
(Я проезжал вокзала мимо);
Мгновенный, узнанный мгновенно,
Не прилетавший столько лет,
Тот самый сплав смолы и примул;
Дымов и дымки; шпал, бурьяна,
Слюды, вагона-ресторана,
Шершавых и сырых газет;
Селитры, сажи, льна и тлена
Окурков; зябкой пустоты
Уборной; борной кислоты;
Снотворного перрона; ночи
Безсонной как фонарь, — короче,
Тот запах Запада, который
Разводит под парами скорый,
Топчась на месте (бодрый бред...),
Дрожа (...бредет одновременно.
Душа...) как мул, почуяв стимул
Погонщика (...бежит вослед).

О, нет, душа моя, о нет!

1983

ДОЧЕРИ

Пол-буханки родины давнишней,
бочка с ржавой дождевой водой;
тертый сумрак, где и первый — лишний,
где жилье обходишь стороной,

где на всем защитная окраска:
лес зеленобур, и хмур, и сыр;

в бочаге колеблемая ряска
в прорехах булькающих дыр.

Как тебе не надоело цокать
и разлуки мускулом играть!
Я всё дальше ворочу лицо, хоть
близок локоть и ржав виноград.

Сны черствеют, зацветает омут,
и набила оскомину скорбь.
Больше тени со стен не стонут,
И привычен мне мохнатый горб.

Правда, у меня хранится пропасть
карт, ревизских сказок, межевых
планов; я порой листаю опись
странных слов, которых нет в живых,

чтоб ломтя раскисшего ржаного,
локтя ссаженнего о косяк
корку снять, и теребить, и снова
трогать мякоть и губу кусать.

НОЧНОЙ АКВАРИУМ
(Восемь терцин)

Дыханье надо заслужить.
Колючей астме
Обязан я желаньем жить.

Когда впотьмах, испуган насмерть,
Глядишь в окно,
Лоб об лед вплоть, но боль не гаснет,

А стынет в озерце; оно
Как глаз Стеропа:
Лбом, а не ртом надышано.

Всхлип каломельного сиропа,
Комок, глоток,
Прозрачный запах гелиотропа.

Глотая, комкая платок,
Переминаюсь
С виска на вздувшийся висок.

Ты скажешь, одноногой аист
Разсвета ждет.
На потном глянце письмена есть:

Добро покой наш иже от.
Поверхность гладка.
Сквозь муть осадка — круглый рот,

Безумный глаз, отлив припадка,
И жабер алая подкладка.

Дышать что пить.

Николай Сарафанников

Три осенних эскиза начала восьмидесятых годов

Оплошность

Темно, беспредметно, пусто. Ночь.

Иллирия Стефановна лежит, откинув тонкое пуховое одеяло, прислушивается к журчанию воды в батарее центрального отопления, — батарея жаркая и спать можно при открытой форточке даже в морозные зимы. Но до зимы еще далеко, бабье лето едва наступило. А сон и после таблетки седуксена никак не приходит. Она лежит и вспоминает то одно, то другое, от времени до времени подавляя тягостный вздох. Вспомнить есть что вся жизнь как на ладони, минутой пролетела, и то, что происходило сорок, пятьдесят, шестьдесят лет назад ах, лучше не считать, цифры портят настроение и только все искажают да, то, что было неисчислимо давно, когда она еще голенастой девчонкой бегала по брусчатке приморского городка, вспоминается теперь даже отчетливей, чем мелкие, убогие события, случившиеся на прошлой неделе или позавчера, вчера.

Иногда по потолку пробегает тусклый отсвет. Это ветер покачивает отдаленный фонарь, который висит на строительных лесах соседний дом капитально ремонтируют, прежних жильцов еще в позапрошлом году выселили, а потом, как это водится, здание отдадут администрации. Доберутся когда-

нибудь и до ее дома, поговаривают, что уже скоро. Но об этом лучше не думать. Лучше переключиться на что-нибудь менее безотрадное.

Глаза Иллирии Стефановны едва угадывают расположения украденных мраком вещей. Вот здесь, слева от изголовья, стоит, упираясь спинкой в подоконник, старое плюшевое кресло, и на нем свалены грудой диванные подушки, ее одежда, две-три читанные на ночь книги под ней. Иллирия Стефановна пробует вспомнить название верхней из них — что же, что она читала сегодня? Гаршина? Лескова? — но не может.

Справа, повыше на стенке напротив нее, висят иконы — две доски поменьше и одна покрупнее, в окладе. Когда-то они появились здесь просто как дань традиции, моде — все собирали и она достала, но теперь, кто знает, не духи ли это ее хранители? Казанская Божья Матерь, Николай Чудотворец. И третья — католическая — Святая Богородица с младенцем... В последнее время Иллирия Стефановна не раз ловила свой взгляд застывшим на них, будто хочет узнать от них что-то. Что? Какую истину? Чего она еще не знает про эту жизнь, прожитую так трудно и фальшиво? Сейчас иконы совсем не различимы, слитые с плотным бархатом потемок, скованные мглой, которая опускается на Иллирию Стефановну, пьяня и одурманивая, но это лишь обман; она знает, что заснет еще не скоро, если вообще заснет.

Из-под потолка до ее слуха доносится легкое, потом все более громкое и ритмичное поскрипывание. Сегодня не вовремя. Ну да, сегодня же суббота. Обычно звуки эти слышны дважды за ночь: около двенадцати и через несколько часов, уже под самое утро. А сейчас вряд ли больше двух ночи. Там, в большой комнате, у Иллирии Стефановны есть часы с боем, ход у них хороший, она всегда проверяет по ним свои наручные золотые часики, швейцарские, но бой прекратился уже лет двадцать назад, раньше каждые полчаса из их корпуса выдавливался глуховатый хрип, а в последние годы и его не стало слышно. Время же Иллирия Стефановна давно научилась определять без всяких часов. Ночью это даже проще,

чем днем... Этажом выше, как раз над Иллирией Стефановной, живет молодая и чадолюбивая семья. В общем, приятные люди, он — слесарь, она — кассирша в их булочной. Вежливые. Всегда поздороваются. Иногда и сумку помогут донести. Детей у них пока трое — мал мала меньше. Но у них еще все впереди. Иллирия Стефановна вздыхает, улыбается. И она ведь была молодой.

Ее Мика, как он был хорош! Взбитый густой чуб. Узкие черные усики. Погоны. И строен как тростинка. Все девочки гимназии засматривались на него. На балах играл оркестр и не было кавалера лучше Мики. В их невеликом городке все всё друг о друге знали. Ах, Мика, Мика! Ветреный баловень уездных барышень!.. Иллирия Стефановна отирает щеку тыльной стороной запястья... Сколько горючих слез пролила бедная Илька, когда в двадцать первом его убили. Ее первую и единственную любовь. И — не только ее, как потом оказалось. Добрых полгимназии оплакивало Мику. Наверное, он предчувствовал, что не проживет долго, — Иллирия Стефановна верит в предчувствия. До сих пор в старом мамином медальоне у нее хранится завиток Микиных волос. Сколько всего растеряно за пронесшиеся вихрем годы. Но заветную прядку сохранила. Никто об этом не знает. Никто.

Тогда, в первый их вечер, они долго сидели, укрывшись от всех, на галечном пляже — стояло знойное лето, такого лета Иллирия Стефановна не помнит, — и потом ушли дальше, и он ей сказал, что они будут любить друг друга всегда и умрут в один и тот же день. Но сначала доживут до ста лет. Наивный мальчик. До ста она и сама, должно быть, не протянет, — Иллирия Стефановна подавляет вздох. — Шалун был так ласков и настойчив. И она уступила ему без размышлений. О, как она была права! И до сих пор не раскаивается в этом. Их долго искали. Подувший к ночи ветер разносил по берегу встревоженные голоса взрослых. И никому в голову не пришло заглянуть в уютное нутро старой рассохшейся барки. Начался дождь, и они выбрались оттуда сами.

Сутолока наверху прекратилась. Скрипенья не слышно больше. Иллирия Стефановна переворачивается на бок лицом

к стене и натягивает одеяло до подбородка. Тихо. Легкий озноб прошел по ее телу. Она провела рукой по бедру, колену, размяла занемевшую икру. Левая нога беспокоит ее в последние годы все чаще. Кровь застаивается, мучают судороги, и когда-нибудь это плохо кончится. Важно не лежать подолгу, расхаживать ногу. Она знает об этом. Только иногда, видит Бог, совсем нет ни сил, ни желания куда-то идти, что-то делать. Все стало обузой. Но Иллирия Стефановна даже себе нечасто признается в этом.

А дел множество, и делать всё приходится самой. Лежать некогда. Раньше было проще. Руки слушались. И для нее не составляло никакого труда прибрать, почистить, перемыть всё в доме. Пылесос — подарок Вики, Викентия Матвеича, высокого, умного, но такого утомительного, — с ним у Иллирии Стефановны так и не сложилось, год назад он умер в доме престарелых, где-то в Измайлове, — да, пылесос, подаренный им как-то на Рождество, так и стоит в коридоре 'вместе с ненужной рухлядью, к пылесосу Иллирия Стефановна привыкнуть не смогла. И потом, это раньше в доме бывало много гостей, и ковер, устилающий всё пространство пола в большой комнате, столовой, приходилось дважды в год — весной и осенью — выносить во двор, выбивать и сушить. Этим занимался обыкновенно Пепик. Иллирия Стефановна терпеть не могла, когда гости требуют тапочки, чтобы переобуться — глупое нововведение и скверная манера: у Или в доме, она превосходно помнит, и в гостиной, и в столовой, и в спальне родителей, и в детской — всюду лежали на полу ковры, и никто никогда не заботился о перемене обуви. В прежние времена люди вообще умели жить со вкусом.

Да, Вики уже нет. Вика был заслуженный инженер. Это он — надо было обзаводиться стажем — порекомендовал Илю в мастерскую по ремонту электро-бытовой техники, где она проработала приемщицей, а потом завскладом, на выдаче запасных деталей, последние семнадцать лет до ухода на пенсию. А Пепик работал в управлении. Их мастерская находилась у него в подчинении. Пепик был смешным. Боялся жены и всегда торопился вернуться домой вовремя. Тем

лучше. В последние годы он стал невыносимо скучным. Он работал тогда уже в телевизионном центре на Шаболовке, отношения их постепенно истончились, как прелая нитка, и сошли на нет. Пепик. Брыластый увалень! Любил икру. Мог в один присест выпить полторы бутылки коньяку. И — о, как он был искусен во всем, что касалось галантного обхождения, ее неутомимый эрот Пепик. Пять лет назад у него случился инсульт, и его жена до сих пор с ним возится. Кажется, он уже никого не узнает.

Иллирия Стефановна снова переворачивается на спину. В голове у нее медленно возникает тягучая мелодия, она растет, множится, рассыпается на отдельные аккорды, гулким звоном после каждого интервала отдаваясь в виске. Что это? Какой-то позабытый вальс? Или?.. Да, да. Шуберт. "Неоконченная". Это было сразу после войны. Они пошли тогда в Большой зал. Она и Тоник. Антонин Львович, незадолго перед тем вернувшийся с фронта целым и невредимым. Приятель Софроницкого и сам великолепный пианист. Конечно, руки уже были испорчены, и играл он тогда уже только дома, и то редко. Но за Тоника она бы, пожалуй, вышла замуж. В сорок восьмом его не стало. А Шуберт так и звучит у нее в ушах. Звук плывет, завораживает, затягивает тугой обруч вокруг ее затылка. Иллирия Стефановна впадает в дремоту. Может, хотя бы на часок удастся забыться. А завтра опять вставать и куда-то себя тратить. С утра — в ближайший магазин: творог, кефир, если привезут. Шуберт плывет, то подступая к самому темени, то отдаляясь и замирая где-то в мякоти подушки. После магазина — домой. И да, надо не забыть взять с собой хлеб для голубей и воробьев. Воробьев Иллирия Стефановна предпочитает голубям. Шустрые и резвые. Хлеб уже размокает. В кухне на столике. В голубой обливной миске. Шуберт плывет и плывет... Боже! Да ведь у нее замочено в ванной белье! И не закручен кран. Воду отключили на ночь, когда ванна налилась только на одну треть. И она, да, она так и не увернула кран. Опять!

Иллирия Стефановна рывком скидывает с себя одеяло, вскакивает с дивана, пол холодит ноги, она нащупывает ступ-

нями шлепанцы и торопливо устремляется к ванной. О, Матка Боска! Только не это! Она уже три раза в этом году топила соседей снизу. И два раза пришлось платить, в третий раз простили. Как стыдно! На бегу ее пошатывает и она перебирает руками то спинку стула, то край стола, то дверной косяк. Распахивает дверь в ванную.

У нее отлегает от сердца. Воды в ванне ровно столько же, как было с вечера. Белье, наполовину погруженное в воду, уже пропиталось влагой, но даже порошок — Иллирия Стефановна пользуется "Лоском", немецким — еще не всюду размок. Она подходит к смесителю, натуго заворачивает пластмассовую рукоятку левого крана с синей пупочкой посередке. Слава Богу, успела!

Иллирия Стефановна тихо возвращается в столовую. Грузно садится на обитый ободранным сафьяном стул. Надо бы давно заменить обшивку на всех стульях, да где найти обойщика! И наверное, это дорого. За окном уже брезжит скорый рассвет. Мало пришлось сегодня поспать. Ну да ладно, доберет часок-другой днем. И она идет на кухню готовить завтрак.

У Ивана

Троллейбус дернулся и остановился. Народ стал выходить.

Тетка Марья тихохонько выгрузилась через задние двери, поудобнее ухватила сухонькими старческими руками свою поклажу — две авоськи и пластиковый мешок, туго набитые пустыми бутылками, поднялась через двор по пригорку к высотному зданию, в цокольном этаже которого располагается приемный пункт стеклотары от большого гастронома, известный на всю округу. Здесь посуду принимают каждый день, без выходных, очень удобно. Авоськи у Марьи внутри проложены тряпицами, чтобы посуду не видно было, и каждая бутылка обернута клочком газеты, так не гремят, а то решит

еще кто, что бабка — пьяница или что по урнам собирает после выпивох.

Очередь порядочная, часа на два-три. Ну, да ничего, ей спешить некуда, только бы до конца работы приемного пункта успеть. Должна успеть. Еще только половина четвертого. Марья спрашивает последнего и устанавливает возле стены свой мешок и авоськи. Принимает нынче Сима, эта — спокойная и сноровистая, дело в руках кипит. А в очереди, похоже, все из других районов — ну, тоже понятно, только тут всякие-то бутылки и принимают: и привозные с долгим горлышком, и с закруткой, которые нигде больше не берут. Люди-то отовсюду и едут...

Нет, есть и свои, местные. Вон Дуська из Новых Домов. Эта на бульваре собирает. Ее все знают. А вон и Танька Пуговка, нос у нее приплюснутый, потому и зовут так. В автопарке сторожит, ей шофера отдают, жалеют. У нее трое ребят, в школу еще ходят, и все от разных. И Райка тут же. На Прудах живет. Вечно по помойкам шныряет.

— Вы будете стоять? — вежливо спрашивает у Марьи парень с усами и в кепке, за которым она заняла очередь.

— Буду, куда ж мне деться, внучек! — отвечает она. Смотрит на него: студент, видать; стипендию, поди, пропивает, из-под сухого красного принес все как одну — образованный, не голытьба какая-нибудь.

— Я в киоск к метро схожу, курева куплю, — говорит парень. — И вернусь, а бутылки пусть постоят?

— Иди, иди, — соглашается Марья. — Я тебя приметила. Всё путем будет. За бутылки свои не опасайся. Сохраню.

Парень в кепке уходит, а за Марьей занимает очередь дородная дама в манто. Вот и пролетело лето красное, думает Марья, а вроде как и не было. Осень на дворе. И деньки-то уж заметно короче стали. Ноне и по-старому уж сентябрь наступил. Дама поставила у ног огромную синюю сумку. Кожаную. Весной такие-то в универмаге выбрасывали. Ишь отдышаться не может, с непривычки-то, сердобольно поглядывает Марья на запыхавшуюся женщину.

— Гостей принимали? — спрашивает старушка, чтобы

завести разговор, стоять-то долго, и кивает на сумку, скученно набитую бутылками из-под водки.

— Да, сын женился, — счастливо говорит та. — Два дня праздновали.

— Ну, свадьба — дело хорошее. — Марья перетаскивает свою посуду чуть вперед, очередь хоть и медленно, но все-таки продвигается. — Или, бывает, молодые придут стариков проведать, тоже без рюмки не обойдешься, выставлять надо. А то к внуку товарищи заглянут, вместе учатся.

— А мой сын работает, — говорит дама. — Но хорошо получает. И работа ему нравится. Он механик по электронному оборудованию.

— Работа всякая хороша, была бы люба!

— Вы правы, — замечает дама. — Я сама оформила пенсию еще зимой, а продолжаю работать на полторы ставки, целый день занята, и время идет незаметно. Ну, и денег побольше.

— Денег-то не хватает, как в бездну улетают, — подтверждает Марья. — Да ведь и расходов много. Куда ни ткнись — все деньги. Вот и собирают бабы, что накопится за полгода, да ведь и ставить некуда, чего углы-то захламлять, идут сдают. Мужику на чекушку. Чтоб не ворчал... Здесь, здесь ты стоишь, — окликает она вернувшегося усатого, — не пропустил. Вот и бутылки твои, я их двигаю.

Парень становится в ряд на свое место.

Разговор течет неприхотливо, то прекратится, то опять вспыхнет, очередь тает понемногу.

Марья снимает с бутылок газеты, аккуратно складывает бумажные обрывки в ящик возле прилавка, поставленный специально для мусора и бутылок со сколом, многие не проверят, несут и сдать норовят. Бывает, и спорят. Люди, люди, вздыхает старушка.

Получив деньги от приемщицы, Марья убирает их в кошелек: три рубля отдельно, в большое отделенье, и двенадцать копеек — в маленькое. Слава-те, Господи, разделалась. Выбирается на улицу, бредет к троллейбусной остановке. Времени, наверно, уже шесть.

На троллейбусе ехать недалеко. Давка такая, что того гляди

голову снесут. И кошелек с руками оторвут. Не успевает Марья заплатить за проезд, как уже ее остановка. Ну да ладно, в другой раз бросит. Марья выскальзывает на тротуар. Минует двор. Входит в подъезд.

Лидка, видать, снова запила: третий день не убрано, окурки валяются, наплевано, и сору натащили на ногах. Не думают о тех, кто на первом этаже живет. Будто и не люди! Она поднимается на площадку, отпирает дверь.

В коридоре горит свет. Кто-то из соседей, значит, дома. У них и вечно так — неопалимая купина! Зажечь зажгут, а чтобы выключить — тут их нет! А по счетчику платить — на всех раскладывают... Веселятся, видно, еще — давеча Петька к Маринке шел, может, и ночевать останется. И как жена терпит! А может, и Гошка дома, тоже прощелыга, нигде больше двух недель не работает. Вечно гонят за пьянку.

Марья долго возится с французским замком, наконец открывает дверь своей комнаты. Включает свет. Тусклая лампочка бросает слабую тень от оранжевого абажура с кистями на заправленную вязаным покрывалом кровать с вышитым подзором и задинкой, громоздкий комод, на задвинутый в угол прямоугольный небольшой стол. Старушка достает из пальто кошелек. Зелененькую бумажку разглаживает и, отогнув край белой салфетки на комоде, помещает под нее. Мелочь опускает в копилку — монетки проскальзывают через прорезь в голове глиняной кошки и со звоном падают внутрь.

Марья раздевается, вешает пальто на крючок. Чем заняться? Есть не хочется. Чайку бы попить, у нее помадка еще есть в кулечке, да ноги не двигаются. Устала. Ладно, решает она, погожу. Потом, может, соберусь, когда там, на кухне, угомонятся, а то и к плите не подойдешь.

Она садится на скрипучий венский стул. Облокачивается одной рукой на тумбочку. Прислушивается к тихо говорящему динамику. Про чужестранное. Не интересно... Надо убрать сетки. Теперь понадобятся не сразу. Обычно сумки хватает. Сумочка у нее небольшая, но вместительная и легкая. С ней она и ходит, в магазины или куда. Везде с ней. И все сама.

Глаза Марьи поднимаются к мутноватому фотопортрету мужа-покойника, висит над кроватью в тяжелой рыжей рамке — в агитпункте дали как-то, никому была не нужна, после выборов осталась. Муж умер давно, до войны, и она его забыла, а всё легче, как взглянет на фотографию-то, хоть и плохонькая, увеличенная. Посмотрит — вроде и у нее кто-то есть.

Муж Иван работящий был. Неугомонный только. В Москву, в Москву все рвался. И ее из деревни увез, власть уж новая была, — а чем плохо в деревне-то было? Какое-никакое, а всё свое хозяйство! Одно время корову держали, потом пала — овцу завели. Нет! Сорвался! Ну и что?! Устроился на ткацкую фабрику. И она туда же определилась, в цеху подметать. Комнатку вот получили, радость, конечно, была — а всё равно, разве со своим-то домом сравнишь! Сам-то живехонько сковырнулся. И трех лет в городе не пожил. От чахотки скоротечной помер. На Ваганькове положили. А детей Бог не дал. Так, почитай, и прокуковала всю жизнь одна. По первому-то времени, как овдовела, и ухажеры были, все в дружки набивались, да только ей на время не надо было, а путевый так и не попался, чтоб надолго.

Марья прислушалась к пению в динамике. Приятная песня. С радио-то хорошо жить, радостно, она и не выключает его никогда, пусть говорит — вроде как с ней... Бывало, и у них на посиделках хорошо певали. Соберутся у кого-нибудь в доме, у кого место есть, у Панкратовых или у Чернышевых, сядут по лавкам, кто с вязанъем, кто с пряжей, разговоры ведут да поют. Марья заводит. Звонко так! Голосистая была. А другие подхватывают. Складно получается, на другом берегу реки слышно...

Песня в динамике умолкла. Марья, кряхтя, поднялась со стула, стул в ответ заскрипел. Она тщательно сложила вчетверо пластиковый мешочек с потертым напечатанным на нем изображением — была раз на кладбище, к Ивану ходила, кто-то там на скамейке оставил, совсем хороший, она взяла, — скручивает жгутами обе авоськи и убирает всё в нижний ящик комода.

— Ох-хо-хо! — с трудом разгибается она, держась рукой за поясницу, воспаление седалищного нерва мучает. При новых-то жильцах — Гошку жена бросила, пропащий, вот комнату получил, которая после Антонины Михайловны осталась, Маринка тоже гулящая, третий год как в угловой живет, бывшей Алексея Сидорыча, хороший был старичок, чистенький, все чаи вместе пили да про прежнее разговоры вели... да, не то уж теперь, при новых-то. Ничего нельзя оставить ни в кухне, ни в ванной комнате. Давеча соды хватилась, полотенца простирнуть — так и не нашла! А то мыла кусок новехонький положила — хозяйственное, первый сорт, и положила-то не на виду, под раковиной — сама так и не притронулась ни разу, а всё равно только месяц пролежало, измылили. Или масло постное, было у нее на столике в кухне, неполная бутылочка, всё берегла, черту карандашиком отметила, и не открывала бутылку-то, а тоже уж только на донышке осталось ныне. — Ох, — вздыхает Марья снова. — Грехи наши тяжкие! — Пора и на отдых, натрудилась за день, сегодня вон почти до закрытия достоялась. Утомилась. Спину ломит. А завтра опять с раннего утречка подыматься надо. К Ивану сходить, к кормильцу, могилку причередить. А там то да се. День-то и пробежит.

Старушка подходит к окну. Смотрит через приоткрытые тюлевые занавески во двор, там холодно, пусто — все по домам разошлись. Никто не сидит. Из бездельниц-то. Марья переводит взгляд на цветы, заполонившие ее подоконник: алой, ёлочка, огонек — цветет меленько, звездочками, Катерина из овощного дала отросточек, — герань-доктор — при ожогах помогает. Вот бальзамин в горшочке красненьком уж как разросся, а недавно и посадила-то. Горшочек красивый, только с одной стороны с трещинкой махонькой — тоже на кладбище нашла.

Марья отходит от окна, разбирает постель, раздевается, гасит свет и вскарабкивается на свое высокое опрятное ложе: — Благослови, Господь, рабов своих! Подай костыль, Григорий! — шепчет она когда-то запомнившееся в детстве и бегло крестится.

Да, на кладбище теперь хорошо. Листья жгут, дымком потягивает. У них раньше в деревне ботву так-то жгли, после картошки. Дом их высо-о-ко над Окой-то стоял, далеко за реку видно! А кладбище за три версты было, за Бежецким ручьем. Все у нее там и остались, под березками. Уж теперь не побывать. Ну, да там хорошо лежать, никто не безобразничает. Здесь не так. А всё равно теперь уж здесь положат, к Ивану под бок.

Не так, не так здесь. Народу чужого много. В обычные дни, на неделе, поменьше, конечно. Не очень много. Всё к артисту одному приходят, справа у самых ворот лежит, оградку еще не поставили, только загородка милицейская, чтоб могилку не топтали. Молодой, говорят, погиб. Все песни правдивые пел... А еще к писателю — тот полевее похоронен, и дорожка его именем названа, этот, кто-то сказывал, от пули — к нему тоже ходят. У артиста цветов поболее, обору нет, да все крупные, яркие, и георгины иной раз кладут, а то дак и целые венки живые. Ну да ясное дело, родни-то еще много, да и товарищи тоже когда навестят, пока не забылось. Ничего, видать, был, общительный... А у писателя-то — стишки складывал — свои, поди, все уж подобрались, как у меня, грешной — никак Господь не призовет! — писателю-то — давно уж лежит в земле сырой — только ежели кто чужой и принесет цветочек-другой, поставит в баночку, а то в стакан. Чужие они и есть чужие. Немного цветов у писателя.

Марья тяжело ворочается, опять в ногу вступило... Ныне что у нас? Пятница была? Значит, воскресенье после завтра будет. По воскресеньям — лучше на кладбище. И родственники на могилы приходят, поправить чего или помянуть. И в храм идут многие. Иные и свечки ставят к образам, и немало. Деньги, значит, есть. Сама-то она, бывает, в храм зайдет, перекрестится, постоит, службу послушает — неплохо поют. А вот на свечки уж денег не хватает. Дорогие теперь. По полтиннику и по рублю... А больше Марья гулять любит. Посидит у Ивана, а потом гуляет. Просто так. Дорожки-то длинные. Хорошо думается, пока идешь. И видно по сторонам-то, кто просто к родимой оградке пришел — песочку подсыпать или

смести лист пожухлый, а кто и — вдвоем, втроем — посидеть рядком, поговорить ладком. Все больше мужики. У этих уж без бутылки не обойдется. А то и две разопьют. "Кавказ" портвейн или "Иверия", тоже красное. По дну-то заметно... Крепкое... Ну, недолго сидят, конечно — все торопятся, дома жены ждут. Обратно-то идешь по дорожке мимо — глядь, а уж их и след простыл. Только бумага, да крошки, да пустая тара прислонена к деревцу или там к скамейке. Ну, приберешь маленько, все-таки кладбище, не вертеп какой... Не всякий, конечно, оставит, иные и с собой уносят. Народ разный... Грибов тоже много возле могил растет, только все поганые, суп не сваришь. А то раз укроп попался, кто-то семечки обронил, закусывал, вот он и вырос на другой год. Укроп-то хорошая травка. Был бы балкон, посадила бы в ящичке, да вот на первом этаже жить приходится... Марья снова переворачивается. Теперь в бок отдает... Посадить-то можно бы и под окном, земли много, и всё равно пустует, ничего на ней не сажено. Да разве разрешат! И ребятишки вытопчут!..

В комнату чуть слышно стучат. Марья легко вскакивает с кровати, накидывает на ночную рубашку халат, запахивается, поправляет на голове платок. Идет отворять. Гошка.

— Теть Маш! У тебя рублевки нет? До понедельника. Не хватает. А то через десять минут закроют.

— И-и, откуда у меня?! — говорит Марья. — С утра последнюю мелочь выскребла, на свеклу и на морковь. Капуста-то этта была куплена. Щец захотелось, кисленьких. А до пенсии-то еще пять деньков. Сама не знаю, как дотяну.

— Да? — с видимым сожалением, не то с сочувствием говорит Гошка. — А может, у тебя бутылки какие завалялись? Я бы на обмен сдал.

Марья вскидывает руки.

— Откуда у меня, милый, бутылки! Или я пьющая?! И растираюсь-то скипидаром. Полпузыречка осталось. Коленки все ноют. И в пятку тут как-то вступило. Насилу отошло. — Марья берется за ручку двери. — Ты у Маринки спроси. К ней даве Петька шел, я в окошко видела, цветы поливала. С целой сумкой, с тяжелой. Поди уж все выглохтили.

— Схожу попробую. Спасибо! — говорит Гошка.

— Ступай, ступай, она даст, — Марья дружелюбно кивает ему и закрывает дверь.

Майка

Девочку зовут Ника. У нее серые глаза и пушистые, шелковым дождем рассыпающиеся по узким плечам волосы. Учительница в классе всегда называет ее полным именем. Ника две недели назад пошла в первый класс. "Вероника Королева! Скажи нам, что за слово я написала на доске? — говорит учительница громко, чтобы всем было слышно даже в конце классной комнаты. Сама Ника сидит за первой партой в среднем ряду и, услышав обращенный к ней вопрос, с готовностью, стараясь сделать это бесшумно, поднимается. "Скажи нам, — отчетливо повторяет Розалия Максимовна, — какое это слово?"

Розалия Максимовна молодая и, конечно, неопытная. Это слово все знают. Ника давно уже умеет читать, как и все дети в их классе. Читать Нику научил дедушка, еще когда ей было три года и она уже жила в Кинешме, маленьком городе на Волге, у дедушки с бабушкой. Обратно к маме в Москву она переехала жить только месяц назад.

Учительница внимательно смотрит на Нику. "Вы написали слово "мама", — звонко отвечает девочка. "Правильно, Королева, садись! — Розалия Максимовна мягко кладет руку на плечо Нике, как будто хочет помочь ей сесть, и медленно движется дальше между рядами парт. — А теперь, дети, кто из вас сможет определить, сколько слогов в слове, которое я написала?"

У Ники мама — художник. Художник-шрифтовик. Мама оформляет книги в разных издательствах, где их делают. Рисует отдельные буквы, потом складывает из них слова для названия книги. Бывает, что всё нарисованное и наклеенное

на толстую белую бумагу мама мнет и выбрасывает в мусор. И начинает рисовать всё заново. Хотя и то, что она выбросила, тоже было очень красиво и аккуратно. Но маме почему-то не понравилось. Трудная у мамы работа. И вообще рисовать шрифты очень трудно. У мамы есть несколько толстых огромных альбомов, где напечатана на многих страницах только азбука. На каждой странице — по-своему. И иногда — не по-русски. Русская азбука называется кириллица — это, как объяснил Нике мамин друг Лека, в честь человека, который жил очень давно и придумал азбуку. Его звали Кирилл и он жил в Болгарии. У Ники в классе тоже есть два мальчика, которых так зовут. Кирилл Щеглов в одной паре с Никой ходит после второго урока в столовую, где дают школьные завтраки.

Ника усердно пишет в тетрадке: "Мама, мама, мама...", стараясь сидеть за партой прямо и не сгибать позвоночник. Дома мама всегда говорит ей, когда Ника делает уроки за кухонным столом: "Никуша! Не сгибай спину! Испортишь осанку!" Но табуретка на кухне низка для Ники, а узкий, приткнутый к стене диван, на котором обычно спит мама, еще менее удобен. Можно, конечно, делать уроки в комнате за письменным столом, но в комнате пусто и безрадостно. Вся интересная жизнь проходит на кухне. Мама на кухне и готовит, и работает. И все мамины друзья тоже сразу из холла, едва кивнув Нике, если она играет в комнате, и за что-нибудь ее похвалив, направляются на кухню. Почти все мамины друзья курят: и Саша, и Лека, и Сева. А в комнате мама курить запрещает — Ника должна дышать свежим воздухом. На кухне курить понемножку можно, форточка там почти всегда открыта. Но дым Нике совсем не мешает, он даже вкусный, и с гостями на кухне весело, они все время о чем-нибудь рассказывают.

Розалия Максимовна вызывает к доске Катю Федорову, она должна написать мелом слоги, которые дети уже знают. Катя — соседка Ники по дому. Иногда они вместе идут утром в школу. Катя с мамой или с папой. Ника — с мамой или с Сашей. Саша — лучший мамин друг. Он чаще всех других

бывает у них дома. А папы у Ники нет. То есть он есть, и даже живет на соседней улице, но у него есть другая семья и совсем маленький сын. Ника знает из разговоров взрослых, что это ее брат, но никогда его не видела. Ему всего два с половиной года. Еще у папы есть собака. Колли. Зовут ее так же, как и в фильме, который показывали по телевизору, — Лесси. Она редкой масти — белая с черным. Обычно колли бывают коричневыми. Ника сама узнала о собаке. Однажды она играла во дворе и к ней подошла женщина, прогуливавшая эту колли. "Нравится? — спросила она Нику. — Хочешь поиграть? Она добрая". — И протянула Нике поводок. А собака, и правда, была доброй. Обнюхала Никино пальто и лизнула ее в руку. Но в этот момент мама вышла на балкон и крикнула Нике, чтобы она сейчас же шла домой. Уже холодно. И пора обедать.

Когда Ника пришла домой, она заметила, что мама плакала. "Что с тобой, мамочка? Ты тоже порезалась?" — спрашивала Ника. На прошлой неделе Ника помогала маме чистить лук и неосторожно порезалась ножом, пришлось два дня ходить с пластырем на пальце. "Мама? Тебе больно?" — "Ничего, ничего, дочка! Все пройдет!" — сказала мама, а сама пошла в ванную и долго мыла там лицо под краном, хотя до вечера было еще нескоро. Потом к ним зашел Лека, и Ника слышала, как они тихо говорили с мамой на кухне, и Лека утешал маму, а мама жаловалась ему на женщину с собакой, повторяя, что та хочет отбить у нее ребенка.

Звенит звонок. Урок письма окончен. Дети встают. Потом шумно высыпают в коридор. Школа, в которой учится Ника, английская. На всех дверях классов — непонятные пока еще Нике надписи на стеклянных табличках, сделанные по-английски. Английский язык им будут преподавать только со второго класса. Но Ника уже знает много английских слов. И весь английский алфавит. Она выучила его по большой, подаренной мамой книге вместе с Лекой. Лека хорошо знает английский. О чем у него ни спросишь, он сразу объяснит, как это сказать по-английски. Иногда даже говорит, что сказать можно и так, и так. Он переводчик и изучал английский язык в институте. Давно уже. Раньше у него и семья была, но сейчас

он живет один. С мамой они знакомы тоже давно, и он часто к ним заходит после работы.

Во втором классе Нике будет легко учиться. Учитель спросит у нее о чем-нибудь, как это называется по-английски, а она без запинки ответит. Лека считает, что каждый день надо запоминать хотя бы два-три слова. Но Ника может запомнить и много больше.

Начинается урок математики. Они пишут цифры. 3 + 4 = 7. Главное, научиться писать ровно и с правильным наклоном. Это удается не всегда. А сами действия простые. Этим летом, в июне, Ника ездила с дедушкой на теплоходе вниз по Волге, навестить дедушкиного брата дядю Федю, это недалеко от Кинешмы, три часа плыть и еще километр пройти от пристани. И тогда, стоя на палубе, Ника с дедушкой как раз повторяла действия, они считали пролетающих чаек, всё время вившихся над кормой, деревья на берегу и маленькие фигурки людей у самой воды. Еще дедушка сказал тогда Нике, что название их городка — старинное, так же как и другого города, ниже по течению, — Решма. Казацкий атаман Степан Разин поднимался на своем струге с другими казаками вверх по Волге и вез персидскую княжну. А потом зарезал ее и бросил в воду. Такая есть легенда. И Решма — это место, где он ее зарезал. А Кинешма — там, где кинул ее тело в Волгу. И народная песня об этом есть. Но может быть, произошло это где-нибудь и в другом совсем месте. Никто точно не знает.

Легенды бывают иногда очень красивые. Нике надоело заполнять клеточки в тетрадке цифрами. Получается всё время косо и криво, не то что у Розалии Максимовны на доске. И Ника решает, что, придя домой, она снова перепишет все строчки цифр в тетрадь. В новую. Мама купила много новых тетрадей. И мама бывает довольна, когда видит Нику за работой. Все остальные тоже довольны и всегда говорят: "Ника! Ты еще не сделала уроки? Пойди за письменный стол и позанимайся". А сами будут сидеть на кухне и разговаривать. Но Ника не такая уж дурочка. Она тоже тихонько устраивается и занимается чем-нибудь здесь же, рядом со взрослыми.

Ника дописала последнюю строку действий и ждет, когда учительница даст новое задание. О чем она думала?.. О легендах! Лека рассказывал ей, что Ника — это имя древней богини греков, у нее были крылья, и она приносила людям успех, слово это по-гречески значит "победа". Но ее, Нику, назвали в честь другой женщины, которая жила очень давно. У нее были красивые волосы, которыми она всех очаровывала. И наверное, поэтому у Вероники тоже такие великолепные длинные волосы, сказал Лека. Он вообще добрый. Ника однажды сказала ему: "Лека, будешь моим папой?" Но он погладил ее по голове и каким-то не своим голосом сказал, что папа у нее Саша. Саша тоже хороший, он помогает Нике вечером перед сном делать зарядку, но целыми днями пропадает на работе и редко играет с ней. Разве Ника сама не может выбрать себе папу, раз ее настоящий отец нашел другую семью?

Звонок. Уроки закончились. Ника укладывает тетрадь, учебник и ручку в ранец. Детей строят парами и ведут к раздевалке. У подъезда школы Нику встречает мама. Целует ее. И они через двор идут к калитке мимо кустов боярышника с ярко-красными плодами. "Ну, как, хорошо сегодня было в школе? — спрашивает мама. — На завтра много задали?" — "Хорошо, — отвечает девочка. — Ничего не задали!" — "Как так ничего? — удивляется мама. — Разве писать ничего не задали?"

Они переходят улицу на зажегшийся зеленый сигнал светофора. "Писать задали, — говорит Ника и умоляющим голосом добавляет: — Мама, купи мне собачку!" — "Какую собачку? — мама оторопело вглядывается в лицо Ники. — О чем ты говоришь?" Девочка останавливается и, полуотвернувшись, начинает плакать: "Да, когда я жила у дедушки и бабушки, у меня была собачка и она со мной играла". — "А, ты о Майке вспомнила?" — успокаивается мама. — "Я тоже буду звать ее Майкой, — продолжает Ника. И буду любить ее". — "Ника, дорогая, ты же по полдня бываешь в школе. Собачка будет скучать. И потом, ее несколько раз в день надо выводить гулять". — "Я буду выводить гулять, — обещает Ника. — И она будет со мной спать, в комнате".

Мама вздыхает. "Хорошо, я подумаю, — говорит она, чтобы унять слезы девочки. — Только больше не будем плакать! А?" И мама с дочкой, взявшись за руку, заворачивают на свою улицу.

Василий Яновский

Ересь нашего времени

Роман

Фотоны и волны тоже сбиваются с пути.
Ксаверий де Пржещинский

Утро, по обыкновению, сменило ночь. Касьянов проснулся: в глаза ему били желтые пятна отраженного (соседними окнами) солнца. Он сперва очнулся, а потом лишь заметил бледные и резкие блестящие лужицы отбрасываемого света. Но кто-то в Касьянове охотно сделал рабский вывод: его разбудило восходящее дневное светило.

Образ отогнутых озорных лучей ему напомнил о свободе. Свет состоит из фотонов: ударяя в стекло, часть этих ядер проникает дальше, часть поглощается, а часть отскакивает в сторону. И нельзя предсказать или вычислить, какие фотоны пройдут насквозь, а какие рассеются. Можно выделить один единственный фотон и кинуть его на экран, но предвидеть путь, который он для себя предпочтет — немыслимо. Эти микроскопические тела независимы в своем выборе и жизнь их (или дорога) ничем не предопределена.

Вот почему вид желтых пятен отраженного света (в городе, в прерии, на море) меня, Касьянова, всегда наводит на думы о свободе воли... Начинаешь догадываться, что нам тоже присущи особенности фотона, электрона, нейтрона, хотя бы потому, что мы, в корне, состоим из этих бесконечно малых зерен.

Мысль о свободе привела его в восторг; он быстро прошлепал в уборную и занялся туалетом. Надлежало проделать ряд скучных и даже противных маневров, чтобы затем умытым, прилично одетым выйти из дому и при помощи автобуса, подземки или собственной машины добраться до места службы (так Касьянов непроизвольно устремлялся к небоскребу, где он пять дней в неделю преподавал Социологию, добывая себе и жене таким путем средства для семидневного, безбедного существования).

Полоща рот, он вдруг вспомнил, что уже двенадцать с лишним лет не исповедался. Никакой связи с предыдущими размышлениями здесь не было, и это его тоже обрадовало, показывая полный (хотя и временный) разрыв с причинно-следственной цепью.

Обычно вслед за упоминанием о таинствах, Касьянов медленно, словно оправдываясь, разражался тирадой такого порядка:

"Я почти четверть века не принимал участия в церковной жизни; за эти годы мои главнейшие духовные коммуникационные линии заросли плевелами. И вот теперь за десять минут поведать священнику про все, сотворенное в период войн, революций и эмиграций, отметить сразу и кстати самые дерзкие ереси, кажется мне беззастенчивым фокусом или даже мошенничеством". (Так он убеждал себя уже давно.)

Вообще вспомнить точно все нужное (в действительной пропорции к остальному, неважному) удается только людям, упражняющимся в этом постоянно и прошедшим настоящий искус. Касьянов давно когда-то вел дневник и теперь он решил в виде опыта рассказать на отдельных листках (не хронологически, а в порядке их внутренней связи) про свое участие, вольное или невольное, во всех смертных грехах... В конце концов жизнь наша уподобляется путешествию по железной дороге с повторными остановками на семи узловых станциях. И если каждый пассажир успеет воспроизвести свой маршрут по этой земле (со всеми пересадками), то шансы его на заслуженный последний отдых только возрастут.

Вообрази, Касьянов погибает не необитаемом острове

(ему иногда удобнее выражаться о себе в третьем лице), — от скуки, уныния, отчаяния он начинает записывать на коре сандалового дерева свою исповедь. Рукопись эта предназначена для духовного отца, которого он в любую минуту, чудесным образом может опять обрести. И отпущение грехов, даже если оно осуществится post mortem, все-таки не лишено сакраментального характера.

Самым простым казалось начать с Чревоугодия (как с отправной Станции). И потому, что это наш первый грех, и еще потому, что он выглядит таким невинным, совсем не смертным, то есть вряд ли по его вине (Касьянову чудилось) можно лишиться права на вечное блаженство.

2

Чревоугодие занимало особое место среди общих феодальных уродств: оно изводило в первую очередь монахов и подвижников. Вся жизнь того времени как будто подстрекала именно праведников к этому греху, тормозя другие соблазны падшего Адама. Так что он поневоле совершенствовался в кулинарных художествах, отдаваясь власти пустого, выросшего до сказочных размеров порока.

Справедливость требует отметить, отец духовный, что важнейшие открытия Возрождения были сделаны под влиянием гастрономических грез (воистину, нет худа без добра). В те века торговля с Востоком развивалась в значительной мере благодаря пряностям. Les Îles des Epices (острова Специй) привлекали внимание пиратов, негоциантов и героических юношей. Васко де Гама обогнул Африку, чтобы сократить расстояние к перцу, ванили и корице. Колумб поплыл на Запад в надежде добраться прямым путем к шафрану; то же Магеллан и многие другие отважные мореходы.

Привычка к этим разновидностям острых растений была исторически оправдана: без холодильников, на юге мясо начинало быстро портиться. (Протухшее мясо с пряностями уже цивилизация! Северные народы, отец святой, не имеют такой пестрой и сложной кухни.)

Постоянное злоупотребление ароматными корешками превращалось в манию: народ привыкал к гвоздике и ванили, как впоследствии к табаку и гашишу. Даже девятнадцатый век еще знал такое излишество в еде, которое нынче кажется совершенно немыслимым.

Но к удивлению Касьянова, отец духовный, я этого греха не нахожу в своем прошлом: в моем личном опыте кулинария не принимала характера извращения (хотя, каюсь, нам случалось, конечно, и лопать, и трескать не в меру).

Во-первых, самый процесс еды без напитков Касьяновым воспринимался как нечто противоестественное, неприятное; а если поставить на стол жбан вина или браги, то о простом, грубом чревоугодии не может быть и речи, ибо все вдруг озаряется светом древнего и страшного Диониса.

В детстве мне иной раз приходилось наслаждаться пищей в чистом виде (именно наслаждаться). Это почти всегда случалось после изнурительной болезни и сопровождалось таким чувством общего довольства (bien-être), что вряд ли могло почитаться грехом. Правда, сладости, орехи, изюм, семечки — притягивали, всасывали! Достаточно притронуться и трудно уже оторваться. (Одно средство: уничтожить все зараз, поскорее.) Но "наслаждения" здесь не было. Вероятно, в этом грех: жрать без всякого удовольствия — не в силах удержаться! Но тогда это не простое чревоугодие, а всемерный паралич воли: так куришь без нужды или пьешь водку, нюхаешь кокаин, валяешься в ногах у недостойной женщины.

Потом взрослый в эмигрантском интернациональном Париже, Касьянов буквально упивался дружескими пирушками... Сплошные агапы, где самодельные щи и скромное возлияние перемежалось с русскими "последними" разговорами.

Да, что-то распущенное, духовно нечистоплотное, предательское было в этих беседах. Но сколько возвышенных мыслей, религиозных порывов, интеллектуальных откровений порождали наши встречи за столом.

Однако, чревоугодия (в чистом виде), о. Нектарий, здесь не наблюдалось: виноградное вино и хмель гордого ума искажали характер этого рудиментарного греха.

3

Мы собирались по большим праздникам или в субботу после работы и просиживали 5-6 часов за трапезою, причем уха и бордо никак не мешали нашим вдохновенным спорам. Если здесь был грех, то заключался он, по-видимому, в совершенной несдержанности речей; хмель, разумеется тоже играл соответствующую роль, но многим из нас, о. Нектарий, казалось, что мы родились со стаканом вина в крови. (И это в ту пору считалось лестным.)

Все, что установлено временем, обычаем, здравым смыслом, подвергалось критике и переоценке, так что в азарте словесной перепалки мы, подобно некоторым гадюкам, начинали жалить собственный хвост, то есть уже отрицали все, что с примерной отвагой только что пробовали утверждать.

Наслаждение заключалось в общем чувстве полной Свободы... Никаких авторитетов! Только разум и совесть (или другое священное качество души) являются последними судьями. Все остальное –шелуха, старая кожа, которую ведущее поколение сбрасывает с себя, облачаясь в новые ризы. Как в шахматах, которым мы тоже уделяли тогда непозволительно много внимания: в рамках игры фантазируй до одури! Но за ошибки, за каждую подставленную фигуру придется лично и полностью ответить. (Справедливость и Мужество были нам близки, но Благоразумие и Умеренность вызывали только усмешку.)

И еще, о. Нектарий: была вера. Вера, что нам всем здесь Бог "что-то особенное дал". Пусть непризнанные, бесправные, изгнанники разных (и противоположных) режимов, все же мы родственны друг другу и многим великим собеседникам прошлого. (А об остальных, серепьких, нечего печалиться: они тоже по-своему счастливы.)

И над всем этим –· победоносное чувство Свободы. Огромная, она витала, как Самофракийская Победа, как Божья благодать). Мы попросту упивались сознанием наших творческих потуг и, конечно, не могли себе всецело приписать этого метафизического чуда.

В мастерской уже заканчивали последние образцы и заказы, когда являлся празднично выбритый, со свежеподстриженной, козлиной бородкою Тер. Нагроможденный кульками, бутылками и букетами зелени, он вежливо здоровался с каждым в отдельности. Касьянов, студент, между двумя экзаменами красивший галстуки, удостаивался особого (крепкого) рукопожатия.

Тер внешне походил на зубра или бизона. Добрейшей, чистейшей души человек, он сохранил свое внутреннее богатство, даже когда потерял все благоприобретенное, материальное. (И это вопреки тому, что был он убежденнейшим атеистом, в духе просвещенного восемнадцатого века.)

В интеллектуальных битвах он не принимал активного участия, разве что порой осведомится: "Почему вы так думаете? Меня интересует, из каких соображений вы исходите..."

Но полезен для нас он был чрезвычайно, потому что вместе с сыром и вином Тер приносил с собой еще атмосферу старинного этикета, порядка, условного здравомыслия. Несмотря на примерную отзывчивость и честность, какой-то частью души он принадлежал к разряду людей демонических и сразу заметно темнел, когда упоминали про Святого Духа... Касьянов нередко встречал в жизни таких странных существ, объятых загадочными, черными силами, от которых спасает разве только страстная молитва. Но молиться Тер не мог или не желал, ссылаясь на последние достижения науки.

— Почему вы так думаете? – скажет, пристраивая ладонь у правой ушной раковины: он был глуховат. — Почему вы это утверждаете, интересно знать. Ваше здоровье! — и подливает вино в стаканы.

А мы только что завели разговор о воскресшем Лазаре, о разбойнике на кресте, о Христе, попросившем у палачей воды... Как тут объяснить, о. Нектарий? Из вежливости брякнешь что-то невразумительное и чокнешься.

А Тер, вытерев полою пиджака свою ложку, готовится зачерпнуть из кастрюли горячей ухи, приготовленной им из огромной, похожей на собачью головы красной рыбы; (вид

цельных челюстей этого чудовища, в кастрюле, нас, молодежь, смущал и отталкивал).

Тер в эмиграции прошел через Турцию и Тунис; он шатался по ночлежным домам самого низкого пошиба, где царила первозданная грязь, ругань и тьма (буквальная и фигуральная). Его манера вытирать (общую) ложку полою сюртука там, на востоке, служила примером буржуазного воспитания. А нас эти приемы поражали и восхищали; впрочем, дамы иной раз гримасничали. (Так, общепринятое и образцовое, о. Нектарий, для одной среды, становится грубым, даже непристойным — для другой.)

Касьянов, совсем юнцом, столкнулся с Тером в Париже (куда попал сразу из Эльзаса) и полюбил его как отца...

4

Ваше здоровье, — опять чокается Тер со всеми. — Ну какой тут разговор, закуска ваша, вино мое! Какой тут может быть разговор.

Валерик одобряет эту благородную щедрость и, закончив первый литр красного бордо, обязательно вспоминает "Демона" Рубинштейна: он знает оперу наизусть и поет ее целиком, давая только изредка необходимые прозаические объяснения относительно либретто или декораций. "Демон" вызывает на глазах его слезы восторга и печали. Он думает о России, о молодости, о Москве и плачет от умиления.

Время в космическом пространстве так же трудно определять, как привычное нам здесь направление. Кто решит, передвигаясь с Луны на Марс, где восток или запад, где полюс земли и где экватор? То же происходит со временем... Единственною вехою является энтропия: когда после двух измерений мы находим, что энтропия увеличилась, то это значит, что время продвинулось вперед. В мире, где энтропия уменьшается, время повернуло вспять. Это абсолютно верно, пока верен 2-ой закон Термодинамики.

Хозяин мастерской, Сковорода, один в состоянии понять

смысл Касьяновых слов, но у него "сократический" склад ума и рядом чередующихся вопросов он старается обнаружить ошибку в разглагольствованиях юного философа.

— Это случилось в Крыму, — начинает свое эпическое повествование Валерик... После приятно проведенного вечера у общих знакомых он ее проводил до крылечка, а она его — до отеля. И снова они поворачивают назад к ее маленькому дому. Так много раз, а повести к себе или проникнуть к ней — не удается. Целый месяц тянулась эта канитель!

— Оказывается, она именно это любила: раздразнить, обещать, но не уступить, — объясняет Валерик с хитрой и простодушной улыбкою. — Бывало, уже уляжешься с нею, она сразу зажмет колени. Оказывается, именно это ее привлекало.

Сковорода, основательно нагрузившийся, спорит с женою, доказывая, что такого рода разговор вполне позволителен в присутствии дам:

— Иначе нет нужды собираться. Ведь и о религии не всю правду можно сказать при детях... Вы мои лучшие друзья! — обращается он к нам (встает и отвешивает поясной поклон). — Вы мне так же близки, как она! — он кивает в сторону притихшей супруги.

Эйнер объясняет, как можно воспитать в себе второе зрение и научиться различать ауру цветка или дерева.

— Упавшая монета может победить гравитацию и снова подняться вверх, — упорно плел Касьянов свою паутину. — Мертвый воскреснет на манер Лазаря, а старик помолодеет. Весь наш детерминизм основан на статистике и процентах: индивидуальный случай никого не интересует. Надо закрепить в сознании, что маловероятное все-таки вероятно и возможно.

— Ваше здоровье, — кланяется Тер и продолжает глубокомысленно, — меня очень интересует, из каких соображений вы исходите.

— Вселенная, где энтропия повернула вспять и время обратимо, должно быть, прекрасна. Есть основание предполагать, что такие миры, острова в космосе существуют. Там вместо законов Термодинамики, Дарвина, Фрейда, Маркса

господствует реальность любви, "второй щеки", самопожертвования, воскресения и вечного, счастливого восхищения.

5

Дамы, работавшие тяжело и поздно всю неделю, уже мирно дремали, прикорнув на жестких диванах вокруг громоздкого, похожего на верстак стола. Тер, полулысый, с мефистофельской бородкой отечески гладил полное колено устаревшей актрисы Раисовой.

— Что ж, кончим бутылку! — крикнет Валерик и встрепенется, как заблудший, мокрый пудель; (ему страшно представить себе, что огонь нашей беседы может когда-нибудь угаснуть).

— Какое там кончать... мы едва на ногах держимся, — возражает Эйнер.

— Ничего, осилим! — и, обращаясь к Касьянову. — В честь вашего святого! — Валерик считал нужным при всяком удобном случае поощрять зеленоротого студента, никогда не бывавшего в России и все же крепко связанного с ее языком и прошлым. Прочистив горло, как делают настоящие басы, он начинает петь кондак из акафиста преподобному Кассиану Римлянину:

"В тебе, отче, известно спасеся по образу:
приим бо крест последовал еси Христу..."

Кассиан доказал, что каждый человек в своем натуральном состоянии духовно жив, хотя и не вполне здоров, и он вполне может еще исцелиться! — объясняет Касьянов, затем тихо добавляет. — Я люблю святого Кассиана.

Валерик, бытовым образом тесно связанный с православием, растроган и смотрит на юнца как на живое чудо.

Летом, во время каникул, Валерик выступал в кабачке на Монмартре. Он тогда облачался в подержанный смокинг, красил ресницы и подводил глаза. Когда девка приставала к нему на темной улице, он ей не без юмора предлагал:

— Faîtes voir, faîtes voir d'abord.

(Отец Небесный, почему люди с замечательным московским говором всю жизнь скверно, безвкусно и бездарно изъяснялись по-французски?)

— Блаженный Августин учит, что нам не дано спастись собственными средствами, для этого требуется Божья благодать. Но доконать себя мы очень даже можем самостоятельно и независимо, ибо не станет же Бог споспешествовать нашей гибели... Тут что-то не клеится в его рассуждениях, — говорит Касьянов.

Но Сковорода не удовлетворен такой легкомысленной критикой предопределения и кротко осведомляется: — Вы, стало быть, уверены, что Бог при всех обстоятельствах никак не желает гибели человека?

— Ваше здоровье, — заявляет (сквозь туман) Тер. — Меня очень интересует, из каких соображений вы исходите.

Эйнер, отдохнув немного и стряхнув хмель, вдруг неестественно оживляется:

— Вот смотрю я на вас, господа, пока вы здесь болтаете, и какие у всех красивые лица, выразительные лбы, светлые ауры. У каждого свое желание найти правду, даже ценой мук. Да, святая тень падает на Божью тварь и вдохновляет ее.

Святая тень это тень святости? — спрашивает Сковорода. — Значит, и святость имеет теневую сторону?

Но Валерик опять гипнотизирует нас, молодежь, своими романтическими похождениями: в прошлом году, на юге... Такая чистеха: после целого дня морского купания ежевечерне принимала обязательный душ. "Ладно, — решила она, — допустим, я останусь с вами. А что дальше?"

— Верно, — заливался Валерик, — умница, правильно рассудила. Стала бы спорить, я бы начал настаивать и получился бы сплошной конфуз. А тут просто и ясно: нам надо разойтись.

Затем последовал добродушный рассказ о том, как чистеха-красавица забеременела, как Валерик метался без денег по Ницце в поисках русского врача и как Бог ему помог. (Поражало полное отсутствие какой бы то ни было горечи, обиды, жажды мести.)

6

Наскучив сидеть на одном месте, мы переходили в соседнее кафе; дамы играли в беллот, мужчины на биллиарде. А над всем этим витала, как Самофракийская Победа, Свобода, вера в людскую справедливость, в величие нашей мысли (и жизни). Увы, завтра, разумеется, надо опять приняться за унизительный труд, что ж, в добрый час...

Мы заказывали коньяк, кофе, ром, жевали орешки, апельсины. Если был во всем этом грех смертный, то не чревоугодия; (во всяком случае Касьянов в нем не повинен, отец родной).

Через всю мою жизнь растянулись архипелагом островки таких встреч: за столом, с вином, мясом, фруктами, но сгибающимися под тяжестью интеллектуальных откровений. Касьянову казалось (и продолжает казаться, о. Нектарий), что это были агапы, братские общения, таинства, вероятно, не совсем ортодоксальные, но отнюдь не поддельные и в целом возвышающие. За едой, за бокалом вина и дружеским спором нам случалось испытывать духовный восторг, едва ли заслуживающий порицания... И это уместно здесь подчеркнуть, отец верховный.

Из чужих (не русских) застольных бесед особенное удовольствие сулили Касьянову обеды с Удом (25 лет спустя — в Новом Свете). Словно и ему, Белинский когда-то крикнул: "Мы еще не решили вопроса о бессмертии, а вы уже собираетесь по домам..."

Теперь мы ели больше и даже изысканные блюда, лакали старые вина, но по-настоящему упивались только беседою. Да, разница с прошлым существовала: под утро Касьянов возвращался домой, где его ждала больная жена и вполне установленный распорядок жизни. (В агапах нашей молодости не было размеренности, последовательности, предопределенности; мы разбредались по углам, но могли бы продолжать диалог еще сутки или столетие — так иным чудилось.)

Подводя итог личному опыту Чревоугодия, о. Нектарий, Касьянов честно заявляет, что это, по-видимому, единствен-

ный грех, к которому он не причастен. Я даже не совсем понимаю его сущность; (здесь, пожалуй, моя ошибка). Очевидно, речь идет о тупом и слепом поглощении (нами) всего окружающего, даже если это совершенно безвкусно или вредно. Но такое извращение уже выходит далеко за рамки простого гастрономического соблазна.

"Я, мой, мне, себя..." Все вертится вокруг этих синтаксических монстров, поедающих живые части нашей души. И гордыня, честолюбие, ревность, зависть, гнев, жадность, равнодушие, похоть, уныние, весь этот ядовитый букет расцветает на почве нашего маниакального инстинкта самосохранения. Если бы человек мог думать, не прибегая к помощи первого лица, смертных грехов не осталось бы на земле. Счастлив народ, язык которого не знает слов "я", "меня", "себе". Но, увы, таких племен мы уже не застали, о. Нектарий. Англичане заменили "тебя" — "вами" (ты — вы). Но ценность этих превращений не совсем ясна для Касьянова.

В раннем детстве понятие "я" отсутствует или притуплено, так что ребенок пребывает в безличном и безгрешном раю. То же состояние характерно для каждой части нашего тела с его членами и отдельными клетками.

Но когда пташка мальчугана начинает независимо выпирать из штанишек, этот орган его уже повсеместно заявляет: Я, сюда, давай, больше!

(Судя по стуку в стенку из зориной половины, о. Нектарий, уже время кормить жену; я не думаю, что обед ее, метафизически, важнее этой исповеди, но, разумеется, если по причине моих стилистических упражнений она останется голодной, то получится как-то нехорошо. Впрочем, с тех пор как у Зоры отнялись ноги, она, точно назло, начала уделять особое внимание мытарствам еды и пищеварения.)

7

Полагаю, что Касьянову минуло уже четыре года, когда он впервые обратил внимание на странный зуд в области своей

птички, которая, вдруг, заняла горизонтальное положение. Подобно котенку или подрастающему щенку, я терся животом о всякую плоскость; для удобства составил два стула и улегся так, что членишко попал как раз между ними... И это, о. Нектарий, в гостиной, днем, где мать хлопотала.

В ту эпоху во Франции еще не культивировали психоанализа с комплексами; люди жили грубее, храбрее, и мать (я ее звал Анютой), к моему удивлению, неоправданно громко и сердито завопила, пригрозив выбросить меня в хлев, где такому мальчику отныне надлежит пребывать (не дословно, конечно, но ручаюсь за смысл). Она явно волновалась, стыдилась и страдала (я это чувствовал), подозревая, что мне угрожает опасность нового, безжалостного цикла (вроде оспопрививания), и не зная, как защитить свое дитя.

Касьянов отлично понимал, что его со страхом от чего-то оберегают, а заодно и шельмуют. В результате он начал скрываться, прятаться от всех, пока не нашел первую естественную соучастницу, разделившую с ним ответственность. В эту пору, отец духовный, у Касьянова еще не бывало поллюций: они появились позднее и не в шутку напугали сопливого мальчугана; удивлен и опечален он был также в тринадцатилетнем возрасте, когда вокруг укромного места (при нестерпимом зуде) вдруг проросли жесткие, редкие волосы... (Так несколько лет спустя Оливия рассказала Касьянову про свой горький опыт первой менструации: она улеглась днем в постель, а мать ее, рядом, вкрадчиво объясняла, что это вполне "нормальное" явление и будет повторяться целую, долгую жизнь.)

Тогда, на заре своей греховной карьеры, Касьянов не обольщал себя иллюзиями и ни о чем сладострастном не мечтал; мысли в голове витали рассеянные, неопределенные и отнюдь не связанные с этим тварным жаром в чреслах.

Впоследствии, засыпая в темноте, я приучился грезить о дебелой сапожнице, то есть жене сапожника, жившей в подвале на краю нашего эльзасского городка. Полная, грудастая, с белой шеей, с голыми руками и босыми лоснящимися ногами, она могла, вероятно, считаться идеалом похоти.

Касьянов этого, конечно, не ведал, но какие-то клетки во

мне уже, очевидно, догадывались обо всем, потому что ночью я упорно представлял себе именно ее в соблазнительной позе. Стоя, подтянув рукою юбку и чуть согнув колени, она мочилась у забора (как делали крестьянки, приносившие с гор молоко). Вот в таком положении воображение Касьянова рисовало ему грудастую сапожницу, и она позволяла ему подставлять ручонки под живую струю... Это ему казалось желанным, чистым, прекрасным, вдохновляя на героические и добрые поступки.

Однажды ее сынишка меня ударил; я пожаловался отцу (второму или третьему — у меня их было несколько), и мы спустились в подвал к сапожнику. Отец этот (отставной русский офицер) отличался высоким ростом и у притолоки он бережно нагнул голову.

Там, в глуби выбеленной комнаты, она стояла у высокой постели и как-то дико (Лермонтов бы сказал, дивно) нас оглянула. Они заспорили; вскоре сапожница, завизжав, вцепилась мясистыми руками в серые щеки отца. Последовала короткая, жестокая схватка... И вдруг они легко (одновременно) взлетели на кровать со множеством разнокалиберных пестрых подушек.

Я с обидевшим меня врагом, мы уныло стояли далеко внизу; нам видны были четыре пудовые ноги, ерзавшие, вздрагивающие, живущие, казалось, автономной жизнью и, наконец, изнеможенно застывшие.

Отец медленно сполз с перины, по-солдатски оправил рубашку, пояс и, приблизившись к белобрысому, оцепеневшему от многих впечатлений мальчугану, влепил ему две оглушительные пощечины. Затем взял меня опять за руку и, так же сгибаясь у порога, поднялся наверх. (Осенью 1939 года под Аахеном его настигла шальная немецкая пуля и убила наповал.)

8

Через коридор от нас, во второй половине дома, жила

молодая чета с двумя детьми моего возраста. Очевидно, в этой женщине, о. Нектарий, было тоже нечто грубо притягательное, ибо она стала являться Касьянову в темноте, соперничая с грудастой сапожницей.

И звали ее как-то соблазнительно: Изольда. Ярко-румяная, сочная (вроде груши), с темными волосами и с блестящими черными глазами. Муж ее, не менее румяный, кудрявый, бровастый, однако выглядел рядом — плюгавым и ничтожным.

Их семейная жизнь протекала залихватски неистово. Из квартиры, иногда поздно, доносились песни и крики, потом вой мужчины, плачущего навзрыд, неумело. Одно время южная красавица совсем исчезла, оставив детей на произвол судьбы. Смутно различаю еще, Отец Небесный, бронзового швейцара с ужасно сложным нагромождением локонов на голове, который появлялся там днем, в рабочие часы. (Тогда взрослые у нас гневно шептались.)

Но грезам Касьянова все эти подробности не только не мешали, а даже помогали (подхлестывали). И однажды я сообщил девочке-соседке (старше меня на два года), что вовсе не обязательно целовать дамам руку, можно целовать ножку: взять за пальцы, сперва пригибить одну сторону, затем другую. (Ножку я себе представлял именно этой знойной, неверной жены.)

Девочка-соседка, занятая Дон Кихотом, с удивлением поглядела на Касьянова и трезво возразила:

— Это не гигиенично.

(Ее много лет спустя расстреляли немцы и при обстоятельствах вряд ли особенно гигиеничных.)

До сих пор, отец духовный, еще не было полного торжества сладострастия. К счастью или к несчастью, Касьянов не умел толком развлекаться рукою. Так что весь этот детский период оказался у него тусклым и незаконченным; что отнюдь не облегчало тяжелой ноши похоти. Иго свое он нес безучастно, вроде агнца (пусть не совсем чистого), которого ведут на заклание.

Впрочем, о. Нектарий, теперь вижу, что еще на самой заре

(то есть до трехлетнего возраста и заманчивых мечтаний) в жизнь Касьянова уже вошла женщина, смутно предвещая достоверность любви, красоты и счастия на земле.

Должно быть, в мае (сиреневом) состоялась наша ежегодная прогулка к Рейну, с закусками, вином и мороженым. Среди приглашенных оказалась одна молодая парижанка в легком, модном наряде. Я не сводил глаз с этой элегантной, воистину драгоценной дамы, так что мать сочла нужным осадить невоспитанного мальчика. (Теперь Касьянову мнится, что существовало какое-то ревнивое соревнование между Анютой и приезжей красавицей.)

— Почему он так смотрит? — услышал я взволнованный, возмущенный голос матери: обо мне в третьем лице. — Зачем он так уставился!

И ее голос дрожал от испуга (он также прерывался впоследствии, когда Анюта меня гнала с удобно расставленных стульев).

Сконфуженный, ребенок попятился назад, скрылся за скамьями в парке и только украдкою любовался ликующей, летней гостьей. Было ли это только пробуждением похоти или первым поклонением красоте, гармонии, любви? Не знаю, о. Нектарий; в конце концов, гностики одинаково осуждают всякую прелесть. (А ведь все мы немножко гностики.)

9

Но вот Касьянову одиннадцать лет и его опять ждет критическое испытание...

Среди знакомых матери появились новые (жестокие) лица, и она вдруг начала ежевечерне выходить (или выезжать), нарядно одетая, надушенная. Так что мальчик теперь вынужден был сидеть дома один. Горничная Сандра, пухлая, смазливая, с вздернутым носиком, вполне сочувствовала Анюте и всячески утешала Касьянова, обещая на досуге вволю заняться ихней "игрою".

Игра состояла в том, что мы, о. Нектарий, писали на клочке бумаги самые непристойные слова, а затем читали их "наизнанку", вслух: повторяли эти нелепые звуки, заливаясь смехом, пока партнер не догадается.

Она читала, скажем: "апож"... А я в ответ: "онвог". Постепенно усложняя, мы из этих запретных выражений научились составлять (и запоминать) целые фразы, переговариваясь шепотом на новом языке.

Странно, ее, девушку 19-ти лет, эта интеллектуальная забава волновала и возбуждала гораздо больше, чем Касьянова. С удивлением улавливаю теперь ее взгляд, вопросительный, мечтательный, взвешивающий своего мизерного партнера и его органы, которые мы в перевернутом виде размножали на бумаге. Однако, следует ей отдать справедливость, она ни разу не удосужилась перейти из области "литературы" к практическим занятиям, вероятно, не доверяя болтливому проказнику.

Возвращаясь несколько назад, вижу, что еще до Сандры было у Касьянова другое увлечение горничной... Ее привезли из глухой эльзасской деревни, о. Нектарий, она выросла в нашем доме и стала почти членом семьи. Ребенком Касьянов любовался ею без устали, когда она гладила белье: восхищался, как ловко, в такт двигаются голые по локоть руки и как податливо колышется весь гладкий (и широкий) стан.

Прошла затемненная вечность, из трехлетнего ангелочка Касьянов превратился в семилетнего плаксу. И вдруг Эльза исчезла, а вдобавок о ней не полагалось расспрашивать. Однако вскоре она так же неожиданно появилась с живым свертком на руках, требовавшим поминутно ее вздутую, шарообразную грудь. Наутро пришел ее брат, усатый фельдфебель; смеясь, он рассказывал, что сестра последние месяцы почему-то всегда на корточках возилась у печки, должно быть, скрывая свое положение... Он увез младенца с матерью назад в деревню.

Но через непродолжительное время Эльза опять наведалась к нам: одетая по-городскому, наивно соблазнительная, похудевшая (Касьянову было до слез жаль ее). У Анюты

недавно воцарилась новая горничная, которой еще все были довольны, но Касьянов настоял на том, чтобы приняли Эльзу в дом.

— Мадам, это конечно, — фальшиво-рассудительно уверяла она, — отказать зря человеку не годится, но прислуга в семье, где подрастают дети, это тоже понимать надо.

Анюта отлично понимала, что девка у нас долго не продержится, но вынуждена была уступить своему баловню.

И Касьянов провел очередные каникулы на кухне... Входя и выходя, я рассеянно гладил широкий (притягательный) круп Эльзы. Что мальчику мерещилось по ночам, не восстановлю теперь, и продолжалось это увлечение недолго. Эльзаска наконец пропала без вести. Вообще, о. Нектарий, дважды переживать те же грезы совсем неестественно и трудно (как попадать в собственные следы на песке или на снегу).

10

Отец Небесный, неужели все это похоть, порожденная падением древнего Адама? И каким образом, когда детские шалости невзначай превращаются в смертный грех? Существует ли качественная или количественная градация в нашем тварном томлении? Гностики учили, что грех — своего рода "пар": та же "естественная" вода, только закипевшая... Где же грех по-настоящему начинается: при какой температуре и чем ее измерять?

Должно предположить, что с появлением реального партнера и соучастника (соблазнителя или соблазненного) наше подлинное падение оформляется. Но к ужасу Касьянова, он и тогда редко, о. Нектарий, испытывал чувство собственной преступности, порочности.

Вот первая "соумышленница": Марго. Мы с ней одно блаженное лето целовались взасос. Утверждали, что у нее прекрасные ноги и потому она прослыла "Марго с ногами". А другая ее тезка именовалась "просто Марго", хотя ее милые, мускулистые ножки казались вполне привлекательными.

"Марго с ногами" обладала еще бесстрашно-зеленоватыми, большими глазами с длинными ресницами. В летнюю ночь мы лежали на утесе у озера и лобызались, пока полная луна с неукоснительной точностью описывала в небе свойственную ей траекторию.

"Марго с ногами" тогда уже, вероятно, прошла некоторый сексуальный искус, и в этой игре ей принадлежала ведущая роль: она металась, страстно вздыхала, откидывалась всем станом назад... Но Касьянову и в голову не приходило коснуться ее сокровенных закоулков. Так это чувство испепелило себя, истратило себя зря на камнях, не дав должных ростков. А Касьянов, отец духовный, был в эту Марго по-настоящему влюблен, как полагается чистому юноше.

Наступила осень; унылыми вечерами в холод и дождь он прохаживался по едва освещенному проспекту в надежде (случайно) ее встретить: хотя бы только взглянуть. Она жила за городом, на полустанке, где курьерский, возвращаясь из Страсбурга, не останавливался, а только на луке высокой насыпи замедлял несколько ход и бросал в окрестные посады свой протяжный, старомодный, требовательный зов.

Летом "Марго с ногами" часто дожидалась этого поезда: в цветном платочке, надвинутом на самые (бесстрашные) глаза, она жадно всматривалась в мелькающие зеркальные окна вагонов. Раз, возвращаясь из Парижа, Касьянов соскочил здесь с поезда на ходу; катясь под откос, он подумал, что, вероятно, уже другие романтические юноши прыгали так к Марго в объятия... А курьерский, дав свисток, уносился уже стремительно, со всем своим плюшевым убранством и с призраком Нехлюдова, улыбающимся за окном.

Нет, отец родной, клянусь, тогда похоть еще не обнаружила себя, хотя под рукою была уже партнерша. Но затем последовала Оливия.

Мы давали волю своим слепым инстинктам, уже ничем не стесняясь. В сущности после первого посвящения она сама изощрялась, проявляя недюжую фантазию. Потом наступила страшная ночь (февральский парижский вечер). Мы были одни в нещадно барской квартире с потухающим камином и с

накрытым попоною (как лошадь после скачки) концертным роялем.

Касьянов давно припас грубый резиновый кондом и теперь надел его. То был еще допотопный швейцарский прибор с особым мешочком на конце: по мысли изобретателя, для стока обильного семени.

Но прежде чем Касьянов успел прикоснуться к смущенной Оливии, я уже весь выдохся. А потом долго и бессовестно мучался и терзал ее, стараясь объять необъятное.

Да, о. Нектарий, что-то мертво-греховное было в нашем постыдном единоборстве; снова пробовали, примеривались, учились (враждебно отстраняясь). Это походило на агонию или на попытку воскресения усопшего Лазаря (без надлежащего права или умения).

Мокрый, холодный, клейкий, парализованный червячок смахивал на тщедушного покойника (который уже пахнет), а Касьянов все норовил, в отчаяньи, надеть на него похабную резинку. Оливия, на диване, с отвращением и ужасом дожидалась; изредка ее глаза с враждебным любопытством останавливались на мне и в то же время она чутко прислушивалась хозяйским ухом к шагам в коридоре. (Тут, мне кажется, я впервые столкнулся лицом к лицу с подло расшаркивающимся Вишневским.)

Постепенно дело наладилось самым расчудесным образом и протекало, в общем, естественно просто. Тогда запретное стало для нас истинным освобождением. Как будто летняя гроза пронеслась над изнывающей от зноя степью, разрядила накопившееся электричество, насытила землю, деревья, злаки зиждительной влагою... (Мы сразу после этого, о. Нектарий, начинали смеяться и громко разговаривать, почти кричать — от радости, что ли.)

11

Увы, отец духовный, мне все мнится, что даже тут настоящей похоти (голой, преднамеренной) не было. Мы

позволяли себе только самое основное, в обрез, без излишка или извращения. Освобождались от накопившихся ядов (не нами вызванных из небытия) и чувствовали себя осчастливленными, благодарными.

Раз в парке Касьянов от скуки что-то старался сфантазировать, а потом смущенно извинялся. Оливия сказала:

— Нет, это понятно, такое когда-нибудь должно было случиться.

Насколько она, веселая и предприимчивая, была умнее, взрослее меня. И очевидно, здесь уже похоть господствовала вполне. Но в сознании Касьянова не найти теперь признаков борьбы, раскаяния, упреков совести. (Хотя именно с тех пор Вишневский все чаще начал навещать меня и наставлять на свой лад.)

Мы с ней укладывались в самых неподходящих местах, в разное, неудобное время. Я принимал наивные и жестокие меры против зачатия. Мы тогда не догадывались (во всяком случае — Касьянов), что и она должна пройти положенный сладостный круг. Создавалось впечатление, будто все дело в том, чтобы ему поскорее высморкаться. Вот, отец святой, поверите ли, именно за это я себя клеймлю. (И каюсь.)

Однажды Касьянов заночевал в их доме. Кроме прислуги, обретавшейся далеко и высоко, никого кругом в пустынных и беспощадных хоромах. Оливия могла бы без особого риска присоединиться ко мне. Но такая роскошь нам и в голову не приходила. И если начало похоти действительно в излишестве, в разнообразии, в смаковании, то воистину мы тогда еще оставались почти безгрешными.

Общие старания, отталкивания, грубая борьба с примитивной резинкою нас связала чуть ли не законными, нетленными узами. Так что, несколько лет спустя, Касьянов, уже влюбленный в Зору, все еще иногда сходился с Оливией, считая это вполне естественным (хотя с другими женщинами он себе не позволял такой вольности). Но была ли это похоть, о. Нектарий? Отлично помню полосу радостного обновления, наступавшую каждый раз после свидания с Оливией. Да,

именно, словно шумная гроза оживила и очистила почву, освобождая запертые в темнице соки.

Только много, много позже, когда соков почти не сохранилось в резерве, когда мои клетки начали панически метаться, слепо тягаясь с призраком смерти, не желая сдаваться и выделяя ядовитые испарения, только тогда, очевидно, наступила пора для неприкрашенной похоти, похоти, которую, по апостолу Павлу, нельзя (может быть, потому что уже не надо) удовлетворять.

Но точно определить время этого сухостоя трудно теперь. Полагаю, что в какой-то длинный период между юношеским примитивным освобождением от излишка и полустарческими бездарными потугами использовать жалкие остатки, между этими двумя вехами была полоса и обилия жизненных сил, и жадного умения ими воспользоваться всласть. Это, дорогой отец, и есть царство побеждающей похоти, в котором, однако, гордыня, ревность, гнев и другие самозванцы тоже играют ведущую роль.

Думаю, о. Нектарий, что первое обязательное условие похоти это полная безличность: инкогнито или маскировка объекта... "Я" делаю это с тобой, но мог бы продолжать и с другим (или с другой) — с многими! Если ввести личные (вечные) отношения, то сразу появляется возможность выбора и любви, а любовь преображает или искореняет похоть. (Увы, великие гностики последнее утверждение, пожалуй, станут оспаривать.)

12

Но вот с некоторых пор Касьянова начали занимать (и привлекать) экзотические женщины — с далеких островов. Порода существ, непривычная для него, непонятная (и такая соблазнительная).

Пробираясь (с опозданием) утром к себе в кабинет, на службе, между ящиками с книгами и пробирками, он наткнулся на новую лаборантку: желтоватую девицу с ужимками

смазливой мартышки. Судя по голове, росту, костяку — полинезийка! (Она оказалась с Филиппин, с гор и никогда не жила в Маниле.)

Вряд ли красавица: лицо ее (широкое, плоское), изогнутое вовнутрь, составляло как бы антипрофиль. Толстые, короткие ноздри, задранные кверху и равнодушно улыбающиеся нежно-овальные (раскосые) глаза под гривой синих, конских волос производили впечатление загадочное и внушительное, напоминая домашних божков древних вымерших народов. Все в ней казалось странным, чудесным, неизведанным. Трудно было сообразить, сколько ей лет: девятнадцать или сорок? Умна она или исключительно глупа? Хороша (по своей норме) или безобразна? Душа там, в Океании, отец родной, проявляется по-иному и это, вероятно, действовало возбуждающе на воображение Касьянова.

После мгновенного колебания я (при ближайшем участии Вишневского) решил, что она красавица, умница, хорошо воспитана и, главное, вполне одобряет мою учено-педагогическую деятельность.

Кожа у нее, о. Нектарий, совершенно особенная: мягкая, скользкая, слитая с телом, с мускулами (никак не отдельный, верхний покров). Руки желтые, нежные (резиновые) как бы сгибались в самых неподходящих местах. И в то же время цепкость этих полупрозрачных ладоней казалась изумительной: все отдают и тут же берут назад с лихвою. (Как тропические, яркие, питающиеся насекомыми и птицами растения.) Звали девицу — Фэ и пахло от Фэ микронезийскими таинственными духами, бывшими в употреблении, пожалуй, еще в эру Атлантиды, Пацифиды (или Лемурии).

Она родилась в июле месяце, и Вишневский, за общим завтраком, затеял разговор о созвездии Рака, не скупясь на комплименты по адресу женщин, связанных с этим знаком. Астрология, по-видимому, заинтересовала Фэ (говорю "повидимому", потому что Касьянов о ней ничего не мог утверждать с уверенностью).

Она прочитала популярное руководство на эту тему и через день-два сама завела речь о гороскопах. Фэ широко

улыбалась и как-то странно бодала широкою головою, когда собиралась заговорить. И хотя слова ее никого не смешили, все кругом сразу отвечали ей таким же неопределенным хихиканием. Итак, она боднула тяжелой головой и радостно-сонно улыбаясь, желтоватая, сверкая крупными, белыми зубами, протянула ко мне свои мягко-цепкие руки:

— Расскажите, пожалуйста, все про Рака, — выдавила из себя наконец.

Касьянов понял, что она имеет в виду раковые заболевания и заскучал. (Мы тогда возились с общей статистикой этой современной проказы и совершенно запутались, валя в кучу мужчин и женщин, молодых и старых, негров и китайцев, богатых и бедных.)

Когда выяснилось, что речь идет о созвездии Рака, Вишневский весьма ловко ввернул, что для такой обширной темы мы должны встретиться на досуге, в приятном месте.

— Что вы собираетесь предпринять на викенд? — круто оборвал я.

— О, Боже, нет! — беззвучно засмеялась Фэ и боднула крупной головой на тонкой шейке, — Боже, нет.

Но в Океании, о. Нектарий, существует своя логика со всеми узаконенными противоречиями.

Если поглядеть на карту, то острова Полинезии похожи на крошки хлеба, рассыпанные (для корма птиц) в большой лохани с водою... Мне Фэ передавала за достоверное, что однажды в ее родных пещерах американский археолог нашел пепел от костра, возраст которого он определил (по радиоуглеродному методу) примерно в двадцать тысяч лет. И он доложил ученому съезду, что на островах давно пользовались индивидуальным огнем. А между прочим, это отец Фэ, возвращаясь с рыбной ловли, там сжег древний плавник, согреваясь ночью в расщелине скалы.

13

Разговор о созвездии Рака происходил в понедельник; а в

четверг, отец духовный, Фэ, выходя из кабинета Касьянова (куда она приносила почту), улыбнувшись своим изогнутым во внутрь (двухмерным) антипрофилем, бодая и кланяясь в пояс, осведомилась:

— Куда бы мы, собственно, могли поехать на викенд?

Я удивился, но Вишневский подбоченясь сразу застучал:

— Чудесная, разумеется, обратите внимание...

И Касьянов объяснил, что является обладателем скромной дачи или сруба на крайнем пункте Лонг Айленда: мы отправимся туда в пятницу вечером и проведем вместе два дня.

— Как же это? — она забодала своей тигровой головой, смущенно посмеиваясь. — Одни в коттедже, днем и ночью? Как же это?

— Не в коттедже, а на пляже у безбрежного океана! Мы будем возвращаться в шалэ только поздно ночью. Разумеется, я попытаюсь вас поцеловать или что-нибудь такое, но я джентльмен. Подумайте, там Атлантический океан и дюны и пахнет хвоей, а к тому же приближается полнолуние!

Не знаю, что ее убедило: то ли, что Касьянов джентльмен, или упоминание о летнем полнолунии над Океаном... Только она сразу и очень трезво согласилась. Мы условились, где и когда встретиться (оказалось, что Фэ хорошо знакома с моим зеленым Бюиком и давно отметила его).

В пятницу Касьянову пришлось застрять на лишний час, как назло столкнувшись с заведующим отдела (шеф почему-то именно к концу недели начинал проявлять административное рвение). Затем он еще раз смотался домой, чтобы устроить все для Зоры: жена была парализована от пояса вниз, так что могла еще отлично перемещаться в кресле, приводимом в движение руками. А добрая соседка, о. Нектарий, за скромную плату наведывается в таких случаях к ней дважды в день. (Наш брак и последовавшая затем болезнь Зоры — тема для скучного и вполне благородного романа, но так как все это не имеет прямого отношения к исповеди Касьянова, то я воздержусь от излишних подробностей.)

Несмотря на летнее время, уже смеркалось, когда Касьянов подъехал к месту свидания; не успел он как следует

затормозить, а к дверям уже скользнула, словно в джунглях, тень маленькой и хищной Фэ — рядом с другой фигурой (судя по общим контурам, тоже женской).

— Это моя сестра Сарсава, — представила ее Фэ, и они, посмеиваясь, начали хозяйственно размещаться в машине, предоставляя Касьянову все переднее отделение.

Повествуя об этой страшной прогулке, Отец Небесный, у меня опять создается впечатление какой-то злой нереальности или непрочности всего материала, из которого наша жизнь была слеплена (при моем участии, но не совсем по моей воле).

Когда девицы убедились, что Касьянов не собирается скандалить (или повернуть назад), они заметно приободрились и повеселели. Сарсава, нежный цветок, миниатюрный попугай, заливалась детским (птичьим) и многообещающим смехом. Милая, умная и развитая, она слышала даже про Толстого (Анну Каренину) и, главное, была наделена образцовым чувством юмора, что в данном положении пришлось весьма кстати.

За мостом мы остановили машину, и девицы по собственному почину пересели к Касьянову, уложив сзади свои макинтоши и синие, воздушного флота сумки.

К цели мы добрались уже поздней ночью. Был океан (всегда присутствующий), было бездонное, темное небо с бледным Млечным путем, полная луна висела в предназначенном ей квадрате: это видно было из нашего огромного, во всю стену, декоративного окна.

Касьянов затопил камин и собрал стол, закуску. (Все было приготовлено мною в прошлый мой приезд, именно на такой случай; Зора, в кресле-самокатке, следила за движениями мужа двумя тихими песчаными глазами.)

Отец Нектарий, почему я не умер вместе с Вами, когда был полон добрых сил? Тогда я видел некий свет. Вы помните, как мы лежали рядом на немецком помосте? Я слышал все шумы жизни солнечной площади, но не хотел или не мог вернуться к ним. Зора взобралась к нам и тронула меня рукою: если бы не она, клянусь, я бы никогда не расстался с Вами.

(Здесь Касьянов прервал свой рассказ, потому что должен

был пройти в комнату жены. Ее паралич то ухудшается, то улучшается, что дало повод специалистам предположить наличие истерического притворства. Но я знал Зору давно, еще в пору нашей студенческой жизни, и не сомневался в подлинности ее недуга. А за последние годы положение нерушимо утвердилось: она уже почти не разговаривает и с трудом глотает воду. Скоро очаг склероза подберется к центрам дыхания и кровообращения: тогда последний конец. Увы, отец Нектарий, мы с вами тут совершенно беспомощны и ни в чем не повинны; если вы скажете, что это ересь, я отвечу: вся наша жизнь ересь!)

Продолжаю о похоти, Отец Небесный... Коротко говоря, Касьянов убедился, что человек порою пристает к бабе совсем не из похоти, а из жадности; и у женщин тоже есть своя форма вечной неудовлетворенности и жажды.

Жадность. Жадность, у которой глаза несоразмерно велики. Жадность, что заставляет воспитанных людей наваливать себе гомерическую порцию, наливать вино через край, покупать два пиджака зараз, а в игорном доме продавать душу дьяволу. Даже умирая, герой с горечью вспоминает, что не успел побывать в Венеции, упустил прекрасного Ван Гога на аукционе, не пригласил в отель милую женщину, когда это еще можно было сделать. Разве это похоть, в чистом виде? (Так к Чревоугодию примешиваются винные пары.) И повсюду, во всем необузданное: я, меня, себе, давай.

Когда Касьянов читает лекции, отец духовный, он проникается сознанием, что это его пот, кровь, и он требует полного вознаграждения. Если администрация (или студенты) по каким-либо причинам не сразу платят, Касьянов обуреваем таким чувством обиды и злобы, точно ему плюнули в лицо и смертельно оскорбили.

Да, отец великий, в нашем наивном гневе уже лежит другой грех — Гордыня. Я сделал. Я помог. Мне отказали. Меня обманули... возмущение, вплоть до поножовщины, рождается из чрезмерного, раздутого сознания собственного достоинства и уверенности в нашей личной исключительности.

Эта интимная связь между главными грехами напоминает детскую игрушку: деревянное яичко, расписное, лакированное... Откроешь, а внутри другое — поменьше, еще ярче раскрашенное, опять разнимешь, а там третье яичко. Так и с моими земными преступлениями: снимая скорлупу за скорлупой, я каждый раз нахожу новый смертный порок. И трудно решить, который из них (в чистом виде) Касьянова в настоящую минуту обличает. Да простит меня Фома Аквинский: все грехи нераздельны и неслиянны, подражая в этом небесному образу.

14

Повествовать о гордыне Касьянова, отец духовный, значит перебрать день за днем его жизнь в целом. Если бы грозный титан или архангел полыхнул вдруг огненным мечом по этой гордыне, то от Касьянова в корне ничего бы не осталось (кроме бледно улыбающейся каракатицы).

Вся его реальная жизнь обуславливалась гордыней. Речь идет о его действительном существовании, а не о возможном или желанном. А вместе с тем, Отец Небесный, я не был счастлив на этом пути и ничего достопримечательного не сумел взрастить.

Вот мальчик играет в саду с детьми: праздник, воскресенье. Мать зовет:

— Иди, надену новый костюм.

Касьянов бежит в дом и через несколько минут выходит на крылечко уже умытый, в синей матроске и в коротких штанишках (с манжетом у колен). Но ребенок не бежит назад к своим товарищам:

— Он робок и стесняется, — уверяет Анюта.

А дети в саду, между прочим, имеют собственное мнение о Касьянове и начинают швырять в него камнями. Потом в жизни мальчик убедился, что его сверстники были правы, наказывая Касьянова за высокомерие.

Наша пресловутая застенчивость, что она, о. Нектарий,

если не гордыня?.. Боязнь, что тебя не оценят как должно или как хочется. Болезненное самолюбие, до иссступления, до галлюцинаций. И поскольку ты главным образом боишься, что вместо героя или гения, тебя, не дай Бог, сочтут за говно, то это именно так и случается. Ибо те, другие (в саду), весьма прозорливы и в свою очередь честолюбивы, тщеславны и мстительны.

"Как бы не осрамить себя!" — было главной заботой Касьянова, когда он входил в людную гостиную или знакомился с высокопоставленными общественными деятелями. Я, меня, сюда... Все нелепое, глупое и даже жестокое вытекает из жажды что-то особенное доказать — о себе, про себя (над всеми).

Целые полосы моей жизни, о. Нектарий, проходили в унылом смаковании "ошибок", то есть тех поступков, где я фигурировал в смешной роли (или вел себя подло, трусливо). С юных лет Касьянов, подобно героям Толстого, морщился, дергался, вскрикивал (в самом неподходящем месте), потому что случайно вспоминал или догадывался о своем очередном промахе, унижении. И пока он гримасничал и сжимал кулаки, кто-то другой выполнял все привычные (и сложные) обязанности.

Осознавая вдруг прошлую обиду, Касьянов сразу преисполняется чувством лютого гнева и готов растерзать виновников его действительного или воображаемого позора. Так что и Гордыня, о. Нектарий, не совсем самостоятельна. Она питается и укрепляется Гневом.

Касьянов в своем зеленом Бюике. Вот человек с толстозадым Понтиаком круто поворачивает и влезает в ряд спереди Касьянова. Лицо Касьянова вздулось от ярости, он обгоняет толстозадого и при первом "удобном" случае вправляет свою машину так, что оставляет нахала позади... Только тогда Касьянов успокаивается и забывает преступника. (Иначе, не сумев ему отомстить, он будет еще долго ругаться, а вечером или через год — вскрикивать перед зеркалом, переживая опять безобразную подоплеку этой сцены.)

Отец духовный, если бы вам пришлось править машиной

по необъятным просторам Америки, скажите, сумели ли бы вы кротко сносить такого порядка унижения, оскорбления?

Касьянов полагает, что без автомобиля его характер на целую четверть исправился бы... К сожалению, нам полагается зарабатывать на хлеб (то есть толкаться локтями), иначе Касьянов оказался бы еще на 25 процентов лучше, добрее, чище. Увы, женщины тоже заставляют нас добиваться их и лгать: без этого он бы на третью четверть усовершенствовался. Наконец, если бы Бог чаще отвечал на молитвы и внятно нас поучал, то я бы потерял последнюю четверть завещанной и благоприобретенной мерзкой природы... (Или все это, о. Нектарий, мне только мерещится?)

15

Итак, на основании повсечасного опыта Касьянов убедился, что толковать о гордыне, не упоминая тут же про Гнев и Зависть — бессмысленно и наивно. (Смертельное жало гордости, может быть, в том, что она ведет совершенно естественным путем к братоубийству и самоубийственному гневу, начиненному всеми другими страстями и пороками.)

В ярости Касьянов забывает себя: мгновенно выскакивает его древний и тварный двойник, который мало чем отличается от двойника толстозадого соседа. Я бы сказал так, отец духовный, эти вторые персонажи у всех почти одинаковы, и мы становимся "повторимыми" только потому, что даем волю нашему природному спутнику. Так что, кроме "моего", "меня", "себя", "я", в каждой особи сидит еще один слепой, соборный монстр, послушно поднимающийся на дыбы всякий раз, когда гордыня в человеке порождает гнев и вожделение и зависть.

Его, этого верного монстра, зовут — Затылок. Главная особенность его в том, что он никак не узнает себя в других Затылках и лезет сразу на рожон, как горилла, увидавшая собственный образ в зеркале... Я сознаю — с опозданием, а он — действует мгновенно, автоматически, защищая себя (и меня) без лукавства.

Кроме того, в Касьянове обретается еще душка Вишневский (удивительно похожий на Валерика). Этот знает, кому польстить, с кем пошутить, для кого сочинить сальный анекдот... улыбнуться, поклониться, сделать рискованное предложение, солгать, прочесть чужое письмо, приласкать, съесть, выпить, стукнуть кулаком и вовремя отступить, скрыться.

И вот мы мчимся, стараясь перегнать очередного обидчика: Касьянов почти парализован, Вишневский замысловато ругается, а некто, сидящий в моем Затылке (или в спинном мозгу) упорно и точно ведет машину, делая все необходимое для безопасного продвижения вперед наряду с другими монстрами. "Отец великий, — в сотый раз думает Касьянов, — потеряв свою целостность, я вряд ли могу претендовать на целомудрие... А между тем, клянусь Аллахом, кроме Вишневского и Затылка во мне существует еще некий святой дух, соединяющий нас всех, озаряющий единым светом". (И это уже не ересь, о. Нектарий.)

К счастью, инцидент с толстозадым исчерпан: мы снова впереди и беззаботно рулим. Теперь Касьянов не может догадаться, кто зажег его фары? Он не заметил, когда это было сделано и кем... И вдруг он видит (как бы со стороны) свои жесты, слова, всю безобразную гонку с машиной соседа: он желтеет от стыда, готовый вскрикнуть — отстраниться от прошлого (переделать его). Но тут Затылок ему приходит на помощь: возвышает свой голос, свистит, хохочет, защищая Касьянова, отвлекая его внимание. И в этой покаянной истоме я отчасти возвращаюсь к себе первозданному (через гордыню и гнев Касьянов теряет всегда личный профиль).

А на службе, отец духовный, если кто-нибудь осмелится сделать Касьянову замечание, я (сдерживая поток ругани) в бешенстве заявляю:

— Не вмешивайся (сукин сын) в мою компетенцию.

Если кавалер ухаживает за понравившейся Касьянову девицей, он сразу возмущается, отскакивает в сторону:

— Ах, так, — думает он и даже говорит, — вы на минутку заколебались, не нужны вы мне после этого со всеми прелестями.

— Это простая ревность, — уверяет (и успокаивает) Вишневский.

Отец великий, какая тут ревность? (Здесь гордость, обиженное самолюбие, болезненное самомнение, зависть. Это "я, мне, меня, себе"...)

Зависть, отец духовный, зависть, в которой Касьянов погрязает с первого дня своей служебной карьеры, она тоже выражение увечий, нанесенных нам Богом, судьбою или братьями по цеху. Если бы Касьянов достиг вершин, на которые посягал (и, разумеется, не без основания), одолев быстро и элегантно все препятствия, без обидных компромиссов и пинков в задницу, о, каким идеально-независтливым, доброжелательным, уступчивым, деликатным, бескорыстным другом человечества он бы стал. Но пока что Касьянов чувствует себя обокраденным, когда соседу легко достается то, что Касьянову обещали дать только после десятилетия напряженных хлопот.

Зимний столичный вечер; П., куцый, лысый математик, из породы гладко-блестящих, входит в амфитеатр: студенты встают и рукоплещут... Его удостоили академических пальм за работу, удельный вес которой никак не превосходит открытий, сделанных Касьяновым в смежной области. П., очевидно, только что купил себе модное пальто и, маленький, с огромной головой, теперь похож на носорога. Мы с Вишневским — пора вас познакомить, отец Нектарий, стояли раздавленные, отравленные тем жгучим потоком ярости, злобы, зависти, хлынувшим на нас (и из нас). О, как мы желали этому потешному бизону погибели. Тогда, отец Нектарий, я впервые понял всю глубину доступного нам земного падения... Если вы, отец святой, пожелаете осла своего ближнего или его жену, то это, конечно, скверно, но еще не зависть. Зависть — это когда ты мечтаешь, чтобы З. не сдал экзамена, не выиграл бы в лотерее, не съездил бы на каникулы в Рим. Зависть толкает падшего Адама нагадить ближнему, испортить ему удовольствие, подчас ценой разных жертв с нашей стороны. (Жертв воистину бескорыстных.)

Но обратите внимание, о. Нектарий: с завистью (как и с

похотью) мы не рождаемся. Только постепенно, с ростом железок, инстинктов, аппетитов и неудач наша зависть расцветает и крепнет. В сущности, можно было бы избежать этого греха (да и похоти), оставшись навеки ребенком... Но гордыня и гнев (в непримешанном виде) свойственны уже младенцу: они проявляются самостоятельно, а не вследствие искаженного, неправильного развития.

Мы ревнуем, потому что жаждем полного подчинения данного существа: единоличного владения им. В зависти нам мнится, что (во имя справедливости) весь враждебный мир должен тоже пострадать, прежде чем он добьется соответствующей удачи. Ревность безобразно сковывает Касьянова с еще одним существом (в центре мироздания); зависть подчеркивает его одиночество (на окраине).

Гордыня, в конечном счете, исходит из праведного чувства нашей особенности, исключительности (божественности). Отец духовный, это в корне священное сознание обезображено, потому что мы перестали воспринимать и ближних, кругом себя, за такое же чудесное и святое творение. Гордыня есть изуродованное, но в основе верное представление о великой роли человека во вселенной: зависть и похоть только благоприобретенные плоды отравленного мира.

16

Вот мы на повороте остановили машины лоб в лоб и не уступаем друг другу дорогу; он пресквер но выругался, Касьянов ответил циничным жестом. Тогда он вылез из кабинки, но свет, кстати, поменялся, так что Касьянов стремительно проскочил перекресток. По сей день (вопреки шуточкам Вишневского), вспоминая про это позорное бегство, я вскрикиваю, кривляюсь, багровею.

— Сволочь! — воплю, стараясь мгновенно стереть противника с лица земли и из памяти (не могу ему простить своего унижения).

Касьянов знает: убийца, прелюбодей, завистник, само-

уверенный жаднюга — все это он! И только, о. Нектарий, по причине излишней любви к себе (к своему Божественному образу). Тогда им овладевает великое Уныние: и это грех. Касьянов начинает вдруг сомневаться в человеческой ценности вообще, в исключительности нашего назначения.

Утром он поднимается под треск будильника: это современный барабан в городской казарме. Зимой еще темно, и Касьянов автоматически поворачивает или нажимает все услужливые кнопки, безвольно пробираясь в уборную.

Вишневский сразу начинает его брить, подпирая языком (подобно Чичикову) мясистую щеку. А Затылок зорко следит за струей горячей воды: как только сосед сверху тоже открывает кран, у нас в трубе давление падает... (И хотя этой воды обычно вполне хватает, однако Затылок сразу принимает свои суровые меры по усмирению противника.) Глядясь в зеркало, я вдруг вспоминаю, как вчера попросил главного бухгалтера "больше меня не обкрадывать"... и жестикулирую, вскрикиваю от стыда. (Ridicule так же пугает Касьянова в современном Манхеттене, как князя Андрея на шоссе у Эпельсдорфа в 1805 году.)

Спор с бухгалтерией старый, хронический спор, превращающий Касьянова в подобие Каина. Обратите внимание, отец святой! Деньги, полагающиеся ему, касса выплачивает лишь после того, как все студенты погасили свою задолженность. Так, например, если с аспиранта причитается 1000 долларов, а он внес только 900, то контора оповещала Касьянова, что именно его гонорар остался неуплаченным. И это возмущало, ибо по другим соображениям можно было предположить, что слушатель погасил 90 процентов своего счета.

По этому поводу мы с бухгалтером объяснялись часто и бурно, развивая и углубляя братоубийственную рознь... Вор, который за собственный четвертак свернет шею дюжине сирот, он бескорыстно обкрадывает Касьянова на сотни долларов в пользу анонимного, многомиллионного товарищества.

Тут все ясно, отец родной, но зачем Касьянов похвалил

его галстук при самом начале серьезного разговора? Вот этого унизительного комплимента моя (мое, меня) гордыня не может теперь простить Богу, миру и, главное, потаскухе-счетоводу: он, вдобавок, педераст. И я уже несколько мгновений (пока Вишневский подпирает языком толстую щеку и резво поводит бритвой) ору голосом Затылка:

— Ах, зачем! Но неважно! Ах, ах, зачем! — (это он старается грубо и бесцеремонно перекричать мой внутренний и требовательный к себе голос).

Затем Касьянов возится с зубами: чистит, скребет. Но подклеить искусственную челюсть надлежит только после кофе. Во всех действиях требуется строгая последовательность и следит за нею безошибочно верный Затылок.

Тут обычно доносятся тихие скребки из комнаты Зоры, и я с Вишневским и Затылком, мы осторожно заглядываем в ее половину. (Несколько лет тому назад мы все вместе еще укладывались в одну постель, и, пока Вишневский похабничал, а Затылок честно выполнял свои обязанности, я размышлял о нищих метаморфозах души. Отец небесный, Вы ли не помните, как я любил Зору.)

Итак, мы пробираемся в комнаты Зоры. Она уже проснулась и просит первую папиросу (на ночь Касьянов оставляет только две).

Туалет и чай Зоры отнимают еще полчаса. Справедливо отметить, о. Нектарий, что в это время Касьянов редко вопит и кривляется: я, себя, меня отходит на второе или третье место... (А Вишневский с Затылком послушными, немыми часовыми стоят неподвижно вдоль стены.)

17

Наконец Касьянов выходит к машине, удрученно предвкушая (особенно осенью или зимою) всевозможные осложнения, связанные с холодом, сыростью и старым мотором. В такие минуты он привык обращаться с призывом к Святой Троице; это у него получается уже автоматически, словно

теперь молитвенным прославлением занимаются Вишневский с Затылком.

Случается (и часто), что надо бежать за помощью в гараж. Тогда проклятия, гневные возгласы, обиженные упреки сменяли лаконическую осанну. Душевные клавиши последовательно содрогались (с педалью); гамма звучала по установленному трафарету и с наивными повторениями. В гневе Касьянова, в его страхе и молитвах не было ничего личного, сознательного, жизненно-питательного... Все время чудилось, что полная, трезвая реальность начнется где-то дальше — когда мотор заведется. Но и это оборачивалось иллюзией: надо было еще доехать куда-то, пройти, взяться за дело. Лишь тогда подлинное существование наконец заявит все свои права. Получалось (и это грех, которому я, отец святой, не знаю имени), что жизнь Касьянова, настоящая, неизменно отступала, отстранялась, никла перед лицом множества искусственных, предварительных этапов. Он постоянно тягался с сонмом воображаемых монстров, чертыхался, сердился, спорил, опутанный нерушимой причинно-следственной сетью. И борьба эта отнюдь не удовлетворяла его, превращая в тупого батрака, раба, гладиатора. Так что непонятно становилось, почему Касьянов продолжает неистово защищаться, спасаться, утверждать — себя, свое, себе! (Если это совсем не дарует ему счастия.)

Когда машина благополучно согревается и трогается с места, мы опять возносим похвалу Святой Троице. К этому Касьянов привык издавна и теперь позволяет Затылку воспроизводить затверженный урок (без участия сознания). И Бог, надо заметить, за последние 25 лет никак не отзывался на докучливые зовы Касьянова. Из этого совсем не следует, что Касьянов неверующий. Наоборот, отец духовный.

Шатов (в "Бесах") на такого рода вопрос отвечал: "Я... буду верить". Касьянову надлежало бы сказать: "Я... когда-то верил".

Моя прошлая вера — непреходящая реальность, что-то отмечающая в личной жизни навеки. Так человек, по немощи

переставший плавать летом, знает, однако, что оторваться от дна бассейна — можно, полезно и приятно.

Вообще на такой важный и сложный вопрос должно быть больше, чем два исключающих друг друга ответа: да, нет! В современной физике, о. Нектарий, материя — и волна и частица... и не волна и не частица (и еще нечто третье). Так и на старинный (как вальс) вопрошающий глас: есть Бог или нет... позволительно отозваться: "И да и нет и еще существует третий вариант".

Мне порой мнится, отец святой, что с Богом бывает, как с другой нашей реальностью: любовью, материей, притяжением, временем. Можно себе представить миры (такие карманы в космосе или дыры), где нет материи, нет гравитации, нет времени. Касьянов теперь живет без Бога, ибо в Космосе образовалось подобие "воздушной ямы", поглотившей в этом месте весь священный инвентарь.

Впрочем, о Боге лучше всего выразилась одна пятилетняя девочка:

— Бог-то, конечно, есть, но я в Него не верю.

Опыт Блаженного Августина не единственный; он бился в тишине, в темноте, докучал Богу, вопил, и вдруг Тот откликнулся... Этого святому хватило надолго, навсегда. С Касьяновым же случился скверный анекдот: в самом начале пути, совершенно незаслуженно, Бог отозвался на его стоны. Но вскоре голос перестал доходить, прошлое заросло густым сорняком и туда уже, пожалуй, о. Нектарий, не пробиться.

Вот как, вкратце, обстоит дело с моей верою. Касьянов совсем не атеист, наоборот, он только еретик. Но еретики тоже нужны церкви. Хотя бы для того, чтобы их образумлять.

18

Согрев мотор, мы с Вишневским (и Затылком) наконец трогаемся в путь; за углом, в конце улочки, первый светофор. Летом из-за тяжелых листьев каштанов и кленов этого фонаря не видно до самого перекрестка. Но вот дни становятся

короче, тучи на мокром небе толще, и гусей тоскливый караван потянулся к югу. Касьянов догадывался, что приближалась довольно скучная пора каждый раз, когда, повернув за угол, он еще издалека замечал зеленый или красный огонь фонаря. (А деревья, похудев, стоят костлявые и трясутся, ничего хорошего больше для себя не ожидая.)

При следующем повороте наступал первый Кризис. Вообще вся дорога на службу (и после, и до — жизнь, целиком) состояла из критических звеньев, колец, соединенных между собою спокойными, невыразительными, ровными черточками.

Кризис номер 1 — это поворот у моста, где орды машин выезжают с автострады на бульвар, ведущий в город. Там уже образовалась очередная пробка из грузовиков, так что за одну перемену света никак не удастся преодолеть затор. А в довершение беды, о. Нектарий, из боковых переулков на вас напирают сорванцы, по-видимому уже потерявшие терпение или разум.

Пытка езды заключается главным образом в том, что надо полагаться на здравый смысл всех встречных безумцев, на их чувство меры и даже на их атлетическую выдержку. Если бы нам приходилось свое понимание Бога или жизни или искусства приноравливать к прихотям и вкусам этих водителей машин, то Касьянов, вероятно, вскоре кончил бы самоубийством. Но здесь, вооруженные убийственными моторами, мы как-то все уживаемся (и проскакиваем). Принимая во нимание нашу универсальную глупость и грубость, я часто удивляюсь, отец духовный, до чего незначительно число автомобильных катастроф на земле. Неужели Декарт прав, и человек одарен совершенным разумом, которым в серьезных случаях действительно руководствуется?

Следующий кризис наступает, когда мы втягиваемся в общую магистраль: тут надо разрешить некую квадратуру круга... Содержание 6-7 асфальтных дорог должно вместиться в три полоски бульвара. Можно себе представить, как ведут себя Вишневские в других машинах, а мой Затылок, угрожающе скаля зубы, резко вертит баранку руля, прокла-

дывая монолитную трассу, и под общую грубую ругань тупо вытесняет противника.

Трудно сказать, где в это время лично пребывал Касьянов. Только когда "узел" распутывался, я вдруг находил себя и начинал кривляться, отряхиваться, норовя поскорее забыть (вычеркнуть) наши братоубийственные маневры и речи.

Между тем Вишневский уже подмигивает девице в Триумфе, делает ей двусмысленные комплименты; она сидит за рулем в своей действительно минимальной юбчонке, и можно вполне разглядеть всю бесконечность ее американских ног.

Не успеваю я урезонить Вишневского, как Затылок грубо наступает на тормоз: еще мгновение, и мы, следуя гуськом, обязательно прободали бы друг друга, как стекла телескопа при резком повороте винта. (Затылок отличается повсеместно; он выполняет без промедления самые внезапные и замысловатые поручения, а ведь в обыденной жизни мы его презираем и едва ли пускаем в гостиную.)

На прямом отрезке пути Вишневский дает газ, но не равномерно, а с перебоями, точно в упоении брызгает жидкость из пульверизатора. Вишневский — пошляк, но не лишен наблюдательности и уверяет, что это похоже на поллюцию: он, дескать, орошает окрестности струей семени. Пароксизмами оплодотворяет собою (мною) город, воздух, асфальт. То же, он клянется, делают другие Вишневские. (Это, о. Нектарий, похоже на нерест лосося.)

Опять критический момент. Железнодорожный мост поперек магистрали: одна полоса дороги (в пролете) занята столбами старинного сооружения. Так что из трех русл поток машин должен сразу перейти в два (точно вода, приливающая из моря в залив — через узкое горло).

Таких виадуков два: на небольшом расстоянии друг от друга. Не успеешь отдышаться, опять, не угодно ли тесниться и бурлить в тесном водовороте.

— Сволочь, куда прешь! Не видишь, а? Хам, я тебе покажу.

В частной жизни, отец духовный, люди нынче уже не толкаются (буквально, то есть) и не норовят проскочить вперед, как это делают на дороге автомобилисты. Наша цивилизация даже научила шалунов придерживать дверь и уступать место дамам. Но в автомобиле человек почему-то возвращается назад к каменному, пещерному умонастроению. Это ли не парадокс... Процеженные через машину, наши поступки превращаются в нечто отвлеченное, неперсональное. Аноним включает мотор в 100 или 300 лошадиных сил и у него создается впечатление титанического могущества. (А в личном быту он кашляет, страдает запором, ишиасом и это поневоле укрощает его.)

Есть двух родов монстры, связанные с машиной... Касьянов заводит мотор, и всем видно, что его посадили в Бюик и научили управлять им. На американском Западе встречаются особы, выросшие за рулем, составляющие как бы одно литое целое с автомобилем: современный кентавр неопределенного пола. Эти существа ведут себя вежливо, уступают дорогу встречным машинам, они спокойны, благонамеренны: знают, что проедут, доберутся, поспеют! Правда, передвигаются они главным образом по пустынным, бесконечным автострадам или по малонаселенным городам. (Эти же уравновешенные кентавры, извлеченные на часок из своего металлического кузова, сразу превращаются в подобие каракатиц или боа-констрикторов.)

Между тем Затылок, прицелившись, ловко входит в чужую полосу, подравнивается и проскакивает узкое место под виадуком, затем снова возвращается в свою "ленту" с края дороги. Если бы кто-нибудь осмелился проделать такой фортель перед нашим носом, Вишневский ему бы уж задал! Но тут он весьма одобрительно ухмыляется. Можно только удивляться, о. Нектарий, количеству Вишневских и Затылков на колесах, снующих кругом (в сущности, три четверти нашей жизни пожираются этими паразитами). Нет, Касьянов на них не похож...

С юных лет он пренебрежительно отмахивался от пошляков, живущих исключительно собственными интересами

(меня, себя, я) или поклоняющихся блеклым идолам, вроде Маркса, Фрейда, Дарвина. Ясно, их неудача в жизни обусловлена соответствующей ложной философией.

Но как истолковать мое поражение? Отец милостивый, Касьянов верил в Бога, каялся в грехах и поклонялся Его святыням. И если жизнь его под конец уподобилась голой пустыне или занесенному песком граду с разрушенным водопроводом (а впереди несомненная смерть), то не значит ли это, что Бог, которого Касьянов исповедовал, ложен или что Ему дурно служил. Данте — дитя со своими жалобами: подумаешь, посередине странствия земного он очутился в страшном лесу. Касьянов посередине своего пути ничего страшного не пугался. Но каково к самому финалу очутиться на каменистом, отверженном острове, заброшенном в самую пучину стеклянного океана... Когда и ноги уже подгибаются от слабости, сердце дрожит и колышется, а перед глазами назойливые круги. Тут, о. Нектарий, поневоле впадешь в меланхолию.

Жизнь безбожника подобна постройке на песке, в этом диалектика безбожия. Но как случилось, что Касьянов тоже очутился на мели? Тут вина, мне чудится, уже не его, не только его.

Вот, отец духовный, теперь понятно: Уныние (как сомнение или скука) одолевает Касьянова. И этот грех является словно плодом всех других наших пороков в совокупности.

20

Где бы в потоке автомобилей брат Затылок не очутился, он, подстрекаемый Вишневским, через два-три квартала уже выдвигается вперед на самую выгодную позицию для дальнейшего следования. Так что комбинация моего Вишневского с Затылком могла считаться исключительно удачной.

Затылок унесся бы далеко и шибко, да светофоры мешают: этот бич современного города, пресекающий индивидуальный напор, подравнивающий шансы первых и последних.

По вине красного света между отдельными колоннами автомобилей образуется пустота. Но вот блеснуло зеленым, и мы все бросаемся догонять ускакавших вперед... Так новое поколение кандидатов, только что вышедших из разных школ, рвется скопом на поприще жизни: если предоставить ему полную свободу и достаточно времени, оно обязательно нагонит выпускников предыдущего поколения (докторов, офицеров и... автомобилистов). Но условный красный сигнал парализует нас и заставляет тормозить, не догнав передних (старших). Однако под самый конец мы все-таки настигнем головной эшелон и совершенно сольемся с ним. Похоже на кровеносную систему: в центре возникают отдельные пульсации, волны, а на периферии, в волосных сосудах кровь течет уже непрерывным ручейком. (Должно быть, отец великий, где-то в космосе тоже бьется могучее сердце, высылающее плазму жизни отдельными систолами, но здесь, у нас, на далекой окраине, эти спонтанные взрывы принимают характер равномерный, вязкий, сплошной.)

Вишневский, как полагается существу неоригинальному, постоянно жалуется, что машин слишком много и они ужасно мешают ему сосредоточиться. Он не может сообразить, что только благодаря этому накоплению миллионов автомобилей, последние стали для нас с Вишневским доступны. Все так дешево (запасные части, обслуживание, бензин), потому что распространено и покупается народом. Самолетов стало меньше и они гораздо дороже, а содержание подводной лодки совсем не по средствам частным лицам. Этого парадокса Вишневский органически не в состоянии усвоить: его мутит от любого обобщения. Все неясное или противоречивое он воспринимает как жульничество.

— Я этого не понимаю, — заявляет он часто и с такой исчерпывающей наглостью, что собеседник его сразу смолкает, чувствуя себя виноватым.

Творческие мысли относительно "воздушных дыр" (где нет времени и притяжения), о неудачном личном Боге (если жизнь в вере неудачна) или о семафорах, разделяющих поколения, все это удовлетворяло Касьянова на короткий срок,

вдохновляло. Но тут, о. Нектарий, не было настоящего преображения, ибо на следующем критическом этапе он по-старому начинал сердиться и обижаться, а Затылок с Вишневским сразу выскакивали (словно из раскрашенной матрешки) и гнались за соперником, норовя примерно его наказать.

Вот мы приближаемся к очередному поворотному пункту: здесь семь дорог сбегаются, превращаясь злым кудесником в три... Огромный перекресток гудит и содрогается. Под землей, устланной решетками, шипят и пускают пар поезда; сверху, на виадуке, громыхают бесконечные составы, а в небе (довольно низко) проносятся тяжелые самолеты, уходя за море.

Я полагаю, Отец Небесный, что эта чугунно-бетонная площадь самая визгливая и бессмысленная в нашем мироздании. Ни один храбрец эпохи средневековья, римлян, греков, персов не отважился бы ее пересечь без предварительных обильных жертв хитрым богам. А Касьянов дважды в день проделывает этот фокус, как бы невзначай. (Только иногда его душа, болезненно ежась от интегрального скрежета, начинает машинально выстукивать славу Отцу и Сыну и Святому Духу.)

Характерной особенностью таких переломных этапов является общая неуверенность, которую они порождают в человеке. Если бы знать определенно, что вовремя и гладко проскользнешь, то сердце бы не сжималось от болезненного нетерпения и Касьянов не рвался бы скорее, быстрее преодолеть новый досадный барьер. А Вишневский с Затылком, разумеется, усердствуют, из шкуры лезут вон (они утверждают, что если не толкаться — не проедешь).

21

Забегая несколько вперед, о. Нектарий, скажу здесь, что вечером, возвращаясь назад по той же визжащей площади, преодолевая те же заторы, волны, вихри, шумы и запахи (в потоке других отработавших смену горожан), Касьянов, не

узнавал этого места... Все еще критическое, оно теперь выглядело по-иному, возвышенней, поэтичнее, даже человечнее.

Скажешь: день кончился, солнце зашло, экзамен сдан, какие-то новые планы начерчены, поэмы написаны, дома сооружены! Следовательно, я уже другой и весь мир (с этой площадью) решительно изменились. Утром мы только стремились все это сделать, а теперь: долг выполнен, к вселенной что-то прибавилось, можно отдохнуть или заняться радостными, горестными, греховными играми.

Верно отмечено, отец духовный, но не объясняет целиком, почему страшная площадь на обратном пути казалась совсем иной, преображенной: Касьянов даже любовался лирикой ее разбегающихся звездой дорог... Создается впечатление, о. Нектарий, что не место, где мы обретаемся в жизни, имеет значение, а направление наше (устремление). Отец Небесный, почему Касьянов так старается понять и благословить Твой мир! Но каждый день жена Иова (устами Вишневского) ему шепчет: "Похули Бога и умри".

Приказав Вишневскому угомониться и поручив управление Затылку, Касьянов в своем мнимом одиночестве предается мечтам: он занят теперь постройкой наивной схемы: варианта возможной (устойчивой) вселенной. Такого порядка игра его с детства прельщала и даже помогла впоследствии добиться ученой степени.

Он представляет себе, что жизнь или день, час нашей жизни — это сплошная, гармонично раздувающаяся сфера, но в то же время жизнь (или каждое мгновение ее) состоит еще из отдельных, ратоборствующих друг с другом твердых взрывчатых точек... Если материя — "и волна и частица", если свет — "и волна и фотон", а время тоже распадается на крононы, то жизнь человеческая (в целом, разбухающий, волнообразный шар) еще слагается из бесчисленного множества критических действий: актонов. То же относится к личности: с одной стороны, распространяющееся в вечности постоянное единство, а с другой — рой микроскопических, вращающихся вокруг собственной оси зерен: персононов!

В кратком курсе "Новой социологии" (для старшего семестра) Касьянов так формулировал свою теорию:

"Персонон это квант человеческой личности: единица ее подлинной сущности. Актон это квант человеческой деятельности вовне. Когда личность — одно стройное целое, ее актоны в основном равны персононам (или приближаются к ним). Но стоит нам раздробиться на ущербные части, и личность сразу уродуется, ее персононы теряют силу, так что наши актоны являются уже жалкими отражениями Вишневского с Затылком, обретающимися теперь в нас".

Такого рода мудрствования, отец духовный, догадываюсь, греховны, но к какому греху их причислить, не ведаю (ибо о лукавстве здесь и помина нет). Думаю, что все это — кимвал бряцающий. Но и кимвал бряцающий тоже пригодится в общем хоре серафимов (когда любовь и свет повсеместно уже утвердятся).

Философский стих и склонность к творческим фантазиям овладевали Касьяновым главным образом на узкой дорожке (огороженной решеткою) с края моста, над заливом. Там сохранилась "тропа" упраздненного трамвая, которой пользовались только легкие машины, выбирая ее по собственному капризу. Особенность этого благодатного участка пути заключалась в том, что больше никто тебя не может здесь обогнать и ты никого не смеешь оттирать: автомобили движутся отныне только гуськом. Так что конкуренция, зло, зависть, гордыня исчезают на протяжении всего райского заповедника. Мы все на минутку превращаемся в мирных попутчиков, в пилигримов, пробирающихся к святым местам. Ни Маркс, ни Дарвин для нас больше не авторитеты. Точно бальзамом полили на душевные язвы, доказав, что полное исцеление близко.

Творческие импровизации в виду морского залива (внизу) и небоскребов, издалека улыбающихся окнами (где свободные фотоны избрали путь отражения, подобно персононам во мне, беспричинно благословляющим жизнь), все это чудо реального мира оказывается, однако, удивительно неустойчивым. Уже при выезде с моста, где нас ожидает новый кризис, мы

немедленно, скопом, по старинной собачьей природе начинаем огрызаться. Вишневский, ругаясь, вместе с Затылком споро выводит нас в широкое русло потока, мы спешим скорее проскочить (отделаться), потому что, Отец Небесный, это место злое и бессмысленное. Если бы человек был занят только достойной и облагораживающей деятельностью, то он, очевидно, избавил бы себя от сомнительной необходимости толкаться локтями и по-волчьи щелкать пастью.

22

Наступает последний кризис начала рабочего дня, еще одна вспышка атомов, фотонов, крононов, актонов, персононов. Вишневский одним оком ищет удобное место, куда поставить машину, а другим оценивает соблазнительные, высоко открытые колени молоденьких девиц, спешащих в конторы (старые выходят попозже). Затылок круто и точно вертит баранкой руля, а Касьянов едва успевает наладить какой-то порядок в своей обособленной и все еще бессмертной душе.

Наше учреждение, о. Нектарий, привилегированное, и потому власти определили для автомобилей служащих крохотную площадку в центре города. И для всех места не хватает. Очень просто: еще в древние века, судя по Евангелию, званых было много, а избранных мало.

Хитрецы приезжали пораньше, но они натыкались на машины обывателей, оставленные там на ночь, что будто бы дозволено законом (до восьми утра). Получался взрыв, ограниченный во времени, но чреватый грозными ссорами и даже потасовкой (чему Вишневский с Затылком безрассудно содействовали).

Итак, все наше путешествие, разбитое на множество критических узлов-бусинок, в целом составляло одно ожерелье. Теперь наступал период службы, который в свою очередь распадался на отдельные звенья или поворотные

фазы. А дальше: возвращение домой, вечер, ночь, воскресенье, викенд, все новые цепи бус. Хотя праздник именно тем и характерен, что в нем отсутствует обычная роковая необходимость и причинно-следственная связь: в выходные дни труженик как будто волен избрать любую траекторию, любое направление... Но раз определив свою цель, горожанин начинает убийственно толкаться, огрызаться и опять линяет от гордыни, гнева или зависти.

Служащие, избравшие подземку или автобус, проходили чрез свойственную им вереницу критических узлов (подобно космонавтам, летящим на Марс в многоступенчатой ракете)... От дома до сабвея (пересечь бульвар или сквер); первый нужный поезд (дождаться, сесть); пересадка (не пропустить). Отец святой, ведь трогающийся с места состав, в который мы не попали, по-земному называют "своим": — Вот наш поезд ушел, — жалуются в толпе... (А ведь так легко и в соответствии с реальностью было бы сказать "Мой поезд следующий".) Затем — пешком: до конторы или мастерской. Каждый квартал, перекресток, семафор — это все критические точки, бусинки, актоны. Те, что привыкли брать такси, подвергаются действию других случайных взрывов и сил.

В служебном корпусе надо прежде всего попасть на соответствующий этаж (наш — 37-ой). Для этого опять следует прибегнуть к услугам Вишневского и Затылка. Они так убежденно и грациозно лавируют, что Касьянов легко всплывает наверх в первом же лифте-экспрессе.

А на работе давно уже установилась такая цепь пароксизмов и переломных этапов (скрепляемая соперничеством, честолюбием, жадностью и даже похотью), что освободиться от нее может разве только святой (или влюбленный).

Я (Вишневский и Затылок) числимся в профессуре. В прошлом нас использовали в научном журнале, в старческом клубе, даже в церковно-филантропическом заведении. И повсюду мы, кроме жажды заработать побольше (а трудиться поменьше), еще вносили классические элементы гордыни, зависти и злобы; тем же, впрочем, щеголяли и другие наши сослуживцы.

Против моих эгоистических актонов движутся актоны всей живой и мертвой природы: мы парализуем друг друга или уничтожаем. И только изредка появляется личность, которая умеет синхронизировать взрывы своих персононов с нашими. (Я всегда чувствовал такого рода синергию при Вашем приближении, отец святой.)

23

Деятельность профессора тоже, разумеется, подвержена периодическим кризисам; постоянно образуются "узлы", которые запутывают отдельные и разные нити служебной пряжи. Как преподаватель Касьянов занят только пять часов в неделю, но в каждой точке или самостоятельной единице этого курса проявляются присущие им подводные течения, рифы и скалы в виде соперничества, творческого пыла, злобы и гордыни.

К лекциям полагается подготовиться еще примерно пятнадцать часов. Библиотека, семинар, в свою очередь, изрешечены характерными вспышками (с освобождением персононов). Чтобы попасть в читальню на 17-ом этаже, следует дождаться соответствующего лифта: к услугам экспресс и "медленный", останавливающийся на каждой площадке. Если спуститься до восемнадцатого "скорым" и пробежать вниз по лестнице один этаж, то сэкономишь и время, и силы. Но двери на лестницу по капризным полицейским или пожарным соображениям не всегда и не повсюду отперты, так что иной чудак может надолго, если не навеки, затеряться среди бескрайних и серых коридоров.

Каждая встреча с коллегами, а в особенности с начальством, это опять-таки барьер, через который перепрыгиваешь удачно, только пустив в ход семь смертных грехов и дюжину жизненных, нарушая тем надолго, отец духовный, свой внутренний покой (потом безобразно и неряшливо стонешь и кривляешься перед зеркалом).

Еда в кафетерии также дробится на звенья или гнезда

кризисов... Попасть к началу, занять удобное место и подальше от наглецов, болтунов, пошляков: тогда Вишневский уже не угомонится. (Очутиться за одним столом с черноробочими, ковыряющими в зубах, тоже не радость, о. Нектарий.)

Ежедневно 2-3 часа посвящаются заседаниям научных или административных органов. Тут критические "переломы" особенно опасны, ибо могут отразиться на дальнейшей карьере участвующих в совещании. Принцип автомобильного спорта наблюдается и здесь... Там поток машин из пяти колонн должен вдруг уместиться в три полосы и удовлетвориться этим, а тут дело сводится к фондам, прожектам, стипендиям, наградным: на всех не хватит, отец духовный, очень просто! И каждому хочется урвать поскорее для себя или для своих близких кусок пожирнее.

Работа со студентами, экзамены, разбор сочинений, поощрение молодых талантов (и заигрывание с девицами) — новая фаза, изобилующая критическими зернами. Все это натурально укладывается одно в другое, как игрушечные яички, которые в конце концов умещаются в основное, ярко раскрашенное, большое, несуразное яйцо.

Сменяющие друг друга заграждения и барьеры можно удовлетворительно преодолеть, только если придерживаться определенного темпа, то есть — брать их с установленной скоростью и в соответствующем порядке! А светофоры, висящие повсюду в цивилизованном мире, не дают выскочкам слишком легко или шибко обогнать соперника.

Половой вопрос у нас в Институте носит особо острый характер. Там по всем углам бродят стайки молоденьких, зависящих от Вишневского секретарш, лаборанток, уборщиц, и они, как азартные игроки, не прочь рискнуть своим достоянием, чтобы сорвать хоть раз банк. Вдобавок сюда на особые курсы приезжают слушательницы некоторых закрытых средних учебных заведений. Все это, разумеется, создает паническую атмосферу соблазна, так что Администрация вынуждена была взять на себя роль евнуха, пресекая в корне

даже невинные заигрывания (что, как водится, только разжигало плотские инстинкты).

А курсистки наши — преимущественно из богатых домов и, между прочим, давно посвящены в основные экзистенциальные тайны. Встречаясь с ними в коридоре, Вишневский (да, кажется, и Затылок) из кожи лезут вон, описывая прелести "шалаша" на берегу океана. (Вы помните, отец любезный, что когда Касьянов пригласил филиппинку, то он не был совершенно уверен, кто, собственно, затеял эту рискованную авантюру.)

Пока Вишневский, захлебываясь, вяжет ткань своей пошлой интриги, а Затылок грубо пялит зенки, я стараюсь произвести чарующее впечатление своим благородным тактом, воспитанием, шармом. Касьянову, главным образом, желательно, чтобы эти милые девицы, уходя, подумали:

— Ах, какой он интересный! Какой умный и деликатный.

Именно эту комбинацию похвал почему-то возжаждала его извращенная гордыня. Наличие тех же смертных грехов у каждой особи выражается по-иному. Так воинственный инстинкт у тигра носит совсем иной характер, чем у хорька или у зубра.

24

Гордыня всегда та же, но проявляется она (оформляется) по-разному. Похоть одного питается пухленькой, наивной блондинкой, а вожделение другого распаляется темной, развратной гетерой; третьего же подстрекает только вид поношенной туфли на высоком каблуке. Так и с гордыней, отец чистейший... Этот налогоплательщик мечтает прослыть умным, тот славным или добрым, иной ищет признания в самых разнообразных и даже чуждых ему областях. Гордыня одна и похоть одна и гнев и чревоугодие и зависть и уныние, а выражение каждой страсти многообразно. Так что возникает вопрос, о. Нектарий: не являются ли наши отдельные, кардинальные грехи только разными отражениями основного

порока — себялюбия! Нет семи или больше преступлений, есть одно и вековечное извращение: "я, меня, себя, себе". (Да простит мне святой Фома Аквинский.)

Но, рассматривая на досуге свою ежедневную деятельность, Касьянов приходит к выводу, что только благодаря страстям и падениям его жизнь в симбиозе с Вишневским (и Затылком) еще сохранила некое относительное содержание. Без этих пагубных кренов он, вероятно, походил бы на кусок теста, на опреснока, на невыпеченного блина.

И тогда, отец духовный, Касьянова охватывает чувство совершенного уныния, полного (хотя и временного) разочарования как в собственной сущности, так и в природе мироздания (изрешеченного пустотными дырами).

Так что, повторяю, отец святой, Уныние — смертный грех не потому, что вообще Касьянову дурно усомниться в собственной значимости, а потому, что оно зарождается в результате нашей грубой причастности ко всем наличным грехам. Уныние есть признание в полной беспомощности (моей и Господней). Мы словно заявляем: да, ткань человека (и мира) в корне испорчена, ее уже не выправишь.

Тут, о. Нектарий, Касьянова часто спасала постквантовая физика. Подумайте, мир как волна, может быть совершенным, а как частица — отвратительным. (И еще допустимо нечто третье.) Как "зерно" Бог всемогущ и только как волна — всеблаг. Творец в образе частицы обязательно личный, живой, а в виде волны Он обнимает уже бесстрастно всю природу, сливаясь с ней целиком. (И еще не исключен третий вариант.)

Впрочем, это новое миросозерцание никак не удается привить Вишневскому и Затылку. (Да и я сам в пылу борьбы за существование часто пренебрегаю откровениями трансуранного порядка.) Обратите внимание, о. Нектарий: Вишневский все чаще и бесцеремоннее нам подсовывает водку, вино (и еще нечто третье). Его любимое выражение: "надо встряхнуться, забыться".

Забыться... Но в этом рецепте Вишневского содержится убийственный яд. По странному совпадению, отец духовный, Касьянов часто забывал именно то, что для его спасения

надлежало вечно помнить, а запоминал крепко то, что по-настоящему, пожалуй, и не существовало (или, что следовало бы поскорее стереть, вычеркнуть).

Тут, о. Нектарий, должно быть, неудачно сопрягаются два сложных механизма: Памяти и Забытия (бывшего и небывшего). Думаю, что в глубине нашей имеются два центра, связанных с прошлым, два фокуса (как в эллипсе). Ведь известны два стража сна: один, ввергающий человека в бессознательное состояние, а другой, подстрекающий его к активному бодрствованию... И уснуть можно по милости любого из этих контрольных пунктов.

С памятью, Касьянов верит, происходит нечто схожее. Один ее центр побуждает к учету прошлого, к сохранению сущего, второй затемняет, сглаживает, смывает бывшее. (Все это будто бы в силу пресловутого закона самосохранения.)

Еще, разумеется, надо упомянуть про третье звено: пути, каналы, разветвления, по которым память доставляет из своих подземелий и гнезд наверх, к свету сознания все пережитое. Поэтому мы можем, сосредоточившись на исповеди (словно пробиваясь чрез засоренные трубы), вспомнить то, что, казалось, основательно забыли.

Благодаря стихийному прогрессу мы в сущности уже не замечаем то, что делаем, ежеминутно дергая за окружающие нас бесчисленные рычаги. Мы не забыли, отец святой, нажата ли вовремя кнопка в лифте, заперта ли правильно дверь квартиры: по-настоящему Касьянов никогда реально (осмысленно) этих действий не производил. Так жизнь нашего современника все больше и глубже загромождается провалами сознания ("пустотными дырами"), тенями, привидениями, островами никогда не плававших кораблей, скелетами мнимых недоносков.

А с другой стороны, о. Нектарий, где-то на дне мы упрямо храним древние заботы, атавистические сны и пещерные повадки: все, что следовало бы давно и навеки похоронить, выбросить, как оскорбительный и вредный для организма хлам.

Касьянов поднимается с ложа и бредет в уборную. Пока он

бреется (между первым и вторым мылом), я решаю почистить зубы и замечаю: щеточка мокрая, со следами свежей пасты. Отец Небесный, в чем тут секрет? Почему это меня пугает, словно выражение крайнего, скотского блуда (вроде содомии)? Кто, когда, каким манером успел помыться, причесаться в моем присутствии, моими руками, но так, что я этого не заметил... Вишневский только отшучивается, да и вряд ли он способен на длительное и полезное усилие, а Затылок делает только то, что ему давно поручили. Так что это они и не они и еще некто третий в Касьянове, все объединяющий (и все подчас уродующий).

Сколько таких таинственных духов погребено в наших недрах, отец светлейший? Как легко им, веселым ребятам, распоряжаясь за меня, совершить роковую ошибку. В результате получается, что это будто бы Касьянов преступает десять заповедей, соблазняется семьюдесятью семью смертными грехами и отвечать должен за все единолично. Скажу еще ересь: даже свои чистые деяния и бескорыстные подвиги, быть может, не он (не только он) совершил.

Впрочем, о. Нектарий, я хорошо знаю, что доброе, любовное, человечное (небесное) требует участия нашего сознания: Касьянов хорошо помнит все редкие случаи, когда он вступал на этот узкий путь и, главное, тут обходилось без кнопок и автоматических пружин (изобретенных для благостной экономии времени и энергии).

Утром Касьянов встает, и это словно не я очнулся! Половина всех следующих за пробуждением маневров и передвижений выполняются неизвестно кем.

Для сведения отдаленного и счастливого потомства хочется составить таблицу поступков, которые мы ныне совершаем походя, попросту не замечая их. В литературе, о. Нектарий, сохранился гомеровский перечень кораблей, отправившихся к стенам Трои; существует еще описание разных видов китов, сделанное Мелвиллом; эти страницы величественны и вдохновляют юношей на поэтический подвиг. Но список автоматических действий человека, Отец Небесный, нагоняет на меня страх, как адский блуд, как мерзкая ересь,

сера, оскопление (не оригеново, наивное, а наше, душевно-духовное калечение). Здесь, очевидно, восьмой грех, в котором Касьянов всецело повинен.

Многое из того, что происходит в уборной или в лавчонках (где покупаешь мелочи) ускользает от сознания (Касьянов часто сомневается, заплатил ли он за газету, получил ли сдачу).

25

Наше индивидуальное, безотчетное мы воспринимаем как общеузаконенное, свойственное человечеству в целом. Так Вишневский наивно утверждает, что все люди подписываются с тем же чувством скуки или досады, они так же запирают дверь на замок и ритмически совокупляются, подобно Касьянову.

Может быть, о. Нектарий, мы уподобляемся последнему изданию классического словаря: корни те же, а примеры употребления существительных и глаголов — другие... Или — новому учебнику арифметики: четыре действия изложены в обычном порядке, только задачи и примеры даны незнакомые!

Все неожиданное ощущается нами как фантастическое, а привычное заменяет реальность... А ведь если здраво подумать, именно давно освоенное абсурдно. Воистину, Отец Небесный, трудно представить себе большую нелепость, чем искони голодающие дети, образцовые публичные дома, казематы, заложники и войны.

Мы примиряемся с любой повседневной бессмыслицей, а внезапно столкнувшись с действительностью, просто не верим в ее подлинность. Когда убивают президента республики, все, как завороженные, повторяют: Нет, это невозможно! Нет, это немыслимо!.. (то же при других вспышках эсхатологических полей.)

Многие автоматические действия мы производим не думая, занятые другими мыслями, подчас значительными (или похабными). Но бывают такие "механические" поступки, в

которых мы совершенно теряем себя, впадая в некий экстаз, испытывая подобие райского упоения.

Этот азарт игры, охоты, любви — последние виды доступного еще катарсиса. О. Нектарий, вам тоже знакомы две категории автоматизмов. В первой скука, лень, смерть; во второй — вдохновение, перерождение, восхищение. (Но в обеих — потеря себя, частично или целиком.)

Свершенное механически не забываешь, нет: оно вне нас или под нашим существованием. А поступки, вызванные экстазом, упоением, творческим приливом, не запоминаешь, потому что они над нами. (Вишневский мне шепчет на ухо, что о таких скучных материях не стоит распространяться.)

Для ясности Касьянов попробовал объединить многие шаблонные проявления человека в одну группу... Например, борьба, защита, экзамен: все это отряд Испытаний. Другая семья: Скука (ожидание). Третья: Игра (женщина). Так что жизнь Касьянова сведется к 5-6 семьям или видам занятий, требующим только механического участия. (И это, о. Нектарий, грех.)

Все автоматическое (условно-собачье) лишено вдохновения, фантазии и поэтому не имеет реального веса, ибо человеку в целом свойственно также творить, воображать и возноситься мыслью. Механически произнесенная молитва, работа, законченная без вдохновения, даже героизм и святость поступков, выполненных по шаблону, никак не достигают цели и пропадают втуне.

А цивилизация тем временем умножает рой кнопок, которые можно бесцеремонно нажимать, не уделяя им никакого внимания. Потом силишься тщетно вспомнить: что было, что я делал?.. И разумеется, ничего не удается выколупать из сознания. (Так человек, заболевший раком, напрасно станет искать в себе самом избавления от страшного недуга: его клетки тоже — не ведают что творят.)

Без воображения, без памяти и сознания, без мысли о бессмертии нет и полноты действительности. Это, Отец Небесный, уже ад.

Первый рай был природным, детским (до опыта, до

памяти); последний эдем, который нельзя описать (ибо нужные слова похоронены на дне клеток), будет сплошным прояснением сознания, совершенным торжеством бывшей и небывшей реальности.

Наш аппарат самосохранения давно изуродован, поэтому мы так часто забываем самое неотложное для счастливой жизни. Память об этом, отец духовный, тонет в недрах клеток и застывает там парализованная. Так что иной раз спасительный, но затерявшийся ответ (на нужное и главное) лежит тут же, на дне другой нашей памяти — как подводная лодка, потерпевшая аварию (которая все еще дожидается помощи сверху).

Вереница автоматических маневров, искусственно связанных, создает некую (психологическую) цепную реакцию, взрывающую живое, единое существо. Это ожерелье безотчетных поступков Касьянова неуклонно душит, оно зло, оно сверхсмертный грех, о. Нектарий. Игра слепых систем — только выражение нашего пресловутого инстинкта самосохранения, который вернее всего теперь губит человека. Подумайте: утопающий, "борясь" за свое существование, тянет на дно спасающего его друга.

Да, отец святой: надо уничтожить первобытный (и благоприобретенный), бессознательный аппарат самозащиты, чтобы победить наконец грехи и болезни и старость и смерть. Чем древнее рефлексы и ассоциации, тем тяжелее они давят, калечат. Вся эта ветхая, биологическая машина не нужна больше, пора ее разбить, сломать.

Что же тогда, отец великий, сохранится от нас (и в нас)...

26

Для того чтобы вспомнить забытое (и важное), Касьянов должен как бы поднять из темного погреба свиток пергамента и постараться прочесть его при полном свете. Значит, отец духовный, тут играют роль следующие факторы:

1. — подземелье, где уложены в порядке или в беспорядке истлевшие папирусы;

2. — ясное сознание, способное разбирать иероглифы;

3. — каналы связи, по которым передается наверх тайнопись... И наконец:

4. — некая замазка, среда, плазма, разлитая одинаково и внизу и наверху и посередине (в трубах), соединяющая Вишневского и Затылок со мною и с каждой нашей клеткой, отмечающая все данное существо одним тавром, зарядом, знаком.

Вот Касьянов тщится вспомнить что-то нужное: оно на кончике его языка (или сознания), но не дается... И вдруг чудесным образом восстает из праха, поднимается целиком, плавно выступает наружу (на свет Божий).

Это значит, что все время, пока Касьянов старался найти потерянное, оно лежало, придавленное, под спудом, шевелилось, скулило в темноте, норовило всплыть наверх, но не находило надлежащего пути.

Между слепой памятью клеток на периферии и центром сознания тянется сеть проводов и каналов, по которым кванты памяти (мемуароны) должны пробиться. Если дорожки засорены от небрежности, старости, болезни или глупости, то несмотря на постоянное наличие полнокровных мемуаронов (там, в клетках), им все же не удается подняться до уровня разума, ясности, дня. Ведь часто, о. Нектарий, мы забываем и только потом вспоминаем разные наши вольные или невольные проступки... Это доказывает, что коммуникационные линии бывают прерваны (на время, навсегда).

Мои клетки все загребают, все сохраняют и помнят: это их механизм самозащиты, доведенный до абсурда. Не терять ничего из приобретенного в прошлом, даже если это лишний и вредный балласт — таков наказ! Клетки тоже скупы, эгоистичны, похотливы, завистливы, гневливы и преисполнены гордыни.

Если такого рода самосохранение когда-то спасало Касьянова (в стадии амфибии или мокрицы), то теперь оно совершенно устарело и, пользуясь им слепо, человек обрекает себя на верную гибель. Ибо, что полезно для обезьяны, может

обернуться очень вредным для Касьянова... Кто любит себя чересчур, тот в конце концов обрекает себя на самоубийство.

Касьянов чувствует, что в любой его молекуле уже произошло катастрофическое раздробление: там и я, и Вишневский, и Затылок... Мы давно поем свои скучные арии (и фальшивим нещадно). Каждый из нас хотел бы разрастись за счет другого и всякая клетка, в свою очередь, жаждет распространиться за пределы соседнего участка: на манер злокачественной опухоли.

Что если упразднить, выкорчевать эти накопленные веками формы самозащиты? Что если вернуться к тому началу доверия и любви, которое нас питало — на заре, в детстве... Смерть и болезни и страшные грехи, отец святой, являются следствием забвения самого главного (при сохранении в целости всех вредных и не нужных уже Касьянову древних рефлексов).

Я пытаюсь исправить роковую ошибку, но Вишневский с Затылком, о. Нектарий, рвутся по проторенной дорожке (в каждой моей клетке), парализуя благое начинание. И Уныние заполняет авансцену. Касьянов представляет себе драму в духе классической Греции, где обреченное "я" разрывают на части Вишневский, Затылок, семь Фурий и свора псов (ложь, болезнь, смерть). Только одинокий Ангел-хранитель еще защищает его вопреки здравому смыслу.

Согласно мифу о древнем Орфее Титаны некогда убили и съели Диониса, сына Зевса; потом Зевс сжег молнией Титанов и лишь из этого полубожественного пепла сотворил человека. (А меня, уже созданного из одухотворенного праха, опять зачем-то пожирают Титаны.)

Касьянов жаждет единения с добром, он не хочет делать зла. Между тем получается, что он ежедневно умножает дурное на земле, не будучи в состоянии освятить свою жизнь. Тут явная неувязка. И апостолу Павлу не удалось доказать, что это все к вящей славе Господней. (о. Нектарий, вам я верю.)

Усилие "вспомнить" нужное (в неизмененном виде) подобно усилию подняться на ноги, выздороветь, победить. Это Касьянов знает, о. Нектарий, это он смутно вспоминает. И когда устаешь или когда дух уныния объемлет нас, тогда мы сдаемся: человек больше не старается восстановить упущенное, подняться, выздороветь, спастись... И это состояние полного разгрома уже перестает нас возмущать, ужасать: мы примирились.

Случилось, что Касьянов потерял одно слово и в продолжение пяти лет тщетно старался его снова обрести... Потом уступил.

В эмиграции язык усыхает, и первыми проваливаются в темные дыры те слова, которые связаны с упраздненным старым бытом (так, слабея, замечаешь вдруг потерю именно вторичных сексуальных признаков. И это особенно мучительно для людей, культивирующих язык (или половую жизнь).

Сумбур, отец духовный, нелепость... Ну забыл старомодное название (из рыцарского обихода), подумаешь, беда! Завтра вспомню или посмотрю в учебное пособие. Что за склонность все превращать в трагедию (Вишневский).

Нет, тут вопрос не в одном сверхштатном существительном. Здесь дело касается старческих или болезненных изменений, ведущих в сумерки, в "но мэн'с лэнд".

А между прочим, словечко это (из геральдики) точно на кончике моего языка; одно удачное усилие и Касьянов его выудит из мутной пучины, оживит, осветит. (Еще одно воскресение в умирающем мире.)

Вишневский утверждает (и все настойчивее), что на ночь приличные труженики осушают бутылку вина: тогда спишь мирно, без всяких миражей, пилюль и таблеток. Но может быть, бургундское сыграло роковую роль в истории с исчезнувшим словом? Говорят, Отец Небесный, что алкоголь притупляет способности. Впрочем, не один алкоголь действует в этом направлении, а вся жизнь с ее ядовитыми отложениями. Отбросы, вырабатываемые нами, оседают и постепенно засо-

ряют сознание (общее, центральное, а также каждой отдельной клетки).

Так что разные "неизлечимые" болезни — только результат поврежденной памяти. Организм, в целом, и многие клетки, в частности, забывают какой-то насущный спасительный круг деятельности и начинают панически, разрозненно метаться только во имя собственного комфорта, благополучия. В результате: язва, спазма, рак. Причина этого хаоса не в Творце вселенной, продолжающем подавать нам тихие сигналы, а в нас самих, о. Нектарий, перестающих воспринимать их, расшифровывать, понимать.

Наконец мы бежим в аптеку, покупаем лекарство, глотаем его: при удаче микстура подействует образумляюще на поведение клеток... Точно так же, забыв термин, или имя, или формулу, можно отправиться в библиотеку и поискать там в энциклопедии нужное, знакомое искони, потерянное определение, то самое, которое, я знаю, лежит где-то в заржавленной шкатулке, на моем дне (подобно молодости и любви). Но чего мы таким образом добьемся? Борьба должна вестись в корне с причинами обморочного или полубессознательного состояния, а не с внешними, частными проявлениями. Паллиативами вообще увлекается Вишневский (Затылок же ненавидит все лекарства).

А Касьянова одинаково возмущает и то, что он забыл (ставшее важным) слово, и то, что он, нечаянно вспомнив его, большой радости не ощутит...

О. Нектарий, оно лежит во мне, покоится где-то и только коммуникационные линии прерваны, атрофированы: надолго, пожалуй, навсегда. Между мною в центре и мною на периферии нет больше вразумительного диалога: и это грех, недуг, падение!

Не слово из средневекового быта Касьянов старался восстановить, нет, не это одно. Он болезнь, смерть, обморок души и тела хотел преодолеть. Библиотека, временное спасение, подаст извне гран живительного (чужого) сока, как впрыскивание инсулина или кортизона... Но не обновит, не умоет, белее снега, его занесенных илом тканей.

28

Отец Небесный, Касьянов отлично помнит значение этого слова и все же не может полностью им овладеть. Оно из рыцарской жизни и определяет, кажется, родовой герб, гриф, эмблему, значок на щите; в сущности, возможно, что извлеченный из родной стихии, автоматически воспроизведенный, это именно один из вышеприведенных терминов (и совершенно не нужный Касьянову).

Иностранного происхождения и чуждого социального корня геральдические понятия отсутствуют во всех советских пособиях (за ненадобностью). Россия — страна отнюдь не феодальная (в западном смысле); бояр там иной раз секли и они продолжали верою и правдою служить царю, не считая себя обесчещенными. Так что в великой литературе Толстого, Достоевского, Чехова слово это вряд ли фигурирует... Оно, наверное, встречается в переводах Вальтера Скотта или других романов с турнирами и оруженосцами. Но в наших эмигрантских (портативных) библиотеках таких книг мало.

Будь у Касьянова "Айвенго" в русском издании, он бы, наверное, выколупал там этот термин... Он лежит на дне каждой моей клетки; над ним, точно поверх занесенной илом гальки, протекает вода сознания, не задевая, не замечая искомого.

Касьянов не видит плененного слова, но постоянно чует его, как ощущает Тебя, Отец... Так различают лица далеко ушедших, уехавших подруг, давно умерших, дорогих спутников: мнится, только протянуть руку и — достанешь, коснешься! Но толстое, тупое стекло отделяет нас неуклонно, и Касьянов поминутно упирается в эту прозрачную, но реальную преграду, точно безобразная тропическая рыба — о грань мутно-зеленоватого аквариума.

Повторяю, о. Нектарий, тут вопрос совсем не в одном ничтожном словечке. Я многое другое забыл или забываю. Хочу — и не могу: вернуть, восхитить, воплотить... (То, что мне удавалось когда-то сверх меры.) Вокруг и в нас лучшие части постепенно отмирают, покрываются шлаком. А на все серьез-

ные загадки жизни Вальтер-Скотта и аптек, пожалуй, не напасешься.

Конечно, скажут, человеку надлежит примириться с потерею, с забвением (и смертью); орды честных граждан усвоили такую точку зрения и рьяно продолжают трудиться на пользу родины.

Но Касьянов — упрямое создание и, надо полагать, глупое. Он все еще не верит, что его отец (третий по счету) убит двадцать лет тому назад, что М. действительно пропала без вести и, наконец, что его, подобно всем современникам, когда-нибудь опустят в сырую землю и оставят одного. Догадываюсь, Отец Небесный, что именно так случится, понимаю, но все же по-настоящему не верю, что и со мною проделают тот же фокус.

Тут нечто схожее с пропавшим "рыцарским" термином... Касьянов его (временно) забыл, но все-таки не желает согласиться, что словцо исчезло навеки и никогда уже не воплотится в нем. (А что если еще раз хорошенько понатужиться...)

Волнение Касьянова принимало порою болезненные формы, так что Вишневский тайком посоветовался с врачом и тот прописал новейшие, успокаивающие препараты. Но снадобия эти, убаюкивая, наверное, парализуют память и волю. А Касьянов знает: ему еще предстоит сделать решительное усилие всех душевных сил, чтобы поднять из гроба это, пахнущее после трехдневного сна, слово... Высосать его наверх по засорившимся трубам и волосным сосудам. ("Верх" и "низ" здесь, о. Нектарий, условные, как запад или восток в полетах космонавтов.)

И неприметная борьба за слово вдруг превращается в эпическую борьбу со смертью, со злом, с грехами. Так Касьянов понимал свой долг... Все остальное только кимвал бряцающий, чудилось ему. Впрочем, о. Нектарий, он прилежно ухаживал за парализованной женою и, разумеется, любил ее (да еще других любил).

Воскресение Лазаря или наше с вами, отец духовный, будущее воскресенье, это воистину только восстановление "слова", может быть, другого, не из турнирной среды, но все-

таки слова, поступка, ситуации, процесса питания, нормального обмена "веществ" или вечных любовных отношений. Тут важен принцип последней обратимости. Потерял, но не навсегда и вот — нашел! Впал в забытье, в обморочное состояние, но в конце концов очнулся.

Искать провалившееся в трясину существительное — это как сражаться против нищеты, проказы, зла, политической глупости, агрессии темных сил из Азии, с Марса (или из подсознания). Так что временное поражение Касьянова обернулось для него в некое подобие интеллектуального или биологического расцвета. Ведь эта исповедь, Отец Небесный, была затеяна в результате потери слова (и целомудрия, и радости, и сил).

29

Для эмигранта, Отец Небесный, забыть слово — это особого рода наказание: теряешь не только язык, но как бы самого себя... А между тем десятилетия изгнания приводят неизбежно к лингвистическому развалу.

Было время, отец Нектарий, когда люди преимущественно сидели на родных местах и копались в знакомом черноземе. Теперь в мире насчитываются сотни миллионов изгнанников. Целые народы улепетывают от подлых режимов или насильно ими перевозятся. Соединенные Штаты наполовину заселены беженцами, не владеющими английским языком, да и другой (собственной) речи они не помнят уже. Таинственный процесс отчуждения, потери первого отечества, первого синтаксиса, первой семьи или общины, первой жены, старого механизма самосохранения (приспособления) — замена всей окружающей среды второй, чуждой атмосферой — это болезненный, критический процесс! И не случайный для нашего века.

Из одной Азии опять (и совершенно по-иному) выливаются орды ошарашенных страдальцев; и это все мирные, скромные труженики (не гунны, не готы). Наступает эра

многоязычного, безграмотного, антинационального, полигамного (гомосексуального) двухпрофессионального общества, из которого некоторые исторические человеческие черты удалены для того, чтобы разнородные тела могли крепче сцепиться и удержаться вместе. Эти мученики не способны больше вспомнить слово (или слова), они не в состоянии даже восстановить привычный им образ мысли или чувствования. И здесь, быть может, их торжество, ибо они продолжают жить в ожидании чуда... Так Саргассово море покрыто ковром плавучих водорослей, которые, по преданию, оторвались от древней Атлантиды; эти растения находят в океане, над поверхностью давно затонувшего континента, некоторые привычные питательные вещества, полезные для их существования.

Подверженный такого рода испытанию (вот уже столько лет, Отец Небесный), Касьянов давно начал ощущать в своем теле великий, ноющий прострел или, еще точнее, подобие гнойного чирья, распространяющегося по коже. Не рана, а язва, которая не зарубцуется, не залечится... Удалить ее надо, целиком вырезать, ампутировать.

Бывали дни, когда Касьянов смирялся и не замечал уже этого потонувшего слова. Привыкал, не думал больше (девиз?)... Если вспоминал, то как о неизбежном, стихийном бедствии, бороться с коим бесполезно.

А Вишневский, понятное дело, не скупился на дешевые советы: глупо ломиться напролом! Надо найти маневр, затеять глубокий кавалерийский рейд, в обход, захватив врага врасплох: тогда легче победить (вспомнить). А пока не мешает развлечься, встряхнуться.

Так, отец великий, Касьянов изнемогал, уступал и снова тягался, принуждая себя искать сотворенное Богом слово, зная, что оно в нем и ждет помощи, избавления.

Когда Касьянов работал над своей диссертацией (по статистике), он на последнем этапе пришел в отчаяние, так что оставил даже временно все ученые домогательства... Однако, о. Нектарий, вижу теперь, где-то в центре каждой его

клетки гнездилась вера, что разрешение задачи возможно и вскоре элегантнейшим образом последует.

О, если бы у него хватило мужества и любви, Отец Великий, продолжать теперь так же упорствовать в поисках затемненного слова, тогда, я думаю, ему бы многое простилось. Ибо все формы возрождения — только вечное проявление Твоего единого Духа... Творчество, воображение и память, открытие новых полюсов и планет, жизнь, агония и преображение, а в первую очередь, конечно, воскресение из мертвых, все, все Твое, Отче. Воистину, если не вспомнишь, не ответишь вовремя на Твой призыв, не переродишься и не войдешь в Царство Небесное (где прошлое, как на ладони, и его белее снега станут умывать).

Быть может, память о слове (изъятом), память о прошедшей юности, о вечной жизни есть та самая фантомная боль, которую калека чувствует в пальцах уже ампутированной ноги... Спасительное, внутреннее ("умное") восстановление связи с заветным где-то, когда-то отрезанным начисто, живительным материком.

30

Иов, в прахе, скребущий черепком свои язвы, тоже старался вспомнить, почему Вы (любовь и всемогущество) так жестоко покарали его, праведника. Понять — это только до конца вспомнить; и простить — значит вспомнить (то же — полюбить).

Жизнерадостный старец, заметив первые признаки импотенции, стремится немедленно выправиться, восстановить нарушенную циркуляцию, вспомнить, вообразить былое могущество: и это ему иногда удается. Но если бедняга падает духом, примиряется, тогда окончательно зарастают путидороженьки и отмирает живая способность, потребность..

То же происходит и с другими дарами души или тела. Нужно без проволочек слепо кинуться окровавленною грудью на решетку и драться за свое освобождение, молиться или

ругаться, все равно продолжая таранить стенку. Или, распутывая вечную Ариаднину нить, тебе, быть может, удастся найти боковую, путаную, узкую тропу и выбраться из западни. (Так иногда сердечный больной выживает, несмотря на то, что его коронарные сосуды закупорены, ибо он сумел проложить вспомогательную кровеносную систему для питания обездоленного сердечного мускула.)

Наряду с возрождением забытого слова, потерянного здоровья, иссякшей молодости воскрешаются чудесным образом заодно и былые отношения с близкими людьми — давно ушедшими, растаявшими, уплывшими... Выуживая золотую рыбку, мы вместе с нею подчас поднимаем со дна и старую жестянку, ржавый ключ, затонувшую в далеком детстве любимую куклу.

И это все, Отец Небесный, Касьянов собирался делать изнутри, от себя, не механически, как делают в мнемонике: он не сцеплял предметы по внешним ассоциациям, не звонил в конторы, не изучал пособия (не бежал к хирургу со своей болячкой). Нет, ему предстояло оживить былую обстановку с привычной для нее средою, взрастить опять давно вырубленную березовую рощу, возродить знакомую сеть питания, обмена, токов... От этого упорного напряжения человек (подобно старцу, безрассудно настаивающему на своем) может вдруг совершенно надорваться, погибнуть (хотя бы от кровоизлияния в мозг). Ибо, возрождая одну систему отношений (или одно имя), поневоле взрываешь, топчешь многие другие соприкасающиеся участки и центры.

Но что такое смерть, о. Нектарий? Кто ответил, кто "вспомнил" уже это слово?.. Отец духовный, там, по ту сторону погоста, важнейшие наши органы, пожалуй, вновь соединяются, сливаются, оживляются, постепенно подчиняясь ритму и пульсации другого могучего сердца. И таким образом восстанавливаются исконные, забытые каналы связи (питания и кровообращения) в космическом масштабе.

Касьянов обожает всякого рода шарады; склонность людей к любым интеллектуальным играм — явление универсальное. Человек инстинктивно ищет ответа... И если

серьезные задачи взрослым уже не по вкусу, то они находят удовлетворение хотя бы в ежедневной крестословице.

Случилось, что в разгар битвы за "рыцарское" словечко Касьянов наткнулся в газете на шахматную головоломку, которая его заинтересовала, околдовала. Так что оба эти усилия (слова и задачи) связались тогда воедино.

Почти месяц он изнемогал над простой, казалось, трехходовкой.

Белые: Крф1, Фа1, Лф5, Са7, Кб2,п.п.б3, ф6.

Черные: Кра5, Ка3, п.п.а6, б4, б5, с4, д5, ф7.

И на исходе четвертой недели (борьбы, сомнений, надежд и подлинного отчаяния) Касьянов наконец разрешил задачу, то есть нашел единственно возможное (реальное) сочетание ходов. Тогда он вдруг понял, что ответ покоился в нем, потаенном Касьянове, с самого начала и должен был, наконец, проявиться.

Потом он несколько дней подряд играл этими фигурами на доске, подобно кошке, которая тешится пойманной (бесповоротно) мышью... Но слово турнирное, проклятое (эмблема, шифр?) все не давалось ему, и незаметно подчиняясь лени и инстинкту самосохранения (по существу, губящему нас), он перестал неделями толкаться сознанием в эти негостеприимные, заповедные дебри.

31

Отец Небесный, не есть ли все это бормотание только игра гордого и суетного ума? Не уподобляемся ли мы тщеславной Марфе, приводящей в образцовый порядок свое земное хозяйство?.. Той подвижнице, что по вечерам, усталая, чистит на кухне до блеска медные тазы, пока томная Мария припадает к стопам Единого на потребу! Вера и молитва должны как будто вытеснить жажду знания и ясную память (медь бряцающую). Царство Небесное в первую очередь — для детей (неразумных), для нищих духом и юродивых.

Коротко говоря, Касьянов смирился, пошел в библиотеку,

отказавшись самостоятельно (и в гордом одиночестве) искать исцеление. Он побежал в книгохранилище, как раскаявшийся еретик возвращается в церковь. В душе его опять зазвучала безответная молитва... Так по дороге к дантисту горожанин с флюсом набожно шепчет: "Господи, о если бы нарыв вскрылся без вмешательства хирурга".

Кто решит, помог ли действительно Господь Касьянову или попросту не слышал его просьбы... Но старые русские энциклопедии, все главы о турнирах, гербах на щитах, вензелях ничего не разъяснили.

— Полно, есть ли такое слово? — усомнился, не скрывая досады, Вишневский (так он первый выражал свое недоумение в вопросах добра, Бога, святости, духа).

Но ведь я, я помню, будто сквозь акустическую завесу, силуэт или музыку (мерцание) этого Слова. Так мы иногда еще различаем (как чрез вуаль) райский пейзаж полного (реального) бытия.

— Я помню, — твердо повторяет Касьянов.

— Помнишь или тебе мнится, что помнишь? — нагло осведомляется Вишневский. — Скоро ты начнешь утверждать, что слышишь ангельские голоса, видишь Жанну д'Арк на жеребце и побеждаешь прославленных бесов.

— Полно, было ли такое слово? — спрашивает в свою очередь Затылок, которого речи Вишневского порядком смущают.

И Касьянов готов уже уступить, отказаться от своей действительности. Так многие, возмужав, отрекаются от всех юношеских увлечений и героических помыслов... Он тоже, по-видимому, созрел, чтобы продать священный образ, вдохновлявший его когда-то на борьбу с ночью, с забвением, с небытием.

Но все же я не совсем еще сдаюсь: опускаюсь на дно, нечаянно опять начинаю барахтаться (как лягушка в сметане) и... всплываю. Перевожу дыхание, а во рту привкус горького ила, всепокрывающего, нежного, подлого.

Отец духовный, помогите падающему... Отныне Касьянов только еще изредка шарахается, оказывая сопротивление

(точно напуганный конь, что несется, не разбирая пути). Застарелая рана (в памяти) ноет в непогоду, зудит, навевая усталому ветерану грезы про былые доблестные походы. Рубец давно образовался: уродливый, алый, но еще в каком-то смысле образцовый, необратимый, вечный.

А Вишневский тем временем сочиняет собственную удобную теорийку. Он утверждает, что нет надобности напрягаться, вспоминать, терзаться. Слово само по себе, без труда, даром, по благодати воплотится и откроется сознанию, как прекрасная дама в древней сказке. (Так одурманенный безработный, отчаявшись найти занятие, мечтает о выигрыше в 200 тысяч, а безнадежно больной прислушивается к рассказам об исцелении в Лурде.)

Я знаю, отец духовный, все, что полагается знать, о Благодати. Однако, пока она не объявилась со всей очевидностью, ее как будто нет на нашем пути. Либо она где-то еще встретит Касьянова на полустанке, либо разминется с ним безвозвратно, но пока приходится тянуться, грести из последних, сверхестественных силенок: сознательно и активно.

Уступая, почти укрощенный, потеряв навеки Слово, искалеченный Касьянов однако чувствовал себя порою даже счастливым: точно солдат, лишившийся при штурме исторической крепости руки или ноги. (Эта едкая горечь знакома несчастным, которые по совету врача перестали курить.)

Еще напрашивается сравнение с Зорою... Она была матерью: ребенок умер в младенческом возрасте. Он вырос бы уже давно, а Зора все еще видит его розовым свертком на коленях, слышит запах гигиенической пудры, пеленок и часто плачет. Наши немногочисленные здесь друзья по-своему успокаивают ее. Одни говорят:

— Все там будем.

Другие: — Полно, был ли ребенок.

Третьи: — Помилуйте, нынче дети — самый неблагодарный народ, они родителей отвозят в приют для престарелых.

(Все это, о. Нектарий, подразумевается, должно утешить Зору.)

32

Итак, Касьянов (каюсь) начал примиряться с потерею слова (и слов), состояние забытья даже нравилось ему, он учился охранять этот редкий, ценный (пусть, противоестественный) покой. Привыкает больной к резиновой трубке и дорожит ею под конец.

Но иногда на глубине моих клеток, в их памяти или "сознании" что-то, отец родной, взрывалось и всплывало наверх... Я тогда грустил, томился, впадал в ярость — обвиняя Вишневского в лени, халатности, испорченности! (Такое чувство, должно быть, испытывает дачник, не обративший сразу внимание на мелкую царапину, а потом вдруг заметивший, что вся нога уже опухла и горит.)

— Полно, такого слова нет! — вопит раздосадованный Вишневский. — Вам все это приснилось. Куда ему деваться? И наконец, в какую прорву оно бы ни провалилось, словечко все же сохранится там, не пропадет. (Чего ж беспокоиться?)

Впервые именно нечто подобное мне пришло в голову, когда я возился с шахматной задачею, и почти немедленно вслед за этим трехходовка была разрешена: ответ явился из ничего или из пены. Все произошло так просто и естественно, что даже трудно было поверить в реальность (целесообразность) минувших четырехнедельных мучительных поисков.

Здесь соблазн, отец великий: "Думаешь: совершенно то же самое может случиться с пропавшим словом, и оно вдруг безвозмездно, свободно откроется нам!" — шепчет Касьянов и улыбается одурманенный.

Мое "слово" (ограниченное) лежит вместе с другими потерянными ценностями на дне пруда, и даже Вишневский при благоприятном стечении обстоятельств его легко узнает (рядом с другими неясными очертаниями)... Узнает и самоотверженно извлечет наверх, повинуясь чувству первородной добродетели. Стало быть, погребенное слово здесь, и мы им все время обладаем. Задача не в том, чтобы механически

"вспомнить", а в том, чтобы восстановить нарушенную связь между разрозненными пластами человека во времени...

Как в вещей сказке: разрезанные части жабы срастаются в одно целое, она оживает и в меру нашего восхищения оборачивается прекрасным юным принцем. В этой матаморфозе участвуют не только людской расчет и вековечный опыт, но и наши вдохновенные грезы.

Однако, как я уже сказал, о. Нектарий, достижения модной техники позволяют человеку сплошь и рядом действовать автоматически, без всякого отбора или разумения. В пещере наш предок должен был настойчиво и умело вращать лучину, чтобы в конце концов сухие листья вспыхнули живым пламенем... Он знал, чем теперь занят, почему обливается потом, и помнил потом, что уже развел сегодня благодатный огонь.

Но когда Затылок берется за спички или переводит рычажок газовой плиты (во время утреннего бритья или оторвавшись от телефона), то мы с Вишневским не замечаем — кто щелкнул зажигалкою, зачем... Не то что забываем: нет, мы просто не имели к этому никакого отношения.

Жизнь полностью действительна, только если человек занят в ней целиком, весь: его руки, ноги, органы чувств, сознание, память, творческие силы души, вплоть до любви к созидаемому. Тогда мир становится уютным, радостным, единым в природе и Боге. Больше нет "пустых ям" в вакууме (или дыр), то есть часов, дней, месяцев, которых не видишь, не приемлешь, не усваиваешь. Автоматизм, о. Нектарий, смертный грех, и наш инстинкт самозащиты, породивший его, по жадности и лени, губителен.

Заставлять себя задним числом отмечать этапы слепой деятельности Затылка противно, утомительно и, главное, бесцельно: это как молиться, не общаясь с Богом, молиться стенке. (Безблагодатная память, безблагодатное бдение.) Молитва тоже воспоминание — вдохновенная память о забытом рядом (или на дне) Боге.

— Угомонись, братишка, скучно, — шепчет Вишневский. —

Не все же витать в эмпиреях. Человеку свойственно развлекаться, встряхнуться. Еще не мешало бы заняться практическими вопросами. В доме столько работы: тут гвоздь вбить, там почистить, выбелить. А Зоре на приличное содержание понадобятся деньги, деньги и деньги.

Так поучают они нас и загоняют в гроб: "отдохни, займись делом"! В конце концов, слово, которое Касьянов ищет из рыцарского лексикона, вряд ли кому-нибудь понадобится в ближайшем будущем: "Его можно похерить без ущерба для души".

Бывает ненужная, "чужая" мука и есть "своя", священная. Первая, навязанная извне, унижает — другая, свободно избранная, воскрешает. И нельзя сразу сообразить, какая именно боль тебе выпала на долю — пока не пройдешь ее насквозь, протаранишь целиком, перемелешь без остатка. И еще важно, с кротостью ли ты или с бунтом встречаешь роковое испытание. Например, бедность, нищета: отбиваться от нее всю жизнь — унизительно, мелко. А добровольно принять это иго (и любое другое иго) — подвиг, победа, преображение. (Не то же ли, о. Нектарий, с рыцарским "девизом" — пожалуй, согласиться, забыть, пожертвовать?)

Иногда Касьянову мерещилось, что он наконец раздобыл свое слово; тогда он притворно-равнодушно начинал играть им (как кошка с мышью, как я играл с черным королем на шахматной доске). Но получалось не совсем убедительно, что-то мешало полному торжеству, торжеству подлинности. (Так пожатие руки, поцелуй воплощают реальность любви.)

Я знаю, отец духовный, когда-нибудь, "после всего", может быть, после "смерти" живое слово вдруг освободится от гирь и само собою легко и свободно всплывет на поверхность души (моей или общей). О, какое это блаженство (и вполне описуемое тогда).

33

Поиски пропавшего без вести слова открыли Касьянову, что память наша не только занимается восстановлением (сохранением) бывшего, но она же выполняет совершенно

противоположную функцию, вычеркивая, выметая из прошлого то, что помнить, пожалуй, больше не следует (здесь другой принцип механизма самозащиты).

То, что "забыто", отец духовный, гораздо лучше сохраняется в нетленном виде, консервируется — внутри, в пустоте, в холоде. Поэтому цельные здоровые натуры часто забывают самое важное в жизни и таким путем спасают его для вечности. Когда ведешь дневник (вроде исповеди), то, записав достойное внимания похождение, сразу как бы теряешь его, ибо нет больше надобности хранить все это в развернутом виде.

Итак, я понял, о. Нектарий, что есть двух родов память: одна воскресающая, другая хоронящая, предающая забвению. (Так, по-видимому, имеются двоякого сорта нервные волокна: для восприятия удовольствия и для передачи чувства боли).

Очень важно, отец духовный, развивать и воспитывать память зачеркивающую и делать это отнюдь не пассивно, слепо, а вдохновенно-сознательно. Есть клетки памяти, собранные в мозгу, и есть память отдельных клеток, с которой наш центр давно уже (будто бы за ненадобностью) потерял живую связь. Клетки имеют свою память, которую сама память уже не имеет. (Les cellules ont une memoir, que la memoir n'a plus.)

Как из любой клетки организма можно воспроизвести всего индивидуума (для этого не понадобится обязательно сперматозоид), так из памяти одной клетки удастся возродить все накопленное памятью в мозгу... То же с любым похороненным словом: из него в конце концов мы сможем восстановить всю мировую речь в целом.

Думаю еще, о. Нектарий, что существует третья, всеобщая, память, вне нас, проникающая, озаряющая безмерный континуум, как Дух Твой, объединяющий и Вишневского, и Затылок, и меня с Творцом вселенной. Нечто подобное апейрону Гераклита, неопределенное и беспредельное: не первовещество или праматерия, а протосознание. И это, вероятно, тоже ересь (но, пожалуй, не опасная).

Память клеток безотчетна, бесформенна, центральная память внятно выражает себя. А космическая — разлита повсюду равномерно — между нами и Тобою, Отче. Эта память,

причастная Богу, проникает к нам на землю (надо полагать) чрез особую сеть капилляров, которые тоже веками засоряются. По сопоставлении не трудно вывести, что имеются две сферы классической памяти: одна на периферии (в каждой клетке), другая — в центре, у Творца. Вот почему все отдельные органы или атомы могут с предельной точностью тянуться к добру, Господь, как стрелка компаса на плотах античных мореходов уже неукоснительно (и таинственно) устремлялась на север.

Наше сознание, повинуясь закону самозащиты, вычеркивает многое важное из бывшего, чтобы не потерять этого в сутолоке, а сохранить на глубине клеток и принести к Создателю в неизменном виде.

Повелеть памяти (объясняясь с любимой женщиной или с духовным отцом), сказать ей: "ты вспомни то или то"... так же бессмысленно, как принуждать ее забыть: это и это! (Когда велосипедист старается объехать плевок или клейкую бумажку, он обязательно попадет колесом на это гадкое место.)

Приказать живой ткани: вы должны преодолеть слабость, вылечить, выправить болезнь нашего тела — сплошной абсурд! Наоборот, таким путем мы только замораживаем, увековечиваем заблуждения и пороки организма.

Чтобы "вспомнить" по-настоящему, иногда необходимо выключить все, что окружает "забытое". Надо выкорчевать неправильный вывод или цепкую, наивную ассоциацию, метафору, которыми аппарат памяти опутал себя (по соображениям удобства, безопасности, выгоды).

Наше спасение, о. Нектарий, подчас в потере памяти, ибо губит нас главным образом теперь древний примитивный механизм самосохранения, который запечатлел в себе ненужный уже геологический опыт амебы, рептилии, тритона и других чуждых человеку, случайных попутчиков.

Какая польза лососю переплывать океан и подниматься вверх по течению бурной реки, чтобы там в агонии метать икру... Лосось мог бы войти в русло ближайшей речки, а не плыть за семь морей, если нерест действительно должен

происходить в пресной воде (в чем я сомневаюсь). А европейские угри зачем-то отправляются к Саргассову морю для нереста и затем три года подряд их личинки плывут назад к "знакомым" берегам, преодолевая орды голодных врагов. Ну какое тут "самосохранение", о. Нектарий?

Или вот пересадка сердца, в принципе спасительная для человека... А он грубо и слепо отбрасывает новый, благодатный орган только потому, что в "борьбе за первобытное существование" он привык изрыгать всякое чужое тело — без разбора освобождаться от него. Отец Небесный, Касьянов полагает, что в нашей физиологии, экономике, политике и даже эстетике мы слишком часто уподобляемся именно таким несообразным (инстинктивным) себялюбцам.

34

Касьянов стоял у отвесной скалы на пустынном острове, окруженном бурной стеклянной водою. Положение его было воистину ужасно, ибо он вдруг с несомненной ясностью понял, что потерял Бога или (и это равнозначаще) что Бог, которого он постоянно исповедывал, не мог, не пожелал даровать ему достойную, плодотворную жизнь.

В довершение беды по морю то тут, то там из-под зеленой пены начали всплывать уродливые рогатые чудовища и с грозным ревом — Я твой бог! — кидались на Касьянова. В испуге он отбегал все дальше и шибче от берега, но вскоре (как в дурном сне) он уже приблизился к другому (западному) краю острова, где опять бурлили стеклянные пенистые валы и истошно вопили дебелые быки со множеством голов.

Тут, стоя на крайней полосе земли, Касьянов увидел как бы мост, лежащий над бездною, и стальные, хитросплетенные концы его упирались в воздух (или в стекло). Вот далеко, далеко появилась темная, остроконечная туча... Раздуваясь, разрастаясь, точно вихрь или смерч, она падала с огромной высоты вниз, теперь уже похожая на гигантскую плоскую

чашу. Черный вихрь несся в сторону Касьянова с непостижимой быстротою и ударился наконец о стальной настил, так что весь мост словно дрогнул (но не рухнул), только чаша раскололась и из нее (как из яйца) выступил знакомый старец: огромных, ненатуральных размеров (будто на ходулях), сутулый, в черной рясе и крохотной скуфейке, с серебристой тоненькой бородкой (похожей на серп молодого месяца). Склонившись в сторону Касьянова (повиснув над ним), о. Нектарий строго спросил:

— Любил ли ты Бога, еретик?

Касьянов смущенно сказал:

— Отец святой, если позволено, отпустите мои грехи, а то нам опять помешают.

Но о. Нектарий повторил еще настойчивее:

— Не роптал ли ты на Бога, еретик?

И Касьянов ответил:

— Между мной и Богом жизнь. Если бы не было жизни, я, надо полагать, оказался бы всецело в Нем, а Он во мне. А теперь мы смотрим друг на друга, словно через закопченное стекло: оно как призма искажает нас (в обе стороны).

Священник поднял бледную руку, чтобы осенить его крестом, и Касьянову почудилось, что он шепчет: "Глухи духи, глухи духи"...

Тут Касьянов залился сладостными слезами и проснулся. В доме было темно и тихо, как полагается ночью, но это его почему-то испугало.

— Рано, рано еще, — услужливо уверял Вишневский (он и Затылок — исконные, подспудные сотрудники Касьянова).

Но Касьянов включил свет и босой прошел через коридор в комнату жены. Там, утопая в высокой постели, лежала на спине его бывшая возлюбленная, похожая на букашку в старинном гербарии. Она была еще теплой.

"Лежачего не бьют" вспомнилась Касьянову старомодная школьная пословица. (Впечатление было именно такое, будто ее, уже расплющенную, высохшую кто-то озорно-праздный с размаху ударил громоздкой ладонью и доконал.)

Затылок уже хлопотал над телом покойной: удалял резиновую трубку из ноздрей, закрывал безупречные (песчаные) глаза. А Вишневский с кем-то рассудительно переговаривался по телефону.

Светало в спальне Зоры, свободные фотоны отскакивали от растворенного окна и стелились радужным венком на противоположной стенке. (Почему они выбрали именно этот путь для себя, оставалось необъяснимым.)

Конец первой части

Валентина Синкевич

НАТЮРМОРТ

Яблоко на тарелке лежит, играя
на холсте, на листе, на кусочке рая,
на столе, у которого мы пировали,
как в раю, из которого нас изгоняли,
как в аккордах, которые не умолкали.
Краской густою и кровью алой
щеки яблока кисть покрывала
на тарелке земли, где сначала
яблоко еще на холсте не лежало,
а росло, наливаясь, в нашем саду.
Я дорогу к нему не найду —
к невозвращенному, нашему раю.

* * *

Твои поезда идут в разные направления
будней, праздников, сердца, ума и души.
Но если опаздывают из дальнего твоего селения —
ты не забудь про письма. Пиши.

Вот ромашка цветет у тебя полевая,
и другое солнце встает, когда просыпаешься ты,
и другие дожди идут, луга твои поливая,
оберегая тебя от зимней, опустошающей немоты.

И грачи прилетели в грустные твои рощицы,
оседают росы на листья и на траву...
Сколько раз я беру заморские свои ножницы,
вырезаю из памяти картинки, комкаю их и рву.

И всё равно жду тебя из дальнего твоего селения,
и письма твои, как драгоценности, берегу.
Подбегаю к вокзалу, не сумев унять сердцебиения,
иностранные свои строчки бормоча на бегу.

* * *

Утро на дне океана
вновь наступает рано.
Водоросли качаются в воде,
сине-зеленой воде, —
желтой, цвета встречи-разлуки,
рыбы плывут на синие звуки,
волны пляшут с пеной у рта,
там, где музыкой бредит вода.
Океан дорог, бездорожья,
тварь приютилась Божья
в чреве большом океана...
Мысли цвета пестрого сарафана
снова плавают плавно.
Утром рано
я открываю ставни
в мой подводный, свободный,
мой океанский мир.

* * *

Золотые просторы, куда привожу я собак,
будто стадо овец пасу я.
Пусть вздыхают, что всё у меня "не так". —
Погадаю на картах... Перетасую
колоду. И вот: плодотворна земля,

где растут слова на ветвях поднебесных,
где звучит по-звериному *до* или *ля*
и любые узоры стволов интересны.

Здесь как будто сбываются сны и мечты,
расцветают кусты и деревья,
и с природою здесь говорю я "на ты",
вспоминаю предания, быль и поверья.
И опять — позову быстроногих собак,
расскажу про леса, про моря, приласкаю.
Заколдована звездная тень.
И ночной расступается мрак.
И рукою подать до небес и до рая.

ЗИМНЕЕ

В ямы снежные проваливались по колено.
Только бы выстоять, только б еще раз вздохнуть!
Так брели от Москвы, от зимы и от плена —
в снежных обвалах, загораживавших путь.

Так брели от родного, жестокого дома —
в голубую судьбину, поодиночке, врозь.
Ночью замертво падали на солому,
утром снова брели на авось.

Снова — покорно, упорно, устало.
За поворотом — обещанный дом.
Добрались, Но осталось нас мало.
И некому больше сказать о том,

как жилось на ветрах, на дождях, на метелях...
Лучше память закрыть на засов.
При нотариусах, врачах и в постелях —
умираем, последних не высказав слов.

Ина Близнецова

* * *

Вольному — воля, спасенному — рай,
слово за мною.
Не обнесли и меня — выбирай! —
чашей земною.

Воля не выбор — родимый край,
кровная доля.
Я не в обиде: спасенному — рай.
Вольному воля.

12/3/94

* * *

Бывает, близость невозможна душам,
а рознь — сердцам, и клином белый свет.
Какие обещанья ни нарушим,
но выхода, кроме ухода, нет.

Пожив уже и зная поневоле:
ни — праведных, ни — легких, всякий плох, —
мы уходить, не причиняя боли,
стараемся, как можем. Вот и Бог...

30/3/94

СОН

Будто я отпущена досрочно,
и на воле (а другого нет) —
беспощадный, ласковый, молочный —
беспросветный свет.

Сколько станет сил, побыть у края,
за которым он сиянье льет,
не приветствуя, не отвергая
и не принимая за свое.

И проснуться, чтоб пометить вкратце,
что за мыслью мне переболеть:
"Может быть, что нечему остаться. —
Может статься, нечего жалеть".

2/2/95

СТРЕКОЗА

В парке пруд, отведенный лотосу,
тщательная краса.
Я своему не поверила возгласу:
"Стрекоза!"

Дух вездесущий, животворящий,
круглые — детства — глаза,
ломкий радужный луч летящий —
стрекоза!

Кто у Господа просит "Дашь ли?",
не заучил ни аза:
был бы пруд — Божий, наш ли —
и прилетит стрекоза.

17/7/95

* * *

Труды влачащему с трудом
невероятней бреда
Плутарха многомудрый том
"Застольные беседы".

Я за полночь, чтобы забыть
дневные горести,
читаю, с кем и сколько пить,
как разговор вести.

Но зависть к ним — ах, век смени! —
сведет меня с ума:
по попущенью времени
наговорить — тома!

28/11/93

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

"We love to the degree that need allows
and need to the extent that love permits."

Я хотела думать: пути сошлись —
значит, знаем, чего хотим.
Но нужда сказала: "Остановись",
любовь сказала: "Летим!"

В сердце вечно жалости тлеют угли,
долго ли их раздуть?
И нужда заплакала: "Утоли..."
Любовь перебила: "Будь!"

Доверься нужде? — ей мира важней
свод ее горьких примет...
А любовь — летящая птица, с ней
либо летишь — либо нет.

8/5/94

Андрей Грицман

МОСКВА

Это я ни к кому.
Закрываю глаза и плыву
В Карфаген моих зим,
где посыпаны солью дворы,
где татары живут
с незапамятно-мутной поры,
и где в пять пополудни
давно уж не видно ни зги.

Желтый булочной свет
на сугроба холодной муке,
и в кромешности труб
блеск летит по незримой реке.
Там в глухую играли
у сытных парных кабаков.
А теперь ты стоишь
у трамвайных бессмертных кругов.

Ты стоишь у прудов,
на закраинах дуг голубых,
на старинном снегу.
Говоришь ты, но голос твой тих.

Я тебя не встречал
ни с друзьями, ни в школьных дворах.
Лишь порой на семейных
обрамленных фото,

что стоят на комодах
в теперь опустевших домах.
Там, где шарят впотьмах
звезды, фары машин
в тишине и при ясной погоде.

Я тебя узнаю.
Закрываю глаза и плыву,
абонент всех сетей,
по бездомной теперь Божедомке.
Ты меня не ищи,
ни по спискам, ни в ликах витрин.

Я живу далеко,
у какой-то невидимой кромки.

1994

КОНЕЦ СТОЛЕТИЯ

Всё ярче листва на закате столетья и странно
по-прежнему время вращать времена не устало,
как карусель в цепенеющем парке перед закрытьем,
в час, когда тени сдувает с холодных скамеек
безжалостный ветер.

Костры разожгли на углах, пешеходы подходят,
и незнакомцы глядят в тебя пустыми глазами,
как боги в музее.

К счастью, пивные открыты,
а в глуши не закрыты ларьки,
далеко посевная, и три одичавших души
согревает бутылка.

Поют пролетарии песни последнего боя,
но пива навалом, свалило начальство,
и спорить уж не о чем больше.

С праздником! Нас пригласили,
отметь этот день, дорогая.
Может быть, это последняя встреча.
Кто знает?

1994

КЛАДБИЩЕ

Заброшенной усадьбы тишина.
Малинник барский сочный и заросший.
На частокол могил глядит луна,
замерзшая над жизнью горшей.

По зарослям Кащеевы дела
в валежнике, в овраге за листвою.
Парят в холмах истлевшие тела
над маслянистым дном костистой простотою.

Сухих крестов неровные ряды,
старушечья досада — паутина.
Вечерний пар с невидимой воды,
старинный бор, мерцающий и синий.

Простая жизнь: работа, церковь, хлеб,
по праздникам "пляс с гиканьем и свистом".
Начало и конец. Там всё село в земле.
По деревням судьба проходит мглисто.

Покойны те, кто в зеркало дышал
до смутных перемен и храморазрушенья.

А ветер, тихо листьями шурша,
доносит от могил обрывки пенья,

и слабый свет языческих их душ,
тех богородиц, выпущенных с Богом,
попавших в половодье, или в сушь,
иль под копыта скачущих галопом.

Там некому готовиться к зиме.
А осень наплывает невесомо.
Недвижимы: пруд, церковь на холме,
И древний блеск луны и чернозема.

1991

Дмитрий Бобышев

Эстетическая формула Иннокентия Анненского

(в отражениях его антагонистов и последователей)

Единственный прижизненный сборник стихов Иннокентия Анненского, вышедший, как известно, под многозначительно скромным псевдонимом Ник. Т—о, предварен эпиграфом:

Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! Не красота...
Только мука идеала[1].

Эпиграф подписан тем же псевдонимом, что и весь сборник, и поэтому мы, я думаю, вправе рассматривать его как главную мысль, как основополагающий принцип этой книги, а может быть, и всего творчества поэта.

На первый взгляд, здесь выражена вполне известная платоновская идея о противоположении нашего якобы реального мира — миру высшему, подлинному, идеальному, дополненная сожалениями автора "Тихих песен" о невозможности, невыразимости или недостижимости совершенства. Если это так, то вполне тождественная эстетическая формула была уже высказана в замечательном стихотворении Владимира Соловьева "Милый друг! Иль ты не видишь..."[2], стихотворении, которое само могло бы стать эпиграфом ко

всему литературному движению русского символизма или, по крайней мере, к петербургской его ветви.

Тождественность этих формул подтверждается даже стилистически: ведь "житейский шум трескучий" Владимира Соловьева прямо соотносится со стихотворением Анненского "Нервы"[3] и его ироническим подзаголовком "Пластинка для граммофона". А соловьевские "торжествующие созвучия" — это та "красота", которая напрасно пыталась пролиться из "заветного фиала", то есть из самой души Иннокентия Анненского.

Но у него есть одно слово, которое в корне отличает его горькую эстетику от в общем-то мажорной соловьевской. Это слово "мука", "мука идеала". Что это — муки творчества требовательного к себе мастера или муки художественного бессилия?

В стихотворении "Не могу понять, не знаю", из которого Анненский взял эпиграф к "Тихим песням", эта строфа звучит иначе:

Из разбитого фиала
Всюду в мире разлита
Или мука идеала,
Или муки красота[4].

Мука красоты и красота муки... Сам "Идеал", если мы возьмем из этого сборника стихотворение под таким названием, выглядит не совсем ясно, и заключается он, если верить автору, в книжных попытках решить "постылый ребус бытия". Так, во всяком случае, трактует это стихотворение Вячеслав Иванов в статье "О И. Анненском"[5]. Но этот неясный библиотечный идеал проявляется контрастом на фоне очень четких, беспощадных зарисовок житейской пошлости и обыденщины. "Тупые звери", "Мертвая яркость голов" и, наконец, "скуки черная зараза" являются источником страдания, вызывая в поэте "муку идеала" или, точнее, муку по идеалу. В муке по красоте проявляется особая красота муки, содержащаяся, возможно, в искусстве, то есть в попытке ее выразить. Обыденщина же и скука превращаются у Аннен-

ского в чудовищного циклопа, да и сама жизнь, проходящая в этом прозаическом "перегаре скуки", удостаивается уничижительной метафоры: "Трактир жизни".

Шум этого трактира, однако не заглушает поэзии Анненского, не ведет ее к немоте художественного бессилия. Наоборот, низкая компонента жизни вызывает у него чрезвычайно четкие, беспощадно объективные образы, которые делают его стихи такими особыми и такими точными.

Итак, если высокая компонента эстетической формулы Анненского сближает его с Соловьевым, то низкая ее часть выходит, пожалуй, за границы поэзии и заставляет искать параллелей в прозе.

Томящую скуку и бессмысленность жизни, а также беспомощные порывы человека к неясному идеалу можно считать в полной мере главенствующими мотивами прозы и драматургии Чехова, почти полного современника Иннокентия Анненского.

Когда сравниваешь эти две фигуры, то, помимо сходства двух писателей и интеллигентов, бросаются в глаза различия: прославленного прозаика и бесславного поэта (Ник.Т-О); популярного юмориста и тоскующего эстета; практикующего врача и гимназического учителя-классика; автора "Чайки", "Человека в футляре" и незаметного переводчика Еврипида, чуть ли не самого Беликова, мишени, в которую метил чеховский рассказ, даже при наличии других жизненных прототипов.

Интересно проследить, что схожий антагонизм (тоже при других прототипах) намечен Чеховым в "Чайке" и тоже между двумя писателями: неудачником, мечтателем-декадентом Треплевым и успешным мастеровитым Тригориным. Треплев даже произносит эстетическую формулу мастерства и успеха Тригорина, которую сам он выполнить не может: "У него (Тригорина) на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова..."[6]

Здесь удивительно схоже сочетание высокого и низкого, — в том же соотношении, как и в формуле Анненского. Однако,

смысл — чисто ремесленный, в нем нет страдания и тем более "муки красоты". Вячеслав Иванов, оценивая поэзию Анненского в книге "Борозды и Межи", писал; "Страдание есть отличительный признак истинной любви... критерий ее подлинности" (стр. 302). Чехов создает, можно сказать, жемчужины прозы, порожденные скептической и снисходительной усмешкой; Анненский стремится к "жемчужинам, которые порождены страданием", а получаются, по его самооценке, "ненужные строфы".

Однако, в мае 1906 года Анненский едет в Вологду и Грязовец и пишет два стихотворения, вошедшие в "Трилистник проклятия" в посмертном сборнике "Кипарисовый ларец".

Одно из них, написанное в Грязовце, повторяет вполне чеховский мотив бессмысленно растрачиваемой жизни и завершается сильным, подчеркнуто прозаическим апофеозом:

Чтоб дочь за глазетовым гробом
Горбатая, с зонтиком шла[7].

Если это — художественная деталь, то она звучит даже резче, чем "горлышко разбитой бутылки", хотя и, в отличие от чеховской, света небес она отнюдь не отражает.

Но заключительное стихотворение "Трилистника проклятия" чеховским не назовешь. В нем есть и любовный соблазн, и холодное страдание. В нем звучит и банальный вальс, и трагическая музыка Вагнера. И последняя строфа, отделенная от предыдущих отточиями, возвращает нас к теме, возвещенной в эпиграфе "Тихих песен", но выраженной здесь с необычайной силой контраста между "высоким" и "низким":

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...[8]

Эстетическая формула, заключенная в финальных строках, приобретает здесь и этический, то есть более общий смысл и новую глубину.

Акмеисты, избравшие Анненского своим посмертным учителем и предтечей, воспринимают прежде всего другие стороны его поэтического хозяйства — в особенности те, которые отличали его от символистов: зримая резкость образов, весомость прозаических деталей, общая трезвость тона и т. д.

Но гумилевские штудии в Цехе поэтов и позднее в "Звучащей раковине" были не напрасны, и постепенно упомянутая эстетическая формула Анненского начинает проступать в самых важных декларативных строчках новых поэтов.

Когда Мандельштам "Камня" обещает:

Из тяжести недоброй
и я когда-нибудь прекрасное создам[9].

мы обоснованно можем увидеть здесь не только "муку красоты", но и "красоту муки" Иннокентия Анненского.

Позже Георгий Адамович в книге исключительно тонких и чутких статей о литературе "Комментарии" цитирует заключительную строфу из "Трилистника проклятия" и придает ей роль пробного камня, по которому можно и нужно судить о литературе. Он задается вопросом, выдерживают ли сравнения с ней "оптимистические полотна и идейно-насыщенные романы". Конечно же, рядом с этой строфой вся литература исходной фальши, не содержащая ни душевных вопрошаний, ни тревожно-мучительных сомнений, "груба и глупа, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет"[10].

Тот же принцип, то есть высокое и положительное, выраженное через низкое и отрицательное, явно усматривается и в хрестоматийно известной ахматовской декларации: "Когда б вы знали из какого сора..."[11]. Да, и сорная трава, и грубые окрики, и деготь, и плесень — это, конечно, "грязь и низость", только краса сияет не где-то там, а звучит вполне отчетливо и рядом, в самóм ахматовском стихотворении, "на радость вам и мне. О страдании, которым оплачена эта радость, Ахматова умалчивает, поскольку эти стихи прямо адресованы к читателям, а им такого знать не обязательно.

Показывать свое страдание читателю в еще меньшей степени было присуще самому Гумилеву, который прикрывал

его мужественной позой и бравадой. Это парадоксальное отличие Гумилева-поэта от преподавателя принципов акмеизма замечательно точно подметил Георгий Иванов, как бы "внучатый" (через Гумилева) последователь Анненского.

В своем стихотворном "Дневнике" он пишет:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре – хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности "Песен без слов",
То, что Анненский нежно любил,
То, чего не терпел Гумилев[12].

Действительно, начиная с эмигрантского сборника "Розы", Георгий Иванов наиболее полно осуществляет эстетический принцип Анненского.

Конечно в его стихах заметны и другие влияния, звучит в них и "черная музыка Блока", но всё же грязь и низость бытия, которое страдает "по где-то там сияющей красе" и само сияние составляют определяющие мотивы его поэзии. Он любуется розой, которую нашел на тротуаре и которую он выбросит в помойное ведро. Он пишет о нестерпимом сияньи, которое пролетает в глубине его сознанья:

Господи! Глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него. И понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня[13].

В самом деле, его сознание даже само по себе, безотчетно следует формуле Анненского. В стихотворении "Желтофиоль" похоже на виолу" Георгий Иванов, интуитивно пробормативает созвучия и почти неожиданно, но по существу совершенно закономерно заканчивает стихи прямой цитатой:

"...Оставь меня. Мне ложе стелет скука!"[14]

Удивительно, что примерно в то же самое время, что у Георгия Иванова в парижском изгнании, формула Анненского угадывается и в самых драматических стихах его друга Осипа Мандельштама, агонизирующего в воронежской ссылке. Сводя счеты с временем, называя свой век волкодавом, Мандельштаму, конечно, не до эстетических формул. Он просит лишь о решении своей участи,

...чтоб не видеть ни труса, ни липкой грязцы,
ни кровавых костей в колесе,
чтоб сияли всю ночь голубые песцы
мне в своей первобытной красе[15].

И этика, и эстетика в этих стихах просто пожираются векомволкодавом или, вернее, людоедом, но нельзя не заметить, что в них есть и грязца, и сияющая краса, и, конечно, страшная, перемалывающая его жизнь мука.

Много лет спустя, в московском "Дне Поэзии" появилось стихотворение под названием "Назначь мне свиданье". Автором его была Мария Сергеевна Петровых, подруга Ахматовой и адресат мандельштамовского стихотворения "Мастерица виноватых взоров".

Стихотворение Петровых было страстным оплакиванием погибшего друга и, хотя имя Мандельштама в нем не названо, стихи воспринимаются как обращение к его памяти, в особенности ее описание совместных дальних прогулок:

Пейзажи и впрямь были бедны и жалки.
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным
Как будто мечтали о чем-то прекрасном[16].

Внешне — это чеховская бутылка в свете луны, но внутренний, психологический пейзаж стихотворения Петровых связывается скорее с формулой Анненского, с его мучительным заглядыванием за пределы эстетики. За этими пределами

находится не только циклоп скуки, но, как подтверждают предчувствия и судьбы поэтов, гораздо более страшные чудовища.

Конечно, существовали они и для Анненского. Проницательный Владислав Ходасевич в статье, написанной к двадцатилетию со дня его кончины, заметил, что сам псевдоним Анненского заимствован из горячо любимой им античности и является условным именем "Никто", под которым Одиссей скрылся от Полифема, пожиравшего его спутников. Таким образом, заключает Ходасевич, "поэзия была для Анненского заклятием страшного циклопа смерти"[17].

А это, добавим мы, придает его формуле новое, не только эстетическое или этическое, но и религиозное измерение.

Примечания

1. Стихи Анненского здесь и далее цитируются по Большой серии "Библиотеки поэта": "Иннокентий Анненский". Л. отд. изд-ва "Советский писатель", 1959, с. 163.

2. "Русская поэзия конца XIX — начала XX века". М., изд-во Московского университета, 1979, с. 249.

3. Анненский, с. 163.

4. Там же, с. 187.

5. В. И. Иванов "Борозды и межи". М., "Мусагет", 1916, сс. 293-294.

6. А. П. Чехов "Драмы и комедии". Берлин, изд-во Лажечникова, 1920, с. 163.

7. Анненский, сс. 114-115.

8. Там же, с. 115.

9. О. Мандельштам "Стихотворения". Большая серия "Библиотека поэта". Л., изд-во "Советский писатель", 1973, с. 75.

10. Г. В. Адамович "Комментарии". Вашингтон, изд-во Виктора Камкина, 1967, с. 37.

11. А. Ахматова "Бег времени". М. — Л., изд-во "Советский писатель", 1965, с. 294.

12. Г. Иванов "1943 — 1958 Стихи". Нью-Йорк, издание "Нового Журнала", 1958, с. 87.

13. Г. Иванов "Отплытие на остров Цитеру". Берлин, "Петрополис", 1937, с. 70.

14. См. 12, с. 56.

15. См. 9, с. 153.

16. "День поэзии". М., изд-во "Московский рабочий", 1956, с. 70.

17. В. Ходасевич "Об Анненском". "Возрождение", Париж, 14 марта 1935.

Белла Дижур

УТРО

Все зеленое и голубое
Просыпается вместе с тобою.

Вот он мчится цветной, неистовый
Божьих тварей живой поток.
В почке дремлющей, как под выстрелом,
Распрямляется лепесток.

Не шуми святыми словами,
Не юродствуй, не мельтешись,
А проснувшимися глазами
Миру Божьему удивись.

Помолись о воде и хлебе,
Помолчи, как молчит трава,
Как молчат облака на небе
И небесная синева.

Как молчать умеет звезда,
Над пространствами пролетая,
Чтоб к земле припасть иногда,
От любви неземной сгорая.

СЛУШАЯ БАХА

Слышишь ты, как небо рыдает,
Как грохочут колокола?
Изгоняют тебя из рая
Взмахом ангельского крыла.
Кровь Голгофы звучит в хоралах
Колокольным гулом волны,
Чтобы память не забывала
Преступления той весны,
Преступления эпохального,
Происшествия предпасхального...

В нарастающих ритмах Баха
Вечный голос Божьего страха
За тебя, за меня, за всех!
За людской неизжитый грех.

ГОРА

Нет названья у той горы,
Нет дороги к ее вершинам
И живет она с той поры,
Чье начало неисчислимо.

Это — Вечности зримый лик.
Здесь впечатано Божье Слово.
Отреченного камня крик,
Эхо Поступи Иеговы.

В пропасть каменную окунув
Горбоносый, железный клюв,
Торопливая птица поет,
Свои нежные гнезда вьет,
А ее многоцветные перья
Осыпаются тленом и пылью.

Но из пыли, как прежде, родится
И как прежде, как прежде гнездится,
И свистит, и птенцами гордится
Торопливая птица.

* * *

Нас породил Ветхозаветный Каин,
Чтоб строить города и лить металл.
Мы гусляры и нас со всех окраин
Великий Бог на праздники сзывал.

Непостижимы помыслы Господни...
Братоубийцу от Себя изгнал,
Но не отправил гибнуть в преисподней,
А на челе знаменье начертал.

И не оставил дом его без Света,
И не лишил Своих Святых Забот...
И этою таинственною метой
Он отмечать нас не перестает.

Сменяется чреда тысячелетий,
А мы — всё те же — Каиновы дети.

В благоустроенном земном раю
Душа первопроходца и поэта
Живет, как прежде — бездны на краю.

Рина Левинзон

* * *

Голубеет, синеет, темнеет,
постепенно меняется цвет,
свет кончается, небо немеет,
замолкает вечерний фальцет,
растворяется зелень земная,
и за тающей корочкой сна,
может быть, я сегодня узнаю
все, что жизнь для меня припасла.

* * *

Чем дольше живешь, тем прозрачнее пишешь.
Так кожей сухою обтянута кость,
и ласточка ниже, над самою крышей,
и всё торопливей прощается гость.

Чем дольше живешь, тем дорога короче,
пространнее небо, теснее земля,
и радостней дни, и тоскливее ночи,
и утро приходит, минуты деля.

Чем дольше живешь, тем отчетливей облик
пейзажа, что виден теперь из окна,
и горше напиток, и медленней отклик,
и к жизни, и к смерти — дорога одна.

* * *

За раковиной прячется ушною,
и за слепым терпением очей.
Что музыка в сравненьи с тишиною?
Какая речь молчанья горячей?
Что может быть безмолвия огромней,
что глубже непроизнесенных слов?
Не говорить, не ревновать, не помнить,
не нарушать качания весов.

* * *

Быть женщиной — дышать судьбой,
ни ада не страшась, ни рая.
Не притворяться — быть собой
и жить, путей не выбирая.

Быть женщиной — суметь собрать
под этот лепет лебединый
способность жить и умирать
в отрезок времени единый.

Быть женщиной — себе пенять,
ни мору не боясь, ни гладу.
Быть женщиной — соединять
всё то, что тянется к разладу.

* * *

Забудем о славе, о музах,
о боли, о доле крутой,
нарубим дощечек кургузых,
огонь запалим золотой.
Свечи поминальное пламя
качнется над сердцем живым,
над городом плавным, над нами,
над сердцем неслышным моим.

Владимир Гандельсман

Из календаря 1955 года

МАРТ. В КИНОТЕАТРЕ

Вечером, на западе, в созвездии
Овна красноватый виден Марс.
Человек, поющий о возмездии
и врагах в кинотеатре "Арс".

Видом эшафота очи юные
на тропе народной не смутишь.
В небесах рулоны стынут лунные.
Над кинотеатром вечер. Тишь.

Небывалой мощи силы творчества.
Пущена мартеновская печь.
Школьники выводят имя-отчество
и Родную открывают речь.

Кадры кинохроники: передние
Молотову руку жмут, потом
племенной отбор, настриги средние,
разговор со знатным чабаном.

Неустанных тружеников Питера
ждет народный университет.

В Близнецов созвездии — Юпитера
яркий загорится ночью свет.

А пока на фабрике ирисную
массу превращают в длинный жгут, —
смена дня и ночи над отчизною,
и созвездья, как лучины, жгут.

Русская благотворительная миссия, общественность г. Ногинска (бывшего Богородска) совместно с Институтом российской истории Российской академии наук готовятся отметить в 1997 году 200-летие торгово-промышленного дела Морозовых и осветить огромный вклад этой семьи в экономическую и культурную жизнь России.

Намечается проведение юбилейных торжеств в Москве, Орехово-Зуеве, Ногинске (Богородске), Твери, создание музеев, издание энциклопедии "Морозовы".

С ноября 1995 г. проводятся ежегодные "Морозовские чтения" — первая конференция пройдет в Ногинске на тему: "Морозовы и их роль в истории России".

Приглашаем соотечественников и прежде всего потомков рода Морозовых к сотрудничеству в восстановлении памяти о достойнейших людях России.

Присылайте свои воспоминания, документы, фотографии — они будут опубликованы в материалах "Морозовские чтения".
Со всеми Вашими предложениями обращайтесь в Оргкомитет.
Секретарь оргкомитета — Маслов Евгений Николаевич.
Адреса в России:
105215 г. Москва, 11 - Парковая ул. 44-3-154, тел. (095) 468-44-57, Завидовская Галина.

142410 г.Ногинск, Московской обл., ул. Бетонная, д.2, Маслов Евгений.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Письма Г. В. Адамовича И. В. Чиннову

***Чиннов Игорь Владимирович** — О СЕБЕ*

Родился накануне Первой войны в имении бабушки под Ригой. К поэзии приучен отцом – юристом, но и книжником, читавшим наизусть непонятные мне тогда страницы из Расина и – тоже в подлиннике – самого Гомера (непонятного и сейчас). Кроме отца, все предки – золотопогонники и средней руки помещики, рифмованным строчкам довольно чуждые. Впрочем, старший кузен матери – П. Ф. Якубович-Мельшин, революционер более ярый, чем даже его предок декабрист, перевел Бодлера и писал гражданские стихи.

Ранние опыты – еще студенческих лет, а первая книга, в тонах адамовической "парижской ноты", со словарем нарочито обедненным, вышла в 1950 г. в Париже, благодаря Сергею Маковскому и Георгию Иванову. Вторую книгу, уже покинув Париж для Германии, написал в том же сдержанном "парижско-нотном" регистре, а третья, возникшая в США, куда в 1962 г. меня пригласил профессорствовать Канзасский университет, отличалась появлением верлибров. В четвертой и пятой книге появились гротески, нарочито обедненный словарь сменился обогащенным, с усиленной образностью. Шестая книга оказалась "гимном красоте", в седьмой опять возобладали гротескные "картинки". Последние годы — на положении заслуженного профессора, то

есть — отставного, то есть свободного, продолжаю "служить" двум любимым Музам: Полигимнии и Музе Дальних Странствий, и по-прежнему то славлю Создателя, то упрекаю, в зависимости от настроения.

15/2-53

104, Ladybarn Road
Manchester 14

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за письмо и за стихи. О стихах потом, а сначала кое-что в ответ. Меня очень удивило, что Вы пишете о "проблематике" и Достоевском. Я как раз за неделю до того писал для "Опытов" разные размышления, и как раз на эту тему. Он действительно напитал очень многих, но я — признаюсь — все меньше и меньше *гутирую* эту пищу, да и его самого. Я ему не верю и мне кажется, что он un auteur curieux в самом высоком смысле, но все-таки curieux. А о Комаровском, которого плохо помню, вспоминаю, что Гумилев перед самой смертью решил, что это великий поэт, в пику Анненскому, в котором разочаровался. Но, вероятно, это была его очередная блажь. О советских поэтах что же говорить! Они не могут быть поэтами, по крайней мере в печати. По-моему, самый талантливый человек там — Сельвинский (если не считать Пастернака), у него есть замечательные строки и, вероятно, было бы больше, чем строки, если бы это было возможно. Твардовский все-таки на границе каких-то песенок и фельетонов, а Прокофьев мне всегда казался дубиной, но я не ручаюсь за эти мнения, и, вероятно, Вы у него нашли что-то, что я не заметил. Алигер бывает, в женской тональности, очень хороша, но тоже была, а не есть. Еще, конечно, есть многие. Но ни о них, ни их судить нельзя.

Ваши стихи очень хорошие. Особенно "Смутный сумрак",

почти сонет, что дает ему особую прелесть. В форме сонета есть что-то гениально-верно найденное, и напрасно русские поэты им пренебрегали. А соединение чинновски-дребезжащих и обманчиво-расстроенных струн с этой формой, хоть Вами и не соблюдаемой, особенно меня задело. Вообще что мне у Вас нравится, это обманчивая простота и вид мирно спящей кошки, которая вдруг прыгает тигром. Простите, если всё это туманно, но и самая мысль моя туманна, и это даже не мысль, а впечатление. Очень хорошо — и неожиданно — хлеб и вино, т. е. евангельская скудость и величие, которую, будто стыдясь, Вы закрыли под конец "розовеющими дровами", образом капризным и неврастеническим. Ну, я лучше кончу, п. что сегодня у меня, очевидно, в голове туман. В общем, искренно и "не без зависти" — всё хорошо, всё очень по-своему, и спасибо, что прислали.

Ваш Адамович.

P. S. Иваск пишет мне, что не знает стихов Брюсова "Цветок засохший, душа моя". Это мои любимые брюсовские стихи, но я боюсь ошибиться, если напишу по памяти. Перепишите ему их откуда-нибудь. Это, конечно, не Блок по звуку и непосредственности, но все-таки лучше всех брюсовских мастодонтов. А на днях читал "Наполеона" Пушкина — как плохо, кроме двух-трех строк! (умолкаю во избежание упреков в снобизме, достаточно мне надоевших).

2

23/VII-53

4, Avenue Emilia
c/o Mme Lesell
Nice (A. M.)
(до начала сентября)

Дорогой Игорь Владимирович!

Простите за молчание. Честное слово — не помню, я ли Вам не ответил, Вы ли мне. Но за что я мог бы на Вас "сер-

диться", как Вы предполагаете? Я вообще ни на кого больше не сержусь — не столько по христианской кротости, сколько по равнодушию. А на Вас и подавно.

Спасибо, что написали. С Вашим разбором "Опытов" я в общем согласен. Но только в общем. Никак не могу согласиться с "ценностью" того, что написал Ремизов: это — глупая чепуха, с претензией и хитростями. В Ремизове есть две стороны: одна — страстная, злая, страдальческая, и другая — умиленно-блаженно-приторная. На этот раз он оказался во второй полосе, et c'est à vomit. Конечно, лучше всего в "Опытах" — Поплавский. Это черновик, со всякими срывами, но это гениально-талантливо, и никто сейчас на этом уровне писать не способен. Сирин более блестящ, но куда же больше "литература", и даже машина какая-то. Я все хочу о П. написать в газете статейку, п. что дураки продолжают считать его модной парижской Ладушкой, а на деле — была среди нас звезда, которую мы не совсем при жизни оценили (хотя всетаки все знали, что головой он выше других, exception младших и старших). Головина очень мила, но рядом — смешно ее читать, а Савин вульгарен, и хотя неплохо, м. б., но ужасный "моветон". А вот стихи: кто это Буркин? Как могли его напечатать? Это пятно на всем журнале, по глупости и малограмотности. Об Оцупе помолчим. Он, очевидно, умрет гимназистом.

Я читал стихи Иваска. Как Вы знаете, пресса у них плохая. Нет человека, кот. отозвался бы мне о них хорошо. Маковский воздевает к небу очи. А между тем, дай Бог Маковскому дописаться до одной-двух строк таких, какие есть у Иваска. Я не думаю, чтобы у него был настоящий талант поэта. Но у него есть чувство, чем могут быть стихи, чем должны быть стихи — и есть отблеск этого в том, что он пишет, c'est déja quelque chose. У многих наших мэтров этого нет и в помине. Иваск — это тень, отражение большой и какой-то патетической поэзии. Но, правда, только — тень. Кстати, посмотрите Терапиано в "Опытах". Против ожидания, совсем недурно.

Что мне сказать Вам о тех стихах, которые Вы мне прислали? Вы понимаете, что я слишком Ваши стихи люблю, чтобы отделаться комплиментами. Мне кажется, в этих трех стихотворениях есть что-то переходное. Вы как будто ищете новую манеру. Но мне не всё по душе. По-моему, в стихах не должно остаться никаких следов того, что это "стихи", т. е. что-то особое, возвышенное или наоборот. Три повторения — "только" (мышь и т. д.) сразу выдают работу quasy-магичности, и в ответ я хочу сказать: отстань, не надоедай с красотами и прочим! Мне очень нравится (но скорей по мысли, чем как поэзия) последняя строфа стихотворения "Голод в Индии..." Но сказано слишком "дискурсивно", т. е. обстоятельно- логично.

Простите за эти замечания. "За скобками" — как говорила Зинаида — остается моя постоянная admiration. Вам, кажется, очень понравились стихи Лиды в "Оп.". Да, они прелестны по намерениям. Но уж очень распадаются, хотя Вы правы — все-таки на ней отдыхаешь, даже когда морщишься.

Я пишу на парижский Ваш адрес. Не знаю мюнхенского. Напишите, пожалуйста, дошло ли письмо. И вообще напишите, не считаясь с моей безалаберностью.

Ваш Г. Адамович

3

13/I-54

Manchester 14
104, Ladybarn Road

Дорогой Игорь Владимирович!

Прежде всего простите, что отвечаю с опозданием. Но это — в порядке вещей или, вернее, в их беспорядке. Поздравляю с Новым Годом и желаю всего, что можно, хорошего. Но чего Вы сами для себя хотите — не знаю, и сейчас, случайно

задумавшись над этим, остаюсь в недоумении. Есть люди ясные. Вы — немножко ребус и загадка.

Спасибо за добрый отзыв о моих стихах. Но я *изумлен* Вашим предположением об опечатке и желанием исправить конец третьего стихотворения, ибо никакой опечатки нет, и в конце этом самый "цимес", как говорит Гаевский.

Вы предлагаете:

Где с вялой дремой на покое
О жизни смешана мечта...

Что это значит? Что я уйду на покой, как архиерей, и буду мечтать о жизни??

Вероятно, Вас смутили два *о*: но ведь запятой между ними нет. Смысл такой:

где с вялой дремой о покое смешана мечта о жизни.

Если была бы запятая после "о покое", могло бы возникнуть недоразумение. Это мне, правда, не пришло и в голову. По-моему, интонация стиха правильна и должна бы сама по себе сделать чтение ясным. Но я смущен тем, что читатель aussi qualifié que vous его не понял. Большинству (из не вполне qualifiés, кроме Прегельши) нравится второе стихотворение, с петербургскими любовными реминисценциями. Но автор знает, что это стихи — слегка хамские, хотя и надеялся, что это останется тайной для других.

Теперь два слова о Ваших стихах. Первое:

Ноты, ведь...

абсолютно прелестно и почти совершенно, со всеми Вашими поэтическими дарованиями и тонкостями. Я прочел и восхитился настолько, что запомнил его наизусть. Кстати, еще раз почувствовал в Вас боратынские нотки, а что они модернизированы — дела не меняет. Одно меня коробит, но мелочь: рифма *они* и *звенит*. Я этого не выношу, у меня ухо болит от этих штук, и хорошо бы их бросить, как неудачный провалившийся опыт! Особенно при такой чистой работе, как

Ваша. По-моему, на крайность лучше рифмовать *яйцо* и *окно*, *стена* и *дыра*, чем окно и астроном, *дыра и капрал* и т. д.

Второе стихотворение как-то расплывчатее и капризнее, но конец тоже очень хорош (про рай и грусть). Вообще Вы поэт очень хороший, и когда-нибудь (не очень скоро) это признают даже все Рогали. Кстати, шума по поводу его статьи было в Париже много. Но даже шума этот идиотизм не стоит, хотя в идиотизме была и явная подловатость.

Иваск мне пишет о своей антологии с просьбой о рецензии в "Опытах". Рецензию я писать не хочу (написали бы Вы!), а если будет № 4, напишу большую статью о "духе, судьбе, очаровании и ничтожестве" эмигрантской поэзии, которая давно сидит у меня в голове. Кое-что меня заранее смущает: например, правда о *Ходасевиче*, которую, наверно, припишут моей с ним ссоре, впрочем, мирно закончившейся с его извинениями. Но он был на 1/10 — не настоящий поэт, с искуснейшей подделкой под именно самого настоящего. Помимо того, он не понимал сущности поэзии и тоже подделывался под понимание, прячась за несчастного Пушкина и "строгость формы". Всё это — детская игра, одна из тех удочек, на которую ловятся люди. Все это — для Вас, entre nous, п. что, м. б., всего этого я никогда и не напишу.

До свидания. Крепко жму руку. Буду всегда рад, если соберетесь написать, а особенно — с поэтическим приложением.

Ваш Г. Адамович.

4

29/V-55

104, Ladybarn Road
Manchester 14

Дорогой Игорь Владимирович!

Хотел ответить Вам сразу — на Ваши мысли о поэзии, о "парижском" ее ключе, о писании в "полный голос" — но вовремя не собрался, а теперь поздно, да и пыл мой остыл.

В общем я никак с Вами не согласен, и поверьте, говоря это, я не собираюсь опять защищать свои стихотворения в "Опытах" (кстати, только что прочел Аронсона: он с Вами сошелся, а если две крайности сходятся, то едва ли оба неправы!) Но главное в стихах, по-моему, — не приглушенность тона, а непринужденность его, отсутствие позы и выдумки. Кроме того, дать выход лучшему или самому живому, что в тебе есть. "Полный голос" этому не противоречит, скорей наоборот — но, конечно, сопряжен с опасностями и иллюзиями на свой счет. Но и в Вашем идеале есть опасность манерности, менее заметная, но не менее скверная и, кстати, в нашей "ноте" многих погубившая. Из которой один Ладинский, в сущности, имел смелость держаться, как ему свойственно, — т. е. немножко дубиной, — а остальные почти все подделывались под всякие неземные утонченности (еще исключение: Гингер). И "последняя лесть..." — по Евангелию. В поэзии главная забота, сущность сущности ее — не литературная, а жизненная, и только при некотором пренебрежении к литературе она — эта литература — и не превращается в пошлость и чушь. Простите за прописи.

А вот по поводу непринужденности. Сейчас всячески раздувают Есенина, поэта маленького и вялого. Но у Есенина действительно есть одно удивительное свойство, за которое ему многое простится: он ничего не выдумывает (в лучших своих, поздних вещах, не в такой ерунде, как "Пугачев" и проч.), он абсолютно естественен, алитературен (не "анти", а "а"). Со времен Пушкина он в этом смысле единственный. Даже у Блока, который во всех смыслах больше Ес., по сравнению с ним много типографской краски и готовых слов, а о других нечего и говорить. Пушкин тоже был свободен (особенно в "Онегине") и за это ему тоже много простится. Я не очень люблю "Пир во время чумы", которого — т. е. "девурозу" — Ходасевич считал вершиной русск. поэзии. Конечно, это вершина. Но при этом методе подъема к вершине легче взлететь под небеса, чем при том, какой бывал у Пушкина в

другие минуты. Он тогда поднимался, м. б., и ниже, но без риска упасть и разбиться.

Ну, довольно. Нет, чем больше думаю, тем меньше с Вами соглашаюсь и никакого спасения в хождении по поэзии в мягких туфлях, т. е. без шума, не вижу. Нужен риск, хотя вовсе не в том смысле, о котор. я только что упомянул. Нельзя прятаться в приемы и стилистические увертки, а если в тебе нет ничего, то и в стихах твоих ничего не будет. Всё остальное — жульничество. Кстати, о раздуваемых сейчас поэтах. Ну, Гумилев — еще туда-сюда, он все-таки поэт, хотя бы в проекции. Но Волошин! Так ведь можно договориться до того, что и... нет, хотел назвать имя, но Вы сплетник, и поэтому умолкаю, наученный горьким опытом! Или Клюев, который не Волошин, конечно, но из которого сделали Гомера, а он весь фальшив так, что от одной строчки его ухо раздирает (есть у него и оч. хорошие стихи — помните ли Вы в "Аполлоне": "Как во нашей ли деревне..." Стиль russe невозможен, но напев удивительный).

Спасибо за присланные стихи.

Первое — "Не в России, так в Германии" — un petit chef d'oeuvre законченности и точности: лучшие слова в лучшем порядке. Другие сравнительно с ним зыбки, а про Христа — меня удивило. Вы в нем нажали на педаль как будто для того, чтобы заглушить собственное свое смущение. "Вы пугаете", а никому "не страшно": не совсем то, но почти. Вообще о Христе, по-моему, лучше не писать, и во всей нашей поэзии один только раз упоминание это было не всуе: "Удрученный ношей крестной..." (это было бы для меня чудо из чудес поэзии, если бы выбросить никчемную вторую строфу). Иначе выходит Мережковский. А вообще о Ваших стихах, вполне откровенно и с самой искренней любовью к ним: чего им не достает? Когда-то я получил письмо от Блока, единственный раз, длинное и по глупости оставил его в Петербурге. Помню одну из последних фраз: "раскачнитесь выше на качелях жизни..." Вот это бы мне и хотелось Вам сказать, хотя бы я

выразился и иначе. Попробуйте полный голос, забудьте всё, что Вас останавливает. Стихи должны брать "за жабры", иначе это безделушки для дамской гостиной. У Вас всё есть, кроме этого, — и этого Вы должны достичь, чтобы стать тем, что Вам назначено. У Штейгера это есть, а всего другого меньше, чем у Вас, и худшего качества. Я всегда мысленно переделываю Пушкина: "учитесь жертвовать собой", а не "властвовать". Простите за непрошенные наставления: по старости лет!

Ваш Г. А.

5

20/1-57

104, Ladybarn Road
Manchester 14

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за пожелания и поздравления к Новому Году и Рождеству Христову. В свою очередь желаю Вам всего, что можно (и даже больше). Вы — человек аккуратный, а я нет. Письмо Ваше, лежавшее у Вас полгода, получил и передал Червинской, выразившей, впрочем, сомнение, не хитрите ли Вы. Но я ее уверил, что Вы — столп искренности и честности. Недавно вернулся из Парижа, где вертелся в вихре света и сливок общества. Видели ли Вы книгу Гингера? Маковский посмеивается, а по-моему, в книге есть стихи замечательные (напр., второе — "Весть"), какие самому Маковскому и не снились. Ну, а Вы, "над чем изволите работать?" — как всегда спрашивает Маковский. Иваск мне пишет довольно часто и, бедный, все бьется над "Опытами", между Цейтлиншей и Аронсонами (там появился какой-то Биск впридачу). "Трудна работа Господня!" (это уже не Алданов, а В. Соловьев перед смертью). До свидания, Игорь Владимирович. Пишите — но, пожалуйста, с приложением стихов.

Ваш Г. Адамович

6

27/IV-57

104, Ladybarn Road
Manchester 14

Дорогой Игорь Владимирович!

Воистину Воскресе! Простите, что только отвечаю, а не написал первый. Да и отвечаю с опозданием, т. к. только вчера прибыл в Манчестер.

Ваше письмо полно литературных мыслей и любовью к interieur'ам. О первом — говорить можно без конца, а вот к interieur'ам я равнодушен и слеп. Терпеть не могу вещей, а еще больше — "красивых", от которых мне неловко и не по себе. Но о вкусах не спорят, значит passons.

А вот о литературе. Мне кажется (насколько я в себе самом понимаю), что я родился с душой достоевски-лермонтовской, но разумом перетянулся к линии пушкино-толстовской. Мне смешны упреки, что я "недооцениваю Достоевского, п. что я от него был без ума, до мозга костей, до неспособности другое читать. Но на то человек и живет, чтобы, как говорится, "над собой работать". Вот я и доработался до Толстого, с которым никакие сюрпризы невозможны. А по поводу Достоевского: есть у Буало удивительная строчка, за которую простятся ему все его плоские наставления: Le vers se sent toujour des bassesses du coeur.

Вот именно! У Д. были ужасные bassesses du coeur, и это "se sent" у него везде. Кстати, я прекрасно понимаю, что Вы в моем "споре" с Оцупом против меня. Но как Вы можете быть за Оцупа — не понимаю (отчасти потому, что не мог дочитать его статьи, где он Лосского ставит выше Леонтьева и пишет о новом лит. направлении "под моим *водительством*": тут я и бросил газету).

Ваши стихи люблю все и всегда. По душе мне и эти. Но ломка размера во втором — меня не убедила в ее необходимости, как и отдельные мелочи: "что" вместо "который" при

столь чистой и отчетливой выделке вообще. Кроме того, если мои стихи грешат некоторой оперностью и неудавшимся стремлением "взять за жабры", Ваше второе грешит грехом другой крайности — пассивностью в каждом слове и особенно к концу ("забыл?" — "ну, а мне-то что?" в переводе на язык грубой, но законной реакции в ответ). Первое, по-моему, от этого свободно. Но оба — оставив придирки — очень Ваши и "очень прелестны", как говорят здешние мои студенты.

"Нового Журнала" — № 40 — я еще не видел. Насчет стихов Одоевцевой — согласен, не читая их: они всегда — вроде сбитых сливок, но я очень люблю сбитые сливки. Кстати, я сижу над рукописью Лиды Червинской, которую вопреки ее воле надо бы сократить, чтобы хватило денег на издание. Человечески это много дальше и глубже Одоевцевой, а литературно — не знаю. У Лиды всё не дописано или почти всё. Вы должны это чувствовать лучше кого другого. Штейгер был, пожалуй, беднее ее, а стихи его лучше. Но это, ради Бога, — entre nous: Лида — сверх-мимоза, да и в сверх-несчастьях всяких. Не хочу, чтобы до нее дошли сомнения в ее стихах.

До свидания. Спасибо, что вспомнили. Сочувствую тому, что Вы так заняты. Чем больше живу, тем больше соглашаюсь с Уайлдом, что "человек создан для праздности". Всегда рад Вашему письму, а со стихами — вдвойне.

Ваш Г. Адамович

P. S. Да, насчет съезда — чуть не забыл! Вы пишете, что Вейдле сказал, будто я отказался "из-за Русск. Новостей". Пожалуйста, объясните Вейдле, как обстоит дело.

О "Русс. Нов." я не думал и не вспоминал. В январе, когда я был в Париже, о съезде я слышал со всех сторон. Слышал и то, что "первое приглашение получил Смоленский". Против Смоленского я решительно ничего не имею, но согласитесь — "первое приглашение Смол-му" дает отпечаток всему предприятью. Меня никто никуда не приглашал — кроме разгово-

ров Г. Иванова. В марте в Манчестере я получил приглашение прибыть ("с оплачен. расходами") на предварительное совещание 18-го марта — начинавшееся так: "Вы, вероятно, слышали от Г. Иванова о предстоящем съезде..." Если бы устроители действительно желали моего участья в съезде, я слышал бы о нем прежде всего от них! Форма приглашения мне показалась по меньшей мере странной. Я ответил двумя строками: занят, благодарю за внимание, но приехать не могу. Это, кстати, совершенная правда: действительно я не мог приехать в марте, даже если б хотел. На этом мои отношения с устроителями съезда — Зайцев, Набоков и др., подписавшими письмо, — кончились. Я не отказывался от участия в съезде прежде всего потому, что меня звали лишь на предварительн. совещание. Прежде отказа или согласия я должен был бы знать, что это будет за съезд — и кто в нем участвует. Должен, однако, признаться, что то, что я по этому поводу знаю, энтузиазма во мне не возбуждает, ни с какой точки зрения. В Париже — когда я был на Пасху — о съезде хлопочет и что-то болтает Маковский. Он мне тоже объяснил мой "отказ" доводами политическими. Очевидно, другие лучше меня знают, чем я сам.

В сущности я думаю, что вся эта затея, в конце концов, провалится. А если какие-нибудь старухи будут что-то шамкать, как Зайцев, или блистать, как Сперанский, то кроме позора ничего не получится. Кстати, Иваск пишет, что Ремизов в ответ на просьбу написать "скрипт" — о которых Вы, конечно, знаете, — сообщил, что он — "не Гоголь". Слава Богу, что он "не Гоголь", и Зайцев тоже, а то принялись бы писать! Да, вот еще забыл: напрасно Вы напали на Бунина за слова о Пушкине. Он это не писал, а говорил, правда, не один раз: но мало ли, как человек говорит! Он Пушкина никак не обижал, он его боготворил, а "забил бы" сказал так, первое пришедшее в голову слово. Хорошо еще, что не сказал "переплюнул бы", — но на это у него хватило бы словесного вкуса. Беда только в том, что это неверно, и, по-моему, *никогда* в стихах Лермонтов Пушкина не забил бы.

Ну, довольно. Вы, вероятно, устали читать, а я, кажется, становлюсь графоманом.

Ваш Г. А.

7

7/XII-58

3, Scarsdale Road
Victoria Park
c/o Mr. White
Manchester

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо, что вспомнили и написали. Чем Вы были больны? "Кровообращение — швах". Это скорее старческая немощь, а Вы ведь человек еще молодой. И чем Вас лечат или лечили? Я в сердечных болезнях довольно опытен. Пожалуйста, напишите мне все обстоятельно, когда вообще соберетесь писать.

Насчет моих стихов: мне приятно (не совсем то слово), что Вы некоторые из них помните и даже будто бы любите. Я их совсем растерял, забыл и скажу откровенно — мне как-то даже совестно, неловко о них думать. Настолько далеки они от того, чем должны были бы быть! Но то, что у Вас хотя бы отдельные строки удержались в памяти, наводит меня на мысль, что, может быть, кое-что в них и попало. Должен Вам признаться "с глазу на глаз", что я не очень люблю стихи Г. Иванова. Конечно, они гораздо лучше, удачнее, полнее моих. Но мне в них не нравится ирония и "анекдотическое" сцепление слов. "Служенье муз не терпит суеты": вечный закон, а он против него как-то погрешил (Мандельштам — нет). А в виде анекдота могу рассказать, что я написал о его "синайских высотах", т. е. о важности тона, а он заявил Водову, что это "антисемитский выпад"! До чего может человек додуматься. Но

Оцуп явно больной человек, замученный экс-красавицей женой.

Quant à Померанцев, то это просто болтун, и при всех своих Гейдеггерах не вполне грамотный, но человек скорее милый, если бы убавить ему развязности.

Еще литературный пункт: Чехов. Голубчик, Чехов — чудный писатель, ну как можно в этом сомневаться?! Бунин был прав относительно его пьес и первый ткнул пальцем в то, что в них нестерпимо. Но тут, верно, повлияла Книпперша, как на Оцупа его Диана. А рассказы Чехова — это такая прелесть, что надо встать на колени и просить у него прощения за всех "декадентов", которые на него фыркали и захлебывались Андреевым и Пшибышевским (а эти, кстати, все вышли из Достоевского).

Ну, выходит не письмо, а "литфельетон".

Как Вы живете? Что делает у Вас Бахрах, для меня самый легкий человек в мире (за что я его и люблю — как облегчение и отдых) — и как он оценен и принят? У него, кстати, тоже есть своя Диана, в другом роде, но тоже на него действующая.

Иваск умолк. Ходят смутные слухи, что М. Самойловна увлечена новым гением — Биском, и в случае, если Иваск скиснет, возведет его в редакторы. Будет очень жаль, т. к. Биск, кажется, болван, а Иваск, хоть и переутончился, все-таки Страдивариус среди барабанов.

До свидания. Почему не присланы стихи, по обычаю и традиции? Спасибо, что написали, вернее, что вспомнили.

Ваш Г. Адамович

8

13/II-60

30, Denison Road
Victoria Park
Manchester

Дорогой Игорь Владимирович!

Искренне рад Вашему письму, тем более, что оно

длинное. Спасибо. Почерк Ваш становится трудным, так что читал я письмо долго.

Начнем с Трубецкого. Ну, что с него спрашивать! По отношению к Вам он полон лучших чувств, хорошо хоть это. Мне он изредка пишет, и я — хоть никогда его не видел, — чувствую в каждой его фразе какое-то притворство, почти "жульничество". Но, м. б., и ошибаюсь. Он писал мне, например, что "живет только для поэзии, ни для чего другого". А я этому верю с трудом, сам не знаю, почему. Но что он полудурак, в этом сомнения нет. Кстати, он писал об иваскoвской брошюре и Вас, а Иваск мне ее прислать не удосужился. Очень жаль.

Название для Вашей книжки. По существу, подошло бы — "Оттенки", но это дурно звучит, как-то по-дамски. Из других слов, Вами предложенных, я без колебаний выбрал бы "Противоречья" ("Продолжения" или "Дополнения" — неплохо, но вызовет зубоскальство и насмешки непременно).

Ремизов и "быть может", — нет, "может быть". Вы пишете о "*таком* писателе", т. е. с почтением. По-моему, он был скверный и лживый писатель, хотя — с проблесками, когда его что-то брало за горло. Никакого слуха ни к чему у него не было. Он мне когда-то и о "Слове о полку Иг." говорил Бог знает что, а надо быть совсем бревном, чтобы не слышать за всей непонятной славянщиной "Слова", какая это прелесть. Когда Ремизова чествовали "Опыты", я чуть не поругался с Иваском, — именно из-за лживости Ремизова и лживом ореоле, который его окружает.

Кленовский, которого я назвал "взыскательным мастером". Ну, что же — остаюсь при своем мнении, что он — мастер, хоть и по старинке. Он — вроде Маковского, но лучше. А срывы у него есть, как у всех. Почему "Адамович не должен употреблять выражение взыскательный" — не понимаю. Слово, как слово. У меня, впрочем, всегда чувство (особенно в стихах), что по линии subtilité мне за Вами не угнаться и иногда я Вас из-за этого не понимаю. Вот лучшее доказательство этого.

"Лолита". Я еле ее дочитал, так мне было скучно. Блестяще и совсем ни к чему. И какой вздор с налетом учености написала о Набокове Берберова в "Нов. Журнале"! Но если говорить о таланте "изображения и повествования", то у Набокова его больше и даже бесконечно больше, чем в "Живаго", который уже начинает водворяться на свое законное, среднедекадентское, — хоть и не без трогательности, — место. Мне лично "Живаго" интереснее, но как писатель Набоков головой выше.

Пьерфитта не читал, но хочу прочесть, впрочем, по соображениям внелитературным. А "Мосты", хоть и получил, но еще не раскрыл, — т. что ответить ничего не могу. Я в переписке с Ген. Андреевым (Хомяковым), писания которого мне нравятся.

Ну, вот — всё литература. А "за жизнь" — ничего. Когда-нибудь в другой раз. Как Ваше здоровье, как Вам в Мюнхене "живется и работается"? Вы, кажется, теперь в том отделе, где Бахрах, — как у Вас с ним отношения? До свидания, дорогой Игорь Владимирович. Спасибо за память. От души желаю Вам всего, что можно.

Ваш Г. Адамович

Ирина Грэм

Артур Сергеевич Лурье

Биографические заметки

Артур Сергеевич Лурье родился 14 мая 1892 года в Петербурге, в семье лесопромышленника Сергея Львовича Лурье и его жены, Анны Яковлевны, урожденной Левитиной. Семья Лурье принадлежит к древнему роду так называемых "маранов", выходцев из Испании, спасавшихся от террора Инквизиции во Францию, Голландию и другие страны Европы. Одним из прямых предков этой семьи был знаменитый философ и мистик 16-го века Исаак Лурья.

Мать Артура Сергеевича была, по его словам, "кротчайшим созданием"; он называл ее "ветхозаветной христианкой" и говорил о ней с большой нежностью и любовью. Анна Яковлевна была набожна: зажигала по пятницам свечи, соблюдала праздники. Религиозность матери унаследовал ее любимый старший сын; чтение Библиии привело Артура Сергеевича к чтению Евангелия и он, улыбаясь, говорил: — Мое обращение в христианство произошло без постороннего вмешательства, само собой, когда мне было 13 лет.

По достижении совершеннолетия он принял католичество и был крещен в Мальтийской капелле в Петербурге.

Отец Артура Сергеевича был, напротив, равнодушен к религии и не исполнял обрядов. Он был по внешности типичный интеллигент с чеховской бородкой. Дед Лурье был мучим бабушкой, умной и злой старушкой, стриженой и в очках. Дедушка был кроток; от притеснений бабушки подходил к шкапчику и выпивал рюмочку-другую. Родители Анны Яковлевны (Артур Сергеевич их не помнил) были в род-

стве с некими Серкиными; одну из Серкиных, курсистку, участвовавшую в революционном движении, повесили.

Свои детские годы Артур Сергеевич провел в тесной дружбе с младшей сестрой Беатой; за ней следовали братья Яков и Александр, умерший в ранней юности, и сестра Клара. По сведениям, полученным мной после кончины Артура Сергеевича, родители его умерли от голода во время блокады Ленинграда; Яков Сергеевич был убит на фронте (он пошел добровольцем сразу после вторжения немцев в Россию); судьба Беаты Сергеевны мне не известна. Клара Сергеевна умерла, но жива дочь Артура Сергеевича, Анна Артуровна, его внучка Ирина и правнучка Светлана. Живы дети и Клары Сергеевны, и Якова Сергеевича.

Няня водила двух старших детей с собой в церковь; там был монах с длинной, белой бородой, "как у пушкинского Пимена", вспоминал Артур Сергеевич. Этот монах гладил детей по головке и дарил им картинки религиозного содержания. Артур Серегеевич рассказывал, что навсегда запомнил запах краски от картинок. В детстве он часто хворал, страдая слабой грудью: у него бывали затяжные бронхиты, его лечил врач, но суеверная Анна Яковлевна вызвала к своему мальчику знахарку и та крутила над ним черным петухом... Несмотря на чудодейственного петуха, врачи посоветовали перевезти больного в теплый климат, и семья переселилась в Одессу. Но и там Артур Сергеевич хворал; летом его посылали на виноградное леченье, и он вспоминал себя мальчиком в круглой соломенной шляпе, с корзинкой, отправлявшимся на виноградник, где ему прямо с лоз срезали различные сорта винограда.

Артур Сергеевич поступил в коммерческое училище, хотя мечтал о классической гимназии: его влекла античность, греческие поэты и философы. В гимназию ему попасть не удалось.

— Меня всегда обскакивали другие еврейские мальчики, получавшие по всем предметам пять с крестом, тогда как я получал только пять, — рассказывал он.

Развитой не по годам, он был любимцем семьи; в раннем детстве это капризный мальчик-деспот.

— Я ревел от злости, колотил ногами, валяясь по полу, — рассказывал он. — Когда я злился, то растягивал пальцами рот и выпучивал при этом глаза, стараясь напугать мою кроткую маму.

Конечно, его никогда не наказывали; порой отец говорил: "Стань в угол носом", — и на этом заканчивалась родительская дисциплина.

В то же время он был меланхоличным, деликатным ребенком: мама повела его к доктору, чтобы вырезать гланды, и произошел следующий диалог: Доктор: "Ты не бойся, больно не будет. Тебя, например, кусала когда-нибудь блоха?" Маленький Артур, всегда правдивый: "Нет". — "Ну, как же так. Никогда блоха не кусала. А клоп тебя когда-нибудь кусал?" Мальчика клоп тоже не кусал. Но ему стало неловко отнекиваться, показалось невежливым и он прошептал: "Да". — "Вот и хорошо. Тебе не будет больнее, чем от клопиного укуса". Эта сценка очень типична для Артура Сергеевича с его неизменной деликатностью во всем.

Страсть к книгам началась с детства. Ему выписывали журналы — "Ниву", "Задушевное слово", "Мир Божий". Любимое его воспоминание, говорил он, это чтение только что полученного журнала, в столовой, под круглой лампой за вечерним чаем, когда вся семья в сборе. Мальчиком он стал покупать книги у букиниста; платил ему копейку в день и получал книгу, когда долг был выплачен. Тем временем букинист позволял ему читать в своей лавке купленную в рассрочку книгу; мальчик сидел на скамеечке, у ног старика-букиниста, погруженный в чтение, пока тот торговал. С восторгом он прочел таким образом "Дон Кихота". Покупал он Жюль Верна и, конечно, Майн-Рида, с увлечением читал "Дети капитана Гранта", "Серебряные коньки", "Капитана Сорви-Голова", Диккенса и Твена.

Одержимость музыкой началась с самого раннего детства: крошечным мальчиком он сидел под роялем, на котором играла мать, и прикладывал ухо к доске, вслушиваясь в гул.

Анна Яковлевна была хорошей музыкантшей, играла Бетховена, Шумана, Шуберта, Шопена, оперы Вагнера в фортепианном переложении. Она была первой наставницей сына в музыке, и Артур Сергеевич говорил: "Я даже не помню, когда начал играть". Он зачитывался жизнеописанием музыкантов, покупал книжки о них в издании Павленкова и собрал всю серию композиторов в выпускавшейся Павленковым библиотеке "Жизнь замечательных людей". Артур Сергеевич говорил: "Я мечтал иметь судьбу артиста — Шопена, но в особенности Шумана". И еще: "Я всегда был в бреду фантазии, бредил наяву". О Шумане Артур Сергеевич говорил с большим волнением; личность и музыка этого благородного артиста были ему дороги: он часто играл "Крейслериану" и "Симфонические этюды". О Моцарте он говорил: "Это мой бог".

Играл Артур Сергеевич волшебно. Он владел *тайной* звука, магией звука, извлекая из рояля особенное, совсем *свое* звучание; инструмент звучал внутренним голосом самого Артура Сергеевича, и он, не желая себя обнаруживать, никогда не играл перед чужими. Игра его мне отчасти напоминала игру Рихарда Штрауса так, как она была записана на пластинке, выпущенной, кажется, в 50-ом году. На мое замечание об этом сходстве Артур Сергеевич сказал:

— Ну да, композиторская игра.

Непростительно, что игра Артура Сергеевича никогда не была зарегистрирована; мне удалось записать на пленку его импровизации и нашу работу с ним над начатой им оперой "Золотой осел" (я написала для нее либретто по-итальянски); но запись эта куда-то исчезла. У Анны Ильиничны Андреевой, вдовы писателя, имелись ролики с записью игры Артура Сергеевича, сделанные на даче Андреевых в Финляндии; неизвестно, где эти ролики.

Артур Сергеевич учился хорошо, но не был первым учеником; ему вообще было органически не свойственно выскакивать в первые ряды; скромность его и суровость самооценки были исключительными, несмотря на сознание своего артистического достоинства. Он не терпел саморекламы,

считая ее вульгарной, не обивал пороги дирижеров и исполнителей и не искал покровительства дам-патронесс.

Лучшим товарищем по школе у него был некий Биберман; они вместе музицировали, играя в четыре руки. Фортепианная игра Артура Сергеевича гремела на все училище; мальчики прозвали его "корень квадратный из Бетховена" и "Шопен". Во время большой перемены он играл в рекреационном зале *Polonaise Militaire* Шопена, а мальчики друг за другом вскакивали на рояль и проходили по его крышке военным строем. Мальчики были такие же, как везде и всегда: перед дракой было принято показывать друг другу большой палец, что означало вызов; затем снимали пояса и клали их на землю. После драки в знак примирения показывали мизинец. Фуражки носили блином, брюки были со штрипками, в обтяжку. Артур Сергеевич всегда был щеголем, но фуражку, конечно, носил блином; для придания этому головному убору большей лихости мочил его в воде и затем клал под матрас. Артур Сергеевич увлекался велосипедными гонками по треку и мечтал о чемпионате. Летом купался на взморье и великолепно плавал. Любовь к морю осталась у него на всю жизнь, и он тосковал без водной стихии. Занятия спортом укрепили его здоровье; до конца жизни он был строен, имел великолепную осанку; у него были легкие движения и легкая походка. До роковой болезни Артура Сергеевича, начавшейся в 1964 году (от которой его не лечили по преступной небрежности врача, поставившего неверный диагноз, и в силу бытовых условий его существования), его никак нельзя было назвать стариком; как и многие замечательные артисты — Пикассо, Чаплин, Казальс, Стоковский, Тосканини — Артур Сергеевич был *вне возраста*; глаза его искрились огнем молодости, огнем мысли; улыбка его была чарующей, полной детской доброты и простосердечия. Но он терпеть не мог "улыбающихся" фотографий, и его нельзя было упросить улыбнуться в аппарат.

Через год, примерно, после окончания Русско-японской войны мать Артура Сергеевича ездила с ним в Вену. Там он впервые услышал оперы Вагнера. Венской оперой дирижировал тогда Малер, и Артур Сергеевич рассказывал о впечат-

лении, которое на него произвело исполнение Малером "Тангейзера", в особенности второй части увертюры с летящими вверх струнными. "У меня был мороз в спине", — говорил Артур Сергеевич, с живостью вспоминая свою реакцию на эту музыку.

С пятого класса началось обычное чтение "умных гимназистов". Властителями дум были Гегель и Шопенгауэр. "Мы вырабатывали миросозерцание, — смеялся Артур Сергеевич, — и спрашивали друг друга вполне серьезно: ну что, ты уже выработал миросозерцание?" После окончания коммерческого училища Артур Сергеевич вернулся в Петербург, где поступил в консерваторию. Смеясь, он говорил, что "первый петербургский период начался с длинных волос, отпущенных "под маэстро"; эти длинные волосы помешали ему, как он уверял, поступить в класс Есиповой, не любившей подобный стиль. Артур Сергеевич начал заниматься у Дроздова. "Уроки заключались в том, — говорил А. С., — что учитель и ученик ходили есть блины в соседнюю с консерваторией ресторацию". В скором времени Артур Сергеевич был принят в класс М. Н. Бариновой, одной из любимых учениц Феруччио Бузони — титана среди великих пианистов той эпохи. А. С. был гордостью класса Бариновой. В те годы в консерватории гремели имена двух пианистов — Сергея Прокофьева и Артура Лурье. Тогда они еще не были знакомы и, встречаясь в коридорах консерватории, смотрели друг на друга как два тигра. После того, как в классе Бариновой играл Артур Лурье, никто из учеников не осмеливался подойти к роялю. Мне рассказывали об этом в Нью-Йорке Вл. Дроздов и Всеволод Пастухов, ныне покойные, старые товарищи Артура Сергеевича по консерватории.

Посещая консерваторию, Артур Сергеевич был одновременно вольнослушателем филологического факультета Петербургского университета. Композицией и теорией музыки А. С. занимался у Глазунова и сохранил о нем светлые воспоминания. Музыкальное мышление той эпохи было чуждо новаторским стремлениям молодого композитора; он оставил консерваторию, не сдав последних экзаменов на

звание "свободного художника". В этом смысле А. С. принадлежит к традиции таких "неученых" и "неконсерваторских" музыкантов, как Глинка, Мусоргский и Бородин. Как и они, Артур Сергеевич был собственной консерваторией, отыскивая свой путь. Нужно добавить, что А. С. не терпел "профессиональной", как он говорил, музыки. Задолго до того, как музыкальному миру стала известна сериальная техника и додекафоническая (12-ти тонная) система, А. С. уже производил опыты в этой области. Результатом их явились три Сонатины, Синтезы и Preludes fragiles для фортепиано. Дальнейшим его опытом в футуристической композиции были "Формы в воздухе" для ф-п, с графическим изображением кубистического рисунка, посвященные Пабло Пикассо. К тому же времени относятся поиски А. С. новых звучностей: он был пионером четвертитонной музыки. Но уже в те годы (1914—1916) Артур Сергеевич, по его словам, понял, что "атональность ведет к эмоциональному опустошению в силу своей объективности и своего абстрактного мышления. Все же я не отказываюсь наотрез от 12-ти тонной системы; я пользуюсь ею только в тех случаях, когда нахожу ее необходимой, а не потому, что она считается авангардной или модной. Вообще же я чувствую себя ближе к модальному музыкальному мышлению, чем к атональному".

Артур Сергеевич говорил, что его можно охарактеризовать как "артиста, который отличается от остальных музыкантов развитием своего эстетического опыта в поэзии и пластических искусствах".

Примкнув с юных лет к динамической группе русских футуристов, он вместе с ними боролся за освобождение искусства от рутинных и академических традиций. Он с теплым чувством вспоминал своих старых единомышленников, и его статья, напечатанная в номере 94-ом "Нового Журнала" посмертно в 1969 году, знакомит читателей с этим периодом в жизни композитора.

К периоду футуризма и "Бродячей собаки", где Артур Сергеевич был завсегдатаем и постоянно выступал как пианист, относится его увлечение графикой Обри Бердсли и

дэндизмом как данью Бодлеру, его любимому поэту: длинные волосы "под маэстро" были острижены, причесаны на прямой пробор и зеркально напомажены... он носил визитку — костюм, бывший в моде у петербургских франтов, а в торжественных случаях надевал отцовскую шубу с бобрами и его бобровую шапку. Эстетство и дэндизм не мешали ни серьезным занятиям музыкой, ни интенсивной интеллектуальной жизни молодого артиста: он не пропускал ни одного литературного собрания, ни одного значительного доклада. Между прочим, он рассказывал, что в тот день, когда В. В. Розанова исключили из Религиозно-Философского Общества, Артур Сергеевич, поднимаясь по лестнице в зал заседания (на которое он опоздал), встретил спускавшегося вниз Розанова, — красного, взъерошенного и что-то гневно бормочущего, брызгая слюной.

Артур Сергеевич встречался (или же был близок) со всеми деятелями искусства Серебряного века русской культуры. Он находился в тесной дружбе с Судейкиным, Кузминым, Мандельштамом, Мейерхольдом, Вяч. Ивановым (Артур Сергеевич прослушал курс лекций Иванова и считал себя его учеником), Ахматовой, Асафьевым, Пуниным и другими. Работы Асафьева по музыковедению Артур Сергеевич ценил очень высоко. Свою первую изданную книгу Асафьев подарил ему со следующей надписью: "Артуру Сергеевичу Лурье, указавшему мне путь мой". Эта лестная надпись не помешала Асафьеву (как и Кузмину) предавать Артура Сергеевича после того, как он покинул СССР.

Дружба Артура Сергеевича с Судейкиным была настолько близкой, что они жили в одной квартире. В те годы Судейкин был женат на Вере Артуровне, прозванной Бякой. Артур Сергеевич много занимался на фортепиано и с утра подряд играл все одно и то же упражнение с повторяющимся пассажем; Судейкин уверял, что в переводе на слова пассаж звучит так: "Как люблю я Бяку, Бяку, как люблю я Бяку, Бяку, Бяку!" Артур Сергеевич часто выступал с чтением своих рефератов по вопросам искусства; поэтому Судейкин прозвал его Арткритиком, а также Акридиком из-за худобы. "Вот идет Акридик и

ест дикий мед", — провозглашал Судейкин, завидев Артура Сергеевича в час ежедневных прогулок в Летнем Саду.

М. А. Кузмину Артур Сергеевич был обязан своим знакомством с операми Моцарта "Дон Жуан" и "Свадьба Фигаро", очень редко в те годы исполнявшимися на русской сцене. Кузмин открыл Артуру Сергеевичу "Дон Жуана" так же, как и оперы Монтеверди — мастера, имевшего громадное значение в музыкальной жизни композитора. С Кузминым они играли в четыре руки, комментируя исполняемую музыку. Артур Сергеевич восхищался музыкальной культурой поэта. Кузмин являлся к нему утром в сопровождении всей своей "шайки" и вытаскивал его из дому, чтобы отправляться "по всяким важным делам", — смеялся А. С., говоря, что все они жили беззаботно, как птицы. Однажды, во время чтения Юрием Юркуном очередного длинного ("и бездарного", — добавлял А. С.) романа, слушатель безмятежно заснул, но это не помешало его дружбе с Кузминым. Об одном из таких музыкально-литературных вечеров Кузмин говорит в стихотворении, посвященном О. А. Глебовой-Судейкиной в сборнике "Параболы" ("А это — хулиганская, сказала приятельница милая" и т. д.); в этом стихотворении, кроме певицы — Ольги Афанасьевны, романист — Юркун, поэт — Кузмин и композитор — Лурье. Отношения у Кузмина с четой Судейкиных были сложные: в молодые годы Сергей Юрьевич был задушевным другом поэта; женитьба его на Ольге Афанасьевне расстроила их взаимоотношения, и Кузмин, охваченный ревностью, написал на молодых Судейкиных дружеский пасквиль — роман "Картонный домик".

С Ахматовой Артур Сергеевич познакомился на каком-то литературном заседании. По его словам, она была "важная молодая дама". Окинув Артура Сергеевича высокомерным взглядом, Ахматова спросила: "Сколько вам лет?" — "Двадцать один", — так же важно ответствовал А. С. После заседания все участники его поехали в "Бродячую собаку". Артур Сергеевич очутился за одним столом с Ахматовой; они начали разговаривать, и разговор шел всю ночь; несколько раз к ним подходил Гумилев и напоминал: "Анна, пора домой", но

Ахматова продолжала разговаривать с новым знакомым. Наконец Гумилев уехал один. Под утро Артур Сергеевич повез Ахматову на острова и, как он говорил, "было все так, как у Блока: "И хруст песка, и храп коня". После ночи в "Бродячей собаке" и поездки на острова Ахматова поехала пить кофе к своему отцу. Ахматова была кумиром своей свиты. Поклонники получали от нее "царские подарки" — перчатку, ленту, старую сумку, "старый сапог", шутил А. С. Так он получил от Ахматовой тот самый малиновый платок, о котором она говорит в своем стихотворении "Со дня купальницы-Аграфены". Ахматова принимала А. С. в маленькой гостиной своего дома в Царском Селе; он играл для нее "Орфея" Монтеверди и Чакону Баха, которую готовил для концертного выступления; об этой Чаконе Ахматова упоминает в одном из посвящений "Поэмы без героя".

Встреча с Ахматовой имела для Артура Сергеевича роковое значение и роковые последствия. Он никогда не мог освободиться от образа Ахматовой и своего представления о ней (или своей иллюзии); несмотря на весь ее блеск, красоту, очарование ("глаза зеленые, голос гортанный и руки Музы" — "допишет Музы смуглая рука", — это рука самой Ахматовой", — говорил А. С.), Артур Сергеевич сравнивал Ахматову с... хромоножкой Достоевского Марьей Тимофеевной, воплощавшей в себе при всем своем юродстве и убогости Вечную Женственность. Кроткий, страдальческий женский образ действовал на артиста неотразимо, имел над ним огромную власть, даже если он был притворным, и тогда становился для него "возвышающим обманом". Артур Сергеевич никогда не мог до конца освободиться от образа Ахматовой и искал его в других женщинах.

К Артуру Сергеевичу Лурье обращен ряд стихотворений Ахматовой. К ним относятся: "Я с тобой не стану пить вино", "Да, я любила их, те сборища ночные", "Лучше б мне частушки задорно выкликать", "Еще весна таинственная млела", "В тот давний год", "Неправда, у тебя соперниц нет" (стихотворение, к которому Ахматова почти через полвека сделала приписку: "А что теперь?"), "Что ты бродишь, неприкаянный", "Ангел,

три года хранивший меня", "Из книги Бытия", "Пусть голоса органа снова грянут", "Долгим взглядом твоим истомленная", "Когда о горькой гибели моей", "Пленник чужой", "Ты всегда таинственный и новый". Приготовив к изданию свой третий сборник стихов, Ахматова как-то сказала Артуру Сергеевичу на прогулке, что не знает, как назвать книгу. "Очень просто", — сказал А. С., указав на надпись, изваянную на фронтоне дома, мимо которого они шли: "Анно Домини".

Но ни одному из своих современников Артур Сергеевич не был предан более, чем Александру Блоку. Артур Сергеевич говорил, что за всю свою жизнь не любил ни одного человека больше, чем любил Блока. "Блок был самый совершенный человек из встреченных мной", — говорил А. С. Все, что писал, говорил и делал Блок, было для Артура Сергеевича образцом человеческой и артистической безупречности. Артур Сергеевич примкнул активно к Октябрьской революции в тот же день, когда в январе 1918 года впервые была напечатана в "Знамени труда" статья Блока "Интеллигенция и революция". Авторитет Блока был для А. С. абсолютен, и он тут же буквально последовал его призыву "Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать Революцию".

В течение лет, проведенных за рубежом, ни в одной из его статей, напечатанных в ряде русских и иностранных журналов, не было сказано ни одного враждебного или осуждающего слова о России оттого, что Артур Сергеевич опасался репрессий против его родных, оставшихся в Петербурге. Опасения его не были напрасны: дочь подвергалась многочисленным преследованиям, и советская пресса неизменно глумилась и над музыкой, и над личностью Артура Лурье, объявленного "врагом народа". К хулителям его присоединился старый товарищ-футурист Бенедикт Лифшиц, автор книги "Полутораглазый стрелец". Раболепствуя перед властью, Лифшиц объявил, будто Артур Лурье стеснялся своего происхождения и скрывал его под вымышленными именами "Артур в честь Шопенгауэра, Винцент в честь Ван-Гога, Перси Биши в честь Шелли и Хозе Мария Эредиа". Он также

выдумал, будто Артур Сергеевич "обкусывал ногти до лунок". Все эти небылицы не спасли Лифшица от ареста и расстрела. Второй хулитель, Куприн (не писатель, а художник), рассказывает о будто бы "длинной жилистой шее с большим кадыком" Артура Лурье и о том, что он носил "туфли на высоких каблуках и зеленую кофту с пуговицами величиной с блюдечко". "Туфли на высоких каблуках" были всего-навсего лакированными лодочками от отцовского фрака, а кофта была сшита для Артура Сергеевича его подругой Ольгой Афанасьевной Судейкиной после того, как их обоих обокрали в Костроме, где они гостили у Сологуба. Кофта была сшита из занавески, а иного костюма нельзя было купить — денег не было. В стихотворном описании, сделанном бездарным поэтом Сандро Короной, А. С. назван "суккубом", то есть демоном женского рода... Уж если демон, то инкуб, а не суккуб... Одето это чудище в "редингот", на голове у него котелок, а в руке он держит золотой лорнет на золотой цепочке и "брезгливо" смотрит на окружающее... Ничего глупее выдумать нельзя.

Несмотря на черные, беспросветные и страшные годы коммунизма, Артур Сергеевич был уверен в том, что наступит освобождение от насилия, что Россию ожидает великое будущее и что "свет придет с Востока".

В 1964 году незадолго до своей роковой болезни Артур Сергеевич делал наброски Третьей симфонии, которая должна была называться "Политической" и имела эпиграф: Ex Oriente Lux.

Однажды на мой вопрос о том, как он относится к России, Артур Сергеевич не задумываясь ответил:

— Я обожаю Россию.

В 1921 году Артур Сергеевич затеял совместный вечер с Блоком, на котором должна была исполняться симфоническая кантата Артура Сергеевича "В кумирню золотого сна" на тексты Блока. Композитор не мог себе простить, что "закрутился" и не осуществил эту затею. Он был счастлив, что уступил свое место в Мариинском театре Блоку, когда поэт стал ходить в

оперу. В тот же год Артур Сергеевич собирался написать оперу на повесть Бальзака "Серафита" и спросил Блока, нравится ли ему этот замысел.

— Нет, Артур Сергеевич, не очень нравится, — ответил тот.

Конечно, замысел был немедленно забыт, так велик был авторитет Блока. Той же зимой Артур Сергеевич работал над планом балета "Снежная маска", либретто составляла Ахматова. От этого замысла сохранилась лишь тема "Двое проносятся в сфере метелей", вошедшая впоследствии в финал Пятой картины (второе действие) оперы "Арап Петра Великого". А. С. рассказывал, как в одном из своих разговоров с Блоком, он сказал поэту, что вся тема "Двенадцати" уже, как в зерне, заключена в цикле "Снежная маска" и стихотворениях этого периода, например, "По улицам метель метет", а также в цикле "Страшный мир" — пятое стихотворение "Вновь богатый зол и рад" из "Плясок смерти". Блок согласился с замечанием Артура Сергеевича.

О кончине Блока А. С. узнал в тот же день. Он отправился на квартиру поэта и простился с ним до положения тела в гроб. Артур Сергеевич (как и Ю. Н. Анненков в своих "Воспоминаниях") говорил о подушечке с наволочкой, на которой были вышиты красные буквы: "А. Б." Некоторое время А. С. оставался в комнате один с усопшим; но вот за спиной А. С. послышались рыдания: это был Андрей Белый, рыдавший навзрыд и колотившийся об пол лбом. Артур Сергеевич утверждал, что Белый мучительно завидовал Блоку и что от этой зависти влюбился в жену поэта. Когда Блока хоронили, то Артур Сергеевич нес на голове крышку от его гроба, — нес всю дорогу, от церкви до Смоленского кладбища. Через неделю после кончины поэта к Артуру Сергеевичу пришла Любовь Дмитриевна, знавшая о том, как он любил Блока. Она подарила ему на память кожаный портсигар Александра Александровича. Артур Сергеевич хранил его как реликвию, и я держала ее в руках. Где теперь находится портсигар Блока, я не знаю. Нужно добавить, что А. С. находил определение Ахматовой Блока как "трагического тенора эпохи" не только неверным, но и безвкусным "Трагических теноров не бывает,

— недовольно говорил он. — Тенора бывают или лирические, или драматические. И что общего между тенором, то есть театральным исполнителем, и Блоком, далеким от всякой позы и всякой театральности?"

Работа Артура Сергеевича в Комиссариате Просвещения началась после знакомства с Луначарским. Отчеты о деятельности А. С. как заведующего музыкальным отделом Комиссариата, без сомнения, сохранились в архивах; автор этих заметок может лишь изложить свои воспоминания о некоторых рассказах Артура Сергеевича, относящихся к "комиссарскому" периоду его жизни. В первую очередь А. С. конфисковал и национализировал все, что захватили в свои руки музыкальные издательства. Когда к нему явилась делегация от Юргенсона с просьбой о каких-то поблажках, то А. С. пришел в страшное негодование. "Вы пришли сюда договариваться после того, что вы сделали с Мусоргским? — сказал он делегатам. — Ни в какие переговоры я с вами вступать не стану. Убирайтесь отсюда вон!" Вспоминая этот эпизод, А. С. говорил: "Как я торжествовал, отомстив им за Мусоргского!"

Луначарский поощрял деятельность А. С. и высоко его ценил. Один только раз, когда молодой комиссар придумал назвать свой отдел "Народной трибуной музыки", а себя из "комиссара" вознамерился переименовать в "народного трибуна", Луначарский улыбнулся и сказал: "Нет, Артур Сергеевич, нам это не подходит". Новшества комиссара вызывали шипенье со стороны старых музыкантов, сидевших годами в Московской консерватории; особенно негодовали Ипполитов-Иванов и Гольденвейзер. Оба они написали жалобу Ленину, который вызвал к себе Луначарского и спросил: "Что это за мальчики командуют у вас в музыкальном отделе?" — "А вот вы вызовите одного из них и сами увидите, что это за мальчики", — засмеялся Луначарский (весь разговор Ленина с Луначарским передали затем сестры Менжинские, с которыми он был знаком). "Через несколько дней, — рассказывал Артур Сергеевич, — я получил вызов к Ленину. Он встал из-за своего письменного стола и пошел мне навстречу. Не сказав ни слова о московской ябеде, Ленин стал

расспрашивать меня о моей работе и моих планах. Я увлекся и провел у него часа полтора, подробно освещая ему свою деятельность. При прощании он сказал: "Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо с запиской ко мне, она до меня дойдет". Ленин также спросил меня, не нужно ли мне что-нибудь; я очень удивился этому вопросу и ответил, что ни в чем не нуждаюсь".

После встречи с Лениным старцы перестали теребить Артура Сергеевича. Но за него с другого бока принялись профсоюзы, а также Ованесов, бывший тогда контролером. К тому времени Артур Сергеевич получил командировку в Берлин. "Я не предполагал, что расстаюсь с Россией", — говорил он. Артуру Сергеевичу не пришлось увидеть так горячо любимую им родину: из Берлина он поехал в Париж, и это решило его дальнейшую судьбу. В то время Париж являлся музыкальным центром мира, и перед глазами композитора открылись новые перспективы, новые музыкальные концепции. Блеск Парижа — самого свободного города в мире — его восхитил; к тому же он познакомился с Игорем Стравинским, и знакомство перешло в тесную дружбу.

В Париже Артур Сергеевич написал ряд сочинений, среди которых "Пир во время чумы", оперу-балет по Пушкину и две симфонии — Первую ("Диалектическую") и Вторую ("Кормчую").

Несмотря на свою интенсивную творческую и интеллектуальную жизнь в Париже, Артур Сергеевич остро чувствовал одиночество, обосновавшись за рубежом. Он часто говорил, что после Петербурга Париж казался ему в смысле интеллектуальном — провинцией. Представители русской эмиграции враждебно относились к "бывшему комиссару". Милюков в своей книге "Очерки по истории русской культуры" (том 2-ой, стр. 682) писал: "...Артур Лурье, декадент и неоимпрессионист, один из пионеров ультра-хроматической музыки в четверть тона, который сперва попал в комиссары от музыки — и в этом звании диктаторствовал, а потом оказался в Париже". Ходасевич где-то написал: "Я Лурье никогда не прощу его участия в Октябрьской революции". Одиночество

заставило Артура Сергеевича сблизиться с передовыми католическими кругами. Универсальность католичества и его проповедь против материализма привлекали артиста, к тому же он был глубоко верующим и мистически настроенным с детских лет. В какой-то мере католичество заменило Артуру Сергеевичу корни родной страны.

Соединенные Штаты, куда Артур Сергеевич приехал в 1941 году, оказались страной, совершенно чуждой ему по духу. Американские критики и композиторы не признавали музыку "беженцев" из Европы (Бела Барток не имел ни успеха, ни постоянных исполнений до своей кончины). Отсутствие исполнителей, издателей, казнь замалчиванием, материальная необеспеченность и, наконец, смертельная болезнь (уремия), с которой Артур Сергеевич героически боролся два года, должны были бы стать темой отдельной статьи, посвященной этому замечательному деятелю искусства.

Александр Бахрах

По памяти, по записям...

III

(*Окончание*)

* * *

У меня плохая память на лица и, как я ни старался, не удавалось мне мысленно восстановить его физический облик, а между тем, при чтении его стихов, как редко когда, хотелось видеть перед собой хотя бы его тень, потому что его стихи, неизменные коротышки, вызывали желание поговорить с их автором, отнюдь не спорить с ним, но скорее услышать от него то, что он недосказал; ведь каждое свое стихотворение он словно обрывал, не дописав его.

Впрочем, встречался я с ним считанное число раз. Вел он какой-то необычный для той предвоенной эпохи, когда странствия по Европе были в диковинку, непоседливый образ жизни. Он то появлялся в Париже и в качестве гастролера приходил "окунаться" в атмосферу русско-монпарнасской богемы, то надолго исчезал и недаром местом написания его стихов значатся чуть ли не все европейские столицы.

Перечитывание его после долгого промежутка времени, восстанавливая в памяти его строки, показывает их неустарелость, их непреходящую ценность и, кроме того, невольно служит напоминанием об избитых и пустых разговорах о никогда не существовавшей "парижской школе" в русской зарубежной поэзии или хотя бы о с точностью неопределимой "парижской ноте", которая якобы создавалась благодаря некоему учительству Георгия Адамовича. В глазах иных крити-

ков, малосведущих в тогдашней обстановке, Адамович рисовался кем-то вроде поэтического Савонаролы, который не переставал проповедовать, что надо писать проще и скромнее, всегда о "самом главном", об одиночестве, страдании и смерти и при этом отказываться от громких слов и всякой изощренности. Между тем трудно вообразить человека менее склонного к какому-либо "учительству" нежели Адамович с его переливами, перескоками, с его критическим непостоянством. Ведь, если только вдуматься, он больше всего ценил в поэзии то, что по слову Аполлона Григорьева, "дает она объективному пониманию таинственности и неопределенной безъязычности ощущений" и *Штейгера* больше чем других несомненно прельщала кажущаяся зыбкость таких слов.

Но все же, если вернуться к разделению поэтических тенденций по местожительству их авторов, то надо отметить, что надуманная "парижская школа" объединяла поэтов исключительно за чашкой кофе на террасе какого-нибудь кафе или ради нескончаемого "выяснения отношении , унаследованного от Коли Красоткина. Создать некую зарубежную "Плеяду" никому никогда и во сне не снилось, а на монпарнасских встречах собирались такие разные и часто друг другу противоположные по поэтическому строю поэты, как мечтательный и плавающий в облаках Поплавский и нецеломудренный Божнев, склонный к эзотеризму Терапиано и романтический, всем недовольный Ладинский, косноязычный Мамченко и сторонник "прекрасной ясности" и земных яств Раевский, мечтавший стать "певцом во стане белых воинов" Смоленский и жизнерадостный, хоть и не перестающий вспоминать библейских пророков Кнут, а рядом любитель славянизмов и одновременного любого новаторста Гингер или дневниковая Червинская. Перечень этот можно было бы легко удлинить, потому что среди этого поколения, не без налета жеманства считавшего себя "незамеченным", попавшего в силки истории и лишенного многих иллюзий, было, особенно если принять во внимание всякие статистико-демографические выкладки, непомерно большое число талантливых поэтов. Опять-таки по вине истории имена их

стираются даже в памяти немногих еще живых современников, уступая место новым и шумливым "калифам на час", а то и на полчаса.

Впрочем, если отыскивать какую-то особую ноту в зарубежной поэзии, ту, которую по отсутствию изобретательности называют "парижской", то наиболее несомненным ее представителем окажется именно Анатолий Штейгер, хотя бы потому, что он один из немногих, действительно, отзывался на полусерьезные, полушутливые, часто дразнящие, но всегда благожелательные слова Адамовича. Штейгер, вероятно, подолгу их взвешивал и проветривал, и они в какой-то мере оказывали влияние на его поэтику, но при этом под тем, что в штейгеровских стихах было по существу заложено, далеко не всегда подписался бы Адамович, потому что сам он всегда сторонился "соблазнов" поэзии, хоть не всегда мог против них устоять.

Штейгер, пожалуй, не без основания полагал, что в его кругу "все писали стихи/ в восемнадцать лет,/ потому что всегда/ каждый мальчик поэт", но в то же время отчетливо сознавал, что:

"Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увы, настанет этот час, —
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас,
И жизнь — какой она на самом деле..."

Точно он смолоду предвидел, что будет "на самом деле", что "будет серая тьма жестока/ И никто нам уже не поможет,/ Лишь прохожий, что два медяка/ На глаза, а не в чашку положит". Это свое восьмистишие (я привел только последние строки) Штейгер снабдил эпиграфом из Анненского. Но дело не в эпиграфе, а в том, что ему иногда, пускай очень редко, но все же удавалось подхватить некое дыхание Анненского, крупицу того, что вложено в "Смычок и струны", то есть то, о чем говорят слова "что было мукою для них,/ а людям музыкой

казалось" и что в каком-то смысле было доминантой всего поэтического творчества Штейгера.

Над одним из своих стихотворений он надписал слова незадачливого Рюрика Ивнева — "ты знаешь, у меня чахотка и я давно ее лечу". Это было трагично, потому что в полной мере относилось к его собственному состоянию, трагично еще и потому, что для того, чтобы показать точащую его тревогу и перебороть страх неизбежного, скорого конца, ему пришлось воспользоваться, вероятно, случайно замеченной строкой поэта, с которым ему не могло быть по себе и который не был способен говорить до "последней в сердце жалости", пронизывавшей Штейгера в его предзакатные, хотя относительно еще молодые годы, когда он писал: "Не до стихов... Здесь должен прозой говорить всерьез / Тот, кто дерзнул назвать себя поэтом". А на следующей страничке и едва ли это случайно, так как сборник "Дважды два" вчерне был запланирован самим автором: "Глупо, смешно и тяжко/ Помнить годами вздор:/ Синюю эту рубашку,/ Синий ее узор./ Пояс. На поясе пряжку". "Помнить вздор" и пряжку на поясе, говорить о любви и жалости и основную мысль вставлять за ширмы скобок, словно ими запрятывать те переживания, которые, мол, иначе не разгадает его читатель — таковы особенности штейгеровского поэтического творчества, в котором проступает интимизм, мало свойственный современной поэзии, особенно той, которая силится открывать новые поэтические миры и считает себя "авангардной". Оттого, перечитывая сборник Штейгера, создается впечатление, что слышишь знакомый голос в телефонную трубку. Есть что-то несуразное и жестокое в том, что этот с детства больной и обреченный человек утонченной культуры, переполненный какими-то противоречивыми политическими идеями, которые были для него своего рода игрой, мало с кем по-настоящему общавшийся, но всех знавший, не успел показать себя во весь рост. Несомненно он был одним из тех "poetae minores", кому будет уделено хотя бы несколько строк в той бесцензурной истории русской поэзии, которая когда-нибудь будет написана.

* * *

Иной читатель способен подумать, что я склонен позлорадствовать над человеком трагической судьбы, притом одним из наиболее блестящих и начитаннейших русских литературоведов нашего века, князем *Святополком-Мирским*. О самом Святополке-Мирском я могу вспоминать только с чувством искреннего уважения к его трудам и глубокого сострадания к его извилистому и терпкому жизненному пути.

Но почему я вспомнил о нем? Не так давно мой маститый приятель Глеб Струве писал мне, что работает над вступительной статьей к антологии "Русская лирика", составленной Святополком-Мирским более полувека тому назад.

Я выражал Струве свои сомнения в полезности такого предприятия. Антология не могла не устареть. Ведь она отражала пристрастия составителя в момент его работы над ней, а эти пристрастия должны были постепенно эволюционировать. А к тому же, говоря серьезно, как можно было на 150 страницах представить огромность русской лирики и чем руководствоваться при отборе 47 поэтов, если не личным вкусом?

Поставив точку и оглядывая свою работу, составитель антологии должен был неминуемо воскликнуть: "ты сам свой высший суд", а если тот или иной читатель стал бы его оспаривать, то должен был пенять на самого себя, так как для отбора никаких научных критериев существовать не может.

Как бы то ни было, антология вышла, и я готов признать свою близорукость. Дело, конечно, не в том, что в нее включены такие-то стихотворения и не удостоились этой чести другие, что при отборе поэтов Святополк-Мирский иногда проявлял некую "капризность", включая иных, надежд не оправдавших, и исключая других, эти надежды перевыполнивших, что нередко он не "удосужился" включить в книгу даже тех, о которых с пафосом говорит в своем кратком введении. По существу, его книга — альбом наиболее любимых им стихотворений, и потому гораздо более любопытно, чем само их собрание, то предисловие, которое ему предпослано и

те чрезмерно лаконические, но порой едкие замечания, которые его сопровождают.

А помимо всего, эту книжицу стоило переиздать хотя бы ради того, чтобы лишний раз помянуть Святополка-Мирского, автора весьма примечательной истории русской литературы, хоть и довольно краткой, но написанной не только с завидной эрудицией, но и с необычайным тактом. Эта история, как отмечает Струве, "хоть и стала настольной книгой для всех иностранцев, изучающих русскую литературу", но по-русски никогда не появлялась, а между тем другой, ей подобной, у нас нет. Когда Святополк-Мирский писал для иностранцев, он отказывался от "злостной полемичности" и не хотел ошарашивать их парадоксальностью своих суждений. Как говорил о нем один английский славист: "для иностранцев он писал вширь, для русских вглубь".

Эта "взбалмошность" Святополка-Мирского (да будет мне прощено неуместное слово), собственно, и послужила причиной его гибели. Будучи лектором Лондонского университета, весьма ценимым не только в академических кругах британской столицы, но и в тех, которые именуются "обществом", он — бывший гвардейский офицер, аристократ по происхождению (и по манерам...), сын "либерального" по тем временам министра внутренних дел, неожиданно примкнул к еле-еле влачащей существование английской компартии, ораторствовал на митингах в Трафальгар-сквере и затем вернулся в Советский Союз.

Там на первых порах он проявил себя, как говорят французы, "бóльшим роялистом, чем сам король". Думается, что делал он это вполне искренно, уж такова была природа этого человека.

Не берусь утверждать, но были распространены слухи, что поскользнулся он (а мог ли он где-нибудь не поскользнуться?) на статье о Пушкине, появившейся в юбилейном томе почтенного "Литературного наследства". Из-за этой самой статьи — подлинно "странной" под пером человека, написавшего о Пушкине недурную английскую книжку — он был тотчас причислен к "вульгарным социологам", а это в пушкинский

юбилейный год было едва ли не меньшим грехом, чем принадлежность к формалистам.

Посудите: Святополк-Мирский требовал, чтобы самый термин "пушкиноведение" был сдан в архив, потому что эта научная дисциплина якобы превращала Пушкина в "безликого божка". Кроме того, в статье утверждалось, что "Пушкин, хоть и был пионером буржуазной культурной революции, но капитулировал перед самодержавием, и лакейство проникало в самую сердцевину его творчества, диктуя ему стихи, равные по силе лучшим из его достижений".

Такие "переперченные" суждения могли прийтись ко двору несколькими годами раньше, но в 1937 году, в год "всесоюзного" прославления Пушкина, хоть статья Святополка-Мирского и прошла все цензурные рогатки, она легко могла вызвать недовольство "в сферах". Пушкина тогда требовалось безоговорочно признавать национальным гением, и ни к чему было тыкать в нос его классовое происхождение, его "шестисотлетнее дворянство". Поэтому не так уж удивительно, что на фоне всего того, что творилось вокруг Святополка-Мирского, его "покровители" неожиданно оказались среди "врагов народа", а он угодил в Магадан, где и погиб.

Впоследствии, как водится, он был "посмертно реабилитирован" и даже удостоился того, что в Москве издали том его избранных статей, кстати сказать, редактор, подчеркивая оригинальность мышления Святополка-Мирского, ни словом не обмолвился о судьбе, постигшей его.

Сейчас я вспоминаю его бороду Черномора, пронзительный взгляд из-под блестящих глаз, его замечания, почти всегда колкие и с заметным стремлением эпатировать, произнести какое-нибудь "словцо", которое передавалось бы дальше. Вспоминаю, как он расточал славословия по адресу Помяловского, противопоставляя ему дряблость Толстого и Достоевского! Он делал это, казалось, совершенно искренне и если не вполне убедительно, то во всяком случае умно.

В предисловии к своей антологии он показал много вкуса и самостоятельной мысли, и можно только пожалеть, что по каким-то неясным причинам не включил в свой сборник

всего, что хотел. Он не включил, к примеру, прелестных сафических од Радищева, о чем тут же горько сожалел; не включил и, по его мнению, недооцененных Кюхельбекера и Одоевского, о которых восторженно отзывался в предисловии. Если касаться более позднего периода, пропустил Коневского и Комаровского, хоть и говорил о последнем, что этот поэт "сулит большую радость тому, кто его откроет". Он "забыл" включить в сборник и Ходасевича с Цветаевой, хотя о Ходасевиче говорил (это мнение можно оспаривать), что этот поэт "своеобразно возродил культуру поэтического остроумия на почве мистического идеализма", а раньше писал о нем, что "Ходасевич наиболее пушкинский и наиболее "сальеристский" из современных русских поэтов". Не раз письменно восхваляя Цветаеву, он отверг ее "за безнадежную распущенность москвички". Даже если с этим в какой-то мере согласиться, такая "ахиллесова пята" не может служить препятствием для включения цветаевской лирики в антологию. Такой пропуск бьет не по Цветаевой, а по сборнику.

В то же время приятно видеть, что составитель антологиии изгнал из нее тех, кого он именует "поэтами на час", какова бы ни была их роль в историческом плане. Апухтин и Надсон, Мирра Лохвицкая и Северянин, Мережковский и Минский не появляются на страницах книги.

Стоило бы еще отметить некоторые замечания Святополка-Мирского в примечаниях к его книге. Например, он пишет, что "все, что говорилось о Пушкине, за редким исключением — скучнейшее словоблудие", включая знаменитые статьи Аполлона Григорьева и Достоевского, которые "гениальны, но ничего о Пушкине не говорят". Святополк-Мирский считает, что Лермонтов — единственный русский поэт, чему-то действительно научившийся у Пушкина (это надлежит запомнить), а рядом в тех же примечаниях можно наткнуться на такую фразу: "Некрасовские "Русские женщины" — скучнейшая механическая болтовня". Далее Святополк-Мирский утверждает, что Случевский хоть и был косноязычным, но был все-таки "гением" (пугающее слово!) и не стесняется говорить о "пустоте искусства Брюсова". Рядом с

этим как проницательно его указание, что "Анненский был единственным европейцем среди русских символистов, почти единственным русским европейцем своего поколения, не учеником Верлена или Малларме, а их равноправным братом". Я привел эти несколько суждений, даже если из-за некоторых из них хотелось бы, будь такая возможность, вступить в словесный бой с их автором, чтобы показать их остроту, показать тот особо разреженный воздух, в котором составлялся сборник "Русская лирика".

Но как бы ни судить его автора, над безвестной могилой "товарища князя" можно только низко склониться, даже не разделяя его взглядов, даже борясь с ними.

* * *

Писательский путь редко когда идет по прямой линии и едва ли не как правило развертывается зигзагообразно. Это тем более приметно со стороны, потому что творчество писателя выдает его с головой. Так и случается, что одного писателя возносят еще при жизни и не перестают курить ему фимиам, а немного погодя в какой-нибудь газете появляется посвященный ему некролог, в котором не скупятся на самые возвышенные эпитеты. А вслед за тем покойника как бы не было, его перестают читать, редко когда вспоминают. Есть, однако, и другая писательская категория. К ней принадлежат те, которые по слову поэта "находят читателя в потомстве" и то, чего не уловили современники, через какой-то срок раскрывается потомкам.

Но вот — нелегко определить, к какой из этих двух категорий следует отнести *Евгения Замятина*. Жизненная его дорога, как и литературная карьера, шли — сам он очень любил это словцо — "непутево".

Был он человеком острого ума и — следует это особо подчеркнуть — понимал и ценил шутку. Был человеком ученым, по профессии инженером-кораблестроителем, уж чего лучше. Но какая-то "зловредная" муха сызмальства укусила

его, и он пристрастился к литературе. Больше, чем чертежи кораблей, любил исписывать своим мелким почерком белые листы бумаги, совмещая "законную" профессию, значащуюся в паспорте, с незаконной тягой к писательству. Сам признавался: "Русских недаром обвиняют в легкости нравов; вот, например, я — двоеженец и не стесняясь, вслух заявляю об этом. Такие случаи уже бывали: Чехов в своих письмах признавался, что у него две жены, законная — медицина и незаконная — литература. А мои две жены — техника и литература".

Действительно, литературно Замятин родился в давние времена, в самом начале десятых годов нашего века, когда появилось его "Уездное", сразу создавшее ему небольшое имя. Несколькими годами позже его повесть "На куличках", сюжетно отчасти перекликавшаяся с купринским "Поединком", нашумела благодаря тому, что — как нередко бывает — была запрещена царской цензурой и номер журнала, в котором она была напечатана, был конфискован, а его редактор предан суду. Что в те времена было лучше для создания популярности?

Впрочем, все это не помешало тому, что благополучно продолжая свою основную деятельность, Замятин был послан на английские судостроительные верфи следить за постройкой заказанного русским правительством "гигантского" по тем временам ледокола, после революции переименованного в "Ленин".

После сравнительно долгого отсутствия Замятин вернулся в Россию почти накануне октябрьских событий, и затем в первые годы советской власти, когда в невской столице стал организовываться "Дом искусств", в котором нашли себе крышу, тарелку каши и скудное тепло заслуженные и начинающие литераторы, стали зарождаться всяческие литературные студии, а Горький, желая объять необъятное, основывал свою "Всемирную литературу", Замятин, уже признанный "мэтром", повсюду был желанен, всюду принимал деятельное участие, всюду был членом правления и впридачу редактировал ряд журналов, редко доживавших до второго номера. Одновре-

менно в студии "Дома искусств" он читал курс лекций о технике художественной прозы. Обладая недюжинным педагогическим даром, он внушал зеленоротым беллетристам — в его учениках числились и прославившиеся вскоре "Серапионы" — мысль о том, что и прозу нельзя писать с бухты-барахты, таланта, мол, недостаточно, и каждому беллетристу надлежит хорошенько ознакомиться с азбукой писательства, с особенностями ритма русской прозы, с звучанием каждой буквы и только потом перетолковывать все по-своему.

Именно вникнув во все эти "азы", по-своему писал и сам Замятин, хотя мудро-озорной Мандельштам, как-то мимоходом говоря о нем, воспользовался цитатой из Хлебникова, указывая, что Замятин якобы в свое творчество "уложил премного разных трав и вер". Но так ли это было? Пожалуй, тут можно ответить двояко. Да, Замятин как-будто старался писать на разных языках, сообразуясь со своей темой, причем темы избирал настолько разнородные, что диву даешься, как они способны были прельщать одного и того же автора. Но, с другой стороны, к какой бы стилизации Замятин ни прибегал, какие бы причудливые орнаменты ни включал в свою прозу (а из орнаментальности он почти сделал канон), сквозь любую его вязь, если только приглядеться повнимательнее, всегда можно было отгадать замятинское перо.

Хотелось ему стать неким русским Свифтом, и если царство лилипутов ему удавалось описывать выпукло и "аппетитно", с той примесью гиперболичности, которая придавала соль его повествованию, то уже в его подходе к царству гуингмов начинала ощущаться известная натяжка, и, может быть, Горький был прав, когда указывал, что в иных своих рассказах Замятин замыслил популяризировать теории Эйнштейна. А ведь кто их понимает, недоумевал Горький, только несколько сверхученых физиков...

Кстати, Горький, который долгое время восторгался замятинским творчеством и всячески ему протежировал, затем как-то к нему остыл, и этот холодок как-будто совпал с наделавшим шуму письмом Замятина, обращенном к Сталину. Прося о разрешении покинуть советские пределы, Замятин

указывал, что для него как писателя смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу он не может, потому что никакое творчество немыслимо в атмосфере усиливающейся травли. Малопонятно, почему Замятин, рассказывая об этой вехе в своей биографии, проявил несвойственную ему наивность, уверяя, что разрешение на выезд за границу в ноябре зловещего 1931 года было ему дано благодаря поддержке Горького.

Никто, конечно, толком не знает, какие условия были поставлены Замятину при выдаче разрешения на выезд, и надо воздать ему должное за смелость его письма к Сталину, которое могло обойтись ему дорогой ценой. Но вместе с тем нельзя не удивляться той позиции, которую он занял, очутившись за границей. Он все время точно отгораживался от эмиграции, мотивируя это тем, что, поскольку он выехал легально, не может причислять себя к ней и участвовать в ее литературной жизни.

Общался он здесь с немногими, предпочитая людей, причастных к кинематографу. Может быть, ему казалось, что они находятся "над схваткой", а, кроме того, для них он мог работать. В частности, он создал сценарий по горьковской "На дне" и другой — по "Анне Карениной", которые не были осуществлены. Как всякие кинематографические затеи, сценарии оплачивались очень щедро, но антракты в заказах были часто просто нескончаемы и тем не менее понятно, как в бытовом отношении Замятин тянул свою лямку, писал ли он, а если писал, то скорее для своего письменного стола. В зарубежных изданиях он участия не принимал, советские его "бойкотировали".

Роман "Мы", написанный задолго до Орвелла, можно, пожалуй, считать главным его "опусом" и во всяком случае тем, который доставил ему больше всего неприятностей. Если бы он появился сразу после того, как был закончен, то есть в двадцатых годах, то был бы признан профетическим и, несомненно, стал бы "бестселлером". Теперь он, конечно, потускнел и воспринимается как талантливый репортаж, один

из многих, тем более, что действительность превзошла самые пессимистические замятинские предвидения.

Долголетнее его молчание и самовыключенность из зарубежной общественной жизни были главной причиной того, что его имя стало постепенно предаваться забвению и теперь еще трудно предвидеть, найдет ли его творчество большое число поклонников. В его художественной прозе слишком густо ощущается влияние Лескова и отчасти Ремизова, и налицо та игра словами, которая и у Лескова может казаться навязчивой.

Очень симптоматично, что герою первой своей повести, появившейся в печати, Замятин дал непомерно нарочитое имя Анфима Барыбы, словно ему было недостаточно затейливости самого повествования. Думал ли он, что утрированная лубочность имен его героев придаст его творчеству особый отпечаток, или он вспоминал имена действующих лиц из "Ревизора"? Но именно из-за этой сгущенности орнаментовки у читателя может невольно возникнуть вопрос: "А кто когда-либо так говорил?" Замятинский диалог слишком красочен, слишком каламбурен, он слишком "нажимает на педали". Но как-никак его описания старого мещанского и невылазно скучного быта, царившего в русской провинции, или пещерной жизни в первые годы коммунизма, или такие более поздние рассказы, как, например, "Часы" или "Встреча" — на уровне большой русской литературы, между тем, короткий роман об Атилле как-то не сливается с обликом Замятина. В нем он выходит из своей стихии, прельщается "маскарадом", как и в своем театре, который далеко не равноценен его прозе. Хотя его "Блоха", в основу которой легла лесковская повесть, переработанная в духе итальянской комедии, и пользовалась огромным успехом в советской стране, пока не была изъята из репертуара, вероятно, этим успехом была обязана тому, что пьесу поставила студия МХАТа. А уж совсем Замятину "не по чину" мелодрама из эпохи испанской инквизиции, сюжет которой мог бы быть в александрийских стихах обработан Корнелем, и даже досадно, что она была включена в число его

избранных произведений — смесь "французского с нижегородским" никогда не полезна.

* * *

Не так давно пригласил я на чашку чая одного московского литературоведа, бывшего проездом в Париже. Беседы с ним для меня всегда питательны. Мы болтали о том, о сем, пока он невзначай не бросил взгляд на мои книжные полки с "пушкинианой". Сразу же зашел неизбежный в таких случаях разговор о том, что несмотря на тысячи томов, посвященных Пушкину, его биография, объективная, научно-профильтрованная, без лукавых мудрствований и сомнительных отсебятин, как и без того, что метафорически можно было бы назвать "данью моменту", до сих пор не написана. Мы сразу сошлись на том, что этот досаднейший пробел с успехом мог бы заполнить только один человек — *Томашевский.* Но и тут Пушкину "не повезло". Томашевский неожиданно скончался вскоре после появления первого тома его превосходной пушкинской биографии, второй том которой, посмертно изданный, доводил пушкинское жизнеописание только до Михайловской ссылки.

— Да, — сказал мой гость, — я чувствую, что о Томашевском вы говорите в лирических тонах. Вы его знавали?

— Нет, лично знать не довелось, но одно время я с ним переписывался и заочно полюбил. А кстати, от чего он умер? Мне это как-то неясно.

— Ах, этого не только вы не знаете, — взволновался мой собеседник. — Томашевский был тяжело болен и последние годы своей жизни был как-то "не в своей тарелке", хотя работать продолжал сверх меры, точно торопился. Может быть, вы слышали, что у этого человека, наглотавшегося архивной пыли как никто, была одна слабость. Этой слабостью был парусный спорт, и едва у него возникала возможность, он устремлялся к морскому берегу. Так было и летом 57-го года. Он поехал отдыхать в Крым и, как каждый год, на парусном

суденышке один-одинешенек вышел в море. Тут следы его и теряются. Загадка вся в том, что море в эти дни было спокойно, однако несмотря на все поиски, ни его лодки, ни его тела никогда не нашли.

— Как же вы это объясняете?

— В том то и дело, что до сих пор это толком объяснено не было, понимай, как знаешь... Но давайте не предаваться домыслам, они все равно ни к чему не приведут.

Рассказ этот меня всполошил, потому что я питаю огромное уважение к памяти этого выдающегося литературоведа, в котором лингвист и теоретик стиха сочетался с аналитиком, чуждым всякого педантизма, и с человеком очень тонкого вкуса. Среди ученых послереволюционной поры он был подлинно одним из лучших истолкователей пушкинского текста, всегда работавшим на конкретно осязаемом и научно проверенном материале. Он не допускал в своих трудах никаких "вольностей" и, как огня, сторонился недоказуемых гипотез, какими бы они ни были заманчивыми.

Толчком к возникновению нашей переписки послужила изданная Томашевским в 1922 году "Гавриилиада". Критическое издание пушкинской поэмы было тогда своего рода событием. Еще сегодня любуясь им, не перестаю изумляться, как Томашевскому и его издателю удалось в "умирающем Петрополе" тех лет выпустить такую безупречную, даже в смысле типографского оформления, книгу.

Наиболее придирчивый критик не мог бы предъявить к ней ни единого упрека, несмотря на то, что в текстологическом отношении, из-за отсутствия рукописей поэмы, ее издание было предельно замысловато и запутано. Между тем, работа Томашевского выделялась своей научностью, авторитетностью и знанием самых разнообразных источников текста, вплоть до апокрифических евангелий.

Научная дотошность Томашевского объяснялась еще и тем, что в его руках были значительные козыри. Если после нескольких лет обучения в Льежском политехникуме он и не стал инженером, то все же вынес оттуда математический склад ума. А затем, после Льежа, он некоторое время слушал лекции

по литературе в Сорбонне и во всех деталях ознакомился с французской литературой, преимущественно романтического периода, который его более других интересовал. Впоследствии это сказалось на том, что тема "Пушкин и Франция" была ему особенно близка.

Но я отклонился в сторону... Контакт мой с Томашевским начался с того, что я как-то приобрел экземпляр издания "Гавриилиады", только вскользь и весьма туманно упомянутого в его библиографическом перечне. А я раздобыл эту крошечную книжицу у берлинского антиквара, не подозревавшего, что она отсутствует во всех главных российских книгохранилищах.

Это было весьма необычного вида издание, отпечатанное петитом на пунцовой бумаге, без даты, и местом издания для "отвода глаз" был помечен "Царьград", хотя по целому ряду внешних признаков можно было с полной уверенностью сказать, что книжица появилась в Германии.

Ввиду ее редкости мое библиофильское сердце долго трепетало перед тем, как отослать мое "сокровище" тому, на полке у которого, как мне представлялось, оно должно было находиться.

Получив мою посылочку, Томашевский тотчас мне отписал: "Не знаю, как и благодарить вас за драгоценную присылку. Издание это мне неизвестно, я лишь слышал о существовании его от Лернера (одного из "стати славных" среди пушкинистов начала века), да и то узнал после выхода моей книги. Вообще работа моя библиографически хромает, и я лишь теперь узнаю о многих изданиях и списках, мне оставшихся неизвестными".

Затем капля яда: "Что делать? — советская работа. Условия не позволяют свободной и кропотливой работы в библиотеках. Впрочем, если вы видаете Андрея Белого, то вы, вероятно, слышали от него, как легко и хорошо работалось нам в эти годы".

Вскоре после этого: "Так как в Берлине русские очевидно сталкиваются, то у вас есть шансы встретиться с Шкловским. Скажите ему, что "Опояз" (основанное Шкловским "Общество

изучения поэтического языка" и гнездо приверженцев формального метода в изучении литературы) жив, но скуксился, издательский кризис мешает нам развить деятельность, и мы сейчас на распутьи. У нас есть материал, но не можем осуществить из-за "кризиса" (слово это стояло в кавычках), который принимает все более резкие и затяжные формы". Как известно, "кризис" был вскоре разрешен "свыше" да при том при помощи ежовых рукавиц.

Чуть позднее Томашевский выслал мне рукопись своей неизданной работы о пушкинском пятистопном ямбе, и с помощью Школовского, который воспользовался случаем и присовокупил к работе Томашевского свою собственную статью о "Пушкине и Стерне" (он был тогда ярым стернианцем) и еще статейку Богатырева о "Гусаре", мне удалось найти издателя. Сборник вышел под заглавием "Очерки по поэтике Пушкина", а гонорар Томашевскому был выслан, если память мне не изменяет — в виде двух пар ботинок и пижамы, но зато с заранее уплаченной пошлиной!

Вслед за этим моим "успехом" предовольный Томашевский передавал мне просьбы найти издателей для очень специальных работ от академика Перетца, от лучшего из знатоков древнерусской литературы Адриановой-Перетц, от кого-то еще. "Простите, что забрасываю вас поручениями, — добавлял Томашевский, — тем более чужими. Но что делать. Вы ведь — наше окно в Европу".

К моему глубочайшему прискорбию, это "окно" быстро захлопнулось, и наша переписка прервалась, как говорится, "по независящим от редакции причинам".

Шли годы. Знал я, что положение Томашевского — профессора Ленинградского университета, невзирая на формалистские грехи молодости (впрочем, он был всегда врагом формалистических преувеличений), продолжало в научном мире крепнуть, и его слова, что понимание и истолкование пушкинского наследия невозможно без тщательного изучения его рукописей, потому что единственно они определяют движение мысли поэта, стало понемногу общепринятым. Чело-

век, не копавшийся в рукописях Пушкина, утверждал Томашевский, Пушкина не знает.

Как показывают труды Томашевского (список их только по пушкиноведению превышает 200 номеров), он не терпел псевдонаучности и беспринципности, но это все же не мешало ему считаться с суждениями своих предшественников. Однако, ни одного из их утверждений он не принимал, предварительно сам его не сверив. Он отталкивался от углубленной интерпретации Пушкина, хотя бы в том стиле, в каком это с блеском сделал Достоевский в своей речи, которая, по мнению Томашевского, характерна для Достоевского, но идет мимо Пушкина. Томашевский иронически относился и к большинству работ, в которых исследователи, каждый по-своему, находили в Пушкине соответствия со своим собственным мировоззрением. Он с недоверием относился к "психологическому анализу" личности поэта и приданию его творчеству чрезмерно автобиографических черт, как это проповедовал Гершензон. Томашевский потешался над тем, что, по мнению Гершензона, Пушкин не был в состоянии написать летом стихов о зиме! Его мало прельщало и произвольное сближение по вторичным признакам различных пушкинских произведений разных лет, как это делал Ходасевич, потому что тогда на первый план неизбежно выступает второстепенное.

Мне очень горько, что на мою долю так и не вышло обменяться хотя бы рукопожатиями с Томашевским или возобновить переписку. Я долго не решался сделать первый шаг и мог только издали восторгаться его работоспособностью и с удовольствием читать его книги.

Смерть его была жестоким ударом не только для пушкиноведения, но и для всей науки о литературе, потому что, как писал один из ее видных представителей, "учиться тому, как работать, как мыслить и как строить новое в науке, будут у Томашевского". Я и по сегодня горжусь, что мог принять хоть маленькое косвенное участие в издании одной из его первых больших теоретических работ.

* * *

Ему была посвящена пирамида монографий и гора воспоминаний. В большинстве случаев это были неумеренные панегирики, и только изредка поднимали голос его недоброжелатели, обычно перегибая палку в другую сторону. Что же остается добавить тому, который не был с поэтом близок, знаком с ним был, собственно, шапочно и, воздавая должное его поэтическому дару, отнюдь не включал его в число ценимых им авторов? " Без *Маяковского* я могу жить", — хотел бы я перефразировать толстовскую фразу.

Но все же... Просматривая "академическое" издание его сочинений, я наткнулся в нем на фотографию, снятую в Берлине в 1923 году. Маяковский изображен на ней рядом со своим закадычным другом Осипом Бриком, человеком хоть и ученым, но с весьма двусмысленной репутацией. Оба расположились на продавленном, бугристом диване. На фотографии этого не видно, но мне эта особенность была хорошо знакома, потому что на этом самом диване в "поднебесном" ателье моего приятеля, художника Ивана Пуни, я провел бессчетное число часов и именно там и познакомился с Маяковским.

Мне особенно врезалась в память одна многолюдная вечеринка, происходившая в "пуническом" ателье. Перечислить всех присутствующих мне уже не под силу, но отчетливо вспоминаю, как в какой-то момент, когда все уже были навеселе, Маяковский поднялся и голосом, заставлявшим дребезжать стаканы и рюмки, начал декламировать, или, точнее, "громыхать" свое пресловутое "Солнце": "Я крикнул солнцу: погоди, послушай, златолобо,/ чем так без дела заходить/ ко мне на чай зашло бы..."

Вероятно, он не рассчитал относительную камерность помещения и домашнесть сборища, воображая, что читает с эстрады на каком-то митинге. В авторском исполнении его стихи несомненно выигрывали, но все же, хотя впечатление от его чтения было огромное, оно все-таки двоилось.

Как это объяснить? Вот вслед за ним гугниво и не-

уверенно, словно с усилием припоминая собственные строки, что-то еле слышно пробурчал Пастернак, а затем выступил "последний из адъютантов" Гумилева, Николай Оцуп. Не повышая голоса и лишь подчеркивая концы слов, он читал свои "негромкие" стихи. И мне, да не мне одному, почудилось, что эти скромные оцуповские строки, такие далекие от вызывающего бряцания Маяковского, задушевные в своей внешней безыскусности, чем-то его смутили. Может быть, вполне бессознательно он почувствовал, что демагогические приемы далеко не каждому по душе и существует нечто более важное, чем аплодисменты: установление между поэтом и его слушателями какой-то связующей "ниточки". А тогда именно этого Маяковскому не удалось достигнуть. Он это сознавал, и это его несомненно огорчало. В том, что после этих импровизированных выступлений, им самим затеянных, он как-то потух, было даже что-то трогательное. Непредвиденно всплыла на поверхность та сентиментальность, которую мало кто в нем подозревал, которую, словно стыдясь ее, он считал необходимым тщательно маскировать.

Мне кажется, что и впоследствии, во время мимолетных встреч с ним в Париже, эта его черта не раз меня озадачивала, потому что она как-то не вязалась с его облдиком. В Париже она, вероятно, проявлялась более отчетливо еще потому, что он находился в чужой для него среде, и ему не нужно было разыгрывать ту раз навсегда принятую роль, которая так часто его сковывала, приелась ему и нередко становилась "поперек дороги". Вот почему громкое цветаевское восклицание после вечера чтения Маяковского — "Сила — там", доставившее ей немало неприятностей, — было, как мне кажется, совсем не по адресу. "Сила — там", как эти слова ни истолковывать, меньше всего они могли относиться к Маяковскому, и он это вскоре доказал.

Я как-то столкнулся с ним на бульваре Монпарнас, и он затащил меня в соседнее кафе. Это был, кажется, единственный случай, когда мы оказались "один на один". "Признайтесь, — сказал он после нескольких переброшенных слов, — ведь вы мои стихи не любите". Я хоть ему не поддакнул, но

сказанного им и не отрицал. Я ожидал грома, а он посмотрел на меня не то с ласковой иронией, не то с жалостью и добавил: "Ах, знаете, мне самому многое в них давно разонравилось, да что делать... Вот и выпускаю теперь сборник стихов, еще один, озаглавив его "Но-с". Это сокращенне двух слов — "но" для новые, "с" для стихи. Вы воображаете, что я не понимаю, насколько это плоско, но верьте мне, на этот"нос" клюнет публика, а это главное. Да, каждому свое... Это еще какой-то римлянин сказал".

Ссылка на Плиния Старшего меня поразила больше, чем самый смысл его слов.

А потом, хоть в этом деле я полный профан, неоднократно я был свидетелем его игры на бильярде, и так выходило, что его партнерами были парижские русские художники, собиравшиеся за зелеными столами в кафе, которое в свое время прославлял Верлен, приходивший сюда чуть ли не ежевечерне насладиться привычной порцией абсента.

На бильярде Маяковский играл плоховато, это даже я мог видеть, но зато с необычайным азартом. Со стороны можно было подумать, что от исхода каждой партии зависит дальнейшее течение его жизни. При проигрыше он постоянно куксился и все время увеличивал ставки, не отпуская партнера, пока результат "сражения" как-то не сглаживался.

Была у этого здоровяка и без малого великана одна странность. Маяковский был до смешного мнителен, боялся болезней, боялся заразы и носил с собой какой-то флакончик не то с одеколоном, не то с какой-то профилактической жидкостью, которую он то и дело, иногда среди разговора, на себя брызгал, тер ею руки и даже перед игрой обтирал свой кий.

А Париж он любил действительно нежно, любил бродить по полусонному городу, а если в кармане залеживались "лишние" франки, не чуждался иной раз заглянуть в злачные места. Город на Сене притягивал его сильнее, чем он мог выразить это в посвященных французской столице строках, в которые порой врывается "постороннее". Можно ли его за это осуждать? Ведь ему постоянно хотелось в этот город вер-

нуться... Стоит только вспомнить несколько слов из его стихов о "прощании с Парижем": "Париж бежит, провожая меня, во всей невозможной красе" и столь известную концовку того же стихотворения: "Я хотел бы жить и умереть в Париже...", даже если, чтобы быть "вне подозрений", она сдобрена полувынужденным добавлением: "...Если б не было такой земли — Москва".

А ведь именно в эти годы Москва "его слезам не верила", и жизнь его не складывалась. Одна за другой настигали его литературные неудачи, и за бравурным фасадом все яснее выпирала блеклая повседневность. Даже пересуды о его "вечной любви" шли мимо, и его дружески-любовные письма к его Беатриче, написанные хоть и в ласковом, но все же несколько "мещанском" ключе, которые он с наносной игривостью подписывал "Щен", пририсовывая к своей подписи изображение щенка Бульки, на поверку оказывались только позой. Кстати сказать, письма эти были посмертно изданы, но, может быть, был какой-то смысл в том, что они почти сразу же были изъяты из продажи.

А в один из своих последних наездов в Париж Маяковский влюбился как-будто бы по-серьезному и более глубоко, чем когда-либо до того.

Когда-то я был знаком с объектом его влюбленности и, к слову сказать, должен быть ей премного благодарен. В тяжкие дни 40-го года, тотчас после демобилизации, я оказался на средиземноморском побережье, без сантима в кармане, разгуливая еще в военной форме. Несмотря на сумятицу тех дней, эта самая милая молодая женщина пришла мне на помощь, организовав небольшую группу, которую я должен был посвятить в искусство бриджа, хоть ни учителю, ни его ученикам было тогда не до карт. Но такой жест не забывается.

Как бы то ни было, то, что сочинил Виктор Шкловский, утверждая, что Маяковский и предмет его увлечения "были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при их виде", — сплошная литература. Не подлежит сомнению, что кареокая "жертва" Маяковского была на редкость эффектна и привлекательна, но

вызывает сомнения, что монументальный Маяковский мог импонировать избалованной молодой женщине вне поэтической среды. Его угрозы: "Я все равно когда-нибудь тебя возьму / Одну или вдвоем с Парижем" привели только к тому, что в дальнейшем ему в выездной визе из Советского Союза стали отказывать, и, по слухам, в этом деле постарались его "близкие".

В Москве существует площадь Маяковского, станция метро его имени, в центре города высится его памятник. Все эти беспримерные почести только препятствуют осознать, что все последние годы своей жизни это был "неприкаянный" человек, глубоко несчастный и свою горечь маскировавший показной аррогантностью, наигранным нахальством и словесной грубостью.

В нашем сознании все эти тяжеловесные бронзы невольно отъединяют человека от поэта, которого, по слову Пастернака, "насаждали, как картошку при Екатерине". А ведь, оглядываясь назад, оказывается, что в сущности "над родной страной он прошел стороной, как проходит косой дождь...", не больше. Такова оборотная сторона слишком несоразмерной прижизненной шумихи.

* * *

Есть ли в наши дни еще читатели у *Пильняка*, автора, который по строю своих писаний может показаться весьма устаревшим?

По словам Надежды Мандельштам, в двадцатых годах Пильняк "гремел" в Советском Союзе. "Это был его день, — пишет она, и, пожалуй, среди нового литературного поколения у него тогда еще не было опасных конкурентов. Но свою славу он по-настоящему не сумел использовать: становиться "вельможей", как Федин или Леонов, было не в его натуре.

Я встречал его в самом начале его литературного восхождения, когда он был только автором нашумевшего "Голого года", в котором он пытался скрестить ритмы Андрея Белого

со словесной вязью Ремизова. В этом "разорванном" от избытка чувств и слов романе революционный ритм представлялся Пильняку как некая анархическая сила, которая восстанавливает национальный облик "Расеи" и этим оправдывает стихийный разгул.

Пильняк был одним из первых именитых писателей-"попутчиков", как их тогда называли, который посетил "заграницу". Зарубежным литературным кругом принят он был с распростертыми объятиями, хотя и немного так, как если бы он был диковинным экспонатом из какой-то кунсткамеры. Его ходили слушать, но еще больше — на него посмотреть, тогда как многочисленные издатели всячески его обхаживали. Неизвестно, замечал ли он сам нездоровый налет любопытства у тех, кому жал руки, или кто приглашал его "на чашку чая", естественно, "с водочкой". Во всяком случае он никогда не терял уверенности в себе, хотя и был чужд зазнайства, а в некоторых отношениях выделялся каким-то преувеличенным легкомыслием. Хоть "на дворе" стоял НЭП и будущее мнилось подслащенным, но для Пильняка все пережитое, все "страсти-мордасти" были как будто нипочем. Ему, мол, все можно и с него ничего не спросится. Он якшался со всеми — с правыми и с левыми, с маститыми писателями и с новичками в литературе, продавал свои рукописи правока-детским и левоэсеровским издательствам. Ему нужны были деньги и притом в относительно большом количестве, потому что он тут же тратил их, испытывая удовольствие от самого процесса траты. А когда уезжал и ему еще что-то причиталось, неизменно указывал: "Гонораришко, пожалуйста, в Коломну и в долларах".

Первым, чье резкое недовольство он своими писаниями вызвал, словно наступил на любимую мозоль, был Горький, который своим многочисленным корреспондентам писал о том, что Пильняк — имитатор да еще и не очень искусный, добавляя, что его словесное фокусничество — болезненное явление в современной литературе. Хоть Горький любил всех обнадеживать, даже часто людей бесталанных, Пильняку он написал назидательное письмо, в котором говорил: "Мастер-

ство у вас неуклонно опускается до "мастерщинки", очень плохо это, и путь, которым вы идете, может привести вас к некой клоунаде".

Трудно установить, какая муха укусила Горького, когда он не переставал всем свои авторитетом обрушиваться на Пильняка, и при желании можно предположить, что его злые и колкие слова могли стать причиной того, что издание повести Пильняка "Красное дерево" в берлинском "Петрополисе" якобы "вызвало всеобщее возмущение советской общественности". Между тем, то же издательство в то же время выпускало книги Федина, Тынянова, Лидина, всех не вспомнить, и к этому и общественность, и власти относились с полным равнодушием, зная, что на эти зарубежные издания сохраняются авторские права.

Но дело было в том, что до "Красного дерева", в котором в какой-то мере выступали наружу несбывшиеся мечтания, связанные с революцией, да, кроме того, все дела и дни революции были как-то на втором плане, Пильняк выпустил еще "Повесть непогашенной луны" — историю некого командарма, которого, вопреки его желанию, подвергают какой-то хирургической операции, ставшей причиной его гибели. Намек на случай с Фрунзе был слишком очевиден и, конечно, это вызвало бурю негодования со стороны власть имущих. Однако, после сделанных ему свыше серьезных внушений, а, может быть, и угроз, он сдался и "обелил" свою репутацию романом "Волга впадает в Каспийское море", в котором превозносились стройки социализма и как бы подчеркивалось, что без революции ничего "такого" и быть не могло. Пильняка простили и даже снова выпустили за границу, что, конечно, было признаком высокой милости.

Однако, после возвращения из Америки с книжечкой "О'кей", он представил рукопись романа "Двойники". Она была решительно отклонена, и тогда Пильняк послал ее в Варшаву своему другу-поэту и переводчику Броневскому, который к тому же был видным коммунистом и у Кремля числился "персоной грата". Казалось бы, что овцы целы и волки сыты. Броневский блистательно перевел и затем издал

пильняковский роман, который, по-видимому, был создан наспех и довольно оригинально скроен. Собственно, переставив запятые, Пильняк взял отрывки из целого ряда своих предыдущих романов и, сгладив их сумятицу, довольно искусственно, но в то же время и искусно объединил их, введя двух новых героев — братьев-близнецов, настолько друг на друга похожих, что, когда один из них смотрел на другого, каждому из них казалось, что он стоит перед зеркалом.

Невозможно в нескольких словах передать запутанную фабулу "Двойников", действие которых происходит и до революции, и в посленэповские дни, то за полярным кругом, то в Москве, то в "седьмой советской", то есть Таджикистане. Сюжет построен на физическом сходстве двух братьев при их полном духовном и душевном различии. Один из них — человек сильной воли, инженер, строитель завода по добыче радия, убежденный коммунист из "твердолобых". Другой — бывший актер, "народный артист республики", женолюб, человек, насмешливо относящийся ко всякой политике и режиму.

Надо сказать, что такого рода коллизии были не раз использованы в советской литературе, да они и не были писательскими измышлениями, а сравнительно частым явлением, особенно в годы гражданской войны, когда братья или отец с сыном находились в разных станах.

Курьеза ради отмечу, что я довольно хорошо знал двух братьев, имевших от рождения двойную фамилию. Младший выбрался из России с белой армией и в эмиграции постепенно "краснел", стал "возвращенцем" и вернулся с семьей в Советский Союз. Старший, который когда-то учился в кадетском корпусе, до войны скромно проживал в каком-то провинциальном городишке и выбрался из него со "второй эмиграцией", то есть с немецкими арьергардами. Очутившись за границей, он сразу примкнул к весьма правым офицерским организациям. Братья друг к другу относились с нескрываемым презрением, и кончилось тем, что старший избрал первую половину двойной отцовской фамилии, тогда как младший ее усек и ограничился второй.

Но это дело маленькое, почти "анекдотец". Между тем в романе Пильняка образы двух схожих близнецов можно при желании истолковывать символически, как некую раздвоенность русской интеллигенции, часть которой оглядывается на прошлое, тогда как другая все надежды возлагает на будущее. Одна часть работает, не покладая рук, другая, как говорится на языке авиаторов, "вылеталась" — ведь пилоты со временем "теряют сердце", начинают бояться воздуха, их нервы "гадятся". "Двойники" были, очевидно, так и поняты цензурой, к тому же некое противопоставление во всех пильняковских писаниях "скифства" и Запада не могло ей быть по душе.

Таким образом, случай непредвиденный и едва ли правдоподобный: последний роман Пильняка, не изданный в его оригинальной версии, был издан в блистательном польском переводе. А затем часть его была переведена с польского на русский, а другая отыскана среди тех старых романов, из которых была Пильняком извлечена.

А сам Пильняк, как известно и как указывает "Литературная энциклопедия", был "незаконно репрессирован" в 1937-м году, и имя его надолго исчезло со страниц советской печати. Лишь в 1976-м он был "литературно реабилитирован", и в Москве вышел том избранных его произведений. Между тем точная дата его смерти так и не установлена. Официально указывается, что он умер в лагере в первый год войны, а до того упорно ходили слухи о его расстреле. А между тем Ахматова посвятила Пильняку стихотворение, в котором есть многозначительные строки:

О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот смертный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...

* * *

"*Современные записки*" — "как много в этом звуке..." Ведь подлинно, стоит произнести эти два слова или взглянуть на непритязательную, окаймленную узенькой черной рамочкой белую обложку этого "толстого" журнала, как сразу же встают из небытия первые годы российской эмиграции, не вполне еще оседлой, в большинстве своем неустроенной, мало приспособленной к западноевропейскому быту (об Америке тогда и не думалось) и, может быть, про себя еще таившей несбывшиеся мечтания.

Последняя семидесятая книжка наиболее популярного из всех эмигрантских журналов представляет библиографическую редкость. Ведь вышла она поздней весной трагического 40-го года, почти накануне падения Парижа, и едва ли ее успели разослать всем клиентам — подписчикам и книгопродавцам. К тому же можно почти безошибочно полагать, что немалая часть ее тиража погибла в эпоху нацистской оккупации Франции, как гибли тогда многочисленные книги, русские и нерусские.

Говорить о содержании этого последнего номера, пожалуй, нет особого смысла. Стоит только взглянуть на его оглавление, чтобы убедиться что этот предсмертный выпуск ни литературно, ни идеологически не выходит из линии своих шестидесяти девяти предшественников. Правда, с той маленькой, но все же симптоматичной разницей, что с первой страницы журнала исчезли имена редакционной коллегии. Пожалуй, любопытно и то, что открывается книга рассказом Сирина, который тогда еще не именовал себя Набоковым. Хоть он и был частым сотрудником журнала, но тогда его имя вне литературных кругов особой популярностью не пользовалось. Мало того, его талант по разным, отчасти внелитературным причинам, оспаривался кое-какими авторитетными людьми. Отметить этот факт стоит потому, что первое место на страницах журнала нередко вызывало своего рода распри.. Иные маститые писатели были весьма склонны к местничеству, угрожая редакции, что ежели их произведение не будет

напечатано первым в очередной книжке журнала, они перестанут в нем сотрудничать.

Но вот в оглавлении ставшего лебединой песнью номера "Современных записок" почти сплошь привычные для журнала имена и, к огорчению читателя, как водится, "начала без конца" с неизменной отметкой "продолжение следует" или "концы без начала" (поскольку начало появилось в предыдущих номерах). Здесь мы встречаем имена Алданова, начавшего печататься с первого номера журнала и закончившего "Началом конца", Бориса Зайцева, Адамовича рядом с Ходасевичем, Федотова и Бунакова с какой-то ...адцатой частью резко антишпенглеровских, но по рецептам Шпенглера написанных "Путей России". А кроме того — все разрастающаяся молодая (все относительно!) литературная поросль: наряду с многостраничным Газдановым целая плеяда поэтов, принадлежавших к тому поколению, которое считало себя "незамеченным". Их "Современные записки" в последние годы своего существования стали охотно привлекать, всячески стараясь внести новые имена в одно время застывший перечень печатаемых журналом литераторов.

"Современные записки", как они сами себя характеризовали, были "общественно-политическим и литературным журналом", но в читательском сознании их литературная часть перевешивала все другие, хоть журнал и выходил под редакцией пяти, а затем (после трагической смерти одного из них) четырех "эсеров", спаянных между собой не только партийными, но и долголетними дружескими узами, общим им всем стремлением к демократии в ее идеализированном виде и лирическими воспоминаниями о невоплощенном "Учредительном собрании", членами которого они все когда-то были избраны. Но как-никак отсутствие единоличного редактора сказывалось на подготовке макета каждого номера, потому что дружба дружбой, однако у каждого из четырех все-таки на многое были собственные взгляды и симпатии, и для их согласования каждому приходилось идти на известные компромиссы.

Хотя все члены редакции с юных лет принадлежали к

одной, притом во время оно довольно "воинственной" партии, созданный ими журнал ни в какой мере не был партийным. Его страницы были открыты каждому, чей писательский талант признавался четырехголовой редакцией, и стоит только пробежать список сотрудников, чтобы убедиться, что, как писал Ходасевич, "разделенные раздорами идейными и политическими, а нередко и личными, в "Современных записках" все могли усесться за один стол". А главное — при разнообразии высказываний журнал всегда сохранял внутреннее единство. "Всеядность" редакции исключала только участие авторов, склонных протянуть руку коммунистическому режиму, редакция косо относилась к евразийству и нетерпимо — ко всякой "накануневщине". Журнал был, действительно, органом непредвзятого суждения, но никак не боевым политическим органом, оттого в нем могли спокойно уживаться хотя бы во всем друг с другом не согласные Милюков с Маклаковым, Мережковский с Кусковой. Для своего детища редакторы стремились установить репутацию органа, для которого незыблемы понятия права, культуры, свободы или ценности отдельной личности, словом, всего того, что сегодня наполовину выветрилось или приобрело уродливые формы некоего "эрзаца". Не без некоторого донкихотского упрямства они стремились проводить все эти понятия сквозь свой журнал в неисковерканном виде.

Почти с нежностью проглядывая теперь последний номер журнала, на обложке которого, вопреки основным принципам редакции, выборочно прибавлены имена участвующих в нем авторов (причем Набоков почему-то назван по имени, которым он еще не подписывался, как и пресловутая переписка Вячеслава Иванова с Гершензоном не вполне по-русски окрещена "Перепиской м е ж д у двух углов"), вспоминаю далекое — и какое далекое! — прошлое: первый номер журнала, родившийся в те дни, когда последние врангелевские суда отдалялись от берегов Крыма, держа курс к турецким берегам.

Это было в первый год моей затянувшейся парижской жизни, и я припоминаю, с каким замиранием сердца взял в руки эту книжку совсем молодой человек, в первую очередь

пораженный тем, что она как бы продолжала рухнувшие литературные традиции! Впрочем, как теперь видится, содержание той первой книжки было довольно-таки случайным, и на правах "мэтров" выступали вскоре вышедшие в тираж Гребенщиков или Минцлов. Зато рядом с ними печаталась "Святая Елена" мало кому известного Алданова, а в качестве приманки — начало алексеетолстовского романа "Хождение по мукам". Кстати, было бы весьма поучительно сравнить этот первый вариант нашумевшего романа с тем, который впоследствии огромными тиражами появился в советском государстве после того, как был переписан автором в своем барском царскосельском поместье...

Могут ли теперь понять, насколько сложно было в те далекие дни регулярно выпускать журнал, номера которого иной раз насчитывали свыше 500 страниц, и притом каждому из авторов выплачивать гонорары, хоть и небольшие и едва ли всегда покрывавшие полученные ими авансы!..

Задуманный редакцией как ежемесячник, что было по существу утопично не только из-за неизбежных финансовых трудностей, но также из-за невозможности собрать достаточно полноценного материала, журнал выходил все с большими и большими промежутками, и к концу его существования выпускалось не больше двух книжек в год. Но каждую книжку с возрастающим нетерпением ждали и авторы, и читатели, и любой экземпляр журнала проходил через десятки рук, потому что обзаводиться книгами многим было в тягость — куда их девать при переездах, не говоря уж о том, что не всякий мог из своих скудных средств выделить нужную для покупки книг сумму, какой бы она ни была незначительной...

Не раз говорилось, что по общему уровню, по своей "многогранности" и некоему "отсутствию шор" журнала, подобного "Современным запискам", не существовало даже в дореволюционные времена. И это особенно ощутимо теперь, когда родился ряд новых русскоязычных журналов, но в них редакторское "ячество" то и дело подчиняет журнал своим непредвиденным капризам и не только не объединяет рассеянных по всему миру выходцев из России, но упрямо

старается провести между ними некий водораздел, считая козлищами всех с ним не согласных.

* * *

Был как-то у меня в гостях довольно известный советский литературовед и за чашкой чая мы с ним долго и с увлечением болтали на всевозможные литературные темы, преимущественно на те, довольно специальные, о которых часами могут разговаривать люди особой породы, именуемые "книголюбами".

Гость мой вдруг заспешил, он запоздал на какое-то свидание, в середине своего рассказа встал, чтобы попрощаться, но перед тем, как протянуть мне руку — точно его осенила какая-то мысль — и без всякой связи с предыдущим сказал:

— Вы говорили, что учились в Петербурге, значит в гимназии Мая...

Невольно я поразился его проницательности, моих гимназических лет мы в разговоре не касались, и я едва ли когда-либо думал, что это почтенное учебное заведение, пользовавшееся репутацией "либерального", когда этот эпитет не заключал в себе никакого пренебрежительно-иронического оттенка, накладывает на его питомцев какой-то заметный постороннему глазу или, вернее, уху отпечаток.

Но вопрос, заданный мне моим собеседником, запал мне в душу и, думая о нем, я стал кое-что вспоминать. Вспоминал преподавателей, любимых и нелюбимых, а одновременно не мог не подумать, что, вероятно, большинство из них вскоре очутилось то ли на Соловках, то ли на стройке какого-нибудь канала; вспоминал самое здание, классы, кабинеты физический, исторический и другие; вспоминал пеструю из-за отсутствия обязательной гимназической формы раздевалку и швейцара Степана, который поименно знал всех гимназистов и, в случае чего, как мог, помогал им. Вспомнилось еще, как в окутанные леденящим туманом октябрьско-ноябрьские утра я долго ждал у остановки трамвая № 17 с оранжевым огнем

слева и белым справа и как он долго не приходил, и я, чтобы не дай Бог опоздать к началу занятий, если только бывал в моем кармане "пятиалтынный", брал Ваньку (впрочем, тогда эта извозчичья кличка едва ли была мне ведома), но мне и в голову не могло прийти подъехать на саночках, на которых я так любил прокатиться, к самому зданию гимназии — меня бы засмеяли — и я останавливался за квартал до него. А попутно со всегда волнующими книжными разговорами вспоминается и другое: то, как будучи уже в старших классах, вместе с одним из моих одноклассников М. мы не раз улепетывали с последних уроков, улепетывали "конспиративно", чтобы не встретить кого-нибудь "нежелательного", но с молчаливого благословения упомянутого мной Степана, и отправлялись на Литейный, на котором были сосредоточены все главные *букинисты* столицы.

В те далекие времена почти все они были моими "закадычными" друзьями и почти все с оттенком отеческой нежности относились к юным библиофилам и сочувствовали их книжным страданиям, не уступавшим вертеровским. Не всегда могли мы хоть какую-нибудь малость у них купить, но посмотреть на их новые приобретения могли всегда и, если не было у них клиентов, всегда была у них охота поговорить с нами, и они часто не прочь были, конечно, "под большим секретом" поведать нам о своих находках или вернее о том, что вот-вот что-то заманчивое появится у них в виду, кто-то умер, кто-то покидает Петербург, кому-то до зарезу понадобились деньги.

Вижу перед собой широкие, точно накануне отполированные витрины Соловьева, в которых красовались шагреневые переплеты с гербами. Это были витрины самого изысканного из петербургских книжных антикваров, состоятельного балетомана, которому приелась коммерция и он передал свое дело старшему своему сотруднику — некому Молчанову, с которым мне иной раз доводилось совершать замысловатые товарообмены или брать у него книги в кредит, не зная затем, как ликвидировать долг, потому что я часто превышал "книжную ассигновку", дозволенную мне отцом.

Помню хорошо толстого Лебедева, на вид купчину из

комедии Островского, намеренно напускавшего на себя неприступное выражение лица: мол, со мной не поторгуешься... Но и он все же снисходил к слабостям двух гимназистов, которым уже до боли недоставали символисты и мистики в распроданных изданиях "Скорпиона" или "Мусагета". А у него они всегда были в запасе.

Вспоминаю еще скромных на вид Базыкина и Митюрникова, обоих в потрепанных пиджачках, которые не умели, а, может быть, не хотели показывать свой товар лицом, считая, что каждому любителю книги польстит, если он откроет что-то для себя ценное в какой-нибудь якобы завали или хотя бы на полке с разрезанными ходовыми книгами.

Но больше всего места я должен уделить одному из самых больших чудаков в обособленном мире петербургских книжных антикваров — кажется, обрусевшему потомку французских эмигрантов, старику Мелину. Он был помесью гофмановского персонажа с героем диккенсовской "Лавки древностей", а, может быть, и гоголевским героем, если бы Гоголь, дописав свой "Невский проспект", завернул на Литейный или на Литейную улицу, как она в гоголевские времена прозывалась и только позднее получила повышение в ранге.

Магазина в буквальном смысле у Мелина не было, взамен были у него две квартиры, одна под другой, в которые, пройдя неуютную подворотню, надо было взбираться по лестнице, во многом напоминавшей ту, по которой всходил Раскольников. Обе его квартиры были сплошь — с полу до потолка — заставлены книжными полками, среди которых со своими несчетными кошками, издававшими неприятный запах, ютился их владелец — бедный богач с выщипанной по виду бороденкой, с пучками волос, торчащими в разных направлениях. Как он вел свое дело — непонятно, где он набирал свои книги, как пополнял свои склады — еще более непонятно, потому что едва ли он когда-либо покидал свою мрачную "Аладинову пещеру" или, по другому, свою трущобу, находившуюся на пятом или шестом этаже.

Когда вы приходили к нему и долго стучали в его дверь, он открывал ее не сразу и не сразу допускал клиента к своим

сокровищам. Было бесполезно спрашивать его о том, имеется ли в его непочатых складах та или иная искомая вами книга. Может быть, он был даже искренен, не умея на ваш вопрос ответить.

Но затем происходила подлинная церемония — сперва Мелин должен был узнать, кто вы, кто вас рекомендовал, кто дал вам его адрес. "Подойдите сюда — я взгляну на вас, там, где вы стоите, что-то темновато". Впрочем, полутемно в его квартире было повсюду. Первый свой взгляд он считал решающим, и если вы ему полюбились, он был по-своему приятен и порой многоречив, хотя и не хотел этого показывать, считая, что "огрызаться" было неотъемлемой частью созданного им стиля. Но, как бы там ни было, он всякому и каждому при первом к нему визите говорил: "Сегодня мне что-то нездоровится, приходите лучше через недельку". Это входило в его репертуар и, действительно, на следующий раз он уже встречал вас совсем по-другому и сразу протягивал руку, чтобы передать большущий ключ от своей нижней квартиры. "Идите туда сами, мне невдомек, и копайтесь в моей рухляди, все равно ничего для себя не найдете".

А там, внизу, также стояли десятки или того больше полок, сплошь наполненных преимущественно старинными французскими книгами в запыленных переплетах XVII-XVIII веков, а около них собрания эльзевиров, а иногда и альды, которые сегодня в Париже стоили бы состояние. Многотомные издания, как правило, были рассыпаны по разным полкам, но покупатель твердо знал, что все тома налицо и надо только уметь их отыскать среди общей массы книг. Это была одна из причуд Мелина, желание испытать терпение книголюба, желание удостовериться, что он подлинно стремится приобрести эти книги.

Когда вы отыскали те несколько книг, которые, конечно, казались для вашей библиотеки необходимыми, вы, неся их под мышкой, подымались к нему, и тут начинался последний акт комедии. "Нашли все-таки, а к чему вам эти книги, я ей-же-ей, даже имени их автора не знаю и никогда о нем ничего не слышал (а начитан он был до крайности). Книги неважнецкие да расставаться с ними больно, как-то попривык к

ним. Я стар, а вы хотите отнять у меня последние радости, но мне вот моих кошек кормить надо, а они капризные". Эти причитания он считал обязательными для поддержки своей репутации. "А сколько даете?" Покупатель, особенно молодой, какими мы были в те незапамятные времена, краснел и терялся. Какую цифру назвать, никто из нас не знал. Тогда, выдержав небольшую паузу и подливая для кошек на блюдечко молоко, Мелин приходил нам якобы "на помощь": "Да, денег у вас небось нет, но чтобы вы добром вспоминали старика, я вам уступлю... и он любовно разглядывал нашу добычу... за столько-то, но только с условием, что вы никому не назовете мою цену". И тут же произносил какую-то непомерную по нашим понятиям цифру. Мы бледнели и, увидав произведенный его словами эффект, почти тотчас же "снисходил": "Ну, на первых порах, так сказать, для знакомства (а эти слова повторялись каждый раз), дайте мне хотя бы..." — и он называл примерно десятую часть первой суммы, добавляя, — только часто меня не тревожьте, я ведь немощен (это была правда), покупатели меня выводят из равновесия, а, кроме того, мои кошки не любят посторонних (и это тоже была правда).

Так шли дни этого оригинала, о котором я — это было в первые годы эмиграции — слышал, будто он скончался в той самой квартире, в которой прожил бессчетное число лет, умер как-то незамеченно, и труп его вместе с трупами его кошек только спустя долгий срок нашла вызванная жильцами дома милиция. А что стало с его книжными сокровищами, мне неведомо. Вероятно, через какой-то срок они при помощи "Международной книги" очутились на берегах Сены, кое-что на ларьках тамошних букинистов, а что получше — у антикваров рангом повыше.

А теперь, как мне рассказывают, Литейный проспект, широкий, как всякий другой, стоит со своими реставрированными домами, в которых нашли приют два антикварных книжных магазина с вечно пустующими полками. С тем большей грустью вспоминаю блаженные гимназические годы, когда Литейный притягивал меня к себе, как магнит, и когда затем мне приходилось придумывать какие-то неправдо-

подобные отговорки, объясняющие мое запоздание. Впрочем, родители только делали вид, что мне верят, особенно, если невзначай замечали, что мой портфель (ранцев больше не носили, они для "приготовишек") оказывался не в меру пухлым.

* * *

Это происходило, если не ошибаюсь, ранней весной 1942 года, в тот период, когда, проживая под бунинской крышей, я сравнительно часто ездил из Грасса в Ниццу для свиданий с *Андре Жидом*. Поездки эти часто мотивировались задуманным, но так и незавершенным "совместным" переводом "Темных аллей", но для меня их внутренним импульсом были скорее встречи с самим Жидом, разговоры с ним, "наши шахматные сеансы", как он эти встречи окрестил. Кстати сказать, я до сего дня несказанно горд тем, что мое имя значится в указателе к прославленному "Дневнику" Жида. Он отметил в нем, что "ему, наконец-то, удалось выиграть у меня партию", Это только показывает, какие оба были мы "горе-шахматисты".

Однажды, как было сговорено, я под вечер зашел к нему в "Адриатик", большой отель, расположенный в нескольких шагах от "Английской променады", особенно прельстивший Жида тем, что в его комнате были голые стены: на них не висело никаких воспроизведений "шедевров мировой живописи"!

Поднявшись к нему, я успел только заметить, что фигуры на шахматной доске были уже расставлены, но в тот же момент затренькал телефон. Оказалось, что внизу в холле находится Мартен дю Гар, автор нашумевшей многотомной эпопеи "Тибо" (в русском переводе "Семья Тибо"), один из последних предвоенных нобелевских лауреатов. В разговорах Жид часто на него ссылался, советовался с ним по всяким литературным и внелитературным делам, и я знал, что в ту пору и уже до самой смерти Жида он, вероятно, был одним из самых близких его друзей, одним из немногих, которых Жид "по пути" не растерял.

Жид неожиданно взволновался. "Вы не знаете, какой он

дикарь, какой чудак, как он боится незнакомых людей. Если он вас здесь застанет, он непременно подумает, что я нарочно подстроил ему "ловушку".

Слово "ловушка" было мне малопонятно и, сознаюсь, даже слегка меня кольнуло. Конечно, я тотчас же изъявил желание ретироваться. Однако Жид решительно запротестовал. Нет, он настаивал на том, чтобы я, в свою очередь, спустился в холл и там его обождал. Сказано — сделано, но не успел я войти в этот холл, как отельный грум пришел за мной, говоря, что "мосье Жид просит меня вернуться и познакомиться с его гостем".

После всего того, что о нем говорил Жид, гость меня "смутил". Он оказался милейшим, простым в обращении человеком, без каких-либо претензий или фокусов, свойственных иногда "знаменитостям". Ничего "дикарского", ничего чудаковатого я приметить в нем не сумел. Разве что отлично скроенный пиджак в очень широкую клетку и трубка в зубах, с которой он не расставался в течение всего вечера, придавали ему чуть англизированный вид.

Общий разговор сразу же наладился и стал перескакивать с одной темы на другую, оставляя в стороне злободневные вопросы. Хотя злободневность всех тогда крайне волновала, но все, что можно было вычитать в газетах, казалось не в меру мрачным, да и слухи, которые постоянно кружились по Ницце, отнюдь не были розовыми, так что всем хотелось отдохнуть от ставшего привычным комментирования военных сводок и политических прогнозов.

Доминировали вопросы чисто литературные и, вероятно, ввиду моего присутствия и после того, как Жид объяснил своему гостю, что я живу у Бунина, оба в один голос с большим уважением заговорили о нем. Мне даже показалось, что Мартен дю Гар, лично Бунина не знавший, был более осведомлен о его творчестве, нежели сам Жид. Поразительно было только то, что Жид, в общем обменявшийся с Буниным каким-нибудь десятком фраз, прочитавший не больше двух или трех из его книг, как-то почувствовал, что идея смерти неустанно тревожит Бунина. "В этом отношении он вам срод-

ни, — обратился он к Мартен дю Гару, — тогда как мне всегда казалось, что когда пир подходит к концу, незачем его длить..."

От Бунина к Толстому переход был почти естественнен и едва ли не сразу на вечную тему "Толстой—Достоевский" между двумя писателями произошла краткая "перепалка". Романы Толстого были настольными книгами Мартен дю Гара, и он говорил о том, что, постоянно перечитывая "Войну и мир", каждый раз открывает в ней новые, как он сказал "жемчужины", новые объяснения для всего, что происходит в мире.

— Но в этой книге такие длинноты, — перебил его Жид, — я все-таки предпочитаю "Анну Каренину".

— Я готов был бы с вами согласиться, — возразил на это выпад Мартен дю Гар, — если вы признаете, что в жизни, несмотря на ее краткость, также немало длиннот.

— Но от Толстого меня отталкивает, — продолжал Жид, не отвечая своему собеседнику, — его внутреннее чванство, ведь надменность не оставляла его даже в его самоотречении. Из книги Бунина я узнал, что в нем всегда шла борьба с собственной судьбой, и это всегда была борьба некого Титана с Богом. Я, конечно, Толстым восхищаюсь, но он мне не созвучен. С сочувствием и симпатией я способен относиться только к людям скромным, если хотите, в какой-то мере обездоленным, чего-то лишенным. Вероятно, поэтому мне так близок Достоевский. С Достоевским я дома, с Толстым чувствую себя в гостях.

Мартен дю Гар кисло улыбнулся. Он, вероятно, слышал такие слова уже не впервые, потому что этот спор между ними не был ни первым, ни последним. Однако он тут же потребовал от Жида, чтобы тот перечитал "Войну и мир", даже если, как он утверждает, история, как таковая, его не прельщает.

Случилось, уж не помню в связи с чем, что один из собеседников произнес имя Святополка-Мирского, критика очень блестящего. Оба стали точно "взапуски" восторгаться его литературной проницательностью, но, вместе с тем, недоумевать по поводу его политической близорукости. "Как мог

он принять решение вернуться в СССР, — говорили оба, — заранее зная, что как бы судьба его там ни сложилась, собой он больше быть не сумеет".

Я вспомнил, как незадолго до своего возвращения Мирский побывал в Париже и читал доклад — заглавия его не помню — в каком-то весьма странном помещении, чуть ли не в какой-то полутемной крипте одной из левобережных церквей. Помещение было маленькое, так что не нужно было много слушателей, чтобы его наполнить. Как всегда, когда он выступал перед русской аудиторией или писал для русского читателя, Мирский любил ошарашивать парадоксами. Не обошлось без них и в этом докладе. Он упрекал и Достоевского и Толстого в чрезмерной "женственности" и, к удивлению слушателей, противопоставлял им Помяловского, настаивая на том, что это единственный писатель, который в русской литературе способен представлять начало мужественное.

Замечу в скобках, что тогда среди слушателей находились и Бунин с Алдановым. Алданов возмущался, а на Бунина пречерная борода докладчика, кажется, произвела бóльшее впечатление, чем сам доклад. "Ну, что с него взять, — говорил он, — надо же пооригинальничать" — и тут же сочинил шутливый экспромт, который начинался словами: "Он — человек немолодой". Строка эта, естественно, рифмовалась с "бородой", а дальше — точка...

Когда заговорили о Мирском, я напомнил о его странном суждении, которое обоих настолько поразило (имя Помяловского, конечно, было для них пустым звуком), что они отнеслись к моим словам с явным недоверием, и мне это было понятно. Иностранцев Мирский никогда не стремился "эпатировать" своими не в меру спорными высказываниями. Все же упрек в отсутствии мужественности, обращенный одновременно к Толстому и к Достоевскому, был воспринят обоими почти как оскорбление — Мартен дю Гар был уязвлен за Толстого, такую же обиду Жид почувствовал за Достоевского.

Становилось поздно. Мартен дю Гар стал прощаться, и когда я сказал, что Бунину, который как раз в этот день находился в Ницце, будет крайне досадно, что он не удосу-

жился познакомиться со своим собратом по Нобелю, Жид воскликнул, что эту встречу необходимо устроить, но что лауреаты легче сойдутся под знаком преклонения перед Толстым, чем под запоздалыми лучами стокгольмского золотого дождя.

Я поднялся вслед Мартен дю Гару, но Жид меня не отпускал и, хотя время для игры в шахматы уже миновало, он усадил меня в кресло и дал читать законченные им едва ли не накануне воспоминания о встречах с Верленом. Соблазн прочесть эти отрывки был слишком велик, чтобы я мог последовать за Мартен дю Гаром, хоть мне и было заманчиво поговорить с ним с глазу на глаз. Воспоминания о Верлене были короткими, но Жиду в тот вечер, вопреки его обычаям, очевидно, еще не хотелось оставаться одному, и он вслед за тем "угостил" меня небольшой еще неизданной статьей о Рембо, в которой он обрушивался на стремление некоторых католических кругов "аннексировать" поэта. "Рембо больно кусает католическую Церковь, утверждал Жид, а католики продолжают делать вид, будто Рембо, как и Верлен — верные сыны Церкви".

В этот вечер сильно похолодало — на юге скачки температуры нередки — и Жид, не в меру зябкий, почувствовал это, даже сидя в своей теплой и уютной комнате. Он заметил, что я пришел без пальто и заставил меня влезть в какую-то невозможную "хламиду", скроенную, как он не без оттенка хвастовства заявил, по его собственным "чертежам". Это была некая помесь епанчи с мантильей, снабженной кимонообразными рукавами. Но зато это необыкновенное одеяние было даже не в меру согревающим. Вид в нем у меня был несомненно ошеломляющим, и я до сих пор поражаюсь, что встреченные мной на обратном пути полицейские меня не задержали.

* * *

Я не видал *Кесселя*, "Жеффа" для всех его знакомых, с тех пор, как он стал "маститым", а этому много лет. В последний раз встретил, зайдя за ним, чтобы пойти пообедать вместе с

Буниным, которого он едва знал. Но он непременно хотел разглядеть Бунина поближе, чтобы затем включить в свой "паноптикум", на страницах которого, точно бабочки на булавках, уже хранилось столько знаменитостей. Происходило это в первые годы после освобождения Франции, когда еще не вернулось нормальное положение и многоцветные продовольственные карточки продолжали осложнять жизнь. Было условлено посетить какой-то невзрачный с виду ресторанчик, в котором можно было не только "отвести душу", но и полакомиться всякой запретной снедью.

Обед, однако, вышел не вполне удачным. Бунин в этот день был не в ударе, тюрбо под "густым соусом" не удовлетворило его, соус оказался совсем не таким, как он мечтал, не совсем как тот, который подавали Стиве Облонскому! Но все же, главное было не в соусе. Кессель точно из рога изобилия не переставал сыпать словесными блестками. Заметив недовольный взгляд Бунина на поданную ему рыбу, он с увлечением начал рассказывать о какой-то "акульей ухе", которой его потчевали на берегах Красного моря, куда он ездил, чтобы собирать материалы о процветавшей там — еще в недавние дни — работорговле. Затем он поделился "неизданными" впечатлениями о Нюрнбергском процессе, происходившем едва ли не "накануне". А из Нюрнберга почти без передышки перебросился на описание сомнительных игорных домов в Лас Вегасе, а минуту погодя стал описывать какую-то никому неизвестную войну в каком-то никому неизвестном Паджустане, пограничной области между Индией и Ираном. Все, чего он касался, было увлекательно и словно оживало перед глазами слушателей. Но Бунину все же было не совсем по себе следовать за всеми кесселевскими "взлетами". Он был недоволен тем, что не мог ничем парировать занятнейшие россказни сидящего рядом с ним пышущего здоровьем и талантом великана с неким подобием львиной гривы на сравнительно молодой голове.

Оговорюсь, — я все-таки видел Кесселя и после этой ресторанной встречи. Видел, но только на экране, когда по телевидению показывали церемонию его приема во Французскую

Академию, в "бессмертные". В Академии Кессель занял кресло историка герцога де ла Форса и по правилам, установленным еще кардиналом Ришелье, должен был произнести панегирик своему предшественнику. Но кто мог быть более чужд Кесселю, чем этот герцог, представлявший чопорную "старую Францию", сохранявшую видимость бытовых традиций и аристократическую изысканность манер? Казалось, что Кессель в своем зеленом, расшитом золотыми листьями фраке, со шпагой на боку должен был чувствовать себя не совсем ко двору. Между тем, он со скрытой усмешкой, словно в назидание своим новым коллегам-академикам, зычным голосом, показавшимся мне не совсем обыденным, воскликнул: "Что вы, господа, совершили? На место герцога вы избрали сына русских родителей, в придачу — еврея. Вы избрали человека, который много странствовал, обо многом наслышался и с особым вниманием относится к голосам тех, которые страдали и еще продолжают страдать от дискриминации; тех, кому неведомо понятие справедливости и чуждо чувство собственного достоинства". Надо было, чтобы много воды утекло под мостами близлежащей Сены, чтобы под "академическим куполом" такие слова вызвали гром аплодисментов.

Думается, однако, что для самого Кесселя его зеленый академический фрак был не больше, чем очередным приключением в нескончаемом их списке. Ведь он всю жизнь бегал за ними, искал опасностей и никогда не был более удовлетворен, чем если, рискуя жизнью, ему удавалось эти опасности преодолеть. Если более пристально вглядеться в его биографию, то можно увидеть, что, собственно, вся его жизнь была авантюрным романом и его творчество в значительной мере было замаскированным отражением пережитого им самим.

Не странно ли, что этот французский "бессмертный" и писатель, чьи книги разошлись в одной только Франции в нескольких миллионах экземпляров, был сыном русского доктора-еврея, временно перекочевавшего в Аргентину, где "Жефф" и родился. Однако, раннюю молодость он провел в Оренбурге, чтобы затем вместе с родителями уже окончательно перебраться во Францию и здесь, завершив свое

образование, стать как бы отцом "большого репортажа". Ведь до него к такому жанру установилось отношение, как к бедному родственнику. Даже словарь Ожегова высокомерно определяет репортаж как "сообщение о местных событиях в периодическую печать", то есть как нечто эфемерное, назавтра теряющее интерес. Между тем, границы, которыми замыкается этот жанр, трудно определимы и недаром в нем существует область, которой французы дали имя "большого репортажа", с полным основанием включая ее в художественную литературу. Если подумать, будет ли ересью признать за "репортаж" хотя бы пушкинское "Путешествие в Арзрум"?

Кессель свой первый "репортажик" — некую пробу пера — посвятил дефиле Победы под Триумфальной Аркой в 1919 году, когда во главе шествия на белых конях ехали маршалы Фош и Жоффр, а война казалась пережитком прошлого. Но именно это дефиле превратилось в начало кесселевской карьеры. От него все и пошло. Вскоре он очутился в Дублине, где началась кровопролитная война за независимость Ирландии. Он был послан в Америку, чтобы описать последствия страшного экономического кризиса конца двадцатых годов. Был в Испании во время гражданской войны, в Израиле едва была провозглашена его независимость и начались первые стычки с арабами. Когда что-то там происходило, посетил Гонконг и Макао, страны Индокитая, Индию, всего не перечислить. Недаром его литературное наследство обнимает около 80 томов.

Особенность Кесселя заключалась в том, что он хотел одновременно быть авантюристом и дэнди, аскетом и прожигателем жизни, попользоваться всеми ее радостями, испытать все ее наслаждения и, как ни странно, все ему удавалось. Он любил вечеринки или, точнее, пьянки, чтобы сразу после них засесть за работу и не отрываться от пера (пишущих машинок он не признавал) по десяти часов. Любил ночные рестораны, те, которые в путеводителях отмечены несколькими звездочками, и в такой же мере полупритоны. Всю жизнь был неравнодушен к цыганскому пению, к "подруге семиструнной" и

любил женщин любой расы, дюбого звания, со всеми женскими противоречиями, которые в молодые годы он изображал в своей "Дневной красавице".

Он был прирожденным непоседой или, может быть, непоседой его сделали обстоятельства, когда чуть ли не с пеленок его перебрасывали из одного материка на другой. Во время Первой мировой войны, совсем юнцом, скрывая возраст, он пошел добровольцем в авиацию, которая была еще в самом зачатке. С какой выпуклостью он изобразил эти дни в своей книге "Экипаж", в которой не столько живописал героические "дела и дни" своей эскадрильи, сколько подчеркивал ту мужественную дружественность, те братские узы, которые связывали между собой всех пилотов.

Двадцать с небольшим лет спустя, после крушения Франции, Кессель перебрался в Лондон к де Голлю, который сразу же захотел направить его за океан для улучшения аппарата пропаганды. Кессель наотрез отказался, предпочитая снова взяться за штурвал и стать военным авиатором, не раз совершал опаснейшие разведывательные полеты над оккупированной Францией. Примерно тогда же в сотрудничестве со своим племянником, Дрюоном, он написал слова гимна Сопротивления, начинавшегося словами — "Друг, слышишь ли ты черный полет воронья..." Эта песня стала своеобразной "Марсельезой" партизанского движения, которое Кессель затем описал в "Армии теней", ставя ударение на том, что ее героизм должен был оставаться скрытым, а борьба и опасности не знали перерыва.

Свою жизнь, приключения и злоключения (без них, конечно, не обойтись) Кессель подробно осветил в семитомной "Башне несчастий", в которую он включил всю свою журналистическую эпопею. А потом прошло еще некоторое время и годы уже препятствовали поискам новых приключений. Он вынужден был коротать время в своем небольшом поместье под Парижем среди книг своих и чужих, среди коллекции трубок и каких-то диковинных сувениров, вывезенных с Дальнего Востока или из Центральной Америки. Путешествия уже были позади. Но есть что-то символическое в том, что

одна из его последних книг, полуроман-полурепортаж "Дикие времена" была посвящена России, вернее, Сибири, куда он, не дожидаясь демобилизации, опять-таки добровольцем отправился в 1919 году с французской военной миссией.

"Дикие времена" — едва ли можно подыскать более определяющее заглавие для книги, описывающей, как сентиментальные мечтания молодого добровольца рассеялись, когда, сойдя со сходен во Владивостоке, он увидал в гавани скованные льдом корабли, почерневший снег и патрули, в которых не было двух солдат в одинаковой форме. А потом он узнал, что у сидящего в Омске "верховного правителя", кроме мнимых атрибутов власти, нет, собственно, ничего и даже военное снаряжение зависит от доброй воли японцев и чехов.

Кесселю его начальство вручило револьвер и увесистую сумку, туго набитую ассигнациями, и дало в помощники чешского сержанта, который, как рыба в воде, плавал в этой невсамделишной, но жуткой обстановке. Оказалось, что во Владивостоке даже французской военной миссии для выгрузки французских военных самолетов надо было действовать "подкупательно". Для достижения поставленного перед ним задания Кесселю понадобилась не одна сумка, подобная той, которая так смутила его поначалу. А на этом фоне долгие бессоные ночи в местном кафешантане, где ежевечерне происходило некое подобие "пира во время чумы".

"Пир во время чумы" — на долю Кесселя выпало участие в такого рода пирушках чуть ли не на всех широтах земного шара. Но его заслуга в том, что, вызывая порой зловещие тени прошлого, он избегает ловушки политических оценок и выводов. Он с литературным блеском описывает виденное и пережитое "без гнева и пристрастия". Кессель — не только талантливый писатель, но и подлинный репортер, который предпочитал, чтобы окончательные выводы были сделаны его читателем.

Публикация Г. Поляка

А. Ф. Даманская

На экране моей памяти

Августа Филипповна Даманская (ур. Вейсман, лит. псевд. "Арсений Мерич", "А. Филиппов"; 1875—1959) прожила большую жизнь. Вернее — три жизни. Первую — в России, где она была свидетельницей двух войн и трех революций и откуда уехала летом 1920 г., оставив все, что любила.

Вторая, относительно недолгая, жизнь прошла в Германии в те годы (1920—1923), которые справедливо считаются периодом расцвета "русского Берлина".

И, наконец, третья жизнь — Франция. Там Даманская пережила Вторую мировую войну, второй русский исход — за океан — и там же скончалась в старческом доме Кормей, окруженная немногими "последними могиканами".

Литературная судьба Даманской не менее богата. Ее журналистская деятельность началась в Петербурге в 1903 г.; она стала сотрудницей нового издания "Русь". В том же году был опубликован ее первый рассказ "В Америку" ("Русское богатство", 1903, № 12). Кроме того, она сотрудничала в "Мире Божьем", "Журнале для всех", в петербургских газетах, в журналах для детей.

В 1918—1920 гг. много переводила для организованного Горьким издательства "Всемирная литература"; стала первой русской переводчицей Ромена Роллана.

В эмиграции писала для газет и журналов самых разных направлений: для рижской "Сегодня", для берлинских "Дней" Керенского, парижских "Последних новостей" Милюкова, нью-йоркского "Нового русского слова".

Незадолго до смерти Даманская начала писать для Бахметьевского Архива воспоминания, озаглавив их несколько претенциозно — "На экране моей памяти". Возможно, название "подсказано" Мих. Осоргиным: в одном из последних писем он писал Даманской о событиях, проходящих "перед экраном ума" (30 ноября 1941 г.; письмо хранится в Бахметьевском Архиве. — Ms. Coll. Damanskaia. Box 1).

Мемуары — жанр субъективный, и не со всеми оценками, которые автор дает людям и событиям, можно согласиться. Но в воспоминаниях Даманской представлена эпоха и нелегкая судьба того поколения, которое принято называть "первой волной" русской эмиграции. При этом автор выступает как

свидетель происходящего, а не как главное действующее лицо — что в мемуарах большая редкость.

Воспоминания писались частями; иногда между работой над ними проходило несколько месяцев. Поэтому в тексте рукописи встречаются многочисленные повторы, варианты, возврат к уже описанному. При подготовке текста к печати они были устранены, орфография и пунктуация — с которыми Даманская всегда была не в ладах — приведены в соответствие с существующей нормой.

Воспоминания публикуются с любезного разрешения Бахметьевского Архива.

Ольга Демидова

Литературный Петербург — 1917 - 1920 гг.

Это были тяжелые годы... Для большинства, жившего литературным трудом, и для многих, уже давно избавленных от недохватков, от забот о завтрашнем дне, обрушились они полной неожиданностью. Многие растерялись, безнадежно махнув рукой и не делая усилий облегчить так или иначе свое положение. И были случаи, и было таких случаев много, когда не искавшие никогда утехи в вине — спивались, были случаи, когда редко чем болевшие люди заболевали никем не предполагавшимися в них болезнями. Лирический элемент всяких воспоминаний смягчает многие черты тогдашнего литературного быта. Но и в поэтическом преломлении лучей прошлого кажется порою вымыслом та действительность, которой мы были очевидцами, и то литературное "действо", в котором мы участвовали. Уже в первые месяцы 1918-го года стали закрываться периодические издания, которые еще в осенние месяцы 1917-го года терпела советская власть. Одновременно по всей столице реквизировались "буржуазные квартиры". Определение "буржуазных квартир" было предоставлено районным комитетам. Более или менее наблюдательных людей поражало тогда обилие новых людей — по повадке, по жестикуляции, по говору не столичного, а явно провинциального облика. И действительно, нахлынуло тогда много новых людей из дале-

ких от Петербурга городов и городков, которым "буржуазными" казались уже те, по понятиям столичным, скромные квартиры, но каких эти новые люди не знавали в своих медвежьих углах.

Литераторы, газетные люди и известные писатели, жившие кто шире, кто скромнее, в квартирах побольше, поменьше и не сознававшие, что жили в "буржуазных" квартирах, из этих своих насиженных помещений выселялись или же к ним вселяли чужих им, малоприятных и малокультурных людей... Умудрявшимся же, благодаря каким-то связям, оставлять свои давние квартиры, нечем было их отапливать — уже с первых месяцев 1918 года привоз топлива в Петербург был плачевный. Так же, как и привоз продовольствия.

Всех объединил, всё заслонил вставший перед всеми зверино-простой жуткий вопрос: как прокормиться? Как уберечь себя от холода? Ф. К. Сологуба из светлой, располагавшей к работе квартиры перевели в маленькую, сырую, где лишь в одной комнате удавалось ему доводить температуру до шести-семи градусов. В таких же условиях жили Ремизовы, А. Волынский, Кузмин, Шишковы, Замятин и др. Приезжавшие из Москвы рассказывали, что там писателям живется не лучше.

И вдруг — в том же 1918 году — разнесся слух, которому многие из нас долго не решались верить... Возникает будто бы новое издательство, объединяющее представителей всех видов литературы. Издательство, в котором каждый мало-мальски способный литературный труженик найдет применение своему умению и верный заработок.

Слухи, которые катились по всему Петербургу, разрастаясь, как снежные шары, обрастая фантастическими надеждами, скоро стали действительностью. Издательство "Всемирная литература", возникшее по идее и благодаря усилиям Горького, пусть и не отвечало упованиям, какие на него возлагались, но оно действительно объединило всех писателей, поэтов, беллетристов, художественных критиков, драматургов, переводчиков и на многие месяцы отвратило от них призрак голодной смерти.

Писатели с именами не обрели возможности писать,

печатать, издавать свои книги, что делали многие годы, но они стали выполнять главную задачу издательства — переводить иностранных авторов. Уже много позднее, впрочем, то же издательство стало переиздавать — с тщательным отбором — и книги некоторых писателей русских. Все стали переводить, редактировать переводы, писать к ним предисловия и примечания.

Велась работа автономно, хотя и на средства, отпущенные Наркомпросом и под руководством редакционной коллегии, в состав которой входили профессор Ф. А. Браун, М. Горький, А. Блок, Н. Гумилев, Е. Замятин, А. Волынский, К. Чуковский и Н. Лернер. Эта коллегия отбирала лучшие произведения всех литератур всего мира — и распределяла их для перевода, возлагая этот труд на лучших переводчиков. Переводила не только "славная стая" русских переводчиц — З. Венгерова, З. Журавская-Португалова, М. Благовещенская, К. Жихарева, Э. Пименова, А. Даманская, Анна Ганзен. Переводили и поэты: Балтрушайтис, Вяч. Иванов, Бальмонт, Н. Гумилев, еще совсем юный Адамович, пленивший редакционную коллегию своими переводами поэм Байрона.

Тщательно проредактированные переводы снабжались обстоятельными примечаниями, предисловиями таких знатоков западно-европейских литератур, как проф. Батюшков, проф. И. М. Гревс, проф. Браун, А. Горнфельд, проф. Холодковский, Кони и других, равных им по эрудиции. Постепенно образовывались и подколлегии — члены главной коллегии не успевали прочитывать и разбирать поступавший материал — в обязанности которых входил предварительный просмотр переводов с английского, французского, итальянского, немецкого, польского, португальского и всех других языков всего мира...

Все сотрудники получали, помимо гонорара, полистной оплаты — не помню в какой цифре она выражалась — продовольственный паек: постное масло, крупу, малую толику муки, что особенно ценилось, немного сахара — неизменно грязноватого, — две-три селедки и овощи — картофель,

морковь, свеклу и репу... Мужчины получали табак, а дамы — иногда — маленький-маленький кусок мыла.

Помню серенький ранней осени день. Издательство помещалось временно — очень недолго — в помещении издательства З. И. Гржебина на Невском проспекте в доме номер 64. В комнате, заваленной книгами в переплетах, без переплетов, кипами старых журналов, стояли посредине Е. Замятин, Венгеров, автор этих строк и рассуждали о том, как перевести на русский язык редко встречаемое, но встретившееся в одной английской книге слово. Подбирали слова — одно, другое, никого не удовлетворяло. Да и смысл этого редкого английского слова не поддавался точному адекватному русскому переводу. Из далекого угла комнаты вдруг отделилась скромного облика женская фигура и подошла к нам. Мы услышали приятный и несколько удививший нас своей самоуверенностью голос: "Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор... Но я долго жила в Англии, и это слово мне знакомо. Это слово школьного обихода... Это значит — прижать промокаемую бумагу кнопкой к краю парты".

Мы поблагодарили ее, осведомились:

— А вы здесь...?

— Я желала бы получить какую-нибудь переводную работу. Владею, кажется, хорошо английским и французским языками...

З. Венгеров и Е. Замятин, уже руководившие так называемой подколлегией по приему переводов с английского, обрадовались ее предложению.

— Ваша фамилия?

— Бенкендорф... (она не прибавила "баронесса" — титулы уже не были в моде).

Это была Мария Игнатьевна Бенкендорф, а позднее — баронесса Будберг, сыгравшая заметную роль в жизни издательства и еще бóльшую роль в жизни Горького.

Недели две спустя кто-то из нас, переводчиков, полюбопытствовал: "Что же, Бенкендорф — хорошая переводчица?"

— И ответ последовал: "Ей не понравилась книга, которую она взяла для перевода... Взяла другую — увидим..."

Прошли еще две-три недели. Издательство из чужого гржебинского помещения перешло в свое собственное, в великолепный особняк генеральши Хариной на Моховой за номером 36.. Тут было много простора, света, несколько редакторских кабинетов, две или три приемные, большой зал — под бухгалтерию и где в трех или четырех комнатах, среди голубых диванчиков, столиков на золоченых ножках, трюмо с фарфоровыми гирляндами, среди шелковых портьер и полуистертых ковров жила со свои мужем графиня Гендрикова — двоюродная сестра императора Николая II. Муж ее — черноусый, хмурый молчаливый грек — выполнял какую-то работу в бухгалтерии издательства. Она же, графиня, пекла пирожки, продавала их сотрудникам издательства и с увлечением рассказывала, как ее за вольнодумство дважды высылали при царском режиме из Петербурга. Многим петербуржцам известно было, что ее высылали при царском режиме не за вольнодумство, а за легкомысленное поведение... Но слушать ее было забавно. Она была мила и простодушно врала...

В одно утро, придя в редакцию после трехнедельного по болезни отсутствия, я к удивлению своему увидала за заваленным рукописями столом в одной из редакционных комнат Марию Игнатьевну Бенкендорф.

— Вы что же, в редакции переводите?

— Нет, я не перевожу... Я работаю в исторической секции... Читаю драматические произведения, поступающие в "нашу редакцию"...

Кто-то из переводчиц обиделся и обратился с вопросом к К. Чуковскому:

— Корней Иванович, что же это, право... Мы тут, свои люди, давние переводчицы, и такой чести не удостоились... А совсем новый человек и ничем еще себя не зарекомендовавший, и вдруг такую ответственную задачу на него возлагают...

Чуковский глумливо-насмешливо развел руками:

— А об этом спросите Алексея Максимовича...

Никто спрашивать Алексея Максимовича, конечно, не стал. Положение Марии Игнатьевны скоро утвердилось в издательстве. Она отвергала приносимые исторические пьесы, в которых было мало "революционного элемента", одобряла пьесы, в которых революционный элемент был подан аппетитно.

Урожденная Закревская, дочь сенатора Закревского, еще при Александре III подвергшегося административной высылке из России за какое-то оппозиционное выступление против какого-то правительственного мероприятия, она выросла в Англии, и, умная, напористая, сумела, лишь захотела, покорить Горького своей барственной властностью. Как-то незаметно — и не то что осторожно, а, скорее, руководимая непогрешимым инстинктом завоевательницы, победительницы, — сумела она поставить себя в издательстве так, что с ней больше считались, чем с администрацией, чем с самим Горьким.

Мальчики-рассыльные стали дерзить сотрудникам в ответ на их просьбы принести или отнести в типографию корректуры.

— Некогда, Марья Игнатьевна велела...

— Не до ваших корректур — надо отнести паек Марье Игнатьевне...

Мария Игнатьевна, оттеснив от Горького женщину, с которой он был близок несколько лет — уже после разрыва с Марией Федоровной Андреевой, красавицей, артисткой Моск. Худож. театра, — завладела его временем, меняла его планы, отменяла назначенные им кому-то другому часы встреч и приемов...

— Завтра я увожу его в Царское Село (оно еще не называлось ни Детским, ни Пушкинским) и запру его под семью замками...

И услышавшие это поняли: Мария Игнатьевна из-под своего влияния Горького уже не выпустит.

В 1919 году, овдовев — Бенкендорф, с кем она давно разошлась, скончался где-то в Эстонии, — она без усилия,

конечно, получила пропуск из Петербурга в Ревель или в Ригу — не помню точно — из-за каких-то наследственных соображений и с тем, чтобы спасти поместья своих двоих детей (им грозил секвестр), вышла фиктивно за какого-то барона Будберга и уже как баронесса Будберг уехала с Горьким в Италию, в Сорренто. После смерти Горького, скончавшегося, как известно, в Москве и оставившего в Италии Марию Игнатьевну с ее детьми, она оказалась единственной вне России литературной наследницей Горького. К ней обращались иностранные переводчики, синеасты, издатели за авторизациями. Она назначала и получала гонорары. Переехав из Сорренто в Лондон, она вскоре вышла за овдовевшего к тому времени Г. Уэллса, отлично устроила своих детей. В настоящее время ни роли общественной, ни заметного положения в литературном мире — не занимает.

В тесном контакте с издательством "Всемирная литература" был тогда "Дом искусств" на Мойке, под который Наркомпрос отвел двухэтажный особняк известного богача, мецената С. Г. Елисеева, находившегося уже тогда за границей. В этом особняке — опять-таки благодаря хлопотам Горького — многие нашли приют, тепло, свет, горячую воду, обед, не очень сытный, не очень вкусный, но все же какое-то питание. Здесь ютились, но в прекрасных комнатах лишенные насиженного угла писатели, поэты — Пяст, Волынский, Ек. Леткова с сыном, А. Грин, автор этих строк, молодой проф. Чудовский, кое-кто из художников... Позднее, уже после моего отъезда за границу летом 1920 года, поселились в "Доме искусств" поэтесса Шагинян, Лев Дейч, и отсюда, из "Дома искусств", одним вечером увезен был Гумилев и больше не вернулся... В этом доме сами его обитатели и жившие близко или далеко писатели, актеры, художники могли обедать — не помню уже, за какую цену, — получать какие-то подобия супа, пшенную кашу, стакан чая или стакан какой-то бурды, именовавшейся кофе. Но ходили туда охотно, потому что люди приходили в "свою семью", где можно было и посудачить, и посмеяться, и поговорить по душам, и печали свои излить...

"Дом искусств" на Мойке отапливался экономнее, хуже,

чем дом издательства "Всемирная литература". В великолепной елисеевской гостиной с розовыми колоннами лекторы читали в пальто, в валенках о фонетическом методе преподавания иностранных языков, об искусстве писать рассказы (Е. Замятин), об искусстве стихосложения (Н. Гумилев), о санскритской драматургии, о ницшеанстве и Фрейде, о Гете и Бетховене, о друидах и менадах — а слушатели, в пальто, валенках и башлыках, дышали паром и нагревали воздух в зале. За окном трещали морозы, где-то то далеко, то порою близко трещали выстрелы — кто-то кого-то настигал, кто-то кого-то убивал... Об этом говорили. Шепотом сговаривались, как, парами или втроем, впотьмах, если по дороге, добрести домой, потому что не было уже ни трамваев, ни извозчиков...

В другом зале, не менее великолепном, чем розовый с колоннами, два раза в месяц выступали лучшие певцы и певицы, лучшие солисты Петербурга — и для того, чтобы порадовать друзей-писателей, и для того, чтобы самим провести часа два-три в близкой им духовно обстановке, среди своих отборных почитателей, любивших, умевших ценить их искусство... И только в эти концертные вечера администрация дома умудрялась устраивать буфет, где блистала уцелевшая часть елисеевской сервировки и можно было получить не только совсем приличный чай, но и небезвкусное пирожное, и крохотный бутерброд с сыром или красной кетовой икрой... А, главное, встречались, радуясь встрече, люди, не уверенные в возможности следующей встречи, не уверенные в том, куда и в какую даль рассеет их Рок в ближайшие дни, в ближайшую ночь. Никто ни в чем и никого ни обвинить, ни заподозрить даже не решился бы, но присутствие чьего-то незримого Недреманного Ока ощущалось всеми... Никто во всеуслышание ни своих чаяний, своих упований, ни своего отчаяния или безнадежности не высказывал. Но вполголоса, шепотом, в одном, в другом уютном углу можно было, как в помещении издательства "Всемирная литература", изливать всё, что накипело в сердцах...

Иных уж нет, а те далече... Много, много людей, с которыми в дружбе, в добром знакомстве, во взаимно-

благожелательном соседстве проходили дни, месяцы, годы, ушли в мир иной, но в памяти моей они все живы со всеми нашими общими горестными надеждами и верою, что все минется... Она, Родина, — останется...

Без романтики

История побегов, уходов, отлетов из России, начиная с 1918 года, и еще не совсем законченная по наши дни, — так богата драматическими, трагическими, романтическими и пикантными эпизодами, что увлекательного чтения ее хватит, вероятно, надолго, но как трудно будет будущему историку, социологу, который поставит себе задачей восстановить в более или менее правильном освещении эту тягу из родной страны, как трудно будет разбираться в хаотическом изобилии реминисценций. Начиная с того, что большинство людей, совершивших что-то, связанное с риском, склонны преувеличивать опасности, каким подвергались, опасности, какие им грозили, и, наконец, бесстрашие или находчивость, с какими одолевали все эти опасности и преграды.

И мне совестно осложнять задачу будущего писателя, историка или романиста, прибавляя к тому, что об уходах из России уже написано, напечатано, и свои воспоминания.

Уезжали друзья, близкие мне люди. И я решила — уехать. Но оставались друзья, близкие мне люди. И я могла остаться. Работой я была буквально завалена. Переводила для "Всемирной литературы", государственного издательства, для частного издательства "Прометей". Жилось трудно, но мне, сравнительно с сотнями тысяч других людей, жилось не так уж и плохо. Самое необходимое у меня было. Вот-вот — было самое необходимое. Но не было того, чего хотелось, к чему привыкла, что стало теперь доступным лишь очень и очень немногим людям. И не было сознания — но сколько людей как-то незаметно стали к этому привыкать — не было сознания, что, если захочу — пойду, куплю билет и поеду, куда

потянет... Я привыкла часто уезжать за границу. Уезжала к больному, близкому мне человеку, и с этими местами моего паломничества сроднилась. Они стали мне необходимыми. И, пожив некоторое время вне России, начинала томиться о России, спешила уложить свои вещи и возвращалась в Россию.

В те годы — начиная с 1918 по 1920 гг., когда я уехала — никому и в голову не приходила мысль, что долго, быть может, очень долго нельзя будет вернуться в Россию.

В том, как я уехала — в Псков, из Пскова — переодетая деревенской бабой, до пограничной деревушки Мижуги, оттуда со случайной спутницей-фельдшерицей пешком к эстонской границе и, наконец, без паспорта, без визы путешествие в Ревель, — тоже, вероятно, был риск и были, конечно, моменты тревожные, но я запомнила лишь милые, поэтичные и на них часто останавливаюсь я мысленно...

В Пскове, где очутилась, получив от Наркомпроса мандат с целью чтения лекций на курсах для народных учительниц — группа профессоров еще до меня уехала в Псков с такими же мандатами, — в этом чудесном городе я познакомилась с несколькими десятками сельских учительниц. Что это за милые были девушки! Как плохо они были одеты, какие жалкие были на них самодельные туфли на подошвах из бечевок! Как доверчиво, жадно слушали они мои наспех составленные лекции о женских типах Бальзака, о Ромен Роллане, об арабской женщине, о египетских мумиях... И я узнавала от них, как скудна, убога их деревенская жизнь. Узнавала, что и делать свое дело им всё трудней и трудней: ни учебников, ни тетрадей, ни карандашей, ни чернил в таком количестве, какое необходимо, и как трудно им справляться с озорной деревенской детворой...

Запомнился мне тихий летний вечер — канун моего ухода из Пскова.

В доме, где отведена была чья-то большая, полупустая квартира для приехавших из Петербурга лекторов, жил и профессор истории и литературы Иван Михайлович Гревс. Это был скромный, душевно-изящный и чуткий человек. Он знал, что я переводила Ромена Роллана, говорил мне, что этот

писатель в течение нескольких лет был незримым спутником его жизни. У меня был с собою не переведенный еще в России Cola Brougnon, который до него еще не дошел. Я выждала минуту, когда Гревс сидел в столовой один, подошла к нему с книжкой и поверила ему свой план — о нем никто не должен был знать.

— Вот, Иван Михайлович — вам на память книжку... И если послезавтра ничего обо мне не услышите, стало быть, всё сошло благополучно...

Он понял, крепко пожал мне руку, пожелал в немногих словах много, много хорошего... Тогда переходивших нелегально границу арестовывали и расправлялись с ними беспощадно.

Опускаю домашний арест в Печорах, обыск, неусыпный надо мною надзор эстонских властей... Всё это выпало многим сотням и было, быть может, слишком живописно воспроизведено.

И вот, наконец, я в Ревеле, в дружески расположенной ко мне семье известного в России адвоката Кальмановича, в свое время известного больше всего по его удачным выступлениям на процессах политических "преступников". Но что больше всего меня удивило, поразило и смутило тогда в Ревеле? И в такой степени, что несколько дней я не могла опомниться и казалось, что всё, что я вижу, слышу, — сон, который вот-вот кончится и я вернусь к действительности. Это были контрасты, это было какое-то радостно-праздничное возбуждение, каким объяты были русские люди, с которыми я стала встречаться в Ревеле, и — так казалось мне — полное непонимание того, что происходило в такой еще близкой России. Нахлынуло тогда в Ревель много богатых людей из обеих столиц и многих других больших городов, которым удалось вывезти и деньги, и драгоценности. Дельцы, опытные и неопытные, ломали дела, зарабатывали большие деньги, и тогда уже пошла продажа иностранцам разных угодий, какими иные продавцы и не обладали даже, и, так как падение советской власти ожидалось со дня на день, уже шел торг концессий на какие-то заводы, проведение железнодорожных путей, где их

не было еще в России, на эксплуатацию всяких естественных богатств России, до которых не успели докопаться прежние хозяева страны. Лучшие отели были переполнены, открывались новые и новые великолепные рестораны и кафе, витрины магазинов соперничали с парижскими и венскими модными новинками, витрины гастрономических магазинов напоминали давние витрины магазина Елисеева на Невском проспекте.

Жили в Ревеле несколько видных представителей советской власти, и виднейшим среди них был Иоффе[1], было много соглядатаев и шпиков, много досужих толков, и сплетен, и анекдотов...

Не то пир во время чумы, не то великий радостный канун страстно-желанного переворота, раскаты которого уже будто бы и слышны были людям, наделенным особо чутким политическим слухом...

После трех с половиною лет жизни в таких условиях, в каких жила я, как и миллионы других людей, в России, такой фантастикой казались мне отлично сервированные столы, блеск хрусталя и серебра, горничные в гофрированных чепчиках, лакеи в белых перчатках, изысканные блюда, ароматный кофе...

Меня угощали, и я ела, пила с удовольствием, и по ночам у меня бывали кошмары, но только первое время, только первое время... Я скоро привыкла к тому, что можно зайти в ресторан и спросить жареного цыпленка или утку с печеными яблоками, скоро вошла во вкус лукулловых парадных званых обедов и перестала видеть во сне скудость, убожество тогдашней жизни в Петербурге, жизни, какою сама еще так недавно жила. Перестала видеть во сне "буржуйки" — дымящиеся железные печурки, на которых мои приятельницы готовили себе и детям голодные, невкусные, без жиров обеды, и уже развеселый Ревель с хорошим русским театром, оперетткой, концертами меня не удовлетворял. Я рвалась в столичный город, суливший больше того, чем тешил Ревель, и, когда меня спрашивали, тоскую ли я по Петербургу, как в

первые дни приезда в Ревель, я краснела и от прямых ответов уклонялась...

У меня было с собою мало денег, но много заметок, записок, зашитых в одежду, в суконные ботики, и по этим бумажкам я могла составить доклад "Карточные домики советского строительства" — прочитала его в местном театре, в переполненном до отказа зале. Два дня спустя повторила его и тоже в театральном зале, в Юрьеве, бывшем Дерпте, и денег у меня оказалось в количестве, о каком я и мечтать не смела. Во время десятиминутного перерыва моего доклада в Ревеле пришел ко мне за кулисы какой-то с иголочки одетый офицер и предложил мне сотрудничать в местной правого толка газете, от чего я учтиво отказалась. И вслед за ним подошли двое неряшливо одетых лохматых молодых людей — с упреком: "Почему не дали нам знать, когда находились под домашним арестом в Печорах, мы бы приехали за вами..."

— С кем имею удовольствие...?

— Мы — эсеры... Приступаем к печатанию новой газеты, руководить которой будет из Лондона Керенский и еще находящийся здесь, в Ревеле, В. М. Чернов[2]... Нам поручено вас просить работать с нами...

Несколько дней спустя я на лестнице одного загородного элегантного пансиона встретила В. М. Чернова.

— А... — он знаком указательного пальца, прижатого к губам, предупредил дальнейшие мои восклицания.

— Я здесь не Виктор Михайлович, а Борис Николаевич, — назвал и фамилию. Я забыла ее.

Из нескольких фраз, какими обменялась с ним, я поняла, что газета "Народное дело"[3] нужна ему и Керенскому не для просвещения русских читателей в Ревеле, а для другой, более важной задачи, а задачей этой было наивозможно скорейшее свержение советской власти. Газета должна была поддерживать у своих читателей веру в то, что осуществление этой задачи свершится скоро, скоро, скоро...

Советские шпионы выслеживали Чернова — он должен был исчезнуть из Ревеля. Время от времени и он, и Керенский присылали статьи ревельской газете, и больше всего инфор-

мационных заметок. Из Лондона, из Берлина, очевидно, легче было освещать события в России, чем в самóм столь близком к России Ревеле. Я давала этой газете литературные заметки, рассказы, театральные рецензии, время от времени — когда опаздывала статья Чернова или Керенского — писала, поучаемая одним из двух молодых людей, отрекомендовавшихся "мы — эсеры", передовые статьи. Работа моя хорошо оплачивалась и, когда я неожиданно получила из Парижа от Комитета помощи писателям за подписями Н. Чайковского, И. Бунина и М. Алданова чек на пятьсот франков — это большие по тогдашнему времени деньги — я могла этот чек немедленно вернуть, не учтя его. Из вывезенных из России красивых чувств еще оставалась гордость. С годами, в эмиграции, чувство это постепенно замирало. Но тогда еще казалось зазорным принимать общественную помощь, имея возможность своим трудом покрывать свои расходы...

Тогда же мне представился случай — уже в другой плоскости проявить свое "писательское" самолюбие. За время моего пребывания в Пскове я наслышалась много о главе московской Чрезвычайки, эстонце Матсоне. Два раза я встретила его на набережной Великой. Это был молодой еще человек, не очень высокого роста, с жутко бледным, очень красивым, мрачным лицом. Классическая оперная демоническая внешность. Рассказывали, что всегда молчалив, в служебных отношениях — малословен, никогда не повышает голоса, но расстреливать осужденных предпочитает собственноручно. Я послала в только что тогда возникшую в Париже газету "Последние новости" статью, озаглавив ее "Демонический Матсон". Ее немедленно напечатали, изменив заглавие "Кровавый Матсон". Мне это заглавие показалось безвкусным и посягательством на авторскую независимость. Я выразила свой протест, отказавшись от гонорара. И сотрудничество в этой газете возобновилось лишь два года спустя, когда газета была уже газетой Павла Николаевича Милюкова.

С тех пор прошло тридцать пять лет. Увы...

Берлин
1920 —1923

Мой путь из Ревеля на Запад лежит через Ригу, Либаву, Мемель, Данциг — Берлин.

Широкие, чистые, скучные улицы Риги, опрятной, со всякими европейскими удобствами, с большими скучными комнатами гостиница и учреждения — одно, два, три, шесть, семь — по каким надо мотаться, чтобы, сверх уже полученных в Ревеле каких-то удостоверений и пропусков, добывать новые, дополнительные и объясняться с чиновниками, говорящими одинаково плохо и по-русски, и по-немецки... И наконец в ненастный ноябрьский вечер по дрожащему под ветром трапу вступаю на пароход, испугавший меня своими размерами. Пароход-карлик, пароход-недоносок какой-то. Но выбирать не из чего было и ждать другого, подросшего, оформившегося судна — некогда было. Визы у меня были транзитные, краткосрочные и надо было их использовать. Кают не было, кроме двух: капитанской и еще какой-то важной персоны. Была одна большая общая, одна столовая, один салон. И всё неуютно, неприветливо, холодно, и из всех щелей дуло, и старый каркас немолчно охал и скрипел. Не успели сделать несколько узлов, не успело суденышко выйти в открытое море, как раздались стоны, оханья, детский плач, те неприятные, отвратительные звуки и запахи, какими сопровождается морская болезнь, тошнота и рвота.

Ко мне, темноволосой, присоседилась уже в первый час нашего путешествия моих лет дама, светло-, почти беловолосая. Немка. Вдвоем, держась за руки, опираясь, когда надо было, на плечи, она — на мои, я — на ее, удалось нам через груды катавшихся по полу охающих тел выбраться из общей каюты на верхнюю палубу, и, поразив нашей смелостью сидевшего на капитанском мостике капитана, — ночь была темная, дождь лил, как из пожарного насоса — выпросили у него разрешение приткнуться на лавочке под самым мостиком. Это была, впрочем, не лавочка и не скамейка, а про-

сто довольно широкая доска, зачем-то вделанная в стену. Над нею с обеих сторон были большие медные крюки, на которых болтались — на одном и на другом — кожаные петли. По-видимому, для укладки каких-то вещей, чьих-то чемоданов. Пароход-недоносок резвился, взлетал вверх, как на качелях, с визгом, ревом прыгал вниз, снизу неслись крики, стоны, широкие мутно-пенные во тьме брызги взлетали на нас обеих, на наши непромокаемые плотно стягивавшие нас макинтоши. Чтобы не пугать друг друга гримасами неизбежной тошноты, мы смотрели обе в разные стороны. Издали, вероятно, мы похожи были на какое-то редкое чудовище, двуглавое. С белой и темной головой. Из крепко сжатых уст немки вылетало время от времени — o, Gott, o, lieber Gott!, из моих уст вылетал — отлично помню — только скрежет зубов. Кончилась эта ночь. И, по-видимому, мы обе всё же держали себя с достоинством, человеческого облика не теряли. Капитан, казавшийся ночью под кожаным колпаком хмурым и тяжелым, оказался добродушным и приветливым и предупредил, что если нам отдохнуть охота, то вряд ли мы в Мемеле комнату найдем. Такой наплыв. Каждый пароход привозит десятки, сотни чающих отдыха, отдыха и ночлега. Мы комнату всё же нашли. Одну, и легли — немка беловолосая, я — черноволосая, и проспали до отхода поезда в Данциг, где была пересадка на Берлин.

Мемель — исторический город. Здесь состоялась знаменательная встреча Александра Первого с королем Фридрихом и красивой молодой королевой Луизой. Сюда он помчался, прервав столько обещавшее заседание "Негласного комитета"[4], разочаровав своих молодых, как он, сотрудников, графа П. Строганова, Адама Чарторыского, Новосильцева и Кочубея, в возлагавшихся на этот "Негласный комитет" упованиях. Намечавшиеся реформы, которые должны были осчастливить Россию и русский народ, остались в проектах, а копии проектов в письменных столах участников "Комитета". Александру Первому столь же не терпелось прекратить наскучившие ему заседания "Комитета", сколь не

терпелось встретиться скорее с молодой красивой королевой Луизой...

На какой-то остановке недалеко от Мемеля моя беловолосая спутница вышла из поезда, и я продолжала свой путь одна.

В Данциге, во время пересадки из одного поезда в другой, услыхала я русскую речь. Меня деликатно опередили два отлично одетых очень тучных человека. Два носильщика несли за ними великолепные чемоданы. Ни на кого не глядя, продолжая громко говорить по-русски, персоны вошли в вагон первого класса, единственный в составе поезда. Это были первые для меня — после многих лет видения прежнего мира. Таких невозмутимо-уверенных в своей отмеченности перстом судьбы, таких как-то не отделимых от своих где-то владений, от своих титулов, чековых книжек, таких механически-учтивых, таких надменно и обидно деликатных, не привелось мне встречать и в многолюдном тогда, веселившемся, расточительном ревельском русском обществе. Те, в Ревеле, всё же обладали чертами "нуворишей", и в их возбуждении, в их упоении земными благами проглядывала порою и неуверенность, таимая и всё же проскальзывавшая неуверенность в ближайшем будущем, и стремление урвать от жизни, что можно было урвать. "Хоть день, да мой..." Эти же двое принадлежали к особой касте. Таких мне приходилось позднее, но лишь в первые годы, встречать в Берлине, в Париже. И как наблюдатели, так и объекты этих наблюдений, увы, как далеки они были от одних предположений о возможных метаморфозах, какие ждут в будущем избранников судьбы...

Берлин я знала по частым поездкам за границу в дореволюционные годы. Берлин запомнился чистотой, уютом, комфортом, приветливостью, соблазнительными витринами и соблазнительной дешевизной.

Берлин 1920 года — я приехала 20 ноября 1920 года — в первый же день смыл с экрана моей памяти все сохранившиеся на нем впечатления. Из одного и другого пансиона, где я живала в прежние мои приезды, мне ответили по телефону

не звонкоголосая фрейлен Лотте и не благодушная фрау Винкель. Из одного пансиона ответил незнакомый хриплый голос, из другого — незнакомый мужской сиплый голос, и оба грубовато и раздраженно, что никаких пансионов, и никакой Лотте, и никакой фрау Винкель. "Напрасно беспокоите..." Пришлось пойти в ближайший к вокзалу отель и после долгих допросов, расспросов — кто? откуда? зачем? и кто меня в Берлине знает? — получила наконец комнату с обязательством столоваться тут же в ресторане при отеле. Внушила ко мне доверие хозяев отеля ссылка довольно смелая на "Ульштейн-Ферлаг" (издательство Ульштейн), в доме которого помещалась редакция "Руля"[5]. Я сослалась и на редактора этой газеты "Герр профессор Гессен". Благодаря Иосифу Владимировичу Гессену[6] я получила визу в Берлин. Это казалось мне правом сослаться на него. За первой же трапезой в ресторане этого отеля я услыхала за соседним с моим столиком русскую речь. Разговаривавшие были молоды, оживлены и симпатичны. Довольно было обмена двумя-тремя взглядами, одной-двумя улыбками для того, чтобы мы познакомились и кофе, такой не похожий на стародавний вкусный, душистый берлинский, мы пили уже за одним столом. Это был молодой художник Пуни[7] и молодая жена его Ксения Леонидовна, тоже художница. Позднее, уже в парижские годы эмиграции, Пуни стал известным художником, и выставки его и по этот, 1956 год, отмечаются как событие в художественной жизни Парижа. От Пуни я узнала, что пансион, мало-мальски доступный по ценам, трудно найти в Берлине, еще труднее найти комнату, квартиру, что русских уже немало, что пути сообщения по разросшемуся городу уже не те, какие запомнила я. И прежде всего никаких фиакров. Лошади давно все съедены, а кучера пали "на поле брани и чести". Узнала, что они тоже ищут пристанище и не находят.

Надо было заново строить свою жизнь. ЗАВОДИТЬ ЗНАКОМСТВА. Я уезжала из России не на вечность. Я уезжала из многолюбимого Петербурга с болью в сердце. Уже до этого отъезда я знала несколько европейских столиц — Вену, Лондон, Рим, знала хорошо швейцарские и чудесные

итальянские города, знала Каир, но душою моею владел Петербург. Мне казалось или я уверяла себя, что лучше, красивее Петербурга нет города во всем мире. С Петербургом связаны были мои лучшие молодые годы, моя любовь, мое счастье. То, что не забывается и не повторяется.

В Петербурге оставались мои друзья, которые наказывали мне, когда я уезжала: "Помните... Не забывайте". И я помнила этот наказ.

В Москве оставалась моя сестра с маленькими детьми. На Кавказе — другая моя сестра, врач, с приходом большевиков к власти ставшая на их политическую платформу и как энтузиастка, и как должностное лицо. Она ведала казенной лечебницей в Кисловодске. На юге России оставалась много любимая мною мать. Все эти родственные и дружеские связи налагали на меня некие обязательства. И я эти обязательства применяла и к себе самой. Я рассчитывала, я хотела вернуться в Россию, в Петербург.

При первых же встречах в Берлине со старыми и новыми знакомыми я почувствовала, что о каких-то обязательствах в отношении оставшихся в России близких мне людей лучше не распространяться. У первых же беженцев из России, обосновавшихся удобно, а были это в большинстве люди состоятельные, имевшие вклады в иностранных банках, сумевшие вывезти из России ценности, скоро сложились с наивной серьезностью и столь же наивной беспечностью повторявшиеся девизы: "В единении сила", "Мы пойдем сомкнутыми рядами" и т. п. На меня это производило впечатление детской игры во взрослых. Да, объединялись — вокруг карточных столов. Да, сомкнутыми рядами — шли на веселые опереточные спектакли с неподражаемой артисткой Фрицци Массари, в артистически обставленные немецкие кабаре и на выступления известных артистов, какими кишел тогда Берлин.

Еще больше, чем в Ревеле, поражала меня уверенность новых русских эмигрантов в падении советской власти в самом близком будущем, и всё будет, как было... И потому надо было от этого, хоть и вынужденного, пребывания за

границей взять всё, что давало это пребывание, испить всю чашу удовольствия, какое оно сулило.

У уезжавших из России накануне Февральской революции, вскоре после "Февраля" и в первые, самые первые месяцы после октябрьского переворота, были совершенно другие представления о русской действительности, нежели те, какие высказывали эмигранты двадцатых годов. По письмам, записям, дневникам и отчасти по печатным литературным произведениям тех годов будущему историку интересно будет проследить эволюцию этих представлений об оставленной России, так же, как и взлеты надежд и упований или внезапные шквалы сомнений и пессимизма.

У многих эмигрантов первого периода эмиграции оставались в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе дома, квартиры, у кого усадьбы, имения — на попечении "надежных людей". И верили (и как верили!), что "надежные люди" их добро сберегут, и, лишь только можно будет, напишут им "приезжайте". И поедут на старые, родные места... Новоприезжие эмигранты, имевшие возможность хорошо принимать гостей, устраивали вечеринки, давали обеды, на вечерах и концертах появлялись в модных туалетах, в бриллиантах. Скоро появилась в Берлине и новая еще для Берлина разновидность русского беженства. Бывшие офицеры, жены бывших офицеров, носителей громких русских имен, бывшие светские дамы, бывшие воспитанницы привилегированных институтов стали приманками самых дорогих кафе, кабаре, ночных баров. Мужчины в черных бархатных шароварах, в малиновых и ярко-желтых шелковых косоворотках, дамы в сарафанах и кокошниках играли на балалайках, пели русские песни, танцевали "русскую". С платочками, с низкими поклонами. Честь-честью. Без обмана. Немцам нравилось. Кабаре с русскими балалаечниками и русскими плясками бывали переполнены до отказа. Богатые иностранцы-жуиры приглашали русских певиц, танцовщиц к своим столикам, угощали их шампанским. И чем знатнее были эти дамы, чем достойнее их прошлое, тем щедрее угощали их. А дирекция каждого такого кабаре, кафешантана деликатно и таинственно осведомляла

важных посетителей о недавнем прошлом этих русских дам. Русская графиня... Русская княжна... Племянница министра Х... Генеральская дочь... Все это было еще новинкой в тогдашнем Берлине. И так соблазнительно. И так лестно. Вот до чего докатились эти русские...

Наряду с этой эмиграцией — с ломавшими большие дела, кутившими, покупавшими, продававшими — обозначился, и очень скоро, другой класс русской эмиграции. Объединялись русские писатели, художники, русские ученые.

Верхний этаж скромного кафе "Леон" на Ноллендорф-Плац стал почти что нашим клубом. Здесь не только читались доклады, лекции, новые стихи, новые беллетристические произведения. Здесь встречались русские эмигранты, как их называли тогда, "от литературы, искусства, науки" и здесь выступали тогда время от времени гости из Петербурга, из Москвы. Встречи с эмигрантами тогда еще не грозили советским писателям и артистам никакими репрессиями. В "нашем" кафе "Леон" на Ноллендорф-Плац сделал доклад тогда уже известный московский режиссер Таиров. Вслед за ним приезжал Эренбург, Алексей Толстой с женой Натальей Крандиевской. И Крандиевская не побоялась предложить возникшему тогда издательству "Грани" сборник своих стихов для издания. Одно за другим возникали новые русские издательства, открывались русские магазины, библиотеки. Некоторые, как издательство Ладыженского, Дьяковой, Гржебина, существовали еще до Февральской революции, так как с давних пор была в Берлине русская колония. Представлявшие эту колонию — близкие к посольской миссии, представители крупных торговых фирм, банковские дельцы и учащаяся русская молодежь — были усердными потребителями русских книг.

В первые месяцы Первой мировой войны состав этой колонии изменился — не стало посольской миссии, подданные "враждебной страны" вынуждены были уехать, русские студенты были призваны в действующую русскую армию. А потом немногие члены этой давней русской колонии вернулись и сливались уже с новыми эмигрантами.

В 1921-1922-1923 — в годы, проведенные мною в Берлине, русская речь слышна была на улицах, в магазинах, в ресторанах, в кафе... И на эту тему варьировались анекдоты: "Представьте себе, вчера на Курфюрстендамм встретил двух дам, отлично говоривших по-немецки..." или "Своими глазами видел, своими ушами слышал вчера на Кайзер-Плац трех настоящих немцев..."

Надо было пойти поблагодарить Иосифа Владимировича Гессена, позаботившегося о визе для меня. И я была приятно удивлена внушительными размерами дома, где помещалась редакция его газеты "Руль". Это был дом одного из богатейших в Германии издательств "Ульштейн". Благодаря давним дореволюционным связям петербургской профессуры, к которой принадлежал и И. В. Гессен, под редакцию "Руля" Ульштейн великодушно предоставил несколько больших светлых комнат. Встретили меня и Гессен, и ближайший его сотрудник В. Д. Набоков радушно, ласково. И оба они, и забегавшие в кабинет сотрудники были оживлены, бодры, отлично одеты, и такой был у всех у них вид, будто ничего такого не случилось и будто не были они выброшены из своей редакции "Речи" на Итальянской, и будто не на чужбине вовсе, и не в чужом доме пользуются таким приятным помещением.

Мое сотрудничество в "Руле" началось с обоюдных несогласий, споров, компромиссов и уступок. Вот по какому поводу. В те дни вышла в издательстве того же Гессена "Слово" небольшая книжка Алданова "Маленький остров — Святая Елена". Автор ее в тесном литературном кругу был уже известен в России. Еще в 1918 году — в самом начале года — вышел в Петербурге его едва ли лучший из всех написанных им позднее книг большой этюд "Ромен Роллан и Толстой". Уже говорили о нем как о человеке большой эрудиции, как о человеке острого ума. А было ему тогда всего 26 лет. Позицию общественно-политическую он, несмотря на свою молодость, занимал очень почтенную: примкнул к партии трудовиков, слившуюся скоро с народными социалистами. Это была позиция не рискованная, ни к чему жертвенному не обязы-

вавшая и близкая идейно к английским "лейбористам", которые были тогда в моде. В составе членов "лейбор-парти" числились и представители старинной английской знати.

Меня, только что приехавшую из России, из Петербурга, со свежей еще памятью о страшных ночах, о грозных днях, о дамокловом мече, висевшем над каждым из обитателей столицы, имевшем неосторожность высказать громко свое суждение о каком-либо правительственном акте, меня смутила элегантность этой книжки, показался несвоевременным ее светский какой-то тон и легкий удобоваримый скепсис. Тогда — я так полагала — русский писатель, оказавшись вне России и обретший возможность свободного творчества, должен был "глаголом жечь сердца людей". В таком духе и с жаром, отвечавшим тогдашним моим летам, я и написала довольно большую рецензию на эту развлекательную книгу.

Редакторы "Руля" пришли в ужас. Об Алданове! О книге, вышедшей в нашем издательстве, где будут печататься и дальнейшие его книги!.. Вернуть мне статью редакция, однако, не пожелала. Настаивали на сокращениях, я не соглашалась, пожимали мне руки, говорили милые слова, и в конце концов статья с сокращениями, сути ее не менявшими, была напечатана. И надо же было случиться так, что как раз в день появления статьи приехал из Парижа Алданов. И возмутился, прочитав мою рецензию. Мы еще не были тогда знакомы. Только двумя-тремя письмами обменялись, когда я была еще в Ревеле. Редакции "Руля" не трудно было свалить вину за причиненную ему неприятность на меня. Только, дескать "оттуда"... А у "них там, знаете, какие требования сложились к художественной литературе..." Умный Алданов простил мне мое "озорство", как он выразился, и у нас с ним сложились добрые отношения, с годами все улучшавшиеся.

Еще будучи в Ревеле, я списалась с руководителями молодой эсеровской пражской газеты "Воля России"[8]. Она выходила лишь с 12 сентября того же 1920 года. Мои статьи, какие я стала посылать туда, печатались охотно, без сокращений, без изменений. Но в каждом письме редакторы, и горячее всех Лебедев, убеждали меня не давать одновременно статей в

кадетскую газету "Руль". Я отшучивалась и продолжала сотрудничать в обеих газетах.

Должна оговориться: постепенно разряжался во мне вывезенный из России пафос протеста, постепенно угасала во мне уверенность в том, что облегчения ради участи оставшихся "там", в России, надо, дóлжно "глаголом жечь сердца людей". Я не предъявляла уже таких требований к другим, так как сама ничего и никого не жгла. Писала, о чем приятно было писать — рассказы, о новых книгах, о моих скитаниях по Германии.

Первые мои путевые очерки под общим заглавием "По следам Гейне" печатались в "Воле России". И пуритански-строгие партийные редакторы их одобряли, несмотря на "легкий тон и удобоваримый скепсис". Ну, а если серьезные партийные люди ничего такого огненного не требуют, то мне подавно можно остыть и, не подбрасывая угольков в свой внутренний догоравший костер, спокойно есть мороженое с "шлагзане" (со взбитыми сливками). Так постепенно многие всё покорнее мирились с неприятными и приятными сторонами эмигрантского быта, всё меньше скорбели о том, что у "них", оставшихся "там", нет мороженого с шлагзане, всё слабее верили в возможность скорого возвращения домой и всё трезвее сознавали, что надо на долгие, быть может, годы налаживать свою жизнь. На годы, на долгие годы... Слова "навсегда" и "никогда" еще не имели доступа в наше сознание.

Кто мог, посылал в Россию продовольственные посылки. Кто мог. И не только продовольственные. Табак, папиросы, нитки, иголки, лекарства, бритвы "жилэ". Из писем из России, из доходивших до нас недобросовестных и лживых описаний в советских газетах нашего эмигрантского благополучия "не жизнь, а масленица" — за счет, конечно, врагов России — не трудно было догадаться, какие чувства должны были питать к нам оставшиеся в России, к нам, так лихо, весело зажившим, покинув родину в ее самые тяжкие годы.

Стали все яснее обозначаться "рвы" между ними и нами. Те рвы, засыпать которые так страстно стала призывать Е. Кускова[9] Русские издательства, новые и давние, как изда-

тельство Ладыженского, Гржебина, Эфрона, имевшие уже налаженный издательский и распространительский аппарат, издавали с расчетом не только на эмигрантского читателя. Рассчитывали больше на возможность, на скорую возможность перекочевать в Россию, а также на обещанный им представителем России доступ их изданий в Россию. Издатели обманулись в своих расчетах и терпели разорявшие их убытки. Обещанного доступа их изданий в Россию они не получили. Один только З. И. Гржебин за три-четыре года издательской деятельности в Германии выпустил около двухсот сорока книг: произведения русских беллетристов, историков, много книг об искусстве, много научных и детских книг.

Я тотчас по приезде в Берлин получила заказы на переводы от нескольких издательств. Для издательства Эфрона переводила Даутендея[10] "Письма-сказки с острова Явы", для культурного молодого издательства "Грани" Шарля де Костера, для "Невы" — "Возрождение" Гобино[11] и Келлермана[12]. Издательство "Грани" стало выпускать альманах при ближайшем участии Саши Черного, моем и только-только дебютировавшего в литературе 21-летнего Набокова-Сирина. Тогда же приступил к изданию великолепного художественного журнала "Жар-птица" Александр Эдуардович Коган, в России издававший единственную в своем роде газету "Копейка". Газета эта стоимостью в копейку имела огромный сбыт, и это дало ему возможность одновременно издавать еженедельник "Иллюстрированная Россия" — более высокой литературной квалификации.

Банкет по случаю возникновения нового журнала "Жар-птица" был почти что событием литературно-художественного сезона 1920-21 гг. в Берлине. Вся русская литературная, художественная "элита", известнейшие артисты, певцы, певицы, балерины...

Присутствовавшие иностранные гости — редакторы художественных журналов, художники, кое-кто из политических деятелей — были восхищены, изумлены. Русская колония на этом банкете была представлена великолепно, и это значительно, увы, только на время, подняло ее престиж. Дальше

поясню, почему лишь на время прониклись к нам немцы почтением.

Вокруг этих широко поставивших свое дело издателей — Гржебина, Эфрона, "Граней" — группировались художники. Нужны были иллюстрации, обложки, виньетки, заставки. У всех находилось применение своим дарованиям, работоспособности. То, что мы работали на чужбине, как-то, помимо нас, сближало нас. Каждый из нас, не отдавая себе отчета и без расчета, искал нравственной поддержки в другом. К тому времени относится — до эмигрантских писателей дошедшее горьким упреком — известное стихотворение Ахматовой:

Мне голос был, он звал утешно,
Он говорил: "Иди сюда.
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид..."
Но равнодушно и спокойно
Руками я закрыла слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Скоро вслед за появлением в Берлине Алексея Николаевича Толстого, приехавшего, как полагали, зондировать почву, стала выходить небольшая и просуществовавшая недолго просоветская газета "Накануне"[13]. В газете этой высмеивались, и подчас остро и зло, эмигрантские писатели, оплакивалась их горькая участь и славилось привилегированное положение оставшихся на родине писателей и художников.

В конце 1921 года стала выходить в Берлине большая ежедневная газета "Голос России"[14], во главе которой стоял старый, даровитый журналист Поляков-Литовцев[15]. Это была газета содержательная, чутко откликавшаяся на все более или менее значительные политические события, на новинки

литературы. Но своего ярко выраженного идейного лица не было у нее. Внепартийность, нейтральность не отвечали тогда упованиям, ожиданиям эмиграции. И газета очень скоро перешла к эсерам с А. Ф. Керенским во главе. Ближайшими сотрудниками были и партийные сомышленники, и сочувствовавшие направлению газеты: В. М. Зензинов[16], М. А. Осоргин[17], В. Ф. Ходасевич и очень умеренных политических взглядов М. А. Алданов. Алдановым руководили личные симпатии к сотрудникам газеты, назвавшейся "Дни", и еще потому, что газета с первых номеров завоевала читательскую аудиторию свои динамизмом. На газете отражался темперамент ее руководителя Керенского. Ближайшие его сотрудники писали лучше его, но "тон" газете давал он, кипучий, страстный и настойчивый в проведении своих идей. Самых вялых, равнодушных, самых "прохладных" он подстегивал, расшевеливал и зажигал.

О том, как постепенно понижалась духовная температура этого незаурядного человека, — речь будет впереди.

В этой газете Керенского "Дни" я сотрудничала с увлечением с первых ее номеров и до последнего. С 1921 по 1928 год. В Берлине редакция "Дней" помещалась в шестом этаже без лифта, во втором доме на Линденштрассе, за номером три. И расположение квартиры отвечало той конспирации, в какой вынужден был жить тогда Керенский. В крайне-правых кругах русской эмиграции озлобление против Керенского распалялось идейными вождями этой части эмиграции. Не будь Керенского, не будь "Февральской бескровной" — не случилось бы того, что случилось. Милюков и Керенский были главными виновниками распада царской России. Милюков и Керенский были главными застрельщиками великой смуты, выбросившей за пределы страны десятки тысяч людей. Тогда еще только в десятках тысяч исчислялась русская эмиграция. Оба должны были понести заслуженную кару. Керенского в Берлине подстерегали на всех углах. Он никогда не выходил один. Менял часы появления и ухода из помещения редакции. Только благодаря бдительности близких ему людей, только благодаря неусыпной охране не удалось ни одно из жалких

покушений на него. Жалких потому, что выслеживавшие Керенского отлично знали, что за ними тоже следит германская полиция. Германии нежелательны были кровавые русские драмы с русскими лицедеями на ее территории. У нее достаточно было своих забот. При всей дисциплинированности и осведомленности она не сумела предупредить убийство Вальтера Ратенау.

Выстрел, лишивший в летний день 1922 года Германию одного из ее значительнейших, талантливейших людей, не только сочувствием, но и тревогой откликнулся в сознании русских эмигрантов. Убийство Ратенау, тогда министра иностранных дел, было делом рук еще таившейся тогда, еще открыто не выступавшей клики, которую мало-мало кому известный тогда Гитлер формировал для будущих свершений...

От входной двери в помещение редакции "Дней" шел длинный коридор, кончавшийся у двери в кабинет Керенского. Вдоль коридора несколько дверей редакционных небольших комнат были всегда раскрыты, и каждый приходивший незнакомый человек не мог без предварительного опроса продолжать путь в глубь коридора, к кабинету Керенского. Чужому человеку невозможно было проникнуть к нему. И всё же, несмотря на все меры дружеской охраны его от чьей-либо хулиганской выходки, он время от времени таким выходкам подвергался.

Мне лично привелось быть свидетельницей такого, скорее трагикомического, случая. На площадке переполненного трамвайного вагона — я сидела внутри, у самого окна, недалеко от двери — стоял небезызвестный в Берлине русский журналист, в недавнем прошлом галлиполиец, и с откровенным удовольствием уплетал вишни из картуза, который нежно прижимал к сердцу. И вдруг лицо его вспыхнуло и исказилось. Я повернула голову туда, куда уставился он потемневшими от злобы глазами, и увидела в окне двигавшегося рядом с нашим трамвайным вагоном автомобиля Керенского. В то же мгновение, как я заметила его лицо, я увидела и полетевший в автомобиль картуз с вишнями. Кто-то охнул, кто-то вскрикнул. Рассчитывавший своими вишнями размоз-

жить голову Керенского стоял на площадке пристыженный. Вишни и следа не оставили на автомобиле и тотчас были раздавлены другими автомобилями.

Керенскому жилось в то время плохо. Это заметно было и по его одежде, и по его подавленности. Его поддерживали парижские эсеры, Бунаков-Фондаминский[18], человек богатый, лондонские Гавронские и Высоцкие, той же семьи и люди имущие. Он получал значительную субсидию на газету из Праги. Но не надо было большой проницательности, чтобы видеть, чувствовать, как угнетала его и зависимость, и утомительная конспирация, и поднадзорное существование. Поставившие себе целью подвергнуть искупительной каре виновников русской трагедии между тем не дремали. Не Керенский, так в первую голову Милюков.

Когда в русской газете объявлено было о том, что из Парижа приедет Милюков, чтобы прочитать доклад о России перед лицом международного положения, и в русских книжных магазинах открылась продажа билетов на этот доклад, и хозяева, и служащие этих магазинов отметили, во-первых, обилие посетителей, никогда в эти магазины не заглядывавших, и то, что покупали они билеты не на одного, не на двоих слушателей, а пачками. Ясно было, что на доклад Милюкова подготовляется некий подбор публики. Но никому не приходило в голову, что билеты разбираются людьми, хорошо изучившими расположение мест. Лишь позднее выяснилось, что билеты выбирались, отбирались с таким расчетом, чтобы размещение зрителей-слушателей способствовало выполнению преступного замысла. В зале не было бельэтажа, проходы между средним и боковыми рядами были узкие. Всё это, по-видимому, было учтено шедшими на этот доклад с определенным заданием. После того, как кровавое "действо" свершилось, пришлось услышать из многих уст, что какая-то трагедия предвиделась, что многие будто бы обратили внимание (оно так и было) на какие-то таинственные знаки, подававшиеся кем-то из первых рядов в задние ряды.

Я сидела в шестом или седьмом ряду от невысокой эстрады, вернее, подиума с Анной Ильиничной Андреевой,

вдовой Леонида Андреева, и мы ничего не заметили. Обратили мы обе внимание лишь на то, как великолепен, элегантен был в этот вечер В. Д. Набоков. Когда вышли из-за кулис Милюков с Набоковым и тотчас грянул выстрел, всех оглушивший не столько звуком, сколько неожиданностью, и раздались крики "ложитесь на пол!", мы обе успели лишь заметить падающего Набокова и край черного сюртука уходившего за колонну Милюкова.

Другой выстрел — и раздался гул криков, стонов, плача... и не успели мы опомниться, в зал ворвалась ватага немецких полицейских, "шутцманов", ошалелых от злобы, остервеневших от возмущения этими нарушителями порядка, и с криками "вон! вон!.. русская сволочь" — "Heraus! Heraus!.. Russische Halunken..." стали разгонять публику. Мгновенно облетела зал весть, что Набоков убит наповал, Милюков цел. Только на следующий день известно стало, что убийцы — два бывших галлиполийца, Шабельский и Таборийский, не успели убежать из зала и лишь благодаря полиции избежали "суда Линча" — от рук свидетелей — очевидцев преступления.

Комментарии этого события в немецких газетах не могли не отразиться на отношении немцев к нам, эмигрантам, снимавшим у них комнаты. Не укладывалось в головах добронравных немцев и немок, что одни эмигранты, нашедшие приют в Германии, убивают других эмигрантов-соотечественников, тоже в чужой стране нашедших приют.

А когда стало известно, какими заботами окружены в тюрьме Шабельский и Таборийский, и вовсе перестали что-либо понимать. Удивлялись только тому, что из столь скромных достатков "эти русские эмигранты" находят возможность тратить такие бешеные деньги на ежедневную доставку убийцам изысканных блюд, цветов, конфет, тонкого белья, одеколона и всяких верных аптечных средств для борьбы с тюремными клопами и бессонницей. В течение долгих месяцев истинно-русские патриоты состязались в конкретных выражениях нежной благодарности мстителям за их поруганные патриотические чувства.

А было это время, когда иностранцы, в частности, немцы,

считали своим долгом оказывать внимание русским беженцам. В первые месяцы, в самые первые годы русской эмиграции русский писатель, художник, музыкант мог еще рассчитывать на действенный отклик собрата по перу, по кисти, на товарища по профессии. Когда к Алексею Михайловичу Ремизову стали придираться его квартирные хозяева якобы за разбитую тарелку, а в действительности просто пожелавшие избавиться от такого ненадежного жильца, какой может вдруг взять да выстрелить в своего же соотечественника, Ремизов, не колеблясь, обратился к Томасу Манну. (Конфликт с квартирными хозяевами не замедлил разрастись в конфликт с берлинской полицией, усомнившейся в праве "этого русского" пребывать на территории Берлина.) И Томас Манн не замедлил откликнуться, сделать всё, что надо было сделать, чтобы Ремизова оставили в покое. Он написал ему письмо — привожу его полностью:

"Глубокоуважаемый Герр Ремизов, узнаю, что русские в Берлине переживают какие-то затруднения, чинимые им администрацией по поводу права жительства. Я убежден, что перед Вашим именем эти затруднения должны прекратиться. И я не могу не сказать Вам, что мне было бы очень прискорбно, если бы с Вами случилось что-то неприятное в Германии. Я того мнения, что Германия должна гордиться тем, что один из первых русских писателей современной России находится в настоящее время в Берлине. С удовольствием вспоминаю встречу с Вами в прошедшем году. Мне было в высшей степени приятно и ценно познакомиться с Вами лично.

С совершенным почтением и сердечным приветом Вашим соотечественникам*, с которыми я познакомился у Вас.

Очень преданный Вам
Томас Манн"

* Это были Андрей Белый и Борис Пильняк.

Томас Манн русского языка не знал. Ни Ремизов, ни Пильняк не говорили по-немецки. Один Андрей Белый. Он один говорил за всех. И все трое, взвинченные, темпераментные, взвихренные и кипучие, не могли не пленить благородного, сдержанного в проявлении своих чувств, по внешнему облику с головы до ног внушительно-серьезного, с налетом неподдельной печали в глазах Томаса Манна.

Ни Пильняк, ни Андрей Белый не были переведены тогда на немецкий. Томас Манн мог лишь прочесть кое-что из почти непереводимого ни на какой иностранный язык произведений Ремизова. Но он поверил на слово немецким переводчикам, знавшим русский язык, и уверовал в Ремизова. Ремизова уже в самые последние годы стали переводить во Франции, и даже хорошо переводят теперь, но французы его, конечно, не понимают и — одни из снобизма, другие из расположения к нему лично — читают и хвалят. Ни стиль, ни темы, ни строй литературной речи Ремизова совершенно не укладываются в рамки другой, не русской речи. Мне говорили, что речь болгарская, сербская восприимчивее к складу ремизовского письма. Не зная ни болгарского, ни сербского, я не имела возможности удостовериться в этом.

Письмо Томаса Манна, приведенное выше, возымело действие, какого Ремизов ждал. Его оставили в покое. Но как далек был Томас Манн, дальновидный и умный, от предположения, что через каких-нибудь шестнадцать-восемнадцать лет он сам будет переживать драму оторванности от родины и станет подданным чужой ему по духу страны.

Голод после двух неурожайных лет, обрушившийся в 1921 году на несколько центральных русских губерний, на нашем эмигрантском существовании едва-едва заметно отразился. Разве тем, что продовольственные посылки из Америки, предназначавшиеся преимущественно беженцам из России, рассеянным по разным странам Европы, стали направляться главным образом в Россию, частью через эмигрантские организации. И как ни великодушен был этот жест Америки, это всё же представляло собой каплю в море страшного бедствия.

Голод в России и сведения о том, что на посильную

помощь жертвам этого стихийного бедствия устремились лучшие, действенные силы огромной страны: молодые, немолодые, врачи, студенты, студентки, профессора, умелые организаторы — все это внесло в среду русской эмиграции оживление совсем особого рода. В эмигрантской печати, на собраниях всё резче, всё страстнее звучали обвинения по адресу советской власти, не сумевшей отвратить от населения эту катастрофу. От обвинений, от обличений был естественен переход к сначала осторожным, а затем к всё более откровенным упованиям на то, что голод должен был неминуемо вызвать недовольство в пораженных голодом местах и распространиться по всей России, и это недовольство повлечет за собою падение советской власти.

Тем временем росла подозрительность советской власти и недоверие к внепартийной интеллигенции, устремившейся на действенную, жертвенную помощь голодающим. Укреплению этого недоверия, несомненно, в значительной степени способствовал безопасный для находившейся вне России эмиграции пафос ожиданий на падение советского режима. Сперва глухо, а затем всё внятнее стали доходить слухи об арестах, о тюрьмах, населяемых героически работавшими в "голодных местах". Немногие — и лишь носители известных и за пределами России имен — высылались из России. В июне 1922 года появились в Берлине проф. Сергей Николаевич Прокопович[19] с женой Е. Д. Кусковой, а там пошли уже групповые высылки.

Троцкому приписывается признание: "Мы предпочитаем выслать вас за границу, чем расстреливать или сажать в тюрьмы". Советское правительство обратилось тогда к германскому консулу в Петербурге с ходатайством о визах для высылаемых. И германский консул ответил, что желание советского правительства исполнить не может, так как Германия не место ссылки. Но если сами высылаемые пожелают получить визы, они их получат. Так и было сделано, и визы немедленно были даны. В октябре выехала из России самая многочисленная группа "не желательных России людей" — в составе 250 человек. Были среди них Бердяев, Лосский, Осоргин, Хода-

севич с Ниной Берберовой, Ремизов, Кизеветтер, проф. Айхенвальд и многие другие.

Юлий Исайевич Айхенвальд тотчас вступил в состав сотрудников "Руля", и литературные среды со статьями Айхенвальда стали главной приманкой газеты. Прокоповичи, Кизеветтер, Лосский и еще несколько человек скоро уехали в Прагу, где рассчитывали найти более благоприятные условия для своей работы. Кто мог, уезжал в Париж. Новые эмигранты не скоро нашли общий язык с осевшими уже, приятно, уютно устроившимися уже вне России. Очень был разный подход к русской действительности у Е. Д. Кусковой, например, у Осоргина — и у находчивых, предприимчивых русских людей, ломавших большие дела в Германии и успешно продававших доверчивым дуракам концессии на проведение железных дорог, трамваев, на эксплуатацию всяких "Bodenschätze" (природных богатств) в России, скорое освобождение которой от большевиков неминуемо. Мало внимания было уделено в печати того времени одному эпизоду, чрезвычайно характерному для освещения того раскола, какой уже обозначался между советской артистической, художественной элитой и эмигрантами, утверждавшими высокое значение русского искусства вне России.

Знаменитая Анна Павлова, узнав о голоде в России, послала балетной труппе Мариинского театра, в которой сама, и еще так недавно, состояла, двести тысяч франков. И балетная труппа Мариинского театра в Петербурге дар этот отвергла. Деньги были возвращены Анне Павловой.

В то же лето 1922 года советская власть разрешила значительной, хорошо представленной труппе актеров Александринского театра гастроли в Берлине и Праге. Руководил этой гастрольной поездкой петербургским театралам хорошо знакомый артист и режиссер А. И. Долинов. Когда-то давно, еще при старом режиме, приезжал он в Берлин вместе с Савиной. В свое время подробности этой триумфальной гастрольной поездки, внимание императора Вильгельма к любимице русского Двора, интервью с Савиной, которую берлинские репортеры своими глазами видели возлежащей на текинских

коврах и черпавшей золотой ложкой из стоявшего перед нею бочонка с черной икрой, — долго развлекали русских читателей русских газет. Большинство посетителей давних гастролей Савиной были не русские и восхищались они игрою Савиной так же, как игрою "первого любовника" александринской труппы "jeune premier", красавцем Аполлонским.

Переполнен бывал театр, где выступала александринская труппа и летом 1922 года — но исключительно русскими, и эти русские так уже не похожи были на давних, дореволюционных русских обитателей Берлина. В гастрольной труппе 1922 года русские эмигранты радостно, бурно встречали, кроме Долинова и Аполлонского, который, несмотря на седые волосы, всё еще был очень собою хорош, старых любимцев петербургских театралов Кондрата Яковлева и Горин-Горяинова. Пьесы "Профессор Сторицын", "Смерть Тарелкина", "Благодетели человечества" проходили по два-три раза с аншлагами, и, конечно, не обходилось без слез и без криков из партера и с ярусов: "Привет родине!" — "Возвращайтесь... Когда опять приедете?" — и цветы, цветы, цветы...

После отъезда труппы русские театралы, отрезвев, перебирая в памяти пережитые впечатления, начинали сопоставлять достоинства отечественных артистов с игрою артистов немецких. А немецкий театр был представлен в те годы великолепно такими артистическими силами, как Макс Рейнгард, Александр Моисси, Герман Тиммиг, Ирен Тиш, Герма Басс, и Краус, и Бассерман, и Кете Дорш, — перечень талантливых немецких артистов, каких могли перевидать тогда русские театралы, занял бы слишком много места.

Но общий вывод таких сопоставлений всегда был в пользу русского искусства. И сколько раз привелось слышать: "Да, да, хорошо у них, у немцев... что говорить... И много новизны, и смело, и увлекательно... Но у Станиславского всё же лучше... И нет в игре чего-то, ну, чего-то, что и не сказать словами... За душу не берет, слез не вызывает..." В точном переводе этих высказываний это означало: "Везде хорошо, но дома лучше". Но "дома" на эмигрантском языке означало тогда "давнее,

прежнее, то, что нам запомнилось, то, с чем память наша спаяна".

Новое в русском искусстве в те же, первые двадцатые, годы не воспринималось русскими эмигрантами. О великолепных постановках Мейерхольда — "Леса", "Ревизора", "Великолепного рогоносца" бельгийского драматурга Кромелинка — писали иностранные корреспонденты в берлинские, франкфуртские, венские газеты. Мы, эмигранты, относились к ним недоверчиво, сваливали энтузиазм иностранцев на искусно поставленную пропаганду. К Мейерхольду ездил учиться Эрвин Пискатор, заимствовавший у Мейерхольда новые приемы режиссерского искусства, которыми он восхищал немецких театралов по возвращении в Берлин. Известный тогда американский театральный критик Джон Мэзон Браун в течение долгих месяцев пребывания в Москве добросовестно и увлеченно изучал режиссерское творчество Мейерхольда. К нему ездили учиться режиссеры из Франции, Англии, Америки. В художественных журналах западных стран, в скандинавских и американских печатались о постановках Мейерхольда обширные статьи. Мы, эмигранты, о нем молчали. Для эмигрантов он был прежде всего человек, примкнувший к "ним", оставшийся в России, вместо того, чтобы уйти из России вслед за ядром русской интеллигенции, вслед за писателями, учеными, политическими и общественными деятелями и на чужбине утверждать русское искусство. В пример ему приводились Дягилев и Александр Бенуа. Еще — Шаляпин, Мясин. Сумели же эти вознести русское искусство на высоты, которых оно никогда не достигало вне России. И лишь изредка и с глазу на глаз двое знавших, помнивших Мейерхольда могли поговорить по душам, что для осуществления своих грандиозных замыслов, для своих гениальных дерзаний никогда не нашел бы он таких технических возможностей, таких фантастических денежных средств, какие предоставлены были ему в России.

Судьбою Мейерхольда эмиграция русская заинтересовалась, лишь когда стало известно, что он арестован и отстранен от режиссерской деятельности.

Точно так же была глуха эмиграция и к судьбе остававшегося в России, как и Ахматова, Александра Блока. И к нему тоже возник интерес, когда дошла весть о его смерти. Выступавшие на вечере в память о Блоке М. А. Алданов и молодой Набоков-Сирин в своих речах подчеркивали именно пагубное влияние большевистских вождей и на творчество, и на здоровье Блока. И несколько только робких слов сказано было о том, что духовный склад Блока, его талант не находил и не мог находить вне России отвечавшего ему духовного "климата". В этом отношении он сродни был Чехову, который тоже мог писать, творить, дышать полной грудью только в России.

Никого из новых эмигрантов не чуждаясь, но и ни с кем не сближаясь, подолгу живал в те первые двадцатые годы и Горький в Берлине. Издавал при ближайшем сотрудничестве Ходасевича ежемесячник "Эпоха", вернее, альманах. Журнал выходил нерегулярно. Старался привлекать молодых даровитых и, не находя их, удовлетворялся чужими потугами на оригинальность, на смелость. Самыми интересными страницами в книжках "Эпохи" были теоретические статьи об искусстве, о литературном творчестве и критические статьи Ходасевича. Журнал отцвел, не успев расцвести. Летом 1922 года Горький жил целым "двором" в приморском городке Герингсдорф. Жил большой своей семьей и всегда окруженный нуждавшимися не столько в его литературной, сколько материальной, поддержке, заказывал переводы иностранных авторов направо и налево, и лишь малая-малая часть этих переводов увидела свет. Принимал иностранных журналистов и искавших знакомства с ним левого толка иностранных писателей и политических деятелей. "Двор" Горького в Герингсдорфе был своего рода неофициальным представительством советской власти. Поговаривали, однако, что находился он под негласной опекой верных советских людей. И надо воздать должное такту русских эмигрантов того периода. При всем несочувствии той политической позиции, на какую встал Горький, в нем чтили прежде всего прекрасного русского писателя, которого уже хорошо знала Европа и пьесы которого

шли с успехом на европейских сценах. Пьеса его "На дне" в великолепной постановке Макса Рейнгарда неизменно привлекала русских зрителей, повидавших ее и в России, в Московском Художественном театре и в провинции. С писателями, не разделявшими его идейных и личных симпатий к советским властям, Горький, однако, не сближался. Даже с близкими своими сотрудниками недавнего времени в созданном им издательстве "Всемирная литература" прежних добрых отношений не возобновлял.

Как в 1920, в 1921 годах, так и в 1922-м и позднее, в 1923 году, эмигранты чутко, жадно ловили, раздували, расцвечивали долетавшие из-за рубежа слухи о вспышках недовольства то в одной, то в другой русской губернии, чая видеть в этих вспышках близкое осуществление своих упований на близкое-близкое падение советской власти.

Эмигрантские дети ходили в немецкие школы, но дома говорили по-русски. Русская разговорная речь не пестрила еще, не искажалась еще иностранными словами. Денационализация еще не начиналась. Беженцев же прибывало всё больше и больше. Прибывали имущие, но больше малоимущие. И быстро налаживались комитеты помощи. Денежные сборы, спектакли, концерты в пользу той или другой благотворительной организации. Имели сбыт русские кустарные изделия. Русские рестораны и русские гастрономические магазины приохочивали немецких гастрономов и бойко торговали.

До поры, до времени.

Неожиданно стало известно, что на германских заводах, фабриках все чаще и чаще отказывают в приеме русским рабочим. На Германию надвигалась черная тень экономического, финансового кризиса. Марка стала падать. И поднял голову зловещий "черный рынок". Цены на предметы первой необходимости росли не по дням, а по часам — в буквальном значении этих слов. Папиросы, масло, утром оплачивавшиеся двузначной цифрой, к вечеру нельзя было уже достать за цену втрое-вчетверо больше. Шепотом, а там все громче, всё внятнее зазвучало слово "девальвация... девальвация..." У русских

эмигрантов, располагавших возможностями покупать масло и кофе по астрономическим ценам и неосторожно делать кое-какие продовольственные запасы, портились отношения с соседями-немцами, не располагавшими такими возможностями. Недохватки, недовольство в стране неминуемо должны были вылиться в шумные протесты против власти, доведшей страну до нарушения ее только было наладившейся после войны приятной жизни, и одновременно — в ксенофобию. Без иностранцев было бы легче.

Глухо, тайно что-то злое, грозное уже назревало в стране. Упорно, еще незримо и неслышно уже выковывалось в недрах страны фантастически вооружавшееся наукой, вековой мудростью, внешне пленительными атрибутами блеска, дисциплины, мнимого героизма и жертвенности то жутко-иллюзорное, трагическое и в сущности своей обманчивое, что еще скромно именовалось патриотизмом и лишь несколько лет спустя вылилось в движение национал-социализма, весь мир озарившего кровавым заревом.

Становилось неуютно в недавно еще уютном Берлине. Заметно стала редеть "верхушка" эмигрантской русской интеллигенции. Из-за вздорожания бумаги и рабочих рук разорялись русские издательства. Уехали в Париж Зайцев, Ремизовы; Осоргины — в давно им близкую, почти родную Италию; уехали в Париж Алданов с молодой женой — лишь за год до того он женился на своей кузине. Всех раньше уехал Андрей Левинсон, которого ждали в Париже его литературные друзья и где он скоро стал заметной фигурой в литературном мире Франции. Говорил он и писал по-французски, как француз. Труднее всего было сняться с места людям семейным и связанным делами, деловыми отношениями с немцами. Но и эти постепенно ликвидировали дела и уезжали. В Лондон, в Италию, в Швейцарию, где была какая-нибудь зацепка: родственная, дружеская или профессиональная.

Рвалась в Париж, давно мне знакомый и любимый, и я. И письма из Парижа получались зазывные, волновавшие: в Париже дышится легче, чем в какой-либо другой европейской

столице. В Париже три русских типографии и русские книжные магазины. "Добудьте визу и приезжайте..."

Количество русских эмигрантов, стремившихся в Париж, было так значительно, что получить в те дни визу было дело совсем не легкое. Случилось так, что приехал к Керенскому по партийным делам его друг Владимир Осипович Фабрикант. Уже давно натурализованный, со многими видными французскими политическими деятелями хорошо знакомый и сам благожелательный, Фабрикант долго не заставил себя просить о содействии мне в получении визы. Я получила ее через две недели после его отъезда в Париж. Надо было еще добывать визу транзитную через Бельгию, надо было проститься с редакциями "Руля" и "Дней", с издателями, с друзьями. Услышать от одних добрые напутствия, от других утешительное "до скорой встречи в Париже", от иных сокрушенное "когда-то еще увидимся..."

21 сентября 1923 года я — помню живо — взбудораженная, взволнованная уезжала из Берлина и 23 сентября приехала в Париж. Впереди была новая в новых условиях работа, новая борьба за существование, новые знакомства, новые люди... Новая жизнь... Что-то она мне даст?

Примечания

1. Иоффе Адольф Абрамович (1883-1927), с апреля по ноябрь 1918 г. — первый дипломатический представитель Советской России в Германии; в 1921 г. принимал участие в переговорах с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей; после исключения Троцкого из партии эсеров застрелился.

2. Чернов Виктор Михайлович (1873-1952), лидер партии эсеров, министр сельского хозяйства во Временном правительстве, с 1920 г. — в эмиграции.

3. "Народное дело". Ежедневная газета. Орган Комитета группы социалистов-революционеров Северо-Западной области. 1920-1921.

4. Негласный Комитет — Александра I.

5. Газета "Руль". Выходила ежедневно в Берлине при ближайшем участии И. В. Гессена, А. И. Каминки и В. Д. Набокова. 1920-1931. — Орган партии к.-д.

6. Гессен Иосиф Владимирович (1866-1943), один из основателей партии к.-д., публицист. С 1919 г. — в эмиграции (Финляндия, 1920-36 — Берлин, 1936-42 — Париж, 1942 —Нью-Йорк).

7. Пуни Иван Альбертович (1894-1956), художник-модернист; жил в Париже до 1914 г. и вернулся туда после 1917.

8. Газета "Воля России". Орган партии эсеров, выходила в Праге в 1920-21 гг.

9. Кускова Екатерина Дмитриевна (1869-1958), политический деятель, публицист, жена теоретика партии к.-д. С. Н. Прокоповича.

10. Даутендей Макс (1867-1918), немецкий писатель и художник, много путешествовавший по Восточной Азии.

11. Гобино Жозеф Артюр (1816-1882), французский дипломат, социолог и писатель; находился на дипломатической службе преимущественно в странах Востока.

12. Келлерман Бернхард (1879-1951), немецкий писатель. Наиболее известные произведения: романы "9 ноября" — о ноябрьской революции в Германии (1920) и "Пляска смерти" (1948).

13. "Накануне". Ежедневная газета под ред. Б. В. Дюшен, Г. Л. Кирдецова, С. С. Лукьянова. Берлин. 1922-24.

14. "Голос России". Ежедневный орган независимой политической демократической мысли. Берлин. 1919-1922.

15. Поляков-Литовцев Соломон Львович (1875-1945), журналист, один из деятелей партии эсеров.

16. Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953), один из лидеров партии эсеров, публицист.

17. Осоргин Михаил (Ильин Михаил Андреевич, 1878-1942), писатель, журналист, основатель Книжной лавки писателей в Москве, выслан из России в 1922 г.

18. Бунаков-Фундаминский (Фондаминский) Илья Исидорович (1879-1942), один из лидеров партии эсеров, публицист. Из той же семьи, что и лондонские Гавронские и Высоцкие.

19. Прокопович Сергей Николаевич (1871-1955), профессор, экономист, политический деятель, теоретик партии к.-д. Выслан из России в 1922 г.

ПОДПИСКА
НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

(В указанные цены входят почтовые расходы)

Обычной почтой:

	6 мес.	1 год
Франция:	280 F	450 F
Другие страны:	450 F (90 $)	700 F (140 $)

Авиапочтой:

Европа и Северная Африка:	500 F (100 $)	800 F (160 $)
Израиль, Иран:	580 F (116 $)	850 F (170 $)
Америка, Южная Африка:	620 F (124 $)	950 F (190 $)
Австралия, Япония:	720 F (144 $)	1000 F (200 $)

Редакция и контора : 217 rue Fb. St. Honore, 75008 Paris

Письма К. Д Бальмонта А. Ранниту

Публикация Ж. Шерона

Последние годы жизни поэта Константина Бальмонта (1867-1942) были проведены в ужасной нужде и тягостном одиночестве. Попав за границу в 1920 г., этот популярнейший из поэтов дореволюционной России сразу начал печататься в эмигрантских газетах. До середины тридцатых годов Бальмонт выпустил шесть сборников стихов, один роман, книгу рассказов, две книги эссе, шесть книг переводов, книгу на французском языке о своих путешествиях и напечатал сотни газетных статей. Но, несмотря на всю его творческую плодотворность, отношение к Бальмонту со стороны публики и критики коренным образом изменилось. Творчество Бальмонта больше не отвечало эстетическим вкусам новых читателей. Когда последняя книга Бальмонта "Светослужение" вышла в Харбине в 1937 г., критика встретила ее молчанием. Забытый всеми и живущий подачками своих бывших поклонников, Бальмонт кочевал с одного места жительства на другое, пока он с женой не осел в старческом доме под Парижем. Там Бальмонт умер в декабре 1942 г. во время немецкой оккупации.

В 1937 г. начинающий эстонский поэт Алексис Раннит (1914-1985), впоследствии известный искусствовед, литературный критик и куратор славянской коллекции при Йельском университете, написал письмо Бальмонту. Раннит был одним из тех немногих почитателей Бальмонта, которые пытались его поддержать и материально, и душевно. Живя в Прибалтике, Раннит сотрудничал в местных русскоязычных газетах, а также печатал по-эстонски и по-литовски статьи о русской литературе, в том числе и о Бальмонте.

Прибалтика как творческая тема в поэзии Бальмонта

важна, особенно Литва. Литва, ее культура и язык очень привлекали Бальмонта всю его жизнь. Его многолетняя дружба с литовским поэтом Юргисом Балтрушайтисом (1873-1944) хорошо известна. В годы эмиграции Бальмонт перевел на русский язык несколько литовских народных песен и посвятил целый поэтический сборник Литве: "Северное сияние" (1931). В 1930 г. Бальмонт совершил триумфальное турне по Литве. В письмах Ранниту Бальмонт рассказывает о своем интересе к Литве и Эстонии.

Письма Бальмонта печатаются с любезного разрешения Института литовской литературы в Вильнюсе.

Ж. Шерон

26 av. Chilperic, 26
Noisy-le-Grand, S.-O. 1937. 21 июля.

Дорогой поэт, Алексей Раннит, ласковое письмо Ваше ко мне и книга Ваших стихов, "Akna Raamistuses"[1], несмотря на неверный адрес, благополучно дошли до меня. Спасибо. Мы уже полгода живем не в Thias, а в более живописном местечке, Noisy-le-Grand, в département Seine-et-Oise (на конверте довольно кратко S.O.).

Стих мой "Альбатрос", из книги "Горящие здания"[2], согласно Вашему желанию, переписываю и здесь прилагаю. Хорошо, если переведете его на Ваш певучий Эстонский язык. Мне не пришлось изучать его, но я два лета прожил в красивой, прозрачной Эстонии, в Меррекюле и в Силламэгги[3], знаю и помню, как певуче перекликаются и поют эстонцы и эстонки. А кроме того, одна из близких мне дорогих полушведка—полуполька, княгиня Дагмар Шаховская, урожденная баронесса Lilienfeld, обрусевшая, не однажды напевала мне эстонские песни[4].

Но в этом стихе Альбатрос взят мною в лике статическом, недвижном. А он — как раз воплощенная динамика, движение. Перелететь, не останавливаясь, семь морей для него совсем просто. Прилагаю для Вас и этот мой стих, "Хочешь

ли", где я пропел движущийся лик Альбатроса[5]. Стих этот пропелся во время счастливых моих скитаний по Великому океану в 1912-м году. Со мною была там, и ныне здесь со мной делящая дни мои, жена моя Елена Константиновна Цветковская-Бальмонт[6], с которой я изъездил чуть не все страны Земного Шара.

Прилагаю свою фотографию прошлой осени. Это — лично Елен. Конст. принадлежащая карточка, но, растроганная Вашим сердечным письмом ко мне, она уступила ее для Вас. Делал ее знаменитый глазной врач, проф. Ал-р Петров. Прокопенко.

Книга Ваша пестрит именами моих литовских друзей. Более всех я ценю Людаса Гиру[7]. Он мне и люб как тонкий лирик, и именно он помог мне овладеть литовским языком.

Всего лучшего Вам, певучая душа.
С преданностью
К. Бальмонт

2

Нуази
1937. 10 августа. *Алексею Ранниту*

Дорогой Поэт,

Мне нездоровится сейчас, потому пишу Вам лишь несколько слов. Благодарю Вас за неизменно сердечное Ваше письмо от 31-го июля и за газетно-книжный подарок. Майронис — высокое имя[8]. Через него я когда-то вступил в обладание разнообразными сокровищами литовской поэзии. Книга Hanno Kompus "Das malerische Estland" очень ценная как художественное воссоздание Вашей прелестной, волшебной, певучей родины, которую, узнав однажды, уже не забудешь никогда. Как я Вам, кажется, уже говорил, Мерекюль и Силламэгги — для меня — два светлые ключа живой воды.

Не огорчитесь и не удивитесь моей следующей просьбе: не посылайте мне более, пока, никаких книг. У меня столько накопилось разноязычной литературы, что малое мое помещение все заполнено ею.

Буду ждать Вашей обещанной статьи обо мне в "Lietuvos Aidas" и знаю, что буду ею очень растроган.

Вы — воплощение сердечной ласки.

С преданностью
К. Бальмонт

3

Нуази.
1937, 1 сентября.

Дорогой Алексей Раннит,

Исполняю Ваше желание и шлю стих "Высокий дом"[9]. Передайте его по назначению этому содружеству.

Фотографий моих у меня больше сейчас никаких нет. Когда будут, пошлю.

Еще раз благодарю за все полученное и жму Вашу руку.

Преданный Вам
К. Бальмонт

4

Нуази
1937. 23 сентября.

Дорогой Алексей Раннит,

Вы писали мне 15 сентября, что от "Kaunis Kodu" мне были высланы 120 франков. Спасибо, но я этих денег не получил. Справьтесь, пожалуйста, что это значит. Были ли они посланы?

Вы просите биографических указаний обо мне. Вы

найдете кое-что в "Энциклопедии" Брокгауза и Эфрона, в "Британской Энциклопедии", в "Критико-биографическом словаре" Венгерова, который написал целую книгу на тему "От Пушкина до Бальмонта". Есть также целая монография обо мне на немецком языке, но имена их авторов сейчас ускользают из моей памяти. Поискав, Вы, наверно, все это найдете.

Если припомню еще что-нибудь, напишу дополнительно. Вы можете также выписать через любую свою книжную лавку из Парижа две книги: C. Balmont. *Quelques Poèmes*, traduction de René Ghil et de M-me Alexandra de Holstein, ed. Crès, и C. Balmont. *Visions Solaires*. — Maison Bossard. Это описание моего кругосветного путешествия по Мексике, Египту, Индии, Японии, Океании[10]. 1-ая 1916 года, 2-ая 1923-го. Теперешних адресов этих издательств я не знаю.

Вот и все пока. Жму руку. Всего лучшего.

Ваш К. Бальмонт.

5

1937. 15 ноября.

Дорогой поэт Алексей Раннит,

Сейчас получил 3 экз. №-а 5 "Kaunis Kodu", вчера Ваше письмо от 9. XI. Отвечаю на вопросы. Недели уж 2-3, как мать художника прислала мне 200 франков. Спасибо. Ответил ей. "Literaturos Nauienos" со статьями к моему юбилею давно получил.

Ваша статья обо мне как о музыканте стиха — образцовая и полна угаданий (сужу по Вашему русскому переводу отрывков из нее). Как я уже, кажется, писал Вам, сотни романсов написаны на мои слова. Указания на это — в "Критико-биографическом словаре Русских писателей" С. А. Венгерова, СПб[11], — особенно в его монографии "От Пушкина до Бальмонта".

Вы хотите предложить мне разные вопросы. Спросите — посильно отвечу.

Жму руку и приветствую.

Преданный Вам
К. Бальмонт

6

1938. 22 января.
Нуази.

Дорогой Алексей Раннит,

Исполняю Вашу просьбу, вот 4 [*нрзб.*] с посвящением означенным Вами лицам, хотя я их не знаю.

Ответить на Ваш запрос трудно. В Эстонии я написал много стихов и целых книг. Главное: в Меррекюле "Только любовь"[12] и в Силламэгги — "Фейные сказки"[13]. Но это далеко не все.

Благодарю Вас за переводы, конечно, хорошие, "У моря ночью" и "До последнего дня"[14].

Вас и Эсти[15] искренне люблю.

Ваш
К. Бальмонт

ПРИМЕЧАНИЯ

1. A. Rannit "Akna Raamistuses", Kaunas, 1937.

2. К. Бальмонт "Горящие здания". Москва, 1900.

3. Бальмонт провел лето 1903 г. и 1904 г. в дачных местностях Эстонии.

4. Переписка Бальмонта с Д. Шаховской напечатана в "Новом журна ле", № 176, 1989, сс. 215-242.

5. Стихотворение вошло в сборник "Белый зодчий", Санкт-Петербург, 1914.

6. Елена Константиновна Цветковская (1880-1943) — третья жена Бальмонта.

7. Людас Гира (1886-1946) — известный литовский писатель.

8. Ионас Майронис (1862-1932) — литовский поэт.

9. Бальмонт, наверное, имеет в виду свое стихотворение "Изящный дом (Kaunus Kodu)", которое он посвятил Ранниту; см. "Новый журнал", № 116, 1974, с. 161.

10. Бальмонт посетил Мексику в 1905 г., Египет в 1910 г., а Японию в 1916 г. Свое кругосветное путешествие Бальмонт совершил в 1912 г.

11. "Русская литература XX века", под ред. С. А. Венгерова, т. 2, Москва, 1915, сс. 143-149.

12. К. Бальмонт "Только любовь", Москва, 1903.

13. К. Бальмонт "Фейные сказки", Москва, 1905.

14. Стихотворение "У моря ночью" из сборника "Только любовь" стихотворение "До последнего дня" из бальмонтовского сборника "Тишина" (1898).

15. Т. е. Эстония.

П. П. Шибанов

Севастопольский эпизод

(Полвека со старой книгой и ее друзьями)

Конец июня 1934 г. На днях мне исполняется ровно 70 лет и начинаю писать свои "Воспоминания". Только н а ч и н а ю и только теперь! Не правда ли, как будто бы немного поздновато, на краю могилы. Да и начинаю я, воспользовавшись лишь первым светлым проблеском за целые полгода своей упорной болезни, приковавшей меня к постели...

Я был на краю конца; доктора отказались меня лечить, и все окружающие смотрели на меня, как на отпетого. Да я и сам вполне разделял это настроение, считая каждый свой вздох последним. Своим семейным я делал предсмертные наставления, наказы; в более светлые минуты я говорил о своей библиографической библиотеке, указывал, что в ней есть хорошего, выдающегося, перечисляя своих любимцев, пребывание которых в библиотеке доставляло мне много радости; я вправе был гордиться такими вещами, как "Камерный каталог Академии Наук 1742 г.", Плетнева; "Список русских писателей 1836 г."; Руссова "Словарь женщин-писательниц 1826 г.", Скиады "Каталог Синодальной Библиотеки 1723 г." и т. п. Я делал наказы, чтобы их чтили и после меня и не смешивали с вещами ординарными.

И вот, неделю тому назад мне стало лучше. Стало лучше как раз в такое время, когда я пренебрег большинством прописанных мне лекарств, оставив только йод и дигиталис. Пропала одышка; исчезли все признаки, сопровождающие расширение легких, как тошнота, которая нередко навещала меня; все отправления стали нормальными и, о, чудо... я,

прикованный к дому и постели более полугода, стал совершать прогулки, правда, пока небольшие, но все же, около километра, и мне сходило это с рук совершенно безнаказанно.

Но как, однако, случилось, что я, доживши до 70-ти лет, не удосужился приняться за мемуары. Были ли у меня раньше к этому побуждения, наводил ли кто-либо меня на мысль писать мемуары? Да, и даже очень. И я сам, вращаясь в книжном мире более 50 лет, перевидал на своем веку столько любопытного, соприкасался с таким количеством интересных людей, и я сам чувствовал, что запечатлеть многое из пережитого нужно, что уносить все это с собой в могилу прямо преступно; и многое другое давно, давно и настойчиво убеждало меня в необходимости оставить после себя мемуары, зная, насколько обильно насыщена моя долгая жизнь всякими книжными сведениями, что стоило только, как в нефтяном источнике, пробуравить отверстие, как нефть забьет фонтаном. Но, очевидно, глубоко лежал в земле этот источник, что прорвался он наружу только теперь? Нет, тысячу раз нет. Попытки начать писать не раз у меня были, что видно из ряда моих научных докладов, из которых многие носили характер воспоминаний, биографических очерков и характеристик <...>

Оказывается, надо было серьезно заболеть, слечь на полгода в постель; подняться полным инвалидом, бросить службу, перейти на пенсию; испросить у природы на некоторое время себе отсрочку от неизбежного конца и засесть за писание, правда, со многими лишениями. Мне запрещено курить, а я был заядлый курильщик; мне запрещено вкушать винное зелье, а я, хотя, собственно, не злоупотреблял никогда, но любил иногда пропустить рюмочку. Мне запрещено делать прогулки из опасения внезапного разрыва сердца. Мне широко предоставили воздух, которым я, действительно, обильно и пользуюсь, пребывая вот уже месяц на даче на ст. Клязьма, в чудесной сосновой роще.

Но почему мне стало лучше, я прямо недоумеваю. Ведь привезли меня сюда 19-го мая, на такси от места до места, в плачевном состоянии; ведь я не мог двигаться и кончил тем, что прямо лег в постель. И теперь вот, спустя 3 недели, сижу

на террасе и пишу, вдыхая аромат сосны. Неужели воздух! Надолго ли? Неужели все это внезапно прервется и, может быть, навсегда, что, конечно, всего и вероятнее, как говорит правдивая, хотя и не очень красивая народная пословица: на леченой кобыле не наездишься <...>

Пока я чувствую себя сносно, не буду отступать от порядка, в котором я задумал вести "Воспоминания". Исключение сделаю лишь для одного э п и з о д а, происшедшего уже в конце моей книжной карьеры и имевшего роковые для меня последствия, потому что с этого времени и начинается моя болезнь, изменившая весь строй моей жизни. Об этом эпизоде стоит рассказать именно теперь, из опасения, что иначе, как один из последних, он никогда не увидит света.

Было это в 1931 г. В этот год свой отпуск я проводил на южном берегу Крыма, в Алупке. Наслаждался красотами Воронцовского парка, взирал на разные кедры ливанские... Купался в море, правда, с чрезвычайно неважным пляжем с острыми камнями; ел инжир (винные ягоды), растущий у нас в саду; время от времени посещал прославленную Воронцовскую библиотеку, находя в ней, впрочем, мало услады для любования (масса разрозненных иностранных книг с выцветшими корешками, сделавшихся из красных — бурыми). Это не главная Воронцовская библиотека, находящаяся теперь в Одессе: о ней будет рассказано мною в своем месте (если дотяну).

Вдруг я получаю из Москвы от "Меж. Книги" предписание, по окончании отпуска заехать в Севастополь, обследовать Морскую библиотеку, от которой "Меж. Книга" получила предложение приобрести у нее большое количество книг, составлявших или дублеты, или идеологически непригодных.

Оставалось до окончания моего отпуска недели с чем-то две, но мне не терпится, подмывает теперь же узнать, в чем дело. Я много слышал о богатствах Севастопольской Морской библиотеки, слышал даже давно, далеко до революции. "Идеологически неприемлемые книги" мне на руку, вот тут-то и пожива для целей экспорта, отдел в "Меж. Книге", в котором я и играл главную скрипку.

Сообщение с Севастополем удобное, быстрое, на автомобиле всего часа 2; правда, немного дороговато, 15 р. в конец, но делать нечего, я решил съездить, узнать заранее, в чем дело и, быть может, заранее придется заготовлять какие-либо представления, мандаты и т. д., чтобы потом не терять времени.

Помню, 4 сент. утром, в 8-м часу я отправился в Севастополь. Прибыв туда около 10-ти, я сейчас же направился в Морскую б-ку, помещавшуюся на ул. Ленина, рядом с домом Красной армии и флота, и занимающую особый большой дом. Директор библиотеки, оказывается, был в отпуску, который проводил в Гурзуфе. Один из библиотекарей оказался в курсе дела и сказал, что действительно они писали нам и что в общих чертах он может познакомить меня с сущностью дела, а подробности и разрешение на просмотр библиотеки может дать только директор, который вернется из отпуска 1-го октября.

И он повел меня показывать библиотеку. Оказывается, книги, которые они намерены продать, не выделены и хранятся вместе со всеми остальными на своих старых местах. Для того, чтобы знать, выделяется или нет для продажи та или иная книга, нужно спрашивать, выделяется она или нет?

Книг огромное количество, тысяч 150, занимающих четыре этажа, русских и иностранных. Каталоги когда-то были, но ими давно не пользуются, и книги покоятся без всякой системы, даже многотомные не всегда в одном месте, насколько даже при беглом осмотре я мог заметить. Масса книг редких и чрезвычайно интересных, восходящих — русские до 18-го века, а иностранные чуть ли не до 16-го. Оказывается, библиотека была основана более 100 лет тому назад адмиралом Черноморского флота М. Лазаревым, очевидно, большим любителем, ибо, как мы видим, в ее основу легли не только книги его времени, но и значительно ранние. К сожалению, я не собрал биографических сведений об этом адмирале, но насколько по беглому осмотру я мог заметить он обладал двумя наклонностями: первой, это особенной страстью к изданиям по путешествиям, которых, и русских, и иностранных, монументальных и чрезвычайно редких, в библиотеке было пре-

красное собрание; вторая наклонность адмирала выражалась в запасливости. Многие, многие книги, главным образом русские, были в дублетных экземплярах, и это относится не только к книгам ординарным, но и редким. Насколько библиотека была богата дублетами, видно еще из следующего факта. Во время Севастопольской войны, в предвидение осады Севастополя, вся Морская библиотека была эвакуирована в г. Николаев, где она и пребывала до полного успокоения. Возвратилась она в Севастополь на 30 тысяч сочинений меньше, составлявших дублеты, которые и легли в основание Николаевской библиотеки. Я просматривал ее каталог. Состав книг прекрасный, редких книг много и та же наклонность к путешествиям и атласам.

В библиотеке я пробыл 4 часа, не заметив как прошло время и замучив бедного библиотекаря, не успевавшего все время давать мне ответы на интересующие меня вопросы. Впечатление получилось колоссальное. Меня, видавшего немало видов, поразило богатство библиотеки и ее разнообразие. Немножко портило настроение обилие разрозненных многотомных изданий, среди которых было много редких, но я утешал себя мыслию, что книги вообще стоят в беспорядке и что недостающие томы найдутся в другом месте. Впоследствии, когда этих томов не оказалось, я узнал, что на протяжении своей жизни библиотека подвергалась не раз различным бедствиям: помимо эвакуации, взявшей, вернее всего, немало жертв, оказывается, библиотека не раз горела.

Вышел я из библиотеки ошеломленный и никак не мог сообразить, что я должен первым долгом предпринять, ибо до 1-го октября, времени возвращения директора, оставался еще почти целый месяц, да и мой отпуск кончался раньше, 20-го сентября.

В Севастополе как городе я был впервые; проезжал раньше только через него, когда направлялся на юг, а потому мне интересно было пробежать немного хотя бы по главной улице. В одном из фруктовых магазинов я купил 10 кило винограда: 5 для себя и 5 для моих троих товарищей по палате в санатории, т. к. знал, насколько они будут признательны за внимание, — у

нас в Алупке винограда совсем не было, а если когда и появлялся, то в драку.

В Алупку я вернулся вечером в тот же день и стал обдумывать, что предпринять для подвижки дела. Все пути вели меня в Гурзуф для переговоров с директором библиотеки, и я решил с этого и начать, предположив поехать туда на другой же день.

Путь из Алупки в Гурзуф по морю на катерах очаровательный. Первый катер доходит до Ялты; там пересаживаются на другой, идущий до Алушты. Я никогда морем не плавал вдоль русской Ривьеры и меня поразили ее восхитительные красоты. Воронцовский дворец в мавританском стиле, Мисхор, Ореанда, Ливадия, Ялта, Ласточкино гнездо (перечисляю в порядке их расположения) сменяли свои красоты одна другою.

В Гурзуфе, как оказалось, расположен военный санаторий, в котором директор библиотеки как красноармеец командного состава и пребывал на отдыхе <...> Нашел я его сравнительно скоро, оказался он худеньким маленьким брюнетом и очень милым, обязательным человеком. Быстро мы с ним познакомились; пробыли вместе часа 1,5, гуляя тут же по открытому пляжу, и установили следующее. Пробудет он в Гурзуфе до 1-го октября; мне же предоставляет начать работу с того дня, как у меня кончится отпуск, т. е. с 20-го сентября, о чем он и сделал в библиотеку предписание о допущении меня к работе по отборке книг. Но что подлежало отдаче и что не подлежало, персонально и он указать не мог, и мы решили так: мне предоставлялось откладывать буквально все, что меня заинтересует, но класть отобранные книги пока около того шкафа, в котором они помещались, на случай возврата их на старое место, если бы дирекция решила, что книги отдаче не подлежат. Так мы и порешили, и это меня вполне устраивало, тем более, что директор заверил меня, что "вряд ли будет много книг, подлежащих удержанию".

За оставшиеся до окончания моего отпуска 15 дней завязалась оживленная переписка с Москвой, снабжение мандатами, обсуждение плана отборки и оценки. Просил дать мне из

Москвы технического сотрудника в предвидении огромной, чисто физической работы по перемещению книг, нередко огромных фолиантов, с места на место, с полки на пол и с пола снова на полку, а потом куда-то в другую залу и даже в другой этаж для описи. Был у нас такой прекрасный технический работник, Герасимов, человек необычайной силы и очень ловкий. Его-то я и просил себе в помощь и для ускорения работы. Не дали. "Найми на месте", — гласила телеграмма.

Телеграмма непродуманная, имевшая роковые последствия, потому что "на месте" нанять мне никого не удалось и пришлось таскать все самому, что и ускорило катастрофу.

20 сентября я был на месте в библиотеке и приступил к работе в том плане, как мы решили с директором. Подлежало обработать 4 этажа, заключающие каждый по нескольку больших зал. Этажей, собственно, считается три и один подвальный, но также оборудованный под библиотеку и целиком заполненный книгами. Первый этаж, основной, с залой для приема абонентов и выдачи книг; в ней расположены советские издания по всем отраслям знаний и беллетристике. К этой зале примыкает другая, служащая ее продолжением по составу; помимо изданий советских, здесь несколько полок с изданиями дореволюционными, не утратившими своего общеобразовательного значения. Все это, вместе взятое, составляющее от всего объема библиотеки никак не более 10%, и есть главное действенное ядро, весь импульс, которым библиотека живет и что, собственно, и находится в обороте. Остальные 90%, заполняющие остальные три этажа и больше половины этого, представляют балласт<...>

Основанная, как я уже сказал, более 100 лет тому назад, задумана библиотека была широко, с планом, далеко заходящим за пределы ее специального назначения. Все точные, естественные и гуманитарные отделы: математика, история, география, философия, право, литература, искусство, всякие справочные издания, словари, вплоть до нескольких изданий Британской Энциклопедии, нашли себе в библиотеке самое широкое место. Считали необходимым иметь и чистые биб-

лиографические редкости, как, например, в отделе литературы "Слово о полку Игореве", подлинник знаменитого издания Мусина-Пушкина 1800 г., да еще не в одном, а в двух экземплярах.

Средства на образование библиотеки отпускались большие и были отпускаемы долгое время на ее пополнение и позднее. Но все это обрывается вдруг, еще до революции. Восьмидесятые и еще больше девяностые годы сразу обнаруживают ослабление в пополнении отделов.

Огромное количество выписывавшихся журналов, можно сказать, буквально по всем отделам, с самого начала их основания, обрывалось получением также в 80-е — 90-е годы. Все они, и военные, и морские, инженерные, физико-математические, исторические, географические, добросовестно выписывались, аккуратно переплетались, ставились на полки и... обрастали паутиной, так как спроса на них не было.

Изучая дальше былую жизнь этой интереснейшей библиотеки, не трудно сделать выводы о борьбе организаторов и устроителей библиотеки с равнодушием и безучастностью потребителя. В то время как одни, а, быть может, даже один, как адмирал Лазарев или его последователь, были полны горения, энтузиазма к наиболее лучшему устроению библиотеки, снабжая ее такими изданиями, которые могли иметь самое отдаленное отношение к основным задачам библиотеки и спрос редкий, самый проблематичный; в это время другие и главные, т. е. читатели, которых хотели осчастливить этим исключительным вниманием, проявляли к задачам и заботам о них предпринимателей полное равнодушие, довольствовавшись одними романчиками, которыми только и упивались до опьянения.

Из моих расспросов у старожилов библиотеки удалось установить, что главный контингент читателей были офицеры, чрезвычайно мало интересовавшиеся научными книгами, а больше всего беллетристикой и иллюстрациями. Отсюда и разгадка наблюдаемого явления, почему книги по беллетристике и классики зачитаны и замусолены до крайних пределов, тогда как книги научные обретались в нетронутом,

девственном состоянии, с обрезами со слипшимися листами, что бывает лишь у книг, только что полученных из мастерской переплетчика и долгое время не раскрываемых.

Я жалею, что не взял для демонстрации несколько книг по беллетристике, особенно показательных, насколько книгу можно износить. И еще жалею, что не взял книгу "Хороший тон, как вести себя в обществе", в известном издании 1870-х гг. Германа Гоппе. За нее дорого можно было бы заплатить, чтобы продемонстрировать, чем интересовались наши офицеры, наш бывший, с позволения сказать, командный состав! В ней не осталось живого места, до того она была зачитана, до того замусолена.

А периодические издания! О, они красноречиво рисуют яркую картину приверженности читателя к определенному отделу — беллетристике. Откройте любой журнал — "Русский вестник", "Русскую мысль", "Русское богатство", "Вестник Европы" и т. д., и т. п., и вы сразу отличите разницу в зачитанности страниц: в то время как одни, посвященные научным отделам, критике и т. п. были целехоньки, другие — с беллетристикой, затрепаны, замусолены, а иногда и дефектны.

Из иллюстрированных периодических изданий такие популярные, как "Нива", "Всемирная иллюстрация" и т. п., конечно, пострадали больше всего. Но пусть, это было бы полбеды, не так жаль, но вандальская рука невежественного любителя "картиночек", увы, коснулась местами и ценнейших прежних изданий, имевших несчастие быть иллюстрированными и тем привлекавшими внимание посетителя библиотеки. Захваченные слюнявыми пальцами углы, смятые, а подчас и вырванные картинки — явление было нередкое в иллюстрированных изданиях.

Вот почему мне пришлось отрядить специального человека для проверки книг с иллюстрациями, и обилие положенных после проверки закладок на неблагополучных местах свидетельствовало о том, что предпринятая мною мера не была напрасной.

Проработку библиотеки я начал со второго этажа как с самого головного, положенного в ее основание, украшенного

сплошь великолепными красного дерева застекленными шкафами с инкрустацией.

Первое, что бросалось здесь в глаза, это выделенная в особые шкафы и хранившаяся особо как реликвия личная библиотека адмирала М. Лазарева. Она привлекала внимание красотой своих переплетов, сделанных, очевидно, по заказу владельца, всех одинакового типа.

Как оказалось, библиотека эта не была основной, заложенной адмиралом Лазаревым Севастопольской Морской библиотеки, а была его домашней библиотекой и переданной в Морскую уже потом, после смерти адмирала, по его завещанию.

С нее я и начал просмотр. Библиотека состояла из 1000 томов, русских и иностранных; состав книг был довольно пестрый, особенно русских, с наклонностью к теологии; классики представлены в смирдинских изданиях. Книги иностранные значительно лучше; много английских иллюстрированных путешествий.

На всех переплетах были наклеены гербовые экслибрисы адмирала.

Хотя мне представляли право выбора и из этой личной библиотеки Лазарева, но я решил приобрести ее целиком как составляющую нечто цельное, принадлежавшую известному лицу, что производит всегда особое обаяние и находит своего любителя, тем более, когда книги облечены в одинаковые переплеты эпохи владельца собрания, отличающие именно его библиотеку.

Конечно, я говорю о книгах, выходивших за время собирательства владельца и переплетавшихся им по мере поступления книг в библиотеку.

Покончив с Лазаревской библиотекой, которую я решил взять целиком, я приступил к просмотру основной библиотеки. Прежде всего в этом же этаже в одной из зал привлекли мое внимание огромные фолианты различной величины и формы, расположенные в шкафах, поставленных вдоль двух стен. Шкафы эти, прекрасные, застекленные, приспособлены были исключительно под фолианты, которые и были все

сосредоточены в одном месте без различия принадлежности издания к тому или иному отделу. И даже больше, здесь оказались книги и русские, и иностранные; вместе с "Древностями Российского Государства" Солнцева (3 экз.) стоял знаменитый труд Дюмон-Дервиля на франц. яз. "Путешествие вокруг света" в 5-ти тт.; рядом с "Художественным листком Тимма" — роскошное английское издание "Путешествия по Австралии" в 3-х томах и т. д. Атласы к Крузенштерну, Палласу, Литке, Лисянскому, Коцебу и многие другие стояли все рядом, и русские, и иностранные, без приложений к ним текстов, которые, будучи других форматов, по плану расположения библиотеки должны были находиться в другом месте. Этот "порядок" наделал мне много хлопот и волнений, т. к. тексты, будучи отделены от атласов, при перемещениях библиотеки нередко затеривались, что и случилось, между прочим, с ценнейшим изданием Дюмон-Дервиля, текст от которого затерялся совсем.

Согласно условленному с директором порядку я вынул из шкафов интересующие меня издания и положил возле. Благодаря их монументальности, сразу у шкафов образовались горы. По правде сказать, недешево досталось мне извлечение из шкафов, рассматривание и отборка этих фолиантов, я порядком утомился и еще раз потужил, что не было со мною нашего Герасимова, который мог бы облегчить мой труд, крайне непроизводительный. Я просил себе выделить технического сотрудника и из библиотечного состава, и мне дали сотрудницу, но такую муху, которую самою свалил бы любой фолиант. Я воспользовался впоследствии и ею, но совсем для другой цели, а именно для подборки многотомных изданий и журналов и для проверки таблиц в иллюстрированных изданиях.

Покончив с тяжелыми фолиантами, довольно меня ухлопавшими, я приступил к обозрению других шкафов того же нарядного зала. Но раньше чем продолжать свой рассказ, я должен себя реабилитировать в работе с фолиантами, чтобы читающие эти строки не подумали обо мне как о полном идиоте. "На кой черт надо было ему надсаживать себя,

выволакивая из шкафов эти огромные фолианты, когда значительно проще было взять их на заметку в записную книжку, не двигая с места. Вот уж поистине, работа дураков любит..."

Может быть, тут и есть некоторая доля справедливости и даже, наверное, есть, но только далеко не на все, как говорят теперь, 100%. Дело в том, что, во-первых, далеко не все издания, стоявшие в шкафах, были для меня приемлемы и искать их потом, среди других неприемлемых, было бы сложно, во-вторых, и это главное, уже по беглому осмотру была замечена мною дефектность некоторых экземпляров, требовавшая немедленной проверки, так как вслед за отборкой должна сейчас же следовать и опись отбираемых книг с их оценкою, и мне важно было знать, с каким экземпляром я имею дело. За безукоризненного Дюмон-Дервиля можно заплатить 1500 и 2000 рублей и даже более, а за дефектный экземпляр с недостающими хотя бы несколькими таблицами или даже одной оценка резко полетит вниз.

В залах этого этажа поживы было много. Кучи, возникавшие на полу возле шкафов, росли с каждым днем, образовывали горы и давали залу своеобразный вид не то хаоса, не то разгрома. Ко времени возвращения директора отобранного материала, подлежащего его просмотру, накопилось так много, что увидев навороченные горы, он воскликнул:

— Ого, великолепно, значит, не считаете, что задаром к нам приехали.

— Нисколько, а Вы нам все дадите, что я отобрал? — спросил я.

— Вот посмотрим, полагаю, что многое; только вот, боюсь, как бы не заспорили мои товарищи по библиотеке касательно художественных изданий; да, я забыл еще сказать, — вот Вы, я вижу, отложили брокгаузовского Пушкина да сытинского Толстого и тому подобное, — классики, конечно, останутся у нас.

За эти 10 дней, оказывается, я много трудился непроизводительно вследствие неполной договоренности; не говоря уже о классиках, но в дальнейшем я стал обходить и такие

вещи, как "Москва в ее прошлом и настоящем", комплекты "Старые годов", "Мир искусства", "Художественные сокровища России" и тому подобное.

Отложено было в этих залах второго этажа много и таких монументальных изданий, как академическое издание "Санскритского словаря", "Сборник сведений о кавказских горцах", "Материалы для описания местностей и племен Кавказа", серии академических изданий, как Мемуары, Сборник, Записки, Известия; Сборник Русского Исторического общества, Историческая библиотека, Записки Русского Географического общества — различных его отделений, как этнографии, статистики, общей географии и проч., Архив кн. Воронцова, Записки Русского Археологического общества...

Вскоре после возвращения директора, придя однажды утром в библиотеку на работу, я заметил большое изменение и порядочную убыль в отложенных мною кучах. Директор пояснил мне, что они приступили к просмотру отложенного мною материала и "кое-что" удержали для библиотеки, водрузив на старые места. Это "кое-что" оказалось все же значительным. Сильно пострадал у меня отдел искусства, изъята вся художественная литература во главе, как я уже говорил, с брокгаузовским Пушкиным и сытинским Толстым; изъяты все морские атласы и многие путешествия; весь Крым и весь Кавказ. В оправдание своих действий директор сказал:

— Знаете, нельзя же целиком оголять библиотеку. Знаю, что сейчас мало кто интересуется чем-либо из этого материала, но я и мои товарищи все надеемся, что придут лучшие времена и интерес еще проявится.

— И ведь я не один вершу судьбами библиотеки, — дополнил он. — Здесь среди нас есть товарищи, которые вообще против какого-либо изъятия, а в одном из них Вы увидите своего злейшего врага.

При дальнейшей их работе по удержанию отбираемых мною книг я стал присматриваться, кто этот "враг", и сказал директору:

— Я знаю, кто мой враг, — и указал на одну сотрудницу-библиотекаршу.

— Верно, — отвечал директор.

Я видел, как она, помимо действий директора и против его указаний, утаскивала, как крот в свою нору, одну книжку за другой, совершенно бессмысленно, бессознательно, не руководствуясь никакими потребностями библиотеки. Отложенное, например, мною накануне подлинное "Слово о полку Игореве" 1800 г. наутро уже исчезло. На мой вопрос, кто взял его у меня, говорят:

— Она.

— Зачем? Ведь оно есть в точнейшей перепечатке и Сабашникова, и Суворина, а за это я дам вам книг на 25 рублей или деньгами такую же сумму.

Не убедил. А ведь извлек я его из кучи давно забытых ими всеми книг, и никогда оно никем не спрашивалось.

Было бы, конечно, вполне похвально и даже трогательно, если бы такая заботливость о цельности библиотеки проявлялась к действительным ее нуждам, а ведь тут я не знаю, чем и объяснить это скопидомство. Я старался выяснить, чем она руководствуется, потому что ее наскоки на мою отборку стали чересчур чувствительны. Директор отберет у меня одну книгу, а она — пять. Нередко у них возникал спор. Директор доказывал ей совершенную безболезненность отдачи той или иной книги, как, например, "Санскритского словаря"...

К моему счастию, если можно назвать "счастием" разорение цельной огромной библиотеки, составлявшейся целое столетие по определенному плану, к моему, говорю, счастию, взгляд на книги "идеологически неприемлемые" был в библиотеке довольно широкий и, если хотите, практический. Они говорили, за исключением, конечно, одной:

— Нам не нужны редкости, и если есть позднейшие издания, которые не хуже первого, а иногда даже и полнее, их мы и оставим, а эту "редкость", пожалуйста, берите.

Они шли еще дальше. Если какой-либо труд определенного автора поглощен другим, позднейшим, то вполне было довольно этого последнего. При их ограниченных средствах на приобретение новых книг, при том равнодушии абонента к

дореволюционным изданиям, какое царило в библиотеке, мера сокращения ее вполне основательная.

Дублеты также я покупал бесспорно. Из трех экземпляров "Древностей Российского Государства" два они отдавали мне, но от одного пришлось отказаться мне самому, т. к. он оказался слишком дефектным. Но Кутепова "Царскую охоту", все 4 тома мне без колебаний отдали, причем единственный экземпляр, так как он уже через край оказался "идеологически неприемлемым". Все это, если можно так выразиться, было неплохо для обеих сторон.

Но вот дальше, со следующим нумером, у нас во взглядах было полное расхождение.

В том же 2-м этаже, в одной из зал, я подобрал пренебрежительно валявшуюся на полу книгу в лист, в зеленом бархатном переплете 18-го столетия. Открываю и не верю глазам. Передо мною сборник подлинных приказов императрицы Екатерины II, за ее собственноручными подписями, касавшихся Черноморского флота. Приказов было до 30, подобранных в хронологическом порядке за время с 28 февраля 1792 по 1-ое января 1796. "Ой, — думаю, — красота! Да ведь не отдадут, конечно, а это был бы нумер! Только почему она так небрежно валяется?!"

Показываю находку своему "врагу".

— Смотрите, — говорю, — вот находка.

— А разве это интересно, — отвечает она, — разве это нужно кому-нибудь теперь?

— Не знаю, — говорю я, — но я взял бы с удовольствием.

Высшее начальство также не возражало против отдачи, и "Международная книга" сделалась обладателем этой исторической реликвии. Когда я укладывал в ящики закупленные книги, я не решился ее уложить вместе с другими, а привез с собой в чемодане.

— Ну, теперь Вам можно приступить и к описи, — сказал директор. — Остается только просмотреть комиссии, которая будет организована политконтролем, в которую войду и я, но это мы сделаем быстро по спискам.

Я нанял по рекомендации библиотекарей писицу, оказав-

шуюся довольно бесталанной, страшно рассеянной, наделавшей мне много хлопот с исправлениями; платил я ей по 3 рубля за 5-ти часовой день (сам я работал с 9-ти утра до 8-ми вечера с перерывом на обед на 3 часа).

— Посмотрите, как Вы находите, идет ли мне эта шляпа, я сейчас купила, — говорила она, а сама в это время, как оказалось потом, или перескакивала в нумерации книг, или повторяла уже пройденную нумерацию.

Мучился я с ней долго, но в конце концов пришлось расстаться. Другой найти не удалось, и мне отрядил директор несколько сотрудников из состава библиотеки.

При оценке книг я применял такой прием, оказавшийся весьма полезным.

Вследствие того, что оценка производилась мною при постоянном соглядатайстве или кого-нибудь из сотрудников, или при приходящих знакомых директора, мне трудно было бы давать объяснения, почему эту книгу я ценю 1 р., эту 2 р., 3, 5 р., а то иногда и полтинник. Это возбуждало бы много бесполезных дебатов и пришлось бы тратить много времени на праздные объяснения с людьми несведущими. Я изобрел следующие приемы. Вместо цифровой оценки я создал разряды. Разряд № 1 обозначал 500 р., № 2 — 400 р., № 3 — 300, № 4 — 300, № 5 — 250, № 6 — 200, и так далее до № 22-го, обозначавшего 50 к. Когда меня спрашивали, что это за нумерация, я говорил, что это разряд, к которому по ценности относится книга и что при окончательном оформлении списков все это будет ясно, как в действительности и было, когда пришлось иметь заключительные разговоры с политотделом, сдавшим мне отобранный материал.

Этот прием оценки, избавляющий от ненужных преждевременных шумных дебатов, оказался очень практическим, и я применял его и в других местах, когда работа была большая и протекала при соглядатайстве постороннего элемента.

В этом же 2-ом этаже, в одной из парадных зал, помещался и иностранный отдел. Этот отдел я прорабатывал с помощью нашего сотрудника М. Я. Шика, заведовавшего иностранным отделом, с которым постоянно сносился, посы-

лая ему списки. Он знал лучше меня, что именно требуется для экспорта.

Третий этаж взял у меня также немало сил. Наполненный, главным образом, периодикой, которая в значительной своей части интересовала меня, он занял у меня немало времени. Требовалась проверка таких длинных серий, как "Журнал Министерства Народного Просвещения", идущий с 1834 г., "Горный журнал" с 1825 г., "Труды Вольного Экономического Общества" с 1765 г., "Журнал Министерства Путей Сообщения" с 1826 г., "Журнал Мануфактур и Торговли" с 1839 г., "Журнал Министерства Внутренних Дел" с 1838 г., такой же Министерства Государственных Имуществ с 1843 г., "Записки Русского Технического Общества" с 1869 г. и многие другие в этом роде.

Заглядывание внутрь принесло и здесь мне свою пользу. Казалось бы, чего благополучнее мог быть "Журнал Министерства Народного Просвещения", не содержащий в себе ничего беллетристического и наполненный исключительно научным материалом. Так нет, здесь ухитрились вырезать все статьи о Крыме, а их в журнале на протяжении всех лет оказалось немало. Хорошо еще, что нашелся дублетный экземпляр, и один комплект я все-таки мог собрать. Но этих вырванных статей о Крыме в библиотеке уже не оказалось.

В этом же этаже были большие отделы по праву и политическим наукам, обществоведению, а то и просто наполненные полки без всяких отделов. Приходилось буквально брать в руки каждую книгу, раскрывать ее и прочитывать заглавие внутри, т. к. по корешку переплета в 90 случаях из ста трудно было определить, с чем я имею дело.

Пожива была обильной и здесь. Мой, по выражению директора, "враг" не дремал и преследовал меня по пятам. Работу свою она производила не на моих глазах, а после моего ухода. Каждый день, приходя утром, я находил свои кучи, отложенные с вечера, перепотрошенными и обязательно с той или иной убылью, когда больше, когда меньше. И действия ее стали смелее, развязнее. Вначале она, отложив пачку, не уносила ее, а дожидалась показать директору; теперь облю-

бованные ею книги уже прямо исчезали, и я только по памяти мог припоминать, что не доставало то того, то другого.

А один раз так и прямо анекдот. Дело касалось как раз "Слова о полку Игореве" 1800 г., которое она также изъяла у меня и спрятала. Я пожаловался директору и доказал ему, что не было никакого основания изымать эту книгу, тем более, что у них 2 экземпляра. Директор предложил ей вернуть "Слово". Она обещала. Шли дни за днями, книгу она не возвращала, мотивируя тем, что не помнит, куда ее положили. Кончилось тем, что довела до последнего дня и так и не нашла, обещав выслать в Москву, но, конечно, не выслала. Вот уж поистине, "если женщина решила, то настоит на своем".

После 3-го этажа мне оставалось проработать подвал. Он представлял чрезвычайно любопытную картину. В него спускались книги и журналы, считавшиеся совершенно отжившими и устаревшими, очевидно, уже по представлению позднейших руководителей библиотеки. Но это мне не помешало найти там обросшие паутиной, а иногда и покрытые плесенью превосходные экземпляры академических изданий Путешествий Палласа, Гмелина, Лепехина; Тихменева "О русско-американских владениях в Аляске"; путешествия в Китай Тимковского, Макартнея, "Записки надлежащие до китайцев" и много других подобных.

Весь русский 18-ый век оказался в подвале. В обстановке сырой, затхлой, холодной, полутемной я провел много дней. Электричество хотя и было проведено в подвал, но в Севастополе дается оно только к вечеру, так что припоминаю, с какими осложнениями работал я там в темноте, в местах, отдаленных от полуподвальных окон, выходящих в одну лишь сторону на Ленинскую улицу и освещающих незначительную часть помещения. Прием употреблялся такой: брал я из какого-либо темного угла охапку книг, подносил к окну, перебирал книгу за книгой; неприемлемые относил обратно, а из нужных образовывались гетакомбы на одной из свободных площадок. Тут было много мелочей 18-го столетия: и "Путешествие к Аюке-Хану", и "Белевы путешествия", и Рубана "Описание Москвы и Малороссии", и "Досуги крымского

судьи" Сумарокова, и Левшина "Совершенный егерь", его же "Псовая охота" и многое, многое подобное.

Есть какая-то особенная прелесть работать, когда книги находятся в беспорядке, когда не знаешь, что найдешь, что тут есть, когда каждую минуту можешь натолкнуться на неожиданные приятные сюрпризы, и все это среди массы вещей, действительно уже по праву приговоренных к забвению и, если не выброшенных совсем, то, очевидно, лишь из боязни за целость инвентаря.

В одном из темных закоулков подвала, а их там много, совершенно неожиданно и также сюрпризом я наталкиваюсь на целый большой библиографический отдел, занимавший несколько полок. Он, бедный, полностью был обречен на изгнание и забвение, во главе со знаменитым трудом Пекарского "Наука и литература в России при Петре Великом", оказавшемся даже в двух экземплярах. Вся Межевиана, масса каталогов публичных библиотек, монографии по различным отраслям библиографии и т. д. и т. п.

Уже по одному тому, как книги в библиотеке стояли, не имея никаких отделов, было видно, что про библиографию здесь давно забыли, ею не интересовались, она сделалась ненужным балластом, а потому и была по праву упразднена, чтобы и не отсвечивала.

Библиографию, конечно, я забрал всю целиком, не оставив ни одной брошюры и, о чудо, не встретив ни малейшего сопротивления даже со стороны моего "врага".

Из журналов не диво, что я нашел здесь низвергнутым в преисподнюю комплект "Православного Обозрения", который, конечно, и забрал, но странно, что сюда же был приобщен и полный прекрасный комплект редкого журнала "Киевская Старина" за все 20 лет, обнаружению которого я был очень рад.

Всего я нашел для себя приемлемого в Севастопольской Морской библиотеке до 5000 книг, преследуя цели исключительно экспортные.

Проработал я в библиотеке без 4-х дней 3 месяца до 16 декабря 1931 года.

Составление списков, просмотр их, а потом и самих книг специально отряженной политотделом Комиссией заняло немало времени и взяло немало крови, т. к. все это было сопряжено с волнениями за цельность отобранного материала, потому что Комиссия кое за что уцепилась и изъяла уже из списков. Мне было особенно больно, когда один из членов Комиссии напал на атласы к Путешествиям Крузенштерна, Литке, Коцебу и др. и изрядно их пощипал.

Когда все списки и библиотекой, и Политуправлением были просмотрены, утверждены и сделка состоялась, начались длительные хлопоты по добыче упаковочного материала и укладка. Севастополь не оказался богаче других городов, где мне приходилось работать над упаковкой закупленных книг. Та же бедность и в ящиках, и в гвоздях. И это все далеко не в одном месте. В одном добыл худые ящики, надо искать реставратора; нашел реставратора, — поиски гвоздей, которые добыть труднее, чем ящики. Так как ящики были добыты огромные, пудов на десять и больше, необходимы железные обручи, иначе при первом неловком или озорном броске ящика грузчиком, особенно на угол, как они это особенно любят, он разлетится вдребезги на мостовую. Хорошо хоть, не потребность в бумаге, которою в достатке наградила меня библиотека.

Видя, как я укладывал, с какою тщательностью подгонял форматы, как завертывал в бумагу мало-мальски порядочные переплеты, прослаивая затем опять каждый ряд бумагой, директор смеялся и говорил:

— У Вас чисто фруктовая упаковка. Вы, наверное, видали, как у нас в Крыму укладывают фрукты?

— Нет, я этого не видал, — отвечаю я, — но я хорошо знаю, как надо укладывать книги: чтобы они не потерлись друг о друга; чтобы целы были корешки, их необходимо обильно перекладывать бумагой. Это наш катехизис, но, к сожалению, наш брат упаковщик не всегда его исповедует и тем наносит неисправимый ущерб переплету, а вместе с ним и книге.

Для упаковки, забивки гвоздей и обивки железными обручами мне дали из среды сотрудников библиотеки троих

помощников. Ребята оказались ловкие и довольно сильные — качество, необходимое для оборудования 10-ти — 15-ти пудового ящика. Платил я им по 10 рублей каждому, и они, видимо, остались довольны. Работали они недели три.

Теперь опишу главное, ради чего я выделил севастопольский эпизод из хронологического порядка и как он привел меня к катастрофе. Недалеко от Морской библиотеки, еще в самом начале своего пребывания в Севастополе, я увидел роскошное здание, стоящее на площади особняком и обращенное лицом на самый берег моря. Это — Институт физических методов лечения имени профессора Сеченова.

Я заинтересовался им и узнал, что это — прекрасное лечебное заведение, оборудованное по последнему слову науки; что тут всякие ванны и всякие электризации.

Началось с того, что я стал брать там морские ванны, которые считал, что не добрал немного во время своего пребывания в Алупке. Затем вижу, что там масса кабинетов для приема больных, приезжающих со всего СССР, что там проходят целые курсы лечения. Познакомился в столовой с двумя дамами, прибывшими из Челябинска, прошедшими курс и собиравшимися уезжать, хвалят, говорят, очень помогло. Познакомился с одной четой, оба — уже почтенные люди, прибывшие из Иркутска. Оба лечатся; он уже кончает и уезжает, а она остается. Он советует и мне полечиться тут; препоручает мне свою жену и просит оказать ей внимание и всякое содействие. Я, конечно, обещал и долго свято выполнял возложенное на меня поручение.

Недомогание от систематической перегрузки в работе я чувствовал уже давно; силы стали уже не те; дыхание не чистое. Институт под боком, да какой! Сюда нарочно приезжают Бог весть откуда, а мне тут рядом; прямо преступно не воспользоваться этими благами.

И я "воспользовался" вовсю. Пошел на исследование. Болезней, как и полагается, нашли у меня уйму и назначили всякого рода электризации по 2 в день и по одной ванне — один день морскую, другой день углекислую.

Было у меня свободное время 3 часа, от 1-го часа до 4-х,

дававшееся на обед. Его я и начал утилизировать. Две процедуры электризации, после каждой по полчаса отдыха; ванна, полчаса отдыха и остающееся время — на обед.

Роскошные помещения, чудное оборудование, обилие медперсонала, масса больных, относящихся к прохождению своего курса, как к священнодействию, подкупили меня и я стал аккуратным посетителем Института больше двух месяцев своего пребывания в Севастополе.

Вижу только, почему-то мне не лучше и чем усерднее я предавался прохождению курса, тем становился слабее. Правда, не все, но многие на моих глазах облегчение все-таки получали. Но препорученная мне дама жаловалась, что процедуры только утомили ее, и она так и уехала не вполне удовлетворенной.

Процедуры утомляли людей, приехавших специально в Севастополь, ничем больше не занимавшихся, а я ведь уделял на все это только обеденный перерыв от работы, на которой порядком утомлялся, а последние три недели с хлопотами по упаковке, которая никоим образом не могла пройти без моего участия, я и совсем ухлопал себя. А погрузка ящиков на автомашины для доставления на железную дорогу! О, это была пытка, когда на твоих глазах с грузовика бросают ящик на землю, он ударяется на угол, трещит, разрыхляется и только железные обручи еле удерживают его от полного развала. И все это на моих глазах. Я просил грузчиков, умолял обращаться осторожнее, но они — нуль внимания, и все на один покрой, какие-то ожесточенные, злые. Я заметил движение рабочего, которым он сопровождал падение каждого ящика: вместе с каждым ударом ящика о пол он крякал, возглас, не передаваемый на письме. Но этот звук выражал как бы удовлетворение, особый смак. Но от этого смака у меня сердце обливалось кровью, и кончилось тем, что лечение плюс работа — ухлопали меня вконец, и я еле уволок из Севастополя ноги. Это было 16 декабря 1931 года.

Расстался я со всем составом библиотеки во главе с директором очень тепло, а с моим "врагом" так прямо трогательно. Лично ко мне она питала уважение и оказывала всякие знаки

внимания. Когда в последние дни пребывания в Севастополе я стал недомогать, она посещала меня, приносила кипяток, чай (я жил в курортной гостинице, в которой кипятку не полагалось и его надо было добывать извне), беседовала со мной и была последней, с кем я расстался, уезжая из Севастополя. Своими книжными ущемлениями издергала она немало нервов, но жили мы с ней хорошо, дружно и видимую политику вели на славу.

Приехал я в Москву совершенно больной.

Только я успел сделать дирекции доклад о своей командировке, и то через силу, как окончательно слег и пролежал 3 месяца.

В самый исходный момент, когда уже считали, что помощи больше ждать неоткуда, решили позвать еще врача, считавшегося хорошим сердцеведом. Ну что же, пускай, утопающий хватается и за соломинку.

Приходит, и кого же я вижу! Своего прошлогоднего товарища по палате в санатории ЦЕКУБУ в Кисловодске, где я проводил свой отпуск. Ненавидел я его всеми фибрами души за его сварливый нрав: то он ворчал, что у меня на столике долго горит свечка после 11-ти часов, когда гасили электричество; то он требовал закрыть на террасу дверь, когда в комнате было душно. Я воевал с ним и из-за ночного судна, которое он держал непокрытым. Отношения у нас были самые натянутые, и мы не разговаривали. Уехал он из Кисловодска раньше меня, расстались мы холодно и я не очень тужил о нем. Оказался он главным врачом 2-ой Градской больницы Рафаилом Петровичем Секторовым.

— Мы где-то встречались, здравствуйте, — были его первые слова.

— Да, как будто, — сказал я, также не сразу припоминая, где именно.

Потом оба припомнили, и дело обошлось благополучно.

Вот уж поистине: "не плюй в колодезь..." — я получил от него спасение! После его первого прописанного лекарства (дигиталис с диуретином) мне сразу стало лучше, лучше;

одышка сократилась, я в первую же ночь благотворно уснул, чего давно не было.

И так пошло и пошло. Не прошло и месяца, как мне стало настолько лучше, что я был в состоянии идти на службу.

Мы сделались с Рафаилом Петровичем большими друзьями, и он стал моим постоянным и самым любимым врачом. О кисловодской эпопее ни я, ни он не обмолвились ни разу ни одним звуком, как будто это были не мы, — так корректно вели мы себя.

Время от времени, благодаря своей чрезмерной неосторожности в работе, подчас я сваливался, но он умел быстро ставить меня на ноги, и я снова возвращался к работе. Под его постоянным наблюдением я был до весны 1933 года, когда он сам сильно занемог, простудившись во время обхода больничных палат. Болел он долго, посылали его в Крым, где он провел два месяца, но вернулся оттуда совершенно разбитый и в августе 1933 года скончался. Я страшно жалею его, оставшись без своего спасителя и спасателя. Быть может, и теперь, если бы он был жив, болезнь не получила бы у меня такого широкого развития, и я бы не был оторван от работы на целые полгода.

Но как всегда бывает, "что имеем, не храним..." Здоровьем я начал дорожить тогда, когда его потерял. Необходимость довести свои "Воспоминания" до конца у меня превращается в idée fixe. Мысль все зреет, горизонты расширяются. Пока я писал севастопольский эпизод, мне впервые пришло в голову снабдить свою будущую работу тремя алфавитами: авторов и названий книг, о которых я говорю, и лиц, с которыми соприкасался; если это лицо в то же время и автор книги, которую я описываю, оно попадает и в тот, и в другой алфавит.

Наличие этих алфавитов я считаю делом чрезвычайно важным. Как никогда, моя работа будет иметь уклон чисто библиографический и библиофильский, с интересом в нее будут заглядывать преимущественно любители-книголюбы. Бесспорно, когда речь зайдет у них о какой-нибудь уникальной или большой книжной редкости, будут говорить:

— А ну-ка, посмотрим у Шибанова, что он о ней говорит, видел ли он когда-нибудь?

— А, черт, представьте, видел, собака! И даже описывает подробно экземпляр! Ну и черт!

Вот такую аттестацию мне хотелось бы заслужить, а этого можно достигнуть лишь тогда, когда "Воспоминаниям" будет придан справочный характер.

О, как сказал поэт: "Суждены нам благие порывы..."

Но... на свершенное отпущено... сколько? Неделю, две, месяц? Не знаю, но чувствую, что конец не за горами.

"Жить остается 3 дня, а работы на 300 лет", как сказал великий писатель.

Ну, у меня хоть и не на 300, а все, пожалуй, годик-другой возьмут "Воспоминания" в задуманном плане. Вот кончаю только "Введение", правда, со включением одного значительного эпизода из самих "Воспоминаний", а ведь пишу уже 13-ый день (засел 23 июня, а сегодня 5-ое июля). Я и сам, собственно, не пойму, темпы ли это черепахи, или приличная работа заправского писаки, — за 13 дней пишу 42-ю страницу стандартного писчего листа. Три свойства, необходимые для бесперебойного писания, — память, юношеский экстаз и легкость изложения, — пока у меня есть; но вот хватит ли меня на год, это вопрос, "достойный желаний жарких".

5 июля 1934 г.
Клязьма

Публикация А. Богословского

граф А. В. Комаровский*

Воспоминания

Кемчугский лагпункт

Степь осталась позади. На смену ей пошли холмы, поросшие хвойным лесом. За Ачинском к полотну дороги подступила тайга. Поезд шел по южному склону все подымающихся холмов. Из окон вагона была видна золотая тайга с ярко-зелеными островами соснового и кедрового леса. Краски стали более яркими. Иногда проглядывало солнце, и тогда контрастность цветов становилась еще ярче: белый снег, укрывавший землю, желтый цвет тайги и ярко синее небо.

В вагоне шла обычная, дорожная жизнь. Разносили чай, разговаривали о житье-бытье, играли в карты, плакали дети. На нас с Болтуновым никто не обращал внимания и нам это было приятно. Мы чувствовали себя не заключенными, а обычными пассажирами плацкартного вагона.

Примерно в полдень мы сошли на скользкий деревянный настил небольшого разъезда под названием Бадалажная. Не хотелось покидать теплый, вольный вагон и вновь окунаться в лагерную жизнь. Под нами, на юг от разъезда, в ложбине, находился типичный лагерь с забором из колючей проволоки, со смотровыми вышками и темно-серыми бараками. А западнее лагеря, прямо под нами, раскинулся огромный лесо-

---

Граф Алексей Владимирович Комаровский (1914—1988) — племянник поэта Василия Комаровского (1881— 1914).Часть этих воспоминаний под названием "Пролог" была напечатана в "Новом Журнале" в 1991 г. (кн. 183, сс. 283 - 309).

склад с аккуратными штабелями круглого леса. В конце склада виднелась железная труба лесозавода.

Мы спустились по мощеной дороге и прошли вдоль всей лагерной зоны к штабу лагпункта. Штабные одноэтажные здания расположились вне зоны (восточнее ее), на небольшой поляне. Нас встретили очень хорошо. Лесозавод стоял уже несколько месяцев, и лагерь не отгружал доски (пиломатериал) по запросам, поступавшим со всего Сиблага и из Казахстана. На нас (вернее, на Болтунова) смотрели как на опытных специалистов, присланных, чтобы организовать ремонт лесозавода и пустить лесопилку. Болтунов тут же был назначен заведующим лесозаводом, а меня, из-за отсутствия штатов, назначили нормировщиком. Жить нас поместили действительно вне зоны, но не в вольный поселок, а в маленький бревенчатый домик, стоявший на краю лесосклада, у самой насыпи железной дороги. Домик был разделен пополам. В одной половине находилась контора лесосклада, а другую отдали нам с Болтуновым. Когда на разъезде останавливались почтовые пассажирские поезда, следовавшие на запад, то паровоз и почтовый вагон останавливались против этого домика. Для того, чтобы отправить письмо, минуя лагерную цензуру, нужно было вскарабкаться по насыпи и незаметно от стрелков охраны, дежуривших на разъезде, опустить письмо в почтовый ящик почтового вагона. Стрелки, повернувшись спиной к паровозу, следили, чтобы никто не вскочил в поезд. Паровоз шумел, шипел, пускал пары, поэтому шагов не было слышно. Этим и нужно было воспользоваться. Конечно, был риск. Но уж очень хотелось быстрее отправить письмо!

Еще при первом представлении начальству Болтунов выхлопотал ряд лагерных благ. Во-первых, нас зачислили на так называемый "ИТРовский" паек, разрешив брать его сухим пайком (под предлогом, чтобы не терять времени в столовой), выдали пропуска для круглосуточного хождения вне зоны и т. д. Кроме того, нас хорошо обмундировали во все новое, зимнее. Итак, уже с первых дней пребывания в Кемчугском лагере я попал в привилегированную прослойку лагерников.

Начальство полностью доверяло Болтунову, да и проверять его было некому. Болтунов был талантливым механиком-самоучкой, а в штабе инженеров-механиков не было. Начальником лагеря был чекист по фамилии Забелин. Носил он один ромб, т. е. был комиссаром какого-то ранга. У него было два заместителя. Один — оперуполномоченный, второй — специалист по лесной части. Оба они носили по три шпалы (подполковники). Кроме них был еще один вольнонаемный радист, да и тот какой-то больной. Вот и все. Удивительная система! На лагерь, где находилось более десяти тысяч "преступников", расположенный в глубокой тайге, было всего три человека охраны. И эти трое спали по ночам глубоким, спокойным сном, уверенные, что бунта не будет и что преступники не разбегутся! Вся вооруженная охрана (ВОХР), оперативная часть (чекисты), воспитательная часть и администрация — состояли только из заключенных. Может быть, заключенные не работали — занимались саботажем? — Работали! Да еще как работали, несмотря на плохое питание и на сибирские холода. Может быть, заключенные постепенно разбегались? Нет. Конечно, отдельные побеги были. Но, как правило, кончались они неудачно. В поимке особенно изощрялся садист, начальник ВОХР'а (к сожалению, не запомнил его фамилии). Для него каждая погоня за беглецом была праздником. На лошадях, с собаками, с гиканьем и стрельбой, как охота из "Войны и мира". Только там была охота на зверя, здесь — на человека. И весь этот лагерный механизм работал отлаженно. Впрочем, чему тут удивляться. В те годы вся страна была похожа на большой лагерь.

Работы в первые месяцы у Болтунова, да и у меня, было много. Нужно было вдохнуть жизнь в лесозавод. Из подразделений начали присылать слесарей, токарей и других специалистов. Начались работы по установке новых пилорам и т. д. Болтунов ездил то в Мариинск, то в Красноярск, доставая оборудование. Для заказов нужны были чертежи, и я, по указанию Болтунова, чертил, а зачастую и конструировал простейшие механизмы, шестерни, шкивы, трансмиссии. Еще до наступления самых сильных морозов из трубы завода

повалил дым. Осторожно разогрели старый английский стальной котел и подняли в нем давление. Завод ожил. По трубам пошел пар. Приятно разлилось тепло. Заработал паровой двигатель. Восстановление завода пошло быстрее.

Всю зиму 34/35 года я работал в небольшом домике рядом с заводом. Кроме меня, там работали еще двое: счетовод и табельщик лесозавода. Мы трое размещались в просторной комнате, а рядом был крохотный кабинет заведующего, но в нем Болтунов почти не бывал. В конторе было тепло. Мой стол с чертежной доской стоял около замерзшего окна.

В грустных воспоминаниях, в работе и бытовых заботах шли короткие дни суровых зимних месяцев. Наконец, все ремонтные работы на заводе были кончены, и в январе или в феврале 35-го года, после опробования пилорам, под продолжительный заводской гудок пошло на распиловку первое бревно. Хорошо натянутые и наточенные пилы с жадностью врезались в тело древесины. По всему заводу разлился аромат сосновой смолы, а на "развале" (на выходе) уже складывали в вагонетку первые обрезные доски цвета сливочного масла. Все начальство и штаб лагпункта пришли на пуск и с интересом наблюдали за началом работы. Теперь делом реальной продукции можно было ответить на все упреки и требования Управления. За несколько недель работы завода на пустующих пристанционных площадках выросли штабеля досок разной толщины и разного сорта. Были поданы платформы и начались погрузочные работы.

С пуском завода почти закончились чертежно-конструкторские работы, и мне пришлось приступить к своей прямой работе нормировщика лесозавода. Этому нехитрому делу меня обучал заведующий ТНБ (тарифно-нормировочного бюро) лагпункта, молодой инженер из Харькова Харченко. Я с усердием принялся за дело и довольно скоро освоил его.

Всю эту зиму стояли лютые морозы. Кажется, в феврале в домике, где мы жили, произошел пожар. Как-то вечером, вернувшись домой, я растопил печь и, чтобы нагреть комнату и дольше сохранить тепло, набил ее до отказа смолистыми поленьями из лиственницы и лег спать. Болтунов был еще на

заводе. Долго ли я спал, не знаю, но проснулся от какого-то треска и людского шума за окном. Когда проснулся, то увидел над собой, как по потолку бегут языки пламени, а около раскаленной трубы потолок пылает. Я мгновенно вскочил, натянул одежду и выскочил на улицу. Подоспевшие с завода люди притащили лестницы и закидывали горящую крышу и потолок снегом, а с завода несли воду. Скоро пожар был потушен. Но жить в домике стало невозможно. Надо было настилать новый потолок, отремонтировать крышу и заново сложить печь и трубу. Как ни странно, пожар прошел малозаметно, и меня за него не наказали. Эту ночь мы провели на заводе. На следующий день нас перевели жить в зону, в ИТРовский барак.

В этом бараке жили все начальники отделов и служб штаба, т. е. вся лагерная элита. Нас с Болтуновым поселили в нем как бы в награду за пуск лесозавода. Всего там жило человек 10-12. У каждого был широкий топчан с матрацем и бельем и с тумбочкой возле топчана. Посередине комнаты — большой стол с лампой над ним. Вокруг стола стояли настоящие стулья. Около двери умывальник и большая печка — плита. Жил в бараке также дневальный — азербайджанец небольшого роста, очень приветливый человек. Случай, т. е. пожар, свел меня там с интересными людьми. До этого мы жили на лесоскладе, как отшельники, а теперь попали в оживленное общество. Из всех обитателей барака ближе ко мне по возрасту было трое: начальник учетно-распределительной части — Соколов, заместитель начальника производственного отдела — Мрасов и заведующий ТНБ Харченко. Каждому из них было лет по 25-26, т. е. они были старше меня на пять-шесть лет. Все остальные были значительно старше. Эти трое выделялись своей живостью, остроумием, склонностью к дикуссиям и составляли маленький кружок. Меня как младшего они благосклонно приняли в свою компанию.

Частыми гостями по вечерам — до отбоя у нас бывали: заведующий клубом, бывший режиссер МХАТ'а, ученик Немировича-Данченко Виктор Александрович Ремезов и бывший секретарь журнала "Новый мир" Николай Николаевич

Смирнов. Когда они приходили, всегда было интересно. Завязывались разговоры о театре, о литературе. Соколов, регулярно получавший хорошие посылки от отца, вытаскивал из своих запасов конфеты, печенье, и начиналось чаепитие. Приходили и другие интересные люди, но я их мало помню.

Колоритной фигурой в лагпункте был начальник производственного отдела Колобановский. Огромного роста, полный, с хорошо поставленным низким голосом мужчина лет сорока пяти. Носил он свой долагерный добротный костюм. До ареста он был наркомом тяжелой промышленности Азербайджана. По его словам, хорошо знал Кирова и Орджоникидзе. За что сидел, не помню, но срок имел большой. В лагере Колобановский держался независимо и чувствовал себя большим барином. Жил он в отдельном домике, вне зоны. У него был свой дневальный, который убирал, топил и готовил ему пищу. Несмотря на свою массивность, он был живой и довольно остроумный. Любил рассказывать всякие истории и при этом, конечно, врал. В технике он разбирался хорошо и был прирожденным администратором. Но душою производства как здесь, так, вероятно, и до ареста он не был. Один раз в квартал Колобановский отправлялся с докладом о производственной деятельности лагпункта в Управление Сиблага. Квартальный отчет готовил весь штаб. Чертились планы лесных делянок, схемы транспорта леса, какие-то графики и таблицы роста производства. Писался конъюнктурный обзор и т. д. Конечно, добрая половина всего этого была чистой липой. В целом лагпункт работал плохо и приходилось изворачиваться. Окончательная литературная обработка доклада поручалась Н. Н. Смирнову. Когда все было готово, Колобановского сажали в санки, укрывали медвежьей дохой, и он отправлялся на станцию Зелендеево, где останавливались скорые поезда. Из одной такой поездки, в апреле 35-го года, он не вернулся.

Вскоре после исчезновения Колобановского начальником производственного отдела был назначен Махмуд Давлетович Мрасов. Мы его звали просто Миша. Мрасов сидел в лагере с конца 1932-го года. Осужден он был по так называемому по-

становлению "от седьмого-восьмого, тридцать второго" (т. е. от 7-го августа 1932 г.) за хищение государственной собственности. По этому постановлению примерно одинаково карались люди, взявшие в пекарне буханку хлеба, и те, которые крали на сотни тысяч рублей. Срок, по постановлению, был от 5 до 10 лет. Мрасов был осужден, кажется, на 8 лет. Родом он был из Казани, получил специальность экономиста и работал в Госплане республики. За что конкретно был осужден Мрасов, я не помню. мы мало говорили на эти темы. Возможно, он просто попал под горячую руку кампании, начавшейся после "Постановления". Еще при Колобановском фактическим организатором производства был Мрасов, так что с его назначением ничего не изменилось. Он был умным, дальновидным и энергичным организатором. По натуре он был добрым и отзывчивым человеком. Поэтому, в силу своих возможностей, старался облегчить тяжелый труд заключенных. Работать с ним было легко и интересно. Теплые, дружеские отношения, возникшие между нами в те годы, прошли проверку временем.

Весной 1935-го года, отбыв срок, освободился мой начальник Харченко. По совету и ходатайству Соколова и Мрасова — заведующим ТНБ — начальник лагпункта Забелин назначил меня. Вначале было трудно, но потом я освоился и справлялся с работой. Я распрощался с лесозаводом и перешел работать в штаб под начало к Мрасову. Горизонт моей лагерной деятельности значительно расширился.

Примерно в то же время, а может быть, несколько раньше на заводе произошла авария котла. Болтунов как бы предчувствовал возможность аварии и в последний момент сумел предотвратить взрыв. Виноват был уснувший кочегар ночной смены. Хотя авария была предотвращена, но для ремонта котла пришлось остановить завод недели на две. В Красноярске нашли хорошего котельщика. Днем и ночью они с Болтуновым работали, стараясь как можно быстрее все исправить. Пока шел ремонт, Федора Филипповича не трогали, наоборот, помогали ему. Но, как только ремонт был кончен и завод вновь заработал, его арестовали, обвинили во

вредительстве, судили показательным лагерным судом и добавили к существующему сроку еще восемь лет. До этого он имел пять лет лагеря, из которых половину отсидел. Под конвоем Болтунова отвезли в Новосибирск, и с тех пор о его судьбе я ничего не знаю. Такова была чекистская логика: взяли от заключенного все, что он мог дать и, вместо благодарности за возрожденный им лесозавод, добавили срок и отправили с глаз долой.

Пришла моя вторая лагерная весна. Она наступила только в конце мая. Зато — какой буйной, какой красочной она была! Буквально на глазах все менялось, все преображалось. Весна в Восточной Сибири значительно отличается от западно-сибирской. Здесь — буйство красок и воды. Кипит речка Кемчуг, протекающая около лагеря, все зеленеет и цветет. Одна поляна — розовая — это цветут дикие пеоны. А рядом — овраг оражевого цвета — зацвели сибирские жарки. Все опушки окрасились в сине-фиолетовый цвет — это цветет "ирис сибирика". Точно такой, как обычный садовый ирис, только карликого роста. Позднее там будут преобладать малиновые тона, зацветет "вечерница" — колокольчик малинового цвета. Все это ярко и очень быстротечно. Тайга наполнилась шумом и гамом птиц. А над головой — голубое небо, почти все лето безоблачное.

Лагерники ожили. Нет больше необходимости кутаться в рваные бушлаты и дрожать на лютом морозе. А главное, появилась черемша: дикий чеснок со сладким стеблем. Черемшу можно жевать целый день. Она утоляет голод и быстро прибавляет силы. "Доходяг", т. е. людей, которые за зиму дошли до полного истощения, но еще живы, на две-три недели освобождали от работ и выпускали на поляны пастись по черемше. За эти недели они приобретали, вернее, возвращали себе человеческий облик. Словом, тот, кто дожил до весны, теперь имел шанс дожить до следующей зимы. Черемша спасла от смерти множество людей. Пишу я об этом так, потому что с приходом на новую работу стал чаще бывать в подразделениях лагпункта, расположенных в тайге, где люди

работали под конвоем, непосредственно на лесозаготовках, и все это я видел своими глазами.

Когда стало совсем тепло, мы с Соколовым переселились на застекленную веранду при входе в барак и прожили на ней до самой осени. Тут было много воздуха и совсем тихо. Туда же переселился центр кружка и вечерние чаепития. За это лето мы еще больше подружились со Львом Иосифовичем, и с тех пор наша дружба продолжалась много лет, до самой его смерти в 1978 году, далеко перешагнув за лагерную проволоку.

Лев Иосифович был сыном московского профессора математики. По матери он был внучатым племянником драматурга Н. А. Островского. Он очень гордился этим и позднее стал Соколовым-Островским. Природа щедро одарила его. Он имел, я бы сказал, классическую красивую внешность, был умен и образован и обладал талантом художника, музыканта, поэта и оратора. До ареста он окончил два факультета Московского университета: математический и филологический. Но главным его увлечением была живопись и в дальнейшем он стал профессиональным художником-декоратором. Одно время, в войну, он работал в Куйбышеве художником Большого театра. Будучи человеком широко эрудированным, Лев Иосифович умел расположить к себе человека и как бы подчинить его своему влиянию. Этими своими возможностями он и не преминул воспользоваться в лагере. Начальник лагпункта Забелин скучал на своей чекистской работе в Кемчуге и, будучи художником-дилетантом, большую часть времени уделял живописи. Вот на этой почве Соколов сумел завоевать расположение и доверие начальника лагпункта. Часто они вместе выходили на природу писать пейзажи. Соколов осторожно критиковал Забелина, давал ему дельные советы и т. д. Словом, постепенно Забелин попал под влияние Льва Иосифовича, и тот тактично и умно пользовался им, часто помогал заключенным и выручал их в критических ситуациях. Этому, конечно, способствовало и то, что он был начальником У. Р. Ч.

К сожалению, в середине лета 35-го года сравнительно человечного Забелина заменили более суровым чекистом Гор-

буновым. К этому времени вообще началось ужесточение лагерного режима. По-видимому, оно было связано, хотя и с опозданием, с убийством Кирова. Так, например, были взяты под конвой и отправлены на общие работы лица, осужденные по статьям 58-6 и 58-8, т. е. за шпионаж и терроризм. В нашем бараке по этому распоряжению пострадал молодой и очень симпатичный бухгалтер из Москвы, с Большой Серпуховской, Борис Комаров. Как-то в Москве в очень дружной компании он напился, вытащил из кармана полудетский пистолет (такие в тридцатых годах продавались) и начал стрелять. Одна пуля случайно угодила в портрет Молотова. Через несколько дней Комарова арестовали и осудили за терроризм сроком на 8 лет. Удалось ли Комарову живым выбраться из лагеря, я не знаю. Той же осенью была проведена повальная дактилоскопия. У всех заключенных были взяты отпечатки пальцев. Процедура вроде безобидная, но какая-то унизительная.

Летом все штабные целыми днями работали на сенокосе. Косили очень много. Основной покос шел в пойме речки Кемчуг. Вода в ней была чистая, но холодная (даже в самые жаркие дни). Летним бичом для всех жителей Восточной Сибири был, да и сейчас остается, гнус — мельчайшие мошки, беспощадно искусывающие все живое. От гнуса нет спасения, никакие накомарники не защищают. Спасает только дым костра и вечерняя прохлада. Гнус преследует человека везде: в тайге, в бараке и на берегу реки. В жару во время сенокоса очень хотелось искупаться. Нужно было мгновенно раздеться и броситься очертя голову в холодную речку. Поплавав и замерзнув, нужно было в таком же темпе выскочить и натянуть одежду. Но даже за эти считанные секунды тело становилось черным от москитов и долго потом зудело и кровоточило от расчесов. Пропадал гнус только при наступлении устойчивых утренних заморозков. Возвращаясь с покоса, мы несли полные котелки душистой лесной малины, что было неплохим добавлением к лагерному рациону. Однажды, сложившись, мы с Соколовым купили в вольном поселке поллитра меда. Принеся из леса по полному котелку малины, смешали ее с медом и сразу все съели. К ночи началась боль в животе, температура

поднялась чуть не до 40. В таком состоянии мы пролежали целые сутки, бредя и охая. Постепенно все обошлось.

Другим физическим занятием, кроме покоса, для работников штаба в любое время года были авралы по погрузке лесоматериалов. Это происходило в те дни, когда железная дорога подавала в наш тупик слишком много платформ. Грузили строевой круглый лес, доски, тес и т. п. Для нас, штабных, сравнительно сытых людей, это была неплохая разминка. И то, если погрузка происходила не под дождем и не под мокрым снегом. Проработав на погрузке целый день, мы возвращались, еле таща ноги. Обычно на погрузку ставили вновь прибывших заключенных, не успевших еще отощать. Там нельзя было "филонить", т. е. плохо работать. За простой вагонов платили штраф.

Этим летом и осенью я все больше времени проводил в тайге, непосредственно на лесозаготовках и в дальних подразделениях лагеря, проверяя нормы выработки, составляя фотографии рабочего дня различных производственных процессов. Тайга летом была малопроходимой из-за высокой травы, из которой взлетали тучи гнуса. Молчаливая и таинственная, тайга вместе с тем была наполнена всякими звуками и шорохами, державшими тебя в напряжении. То и дело из-под ног с шумом взлетали крупные птицы и шарахались в сторону зверьки. Что поражало меня в тайге, это разнообразие жизни леса и особенно — множество самых разных птиц.

Из подразделений лагпункта я чаще всего бывал в так называемом "Жук-Боре". Это было самое многолюдное наше подразделение — центр лесозаготовок. Больше половины заключенных содержалось там под конвоем и занималось лесоповалом. Лагерь расползался по широкой лощине и между сопок. Приземистые, темные бараки с небольшими окошками размещались не в строгом порядке, а хаотично прижимались к сопкам, как бы ища у них защиты от ветра и холода. Благодаря такой планировке, вернее, из-за ее отсутствия, в центре лагеря образовался просторный плац, на котором проходили утренние разводы. Ограда из колючей проволоки со смотровыми вышками проходила как бы по второму этажу, по склонам

сопок. В "Жук-Боре" было много уголовников и политических, примерно поровну. Был там и многочисленный женский отряд. Лагерь жил своей замкнутой, но деятельной жизнью. С вершин сопок он напоминал большой муравейник, от которого во все стороны расползались лесные дороги: одни — еле заметные, другие — широкие, хорошо накатанные. Начальником "Жук-Бора" был также заключенный, Антонов, оригинальный человечек лет тридцати пяти, небольшого роста и очень полный. Он был в дружеских отношениях с Соколовым и, как часто бывает, был его противоположностью как по внешнему виду, так, вероятно, и по внутреннему содержанию. Для меня их дружба была загадкой. С нами, работниками штаба, Антонов был мил и любезен, но, думаю, что в действительности он был жестоким и не очень щепетильным человеком. Во всяком случае многотысячный лагерь он держал в повиновении и у начальства был на хорошем счету. Связь со штабом поддерживалась стареньким полевым телефоном, который нужно было крутить, чтобы тебя услышали на другом конце.

Между "Жук-Бором" и центральным участком находилась так называемая "комбинированная дорога", по которой подвозился круглый лес на лесозавод. "Жук-Бор" подвозил бревна на промежуточный склад. Там их штабелевали, а затем грузили на вагонетки. Груженую вагонетку по узкоколейке лебедкой втягивали на вершину сопки. С вершины вагонетку с проводником пускали своим ходом под гору. Она катилась по рельсам километра четыре. Во время спуска ее нужно было все время тормозить ручным тормозом, иначе она развивала огромную скорость. Занятие веселое, но опасное. На этом спуске часто бывали аварии и несчастные случаи. Однажды я, находясь в конторе дороги, вызвался спустить вагонетку вместо проводника. Мне предоставили это удовольствие. Я уселся на скрученные бревна, крепко ухватился за ручку тормоза, и меня подтолкнули на спуск. Вначале я сильно тормозил и вагонетка шла медленно, затем я ослабил тормоз и скорость увеличилась. На каком-то повороте лопнула проволочная скрутка, больно ударив меня по руке. При этом она

срезала с руки значительный лоскут кожи. Я на какие-то секунды растерялся и чуть не выпустил тормоз. Скорость еще увеличилась. Но все же я справился, успел затормозить и благополучно довел вагонетку до горизонтального пути.

Уже несколько лет доставка леса была слабым местом в работе лагпункта. Во-первых, лесосеки все дальше отдалялись от "Жук-Бора", а, следовательно, и от промежуточного склада у начала "комбинированной дороги". Во-вторых, работа самой дороги постоянно нарушалась из-за различных аварий. То лопался изношенный трос на подъеме, то выходил из строя двигатель внутреннего сгорания, установленный на лебедке, а то происходили аварии на спуске. Решать проблему надежной доставки леса должен был производственный отдел во главе с Мрасовым. К решению этой задачи он подключил и меня. Всю осень мы искали рациональное решение. И к началу зимы нашли лучший, по нашему мнению, вариант. Внимательно просмотрев крупномасштабную карту и установив, что лесосеки уходят от "Жук-Бора" как бы по дуге и приближаются к полотну железной дороги, но только дальше, чем существующий переезд, мы решили, что промежуточный склад и "комбинированную дорогу" на зиму нужно закрыть, а лес прямо с лесосек возить гужевым транспортом на лесозавод. Для этого нужно было найти кратчайшую дорогу в обход сопок к железной дороге, получить в Красноярске разрешение на открытие нового железнодорожного переезда и т. д. Кроме того, весь обоз надо было перевести из "Жук-Бора" на центральный участок с тем, чтобы ездовые успевали за световой день делать два рейса. Предложение было доложено начальнику лагпункта и получило его одобрение. Пишу об этом так подробно потому, что эта работа захватила нас, и мы с Мрасовым отдали ей всю свою молодую энергию. Эксперимент оказался удачным и значительно уменьшил трудовые затраты на доставку леса. С согласия начальника лагеря и его заместителя в квартальных отчетах в Сиблаг мы умолчали об эксперименте. Благодаря этому был создан значительный запас леса и было получено оборудование для ремонта "комбинированной дороги".

С осени 1935 года в стране разворачивалось стахановское движение. Один за другим поражали своими небывалыми рекордами передовики промышленности и сельского хозяйства: Стаханов, Бусыгин, Кривонос, Дуся и Маруся Виноградовы, Мария Демченко и другие. Газеты захлебывались от восторга. Появились новые лозунги: "Кадры в период реконструкции решают все" и т. п. Для придания движению общегосударственного размаха было созвано всесоюзное совещание стахановцев, на котором выступил с речью Иосиф Виссарионович (вообще-то он не баловал подданных частыми выступлениями). Речь заканчивалась словами: "жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, а когда весело живется, то и работа спорится — отсюда новые нормы, высокая производительность труда".

Естественно, что наш лагпункт не мог стоять в стороне от такого движения. Была дана команда, и зашевелились все звенья (тут уж не до малины с медом). Особая нагрузка легла на производственный отдел и на К. В. Ч. Нужно было показать стихийный рост труда и донести до заключенных пафос великого движения.

Хуже всего было с нормами. Нельзя было увеличивать и без того невыполнимые нормы (четырнадцать кубометров заготовки леса на двух человек при работе простой двуручной пилой и топором). Повысить нормы — значит обречь заключенного на еще худшее питание и лишить его надежды получить зачет рабочих дней. Поэтому нормы не тронули. А вот с производительностью было гораздо проще. В сводках и отчетах, которые посылались в Сиблаг, мы смело увеличивали количество лесозаготовок. — Пойди, проверь в тайге: летом — гнус не дает, зимой — все под снегом.

В КВЧ начали поспешно готовить агитаторов, чтобы как можно быстрее донести слова Вождя до отзывчивых сердец заключенных. "На безрыбье и рак — рыба", вот даже и я попал в число тех, кому выпала честь нести призыв в массы. Рано утром, получив газеты с речью Сталина и две пачки махорки (чтобы лучше слушали), я отправлялся с попутным транспортом на далекие лесосеки. Конвой был заранее пре-

дупрежден и разрешал прервать работу, собрать бригаду, разжечь костер и начать читку. Ярко горит костер, соперничая с тусклым январским солнцем, ополовинена уже вторая пачка махорки, осовели разомлевшие у костра заключенные, а я читаю и читаю. Стрелок охраны, стоя в стороне, совсем замерз, но не решается прервать сталинскую речь. Заключенные довольны: у них сегодня вроде праздник. И отдохнули, и покурили всласть, и вот-вот привезут горячую похлебку. Прощаясь, они говорят: "приходи почаще".

Читал я сталинскую речь не один день и не одной бригаде. Кроме меня, читали ее и многие другие агитаторы, израсходовав при этом изрядный запас махорки. Вот так Кемчугский лагпункт успешно включился в стахановское движение. За добросовестную работу агитатором я был премирован и получил разрешение купить в вольнонаемной лавке хорошие штаны.

В эту зиму 35/36 года работа культурно-воспитательной части отличалась большой активностью. Центром этой работы был клуб и его заведующий Виктор Васильевич Ремезов. Как я уже говорил, до ареста Виктор Александрович был режиссером МХАТ'а и режиссером, вероятно, талантливым. Еще осенью он создал при клубе драматический кружок и сумел заинтересовать и воодушевить всех его участников. Декорации к спектаклям и эскизы костюмов писал Соколов, на нем же лежало и музыкальное сопровождение. Текстовая часть и конферанс — на Мрасове, суфлером был Н. Н. Смирнов. Даже я и то участвовал в кружке в качестве статиста, а иногда и артиста. В кружке никого не надо было просить и уговаривать сыграть роль или что-то сделать. Все радовались и считали за честь участвовать в подготовке спектакля. Любимым драматургом Ремезова был Мольер. Кружок подготовил и сыграл ряд его пьес ("Брак поневоле", "Тартюф" и др.) Играли спектакли и других авторов, но мало. Помню, в одном спектакле, кажется, в "Мнимом больном", я играл немую девушку. Почему именно меня Ремезов решил превратить в девушку, не помню (женщин, и даже очень молодых, в кружке было достаточно). Играть эту роль было нетрудно, ведь девушка

была немая. Загримировали меня великолепно, сумев придать фигуре нужные очертания. На премьере спектакля в первом ряду, как всегда, сидело вольнонаемное начальство. И вот, во время действия, оперуполномоченный спрашивает помощника: "А кто это немую играет?" — Помощник отвечает: "Кажется, Комаровский". — Уполномоченный: "Какая Комаровская, у нас такой нет!" — Помощник: "Да нет, Комаровский — мужчина". — Уполномоченный: "Вот это — да!" Это было высшей похвалой моему артистическому таланту и гримерским способносятм Соколова. Свои новые спектакли мы неизменно возили в "Жук-Бор", где также встречали одобрение и признательность. Не знаю, как зрителям, но нам, членам драмкружка, эта артистическая деятельность очень скрашивала лагерное существование той зимы.

Много лет спустя в Вильнюсе я как-то прочел на театральной афише, что во Дворце культуры железнодорожников идут спектакли Ленинградского городского Дома учителя, главный режиссер В. А. Ремезов. И мне подумалось, не тот ли это Ремезов? Решил проверить и пошел на спектакль. Как всегда, опоздал и вошел в зал, когда свет был потушен. Так что навести справки не успел. Но, как только началась первая картина, по какому-то особому режиссерскому почерку понял: это тот самый Виктор Александрович. Дождавшись конца спектакля, я узнал в одном из покидавших сцену Ремезова. Только теперь он был с усами и бородкой. Подошел к нему, поздоровался. Он ответил: "А, здравствуйте, здравствуйте. Ну, как поживаете? В Ленинграде мы не успели поговорить". Я понял, что он меня не узнал, и сказал ему об этом. Ремезов ответил: "Простите, но я действительно не знаю, кто вы". Затем у нас произошел следующий диалог: "Посмотрите, неужели я так изменился?" — "Нет, не узнаю!" — "Хорошо. Я скажу вам всего два слова: "Кемчуг" и "Жук-Бор"..." Ремезов схватил меня за локоть? "Алеша? Неужели это вы?" В тот вечере мы долго говорили с Виктором Александровичем, вспоминая все пережитое. Ремезов умер в Ленинграде в конце семидесятых годов от рака.

Зима 36-го года, не в пример прошлогодней, была мягкой,

но очень снежной. Глубина снежного покрова в тайге доходила до двух метров. Все местные приметы говорили о том, что весна в этом году здесь будет поздней и затяжной.. Лагпункту это было на руку, так как давало возможность дольше возить лес гужом по накатанному зимнику. Словом, лагпункт продолжал жить своей монотонной, обычной трудовой жизнью.

Ближе к весне Соколов, зная, что ему предстоит скорое освобождение, решил сделать на память всем друзьям небольшие портреты. Из-за отсутствия подрамников и холста писал он на фанере. По вечерам наш барак превращался в мастерскую художника, где пахло скипидаром, валялись краски, грязные кисти и другие атрибуты живописца. Это злило многих обитателей барака, но Соколов не обращал на это внимания. Вообще он мало считался с людьми. В числе прочих был нарисован и мой портрет. Я до сих пор храню его как память тех лет. Знаю, что такой же портрет до сих пор хранит и Мрасов.

В конце зимы я получил письмо от Коли Иванова "с воли". Он писал, что, освободившись, ездил на могилу матери в Пензу, а затем обосновался в гор. Карсун Ульяновской области и работает там в дорожно-строительном тресте. Он приглашал меня после освобождения приехать к нему жить и работать. Примерно в то же время пришло письмо из дома, в котором сообщалось, что незадолго до того вернувшийся в Москву Сережа Оболенский — вновь арестован. Это было грустное сообщение и вместе с тем — грозное предупреждение, из которого нужно было делать выводы и для себя. На семейном совете, проходившем по почте, было решено, что после освобождения в Москву я не поеду, а устроюсь на работу в Карсуне у Коли Иванова.

Чем ближе подходил срок освобождения, тем чаще мысли обращались к дому, тем чаще глаза смотрели на запад, как будто там, за сплошной белой пеленой, можно было что-то разглядеть. Вероятно, если бы освобождение не приближалось, эти волны грусти и тоски не накатывались бы так часто, как этой ранней весной. У Соколова в У. Р. Ч. сосредота-

чивались все данные по зачету рабочих дней, и мы высчитали, что и он, и я должны быть освобождены в конце апреля — начале мая. И вот, в середине апреля из Новосибирска (из Сиблага) пришла радиограмма, в которой сообщалось, что мне зачитывается 191 рабочий день и я должен быть освобожден 22 апреля 1936 года. Моему ликованию не было предела. Вот и пришел долгожданный день.

За временным паспортом я съездил в г. Ачинск и оттуда же дал телеграмму домой о том, что я освобожден и еду к Коле. Вечером вернулся в лагерь. Чтобы запутать бдительные органы, Соколов заслал в гор. Нижний Тагил мое личное дело (формуляр), а литер его заместитель выписал мне до станции Самара. Было решено, что до Новосибирска мы поедем вместе с Соколовым. Но его освобождение задерживалось на неделю, и я все это время прожил на своей койке и питался в лагерной столовой.

И вот утром 1-го мая 36-го года мы покинули Кемчугский лагпункт. Стоял морозный день. До станции Зелендеево нас в санях провожал Мрасов. Всем троим было немного грустно. А нам с Соколовым было еще и неудобно: вот мы, счастливые, уезжаем (можно сказать, улетаем), а нашему Мише, с которым так много пережито, еще сидеть и сидеть. Сдерживая себя, на прощание обнялись и обещали писать.

Суровый и, конечно, мрачный лагерь, к счастью для нас, остался позади.

Возвращение

У Аверченко в сборнике "Двенадцать ножей в спину революции" есть рассказ о том, как подвыпивший киномеханик намотал пленку задом наперед и начал демонстрировать ее зрителям. А кинолента повествовала вначале о спокойной дореволюционной жизни, постепенно переходя к событиям гражданской войны и современной действительности. Перед зрителями разворачивался обратный ход событий.

Среди сеанса механик заметил свою ошибку и остановил аппарат. Взволнованные зрители, которым хотелось хотя бы в кино перенестись в милое для них прошлое, кричат механику: "Крути, Ванька, назад, крути!" Рассказ так и называется: "Крути, Ванька, назад". Обратный путь домой напомнил мне этот рассказ.

Не успели мы оглядеться в вагоне, как мимо окон промелькнул наш Кемчугский лагпункт со штабелями досок у разъезда. Пошли знакомые места, только мелькали они в обратном порядке. Днем в полупустом вагоне мы слушали по радио первомайский парад и шумную демонстрацию с Красной площади в Москве, и не верилось, что там уже весна и люди несут в руках зеленые ветки и цветы. Тут кругом все еще было белым-бело. Ехали мы в этом поезде до Новосибирска, а дальше наши пути расходились. Лев Иосифович ехал ненадолго повидаться с отцом в Барнаул, куда тот перебрался из Москвы и заведовал там кафедрой в университете. В те годы многие ученые покидали Москву (от греха подальше) и селились в университетских городах на периферии. Мне же предстоял путь в Карсун через Омск и Челябинск. На следующий день, второго мая, мы гуляли по неуютному Новосибирску. С реки дул пронзительный, холодный ветер. Он гнал бумажный мусор по не убранным после демонстрации мостовым. Улицы были пусты. Погуляв и немного перекусив, мы вернулись на вокзал. Под вечер Соколов посадил меня в поезд. Опять обнялись, опять стало грустно.

Перед глазами прошла черная Барабинская степь. Однотонную вагонную жизнь немного оживила молодая и очень общительная артистка из Уфы, севшая в наш вагон в Омске. Она все допытывалась, откуда я и куда еду, и почему это — у меня в руках томик Мольера, подаренный Соколовым в Новосибирске. Пришлось немного рассказать о себе, о лагерном житье-бытье и объяснить Наташе, почему у меня Мольер. Во время многоразовых чаепитий она старалась угостить меня чем-нибудь вкусным. Я не отказывался, так как, кроме уже зачерствевшего хлеба, ничего не имел. Западная Сибирь осталась позади. Пошел красивый и совсем мне не знакомый

южный Урал. Не доезжая до Уфы, наблюдали весеннее половодье реки Белой. В Уфе распростились с новой знакомой. Я проводил ее до привокзальной площади.

Опять расставание. Не слишком ли много их на моем пути? Ну, ничего, теперь скоро будут и встречи. Первым, кого я увижу, будет Коля Иванов. И это совсем скоро. За Уралом сразу стало по-весеннему тепло. От чернозема шел пар. В Карсун приехали поздно. Стояла темная ночь. Такие темные ночи бывают только на пасхальной неделе. От станции до города долго добирался попутным грузовиком, который то и дело застревал в весенних колдобинах. За дорогу отдал шоферу свои последние рубли.

Долго плутал по ночному городу, разыскивая нужную улицу, нужный мне дом. Нашел. Стучу, вначале робко, потом все сильнее. Наконец засветился огонек и послышался старческий голос: "Чего молотишь?!" — "Скажите, Николай Павлович Иванов у вас живет?" — Молчание. — "Николая нет, он уехал". — "Надолго?" — "Совсем, уехал в Москву, к невесте". — "Как совсем?.. Он же писал..." и т. д.

После слезной мольбы старики с недоверием пустили меня ночевать. Здорово я попал! Без знакомых, без копейки денег. Нет, здесь мне делать нечего. Сама судьба подсказывает: надо ехать в Москву, увидеть родных, а там будет видно. Утром я вспомнил, что в чемодане лежат новые брюки, которые можно продать. Старуха осмотрела их, похвалила и сказала, что сейчас сходит и кое-кому предложит. Вернувшись, она объявила, что штаны купил местный прокурор и завтра он отдаст деньги. На другой день, получив деньги, я поблагодарил хозяев и на рейсовом автобусе отправился на станцию. Дежурному по станции я показал лагерную справку, объяснил ситуацию и просил помочь с билетом. То ли дежурный пожалел меня, то ли не захотел, чтобы на станции болтался бывший заключенный, только билет он мне оформил на первый проходящий поезд. Для экономии сил и средств я забрался на третью полку, постелил телогрейку и проспал сутки до самой Рязани.

За Коломной пошло Подмосковье. Одна за другой мель-

кали высокие платформы дачных остановок. "Крути, Ванька, крути". Я смотрел на людей, стоявших на платформах, и думал: "Какие же они счастливые, может быть, они только сегодня были в Москве". Стоя у открытого окна вагона, я испытывал радостное нетерпение и радовался упругому весеннему ветру.

Во второй половине дня (десятого мая) наш поезд подошел к Казанскому вокзалу. С вокзала на вокзал по Садовому кольцу я переехал на трамвае (на "Букашке"), а от Триумфальной площади (ныне пл. Маяковского) с удовольствием прошагал по Тверской-Ямской. Вот он и Белорусский вокзал... Здравствуй, дорогой, здравствуй! За эти годы ты совсем не изменился. Помнишь, как в двадцать восьмом здесь встречали Максима Горького... А в тридцать первом, вон с той крайней платформы мы провожали Осоргиных в Париж. Под железными крышами твоих платформ до сих пор ютится сладковатый запах недожженного угля. Как тут все знакомо! Я уселся в первый же дачный поезд и жадно прилип к окну. Пошли не просто знакомые, а родные, дорогие места. Немчиновка, Баковка, а там, за Думновским лесом, Переделки, Измалково... Проехали Перхушково с белой Покровской церковью посреди села. А вот и Жаворонки. Подошел к Страховской даче как бы с тыла, со стороны наших окон. Постоял, прислушался к звукам за окнами, не решаясь постучаться. Ведь здесь сейчас дома меня не ждали. Для них я был в каком-то Карсуне...

...Радости встречи я описывать не буду. Это слишком волнительно, слишком лично. Скажу только, что для меня она была омрачена значительно ухудшившимся за эти два с половиной года здоровьем матери.

Примерно за неделю я прописался в Можайске (за 101-м километром) и объехал ряд городов в поисках работы. Но всюду, куда бы я ни обращался, даже в токарной артели на Бородинском поле, от меня сторонились, как от зачумленного. С каждым днем и с каждым новым отказом настроение ухудшалось. В конце концов на семейном совете было решено, что надо ехать в Дмитров и просить Голицыных,

которые там жили, помочь поступить на строительство канала Москва-Волга. Очень не хотелось залезать в эту ГУЛаговскую систему, но без нее, видно, не устроиться.

Дмитров

Голицыны встретили меня очень приветливо, как родного, и обещали помочь устроиться.

Дмитров тех лет был своеобразным центром. В Дмитрове размещалось Управление строительства канала Москва-Волга НКВД СССР. Возвращающиеся из лагерей москвичи (а это был последний год, когда из лагерей еще возвращались) не имели права жить ближе, чем за 101 километр, а тем более в самой Москве. Да и на работу, как и меня, их нигде не принимали. А тут, в городе, расположенном всего в 60-ти км от Москвы принимали на работу всех без исключения и без всяких ограничений. И народ сюда повалил. Наиболее ценным специалистам давали квартиры в Инженерном городке, а всем остальным оплачивали частные комнаты в городе. Управление строительства находилось на особом снабжении, имело отличную столовую, клуб, стадион и другие бытовые учреждения. Увеличилось количество дачных поездов. От вокзала до Управления была заасфальтирована дорога. По субботам все москвичи, груженые авоськами с продуктами, мчались на вокзал. Это был уникальный период в истории Москвы, когда колбаса ехала не из Москвы, а в Москву... Таким образом, из тихого, захолустного городка за два-три года Дмитров превратился в оживленный центр.

Голицыны жили в одноэтажном деревянном доме на углу улиц Кропоткина и Семенюка, на самом бойком перекрестке между городом и Управлением строительства. В этом доме жил художник Владимир Михайлович с семьей и родителями, Анной Сергеевной и Михаилом Владимировичем. В домике рядом — жила его сестра, Мария Михайловна (через год она выйдет замуж за Всеволода Степановича Веселовского). Там

же, в Дмитрове, отдельно жил младший брат — Сергей Михайлович со своей семьей. Но центром — был именно этот дом, на улице Семенюка. Семья жила открытым домом, а вернее, двором, так как летом вся жизнь протекала во дворе. Душой всей семьи был Владимир. Очень общительный, веселый и остроумный, он был радушным хозяином. Меня поражало его умение найти тему для разговора, интересующую именно этого гостя. Была ли это природа, искусство, наука или какая-нибудь техническая тема, Владимир вел разговор со знанием дела, как специалист в этой области. Щедрость его души привлекала в этот дом много старых и новых друзей. Привлекала их также особая русская красота жены Владимира, Евгении Петровны, и обаяние его сестры Машеньки. Владимир шутил, что все их знакомые в Дмитрове делятся примерно поровну — между поклонниками его жены и сестры. В то лето у них не было дня без гостей. Материально Голицыны жили очень и очень скромно. Анна Сергеевна, предвидя вечерний наплыв гостей, заранее начинала приготовление большого таза винегрета из бурачков и других овощей. Вечером гости считали за честь съесть у них тарелку винегрета с куском черного хлеба. Когда собирались особо близкие друзья, со стены снималась гитара и под ее аккомпанемент пелись песни и романсы. Пела Елена Петровна, а, может быть, и Владимир. Жизнь семьи очень оживляли дети. Их было трое: Еленочка, лет двенадцати, и два мальчика — Мишка и Ларюшка, лет восьми—десяти.

На следующий день после моего приезда мы с Машенькой отправились в Управление строительства к начальнику архитектурно-планировочного отдела (АПО) Петру Дмитриевичу Козыреву. Машенька рассказала ему обо мне и просила принять меня на работу в его отдел. Петр Дмитриевич взял мое корявое заявление и четко начертал: "ОК. Прошу оформить". Я горячо поблагодарил его и отправился на муки в этот самый ОК. Там всем заправлял известный на все Управление — Осипов. Этот маленький чекистик и большой буквоед изматывал всех поступающих до предела. Все же к вечеру, изрядно

попотев и испортив много анкет и бумаги, я получил удостоверение работника стороительства канала. Это была вещь. Куда более ценный документ, чем мой временный паспорт. С этим удостоверением я мог смело разгуливать по Москве...

Анна Сергеевна устроила меня на квартиру к своей знакомой старушке, и я начал работать. Работал я в группе "отопление и вентиляция". Моим начальником и учителем был крупный ленинградский специалист по этой части, инженер Львович-Кострица. А старшим инженером у меня был заключенный, московский инженер А. Н. Верещетин. Обоим этим инженерам я многим обязан в своем техническом развитии.

В нашем отделе чертежницей работала очень сердобольная женщина, Фрида Яковлевна. Была она женой начальника снабжения Дмитлага. Надо полагать, что работала она не из-за денег, а чтобы не сидеть дома одной. Фрида Яковлевна обратила внимание на мой скромный, вернее, плачевный гардероб и решила помочь мне одеться. Через своего мужа она достала за баснословно дешевую цену: хром на сапоги, отрез шерсти цвета хаки на брюки и гимнастерку, широкий ремень и длинную (кавалерийскую) шинель. Спасибо ей за добрую заботу и очень своевременную помощь. Почти до самой войны я ходил в этом обмундировании. Когда я впервые появился в нем у Голицыных, Владимир очень тешился над моим нелепым военизированным видом, хотя в юности сам щеголял в морской форме.

В 1936 году строительство канала вступило в самую напряженную, завершающую стадию. В полдень по местному радио передавались сводки о количестве вынутого за сутки грунта, о количестве уложенного бетона, о передовом на этот день районе и т. д. Не передавали только, сколько заключенных умерло за истекший день. Молодость и чисто животная жажда жизни захватили меня и притупили правильное восприятие. За благополучным и оживленным бытом работников Управления, особенно вольнонаемных, не всегда можно было рассмотреть множество человеческих трагедий

заключенных, живущих совсем рядом, во временных лагерях и ежедневно выполняющих рабский, изнурительный труд. Сколько человеческих жизней поглотил канал!

Все земляные работы на канале велись вручную. Грунт на котловане отвозили грабари, да и тачки были еще в ходу. С Яхромских холмов — трасса канала напоминала огромный, вытянувшийся на необозримые просторы живой муравейник. Ночью этот муравейник освещался огнями множества прожекторов. И так от Волги до Москвы. Картина неповторимая. Недостатка в живой силе не было. ГУЛаг поставлял ее бесперебойно и в неограниченном количестве. Без преувеличения можно сказать, что канал имени Москвы покоится на костях заключенных. Пройдет всего несколько лет, и канал, наполненный водой, станет последним рубежом обороны в великой битве за Москву.

Самым оживленным местом в Управлении была огромная столовая для вольнонаемных, где вкусно и дешево кормили. В обеденные часы столовая становилась еще и своеобразным клубом, в котором встречались знакомые, работавшие в разных отделах, обменивались новостями и книгами, договаривались о встречах и т. д. А неподалеку от столовой, на той же площади, засаженной цветами, размещался отлично оборудованный клуб. В часы перерыва (с 4-х до 8-ми вечера) в нем демонстрировались новые фильмы. Они шли у нас раньше, чем в Москве. Этим летом тридцать шестого года к строительству канала было приковано внимание всей страны. В связи с этим к нам зачастили всякие знаменитости. Приезжали — Любовь Орлова, Отто Юльевич Шмидт, летчики Водопьянов и Молоков, Алексей Толстой, Яхонтов и другие. Дмитров стал своеобразным центром притяжения советской элиты.

Несмотря на развлечения и вкусную кормежку, работать приходилось с большой отдачей и с большим напряжением. Чертежи прямо со стола шли на стройку. За ними со всех районов приезжали специальные инженеры-кураторы. Мы с Александром Николаевичем Верещетиным проектировали

теплоснабжение и вентиляцию сооружений Южного (Московского) района: Сходненской ГЭС, Сталинской водопроводной станции и ряда других объектов. Все Управление работало с 9 утра до 4 дня; потом — перерыв до 8 и опять работа до 10-11 вечера. По субботам работали только до 4-х без обеденного перерыва и после этого, обгоняя друг друга, спешили на московский поезд. Возвращались в воскресенье вечером. Не знаю, почему, но именно по воскресным дням в Москву ездил и Владимир Голицын. Все его знакомые знали, что возвращаться он будет восьмичасовым вечерним и непременно сядет в третий от хвоста поезда вагон. Этот вагон наполнялся почти одними голицынскими знакомыми. Владимир был великолепным рассказчиком и, как говорят, "умел держать стол". Паровой поезд шел медленно (больше двух часов), а вагон, освещенный единственным фонарем со свечкой, не дремал и то и дело взрывался от дружного хохота, вызванного веселыми рассказами художника. На платформе в Дмитрове знакомые быстро прощались и убегали вперед, спеша к семьям. А мы, не спеша, двигались по городу, минуя Дмитровский собор и земляной вал кремля, приближаясь к их дому. У Владимира болела нога, и он шел, опираясь на палку. Если не ошибаюсь, у него в то время обострился костный туберкулез.

Я очень дорожил возможностью провести субботний вечер и воскресенье дома, в Жаворонках. Только там, у кресла больной матери, мне по-настоящему было хорошо. Поэтому буквально каждую субботу, невзирая на погоду, я приезжал домой. Иногда по воскресеньям к нам в гости приезжали Коля Иванов со своей молодой женой Еленой Павловной. Коля также работал на строительстве канала, только не в Дмитрове, а в Карамышеве. Позднее приезжал к нам и Соколов, который к тому времени вернулся в Москву. Своих лагерных друзей я познакомил со своей семьей. Одно время Соколов даже работал с отцом. Они вместе расписывали большой плафон в аптеке на Страстной, а ныне Пушкинской площади. Этой аптеки уже давно нет, а эскиз плафона еще у нас сохранился.

Но вернемся в Дмитров. Напряжение в работе с каждым

днем нарастало. И чаще случалось, что в субботу днем в комнату входила секретарь отдела и объявляла: "Сегодня нормальный рабочий день, завтра нормальный рабочий день". Вздох разочарования раздавался в комнате. Так летели летние месяцы. Осенью на строительстве канала был объявлен месячник имени наркома Ягоды. Для нас, работников Управления, это означало, что выходные отменяются и вечерняя смена продолжается не до десяти, а до двенадцати ночи. А если хочешь заслужить звание ударника, то лучше задержаться и до часа ночи.

Не успел закончиться этот ударный месячник, как Ягода оказался врагом народа и был физически ликвидирован. Но месячник продолжался. Срочно срывались портреты одного наркома и заменялись портретами нового — Николая Ивановича Ежова. Вообще за портретами, висевшими в общественных местах, надо было бдительно следить. Чуть зазеваешься, и на стене будет висеть враг народа.

К зиме темп проектных работ немного спал. На большинство сооружений, подлежащих сдаче до прихода волжской воды, вся документация была выдана, и мы вернулись к обычному распорядку дня.

Новый 1937 год я встречал у Голицыных. Шел третий час нового года, когда Машенька, обратившись ко мне, предложила: "Слушай, Алеша. А не покататься ли нам с горы на твоей новой шинели?" Предложение было тут же принято. И мы шумной гурьбой отправились на вал, благо он был рядом. Вначале мешал снег, которого было очень много. Потом горку раскатали и долго веселились. Не берусь судить, что больше пострадало от катания: древний городской вал или моя новая шинель, но удовольствие мы получили огромное. Вдоволь надышавшись морозным воздухом, вся компания вернулась продолжать встречу. Можно ли было тогда думать, что мы встречаем самый кровавый, самый зловещий год в истории нашей родины? К сожалению, это было так.

Зима и начало весны прошли на строительстве в обычной напряженной работе. К середине года намечалось открыть

судоходство на канале.

В двадцатых числах апреля канал посетил сам Сталин. Он приехал со свитой, без предупреждения, в район 4-го и 3-го шлюзов у станции Яхрома. Возможно, Сталин не хотел встречаться с руководством строительства, которое он уже обрек на смерть, или по другим причинам, не знаю, но приезд его был неожиданным и молниеносным. Главным инженером этого района был мой однофамилец Комаровский, который случайно оказался на месте. Он встретил Сталина и давал ему все пояснения. Быстро осмотрев сооружения, с которых к тому времени уже были сняты леса и на которых не оставалось ни одного заключенного, не заезжая в Дмитров, Политбюро укатило обратно в Москву. На другой день все газеты поместили фотографии Сталина и дающего ему пояснения Комаровского на фоне красивых зданий 3-го шлюза. Для Комаровского это посещение было счастливым. Сталин запомнил этого энергичного инженера с хорошо поставленным грудным голосом. Дальнейшая карьера Комаровского росла, как на дрожжах. Закончил он ее в чине генерала армии.

Через несколько дней мы встречали в Дмитрове 1-ое мая. Хорошо запомнились мне эти дни. Как всегда, накануне в клубе проходило торжественное собрание. В президиуме, на сцене, сидело все чекистское руководство во главе с начальником Управления Фириным и начальником политуправления Пузицким. Грудь каждого из чекистов соперничала с грудью соседа количеством орденов Ленина. У каждого их было штук по пять, по восемь. А количество ромбов в петлицах колебалось от двух до четырех. Всего в президиуме сидело человек двадцать. Словом, зрелище было внушительным. После торжественной части был дан великолепный концерт силами лучших московских артистов. Огромный зал клуба был переполнен. Перед началом концерта Пузицкий, обращаясь к присутствующим, просил, чтобы завтра утром так же дружно все без опоздания вышли на демонстрацию. Задолго до назначенного часа все сотрудники Управления явились на демонстрацию. Каково же было наше удивление, когда мы

увидели на трибуне одинокую фигуру человека в штатском. И не увидели ни одной знакомой фигуры в форме. Тут же по рядам демонстрантов пополз слух: "Ночью все руководство арестовано и увезено в Москву". В дальнейшем этот слух подтвердился. Весь вчерашний президиум навсегда исчез. К сожалению, вместе с ними исчезли, а затем погибли многие, многие другие работники Управления, в том числе и начальник нашего отдела Петр Дмитриевич Козырев. Вечная ему память.

Когда 3-го мая мы пришли на работу, Управление выглядело странно. Окна в кабинетах начальства были распахнуты, по коридорам гулял ветер. Все не арестованные начальники среднего звена имели растерянный вид и не знали, с чего начинать. По логике мышления тех лет, нужно было начать с митинга, осуждавшего "изменников". Но, к счастью, человеческая порядочность восторжествовала и этого не произошло. Проходя в свою рабочую комнату, я заглянул одним глазом в приоткрытую дверь кабинета главного архитектора канала Москва-Волга Фридлянда*. Для нас, рядовых работников, этот кабинет всегда был запретным. Сейчас в нем все было кверху дном. В открытые окна дул ветер и раскачивал огромный макет канала. Макет сорвался с петли и держался на одном гвозде. Он качался на фоне темно-синей стены, царапая ее и оставляя белесый след. С длинного, лакированного стола была наполовину сдернута зеленая скатерть. Со столиков между окон — свалены макеты отдельных сооружений канала, часть из них раскололась. По полу ветер гонял, точно играя, листы ватмана. (Я вспомнил, как ровно год назад в Новосибирске ветер гнал по мостовой бумажный мусор.) Словом, кабинет был готовой натурой, достойной кисти передвижников, падких на такие темы. Для полноты картины не хватало только чернильной лужи на паркете и лакового сапога жандарма. Ну,

---

* Одновременно он был главным редактором журнала "Архитектура в СССР".

а косые солнечные лучи — по вкусу художника.

Шли дни, и события первомая отодвигались на задний план. Вскоре появился и новый начальник строительства. Им стал первый заместитель нового наркома Ежова — Берман. Пройдет какое-то время, и этот начальник исчезнет вслед за своим предшественником, но это — впереди.

К июлю канал Москва-Волга был полностью закончен, опробован и готов к судоходству. Пятнадцатого июля правительство устроило для строителей большой праздник в Центральном Парке Культуры и Отдыха в Москве. От каждого района, соответствующего номеру шлюза, в столицу плыл свой теплоход с лучшими строителями (разумеется, вольнонаемными) во главе с начальником района. Рано утром от берегов Волги, от подножья грандиозного монумента Сталину, отплыл первый белоснежный теплоход. После шлюза № 2 к нему присоединился второй. В Дмитрове флотилию возглавил флагман-теплоход "Иосиф Сталин". На нем плыли лучшие люди Управления, в том числе и я. Пригласительный билет был получен мною "по блату". Возглавляли делегацию трое: новый начальник строительства Берман, его заместитель Успенский и главный инженер С. Я. Жук. В Яхроме присоединился еще один теплоход от третьего района и т. д. Днем флотилия в составе семи теплоходов подошла к шестому шлюзу в Икше. Три других теплохода от южных районов ожидали нас в Химках, курсируя по водной глади хранилища. Шестой шлюз является последним — в северной подъемной лестнице канала, и с него начинается так называемый водораздельный бьеф, состоящий из целой системы водохранилищ. Поэтому при последнем шлюзовании в Икше на берег сошло все начальство и многие пассажиры, в основном молодежь. Все с интересом наблюдали, как с шумом наполняется водой камера шлюза. Мало кто заметил, как от шести черных ЭМ'ок, укрывшихся в тени одной из башен шлюза, отделилась группа командиров среднего звена. Эти командиры подошли к начальникам районов и пригласили их в машины. Только мы их и видели. Машины запылили по Дмитровскому шоссе на

Лубянку, а мы белоснежной стайкой поплыли в Химки. Это была последняя подобная акция на строительстве канала. Почему она проводилась с такой открытой наглостью — мне до сих пор непонятно. Праздничное настроение было сломлено. Пассажиры теплоходов помрачнели и примолкли. На гранитных ступеньках Речного вокзала, озаряемый светом рубиновой звезды, флотилию встречал сам Ежов. От такой "приятной" встречи можно было поежиться. После митинга под гром оркестров все разошлись по автобусам и через всю Москву покатили в Зеленый театр ЦПКиО. Там для нас пела Русланова и другие артисты. Концерт вел веселый Гаркави. Гремела музыка. В небо то и дело взлетали фейерверки и ракеты. Но, несмотря на развлечения, настроение не улучшалось. К тому же вечером стало прохладно и пошел моросящий дождик. Последним пригородным поездом я уехал в Жаворонки.

Помню последний приезд отца ко мне в Дмитров. Это было в конце августа. Он иногда приезжал взять у меня денег. Застал я его у себя в квартире в горячем, но доброжелательном споре со взрослыми сыновьями моей хозяйки. Спор шел на кухне. Отец сидел в углу, под образами. Рядом с ним сидела хозяйка. Вероятно, она не очень разбиралась в философской сути спора, но чувствовалось, что она всецело на стороне отца. Помню только одну его фразу: "Ну, положим, будет достигнуто полное изобилие плодов земных, полное материальное благополучие, а дальше что?" Кажется, мой приход прервал спор. Я немного удивился, зачем отец затеял его с этими молодыми комсомольцами. Но таков был отец, спор всегда являлся его любимой формой общения с людьми. Я проводил отца на поезд. У него было хорошее настроение. Он шутил и что-то рассказывал. Ему предстояла интересная и, главное, денежная работа по монументальной живописи с каким-то известным архитектором. Посадил его в вагон. Мы простились. Это была наша последняя встреча. В субботу, приехав домой, я узнал, что за день до этого у нас был обыск и отца арестовали. Внутри все оборвалось. У меня даже не нашлось

слов, чтобы утешить мать. Я почувствовал, что это все. Так оно и было. Больше отца мы не увидели. Одновременно с ним в Жаворонках было арестовано много людей, даже не знакомых друг с другом. Шел массовый террор.

В сентябре 1937 года в Дмитрове меня повесткой вызвали в милицию. Там у меня потребовали незадолго до этого полученный трехгодичный паспорт и жирной фиолетовой мастикой поставили в нем штамп. В штампе значилось: "На основании такого-то постановления покинуть Дмитров в двадцать четыре часа". Число и подпись. С дмитровским периодом все было кончено. Разумеется, по сравнению с арестом, это был просто гуманный жест. Надо было думать, что делать дальше. Ведь теперь на мне лежала ответственность за семью. На долгие размышления у нас не было денег. Посоветовавшись с матерью и сестрами, я подал заявление на имя Жука с просьбой о переводе меня в аналогичный отдел на строительство Куйбышевского гидроузла. Через неделю получил направление в Куйбышев и даже подъемные в размере месячного оклада.

Такие же повестки в милицию получили все бывшие заключенные, работавшие на строительстве канала. Но получали они их не в один день, а по мере окончания работ. Итак, я уехал на Куйбышевский гидроузел.

Из первых куйбышевских впечатлений сохранилось у меня воспоминание об Октябрьской демонстрации 1937 года. День был солнечный, не по-осеннему теплый.

Демонстрацию приветствовал П. П. Постышев. Он был в опале. Сталин не решался уничтожить его как члена Политбюро. Поэтому вначале Постышева перевели в Куйбышев на должность первого секретаря обкома. Через год Постышева не станет. Стоя на трибуне, он приветливо махал рукой полногрудым девицам, обтянутым в белые спортивные костюмы. За физкультурниками шла колонна строителей Гидроузла. Впереди несли лозунг: "Привет Советским Гидростроителям!" Дальше широкая лента демонстрации сворачивала к Волге. В гуще колонн катили грузовики с макетом огромного кулака,

обтянутого в зеленую ежовую рукавицу. Кулак зажал черную фигурку издыхающего человечка с красным лицом. А на бортах грузовиков — лозунг: "Смерть Гидре Контрреволюции!" — Эти близкие по звучанию слова "гидро" и "гидра" причудливо переплетались и путались в умах зрителей. А над бесконечной лентой демонстрации лилась мелодия новой популярной песни:

"...Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек..."

Грузовики же с ежовыми кулаками все катили и катили... На ближайшие годы они станут политическим символом страны.

Вот на этом я, пожалуй, и закончу свои воспоминания.

Вильнюс — Москва. 1985-86 гг.

Александр Нилин

Переделкино. Зимняя дача

Меня преследует, мучая, фраза: "Последнее мирное лето".

Не помню, кто из знаменитых тогда публицистов твердил про прошлое, а то и позапрошлое лето, что оно последнее... Но отчетливость нынешней тревоги, при всей ее привычности, неподдельная — и я почти облегчение почувствовал, переложив заимствованную фразу на бумагу. Фраза отныне м о я и мне дальше жить с ощущением ответственности за нее...

Произнесенная как бы вслух она помогает вызвать в памяти необходимое мне для повествования лето. Лето сорокового года — я родился тридцать первого июля. По совпадению: за окном столь малый фрагмент переделкинского пейзажа, что вряд ли он сколько-нибудь существенно изменился за прошедшие больше чем полвека. Некошеная трава с незажженными фонариками одуванчиков, накренившийся ствол березы, извилистая сосна и сохранившие стройность ради конвоирования темной аллеи тополя.

В последнее, действительно, мирное лето крестный положил на мое имя в сберкассу сто рублей с условием, что вкладом я смогу воспользоваться по наступлении совершеннолетия: в тысяча девятьсот пятьдесят шестом, то есть, году.

Год, предшествовавший моему рождению, и первый год моей жизни в биографии родителей смотрится временем как бы не наибольшего для них благоприятствования. Конечно, в историческом контексте их молодой оптимизм выглядит едва ли не кощунственным. И вчитайся я в отцовские записи того

периода не сегодня, а, скажем, позавчера, мое осуждение родительских настроений не знало бы удержу. Сегодня же записи в старой тетради помогают мне не впасть в отчаяние — в толщу непрозрачных лет я не окунаюсь, а ныряю...

Не соображу, какой был год (но точно, что после пятидесятого), когда Переделкино осталось без пруда — плотину весной прорвало и болото, доходившее до границ фадеевской дачи и дачи Вишневского (бывшей Бабеля), поглотило всю воду пруда, обнажив дно.

Мы с ужасом смотрели, стоя на берегу несуществующего большого пруда, на ямы и колдобины образовавшегося под ивами пустыря — с детства нас пугали коварством манившего к себе водоема: приезжие тонули в нем едва ли не каждое воскресенье.

На следующее лето пруд вновь наполнили и, вдобавок, у того берега, где деревня Измалково, организовали лодочную станцию — и кошмар зараставшего редкой травой бурого пустыря казался приснившимся.

...Мне всего полтора месяца, когда впервые еду я на автомобиле из Переделкина в Москву, о чем свидетельствует запись отца в тетрадь, названную им "Борт-журналом". Тетрадь эту он заводит в августе сорокового года по случаю покупки машины М-1 (в просторечии — "эмки"). В борт-журнал он вкладывает плотный конверт с грифом Управления делами СНК Союза ССР (Москва, Кремль). Для покупки новой машины тогда требовалось распоряжение Совнаркома — оно и было получено шестого августа за № 898-451, а двадцать девятого "эмку" уже перегнали из Смоленска в Переделкино. И отец записывает, что со всеми накладными расходами и платой за перегон она обошлась ему в десять тысяч восемьсот сорок рублей шестьдесят пять копеек. Это почти половина стоимости нашей старой машины, купленной у народной артистки Барсовой и ее мужа Бориса Львовича Камень-Камского. Но новую машину никак нельзя сравнить с дрянненькой барсовской колымагой. Новую нашу машину можно сравнивать только с транспортом будущего. Она нам кажется

сейчас самой красивой, самой лучшей. Она черного цвета с красной полоской...

Что это? Хроника преуспевания молодого, едва переступившего в четвертое десятилетие литератора или, скорее даже, кинематографиста? Хлопоты его кажутся сплошь приятными и подтверждающими причастность к миру людей известных, влиятельных и тоже, разумеется, преуспевающих и, похоже, беспечальных, уверенных в своем завтрашнем дне. Все вокруг выглядят довольными судьбой. Единственное исключение: "Обратно в Переделкино с нами ехала девушка Мариша, которую в этот день за опоздание на работу в библиотеке иностранной литературы приговорили к пяти месяцам принудительных работ с удержанием двадцати пяти процентов зарплаты. Мы угощали ее яблоками, везли в новой машине, но она все равно была очень грустная. Ее не развеселил даже пирожок с мясом, который я купил ей по дороге..." Впрочем, и такая запись тоже есть: "Мы ходили с Евгением Петровым по парку его дачи и говорили обо всем и о войне. Он говорил, что это ужасно, что немцы сбросили миллион бомб на Лондон. К Петрову пришел его брат Валентин Катаев. И тоже сказал, что это ужасно. А я пошел домой, чтобы писать сценарий и повесть про Мишку Селезнева. В доме у нас тихо, тихо..." Не гонит ли отец от себя не нужные для душевного спокойствия мысли? И нет ли доли самовнушения, нет ли психотерапии в подробном перечислении успокаивающих подробностей его тогдашней внешней жизни?

Он учится управлять машиной. "Возил Афиногенова на Баковку. Был выпивши. Вел плохо".

Машины есть еще не у всех даже весьма известных собратьев. "Дорогой Павел Филиппович, — пишет ему записочку Лев Кассиль. — Если вы вернулись вчера, — встаньте, пробудитесь и с подательницей сего сообщите, в какой, как говорят моряки, часовой готовности Вы и Ваш "кар" находитесь". Кассиль шутливо подписывается "Ответственный по футболу". Они едут вместе на международный матч московских динамовцев с болгарами — страстный спортивный болельщик

Кассиль и отец, ни до ни после той довоенной поездки на футболе не бывавший... Театр — родителей приглашают на свои премьеры дачные соседи-драматурги: Александр Афиногенов и Борис Ромашов. Знаменитое кафе "Националь" — завтраки, бритье в парикмахерской. "В "Национале" виделся с Луковым", "в сценарном отделе встретил Афиногенова. Поехали вместе в "Националь", "я поехал с Афиногеновым (на его машине) и Погодиным сначала в "Найиональ", а потом в ЦДРИ"... "Был в Лаврушинском у Вирты", "Был дома, в бане, в "Новом мире" и на Лаврушинском, "Поехал на Лаврушенский в сберкассу. Зашел к Евгению Петрову". "Заехал в ВУАП. Встретил старика Тренева. Познакомившись со мной, он сейчас же сказал: "Меня жена тормошит, говорит, что вы знаете, где продают "Бюик". Хочу купить". Я сказал, что не знаю. Он огорчился. Подумал, наверное, что не стоило знакомиться". "Из Лаврушинского до Красной площади вез Погодина и Тренева". (В Лаврушинском переулке и до сих пор — Управление по охране авторских прав и сберкасса. Они находятся в подвале престижного писательского дома, где с самого начала жили Пастернак, Погодин, Тренев, Вирта, Евгений Петров, Катаев, Олеша... Отец же переехал туда только в пятьдесят седьмом году.)

"У нас бал", — записывает отец восьмого ноября. Запись короткая, поскольку: "...пьянствовали до пяти утра". В гостях были: режиссер Луков, кинооператор, снявший "Броненосца Петемкина", Эдуард Тиссе, Евгений Петров, Кассиль, Первенцев, Афиногенов и Вирта с женами, генерал-майор Спирин с женой и наказанная за опоздание на службу Мариша, навсегда оставшаяся другом моих родителей...

При слове "бал" я немедленно воображаю, как с детства привык, лакированный, разграфленный в крупную клетку потолок нашей дачной столовой, глубоко вобравший в себя электрический свет. Атмосфера стойкой, я бы сказал, праздничности возникает в этой просторной комнате немедленно после щелчка выключателя. И всю свою жизнь, явно недостаточно зарабатывая денег, я ни минуты не считал себя

бедным — не из-за того ли, что ранние мои мечты слагались при долгом взгляде на клетки потолка, отчасти, напоминающие шахматы и уж точно созданные для самых смелых ходов воображения?

Про Пильняка в моем детстве родители вроде бы не говорили специально, но и никакой фигуры умолчания из него не делали. И уж не припомню, в какой связи сказано было, что потолок, аналога которому ни на одной из построенных по стандарту дач городка писателей не было, сделан был по особому заказу первого арендатора. И для меня дачник Борис Пильняк как бы исчез в омуте зеркального отражения вместе со всем, что окружало его здесь. Хотя на самом деле все произошло прозаичнее — и оттого страшнее...

...С Борисом Адроникашвили я познакомился в гостях у Гены Шпаликова в начале шестидесятых. Он любезно отвез меня, пьяного, на Лаврушинский. Я и раньше слышал о нем от Катерины Николаевны Виноградской, преподававшей во ВГИКе. Она рассказывала о талантливо описанной им вишне после дождя.

Борис был не только литературно талантливым, но и неотразимо красивым, женатым в первом браке на ныне народной артистке. Помню его тамадой на свадьбе другой кинозвезды. Он производил впечатление бонвивана, и, хотя в веселье его чувствовалось вовсе не шутовство, а скорее артистическая, человеческая значимость, знака драмы в судьбе Бориса я тогда не прочел — в нашем поколении мы и при явной симпатии редко относились друг к другу с должным вниманием, занятые самими собой. Впрочем, и в себе мы, похоже, не разглядели главного.

Я не сразу узнал, что Боря — сын Бориса Пильняка (носит материнскую фамилию). Но и когда узнал, никак почему-то не связывал это обстоятельство с собою и Переделкиным — "общей" дачей.

Но несколько лет назад Борис, задумавшийся, очевидно, о том же, что занимает сейчас всецело меня, написал о воскресном дне тридцать седьмого года, когда "гости съезжались

на дачу" к писателю, за которым вечером придут... нет не на "черном вороне", а на обыкновенной "эмке" и увезут из дома навсегда.

Оборудован ли был для веселья этот дачный дом?

Года не пройдет после "бала у Нилиных" — и начнется война.

Сразу после войны здесь соберутся отметить триумфальную, как большинству казалось, премьеру второй серии "Большой жизни", на открытой веранде будут пить и веселиться любимые всей страной артисты — Петр Алейников и Борис Андреев. А через год автор сценария станет героем идеологического постановления партии о грубейших ошибках фильма. И долго будет в опале, "под боем", без денег, без ясности дальнейших замыслов, без того, главное, куража, что обрел он с началом сороковых, судя по "Борт-журналу"... Возможно, "Борт-журнал" и заведен был для способствования куражу, обретавшемуся нелегко?

В записках преуспевающего молодого кинодраматурга и обещающего прозаика нет и намека на отсутствие вчера еще своего жилья. Комнату в Третьем Неглинном переулке дали после продолжительных мытарств. Переулок этот — спуск к Неглинке. И если окно соседа, инженера Дарагана, на несколько сантиметров приподнималось над асфальтом тротуара, то ноги пешеходов я видел чуть ли не на уровне нашей форточки...

Переделкино я помню отчетливее городской комнаты: я жил в детстве по большей части на даче (она как никак была зимней). Но думаю, что контрасты быта — синие "кремлевские" елки за оградой погодинской дачи и гигантские крысы на кухне Неглинного, которых отец с Дараганом били молотками — на мой характер повлияли: я вырос "барином" в душе, но без тени прихотливости и сибаритства...

Отца выгнали из редакции "Известий" году в тридцать пятом и по суду потребовали освободить комнату в ведомственной квартире, помещавшейся по странной случайности в доме на Большой Ордынке, где жили мои друзья Ардовы, чей

дом я всю молодость считал своим вторым, а то и первым...

На основе очерков, сочиняемых прежде для газеты, отец начинает писать роман. Собственно, на эпическом жанре он не особенно настаивает — не случаен же подзаголовок "Очерки обыкновенной жизни". Написанное в необычайно краткие сроки он несет, тем не менее, в самый и тогда уважаемый литературный журнал "Новый мир". Надо заметить, что "Новый мир" редактирует в этот момент Иван Михайлович Гронский, уволивший отца из газеты. Однако, в тридцать шестом году роман публикуется. И книжка журнала с отцовским романом попадается на глаза режиссеру Леониду Лукову. Он предлагает делать по книге фильм. И в год моего рождения по всем экранам идет картина "Большая жизнь". А Гронского, как и многих знаменитых людей, репрессируют. В пятьдесят шестом году, когда семья наша будет жить на Беговой, я услышу в телефонной трубке: "Передайте папе, что звонил Иван Михайлович Гронский". Гронский работал в Институте мировой литературы. И умер несколько лет назад...

После ареста Пильняка в даче поселились два замнаркома авиационной промышленности. Литфонд, которому принадлежали все дома в городке писателей, от этой дачи как бы отмежевался — боялись связываться с НКВД.

Писательский Дом творчества располагался до войны в бывшей даче Каменева, в которой Лев Борисович, кажется, не успел пожить. Дачу опальному Каменеву все же строили по особому проекту. Дом оказался вместительней прочих дач и в нем одновременно могли жить и работать человек десять. Зимой тридцать девятого года отец на прогулке с журналистом Сергеем Диковским размечтались, что хорошо бы им тоже поселиться, как "взрослым", — на даче в Переделкине. Дачу, где замнаркомы по каким-то соображениям не зимовали, молодые люди облюбовали сначала как бы в шутку, забавляя обитателей Дома творчества.. Но, к изумлению всех окружающих, повергнув в растерянность контору писательского городка, они самовольно вселились в дачу — и сторожа наняли, чтобы он топил и охранял ее. Замнаркомы подали в суд, забыв

в горячке, что никаких прав на литфондовское имущество не имеют, — и проиграли дело. А НКВД, естественно, за случившееся никак не отреагировал: замнаркомов, между прочим, сажали, пожалуй , чаще, чем писателей...

Для объективности повествования я могу, конечно, бросить отцу с Диковским упрек в суетности или поиронизировать о преждевременности переселения их на "литературную территорию". Но я же знаю, что было дальше... Я знаю, что шаг был сделан навстречу судьбе. Сергею Диковскому почти и не пришлось пожить в Переделкине. В финскую кампанию он пропал без вести. Вдова его поделила второй этаж с семьей Аркадия Первенцева...

Но я не только тень Пильняка имею сейчас в виду. Присутствие живых знаменитых писателей, соседство с ними, при всей кажущейся лестности такого соседства, никакого допуска к пирогу еще не обещало. Поспешное переселение несло в себе риск обернуться самозванством. И банкротством, наверное, во всех смыслах...

"Борт-журнал" не отражает никаких комплексов или сомнений в себе. Но случайно ли в отцовских записях четверть века спустя припоминается эпизод, как весной сорок первого года в Переделкино приехала мама его тогдашнего приятеля Вадима Кожевникова и по ошибке толкнулась в калитку напротив, где жил Николай Погодин. Она спросила: "Где дача Нилина?" — "А кто он такой?" — спросил пьяный Погодин. — "Писатель..." — "Такого писателя нет, мадам..."

Дела же отца к той весне шли по всем приметам лучше и лучше. Весь сороковой год с экранов не сходили сразу две его картины. Кроме "Большой жизни", шла еще поставленная Иваном Пырьевым "Любимая девушка" с Мариной Ладыниной в главной роли. Со всех сторон предлагаются договоры на сценарии. Замнаркома угольной промышленности торопит с новым фильмом о шахтерах. На радио делается монтаж по "Большой жизни". Театр предлагает переделать сценарий в пьесу.

Запись в "Борт-журнале", сделанная в воскресенье шест-

надцатого марта сорок первого года: "Утром включили в семь часов радио и до девяти ждали передачи о Сталинских премиях. Дали. Пошли сказать Вирте, что и он получил. Пили и пили. Вечером уехал с Виртой".

Это было самое первое присвоение премий. Лауреатами стали в тот раз самые знаменитые писатели: Шолохов, Алексей Толстой, Твардовский... Первоначальное лауреатство возводило, казалось бы, в ранг, освобождающий от сомнений в счастливой будущности. И все же нельзя сказать, чтобы награда напрочь опровергала замечание соседа Погодина.

Проза отца, обратившая на себя внимание кинематографистов ("Любимая девушка" — тоже ведь экранизация рассказа) широкого читателя в ту пору не обрела. Он, в сущности, только начинал. Должно было пройти время для признания в профессиональной среде. А он уже в Переделкине, на машине, лауреат... Правда, сейчас видишь, что как минимум два из опубликованных им рассказов (например, "Знаменитый Павлюк" и "Модистка из Красноярска") какое-то место в литературе, наверное, обеспечивали. Но, повторяю, рассказ и вообще проза — не театральная премьера. Истинному успеху прозаика нужно эхо времени. В затянувшейся паузе вдруг и позабудут. Но страшнее всего — разочаровать, заторопившись с публикацией нового.

Странно, но по тяготеющему к светской хронике, легкомысленному "Борт-журналу" каким-то образом догадываешься, что владельцу новенькой "эмки" работа легка и в радость. Эйфории он, по складу своего характера, не испытывал. Но, склонный к острым приступам тревоги во все периоды жизни, он в начале сороковых годов, несомненно, гонит от себя неприятные мысли.

Едет в командировку от "Правды" в Донбасс — и публикует написанные там очерки сразу же по возвращении в Москву, точнее, в Переделкино. "Новый мир" мелькнул в записях не случайно. "Вечером приходил Вирта. Хвалил повесть "О любви" — это в "Новом мире" напечатана вещь, переделанная отцом в середине пятидесятых годов в "Жестокость", при-

несшую ему наконец известность. Еще запись перед новым (сорок первым) годом: "Побывал в "Огоньке" у Евгения Петрова, получил заказы на рассказы". В феврале он уже сдает рукопись в журнал. А в середине марта записывает в "Бортжурнал", что получено письмо от Евгения Петрова "с извинениями за купюры в рассказе "Модистка из Красноярска"...

Оценок и рассуждений в записях мало. Однако лучше бы их не было совсем. Но вот, пожалуйста: "Разбирали пьесы Леонова "Метель" и Катаева "Домик". Доклад делал Фадеев. Осуждал. Затем выступил непременный оратор Вишневский. Крыл. Потом выступали разные, в том числе Николай Асеев. Осуждал мягко. Наконец, говорили Леонов и Катаев. Каялись. Я запечатлел для себя только самое главное: это очень страшно, когда писатель отстает от общества..."

Этот, допускаю, искренний, но слишком уж поспешный отклик еще дорого обойдется отцу.

В природе спасительных заблуждений автора сказывается прежде всего п р и р о д а человека, всегда слабого и даже беззащитного в сравнении с дарованным ему (опять же природой) талантом. Защита нашим обществом творца, как правило, превращалась в защиту от него же самого — и в итоге — с собственным талантом и разлучала. Причем разлучала обычно навсегда. Особенно тех, кто успел привести себя к о б щ е м у знаменателю.

Я много раз спрашивал потом мать: но неужели вы никогда, ну хотя бы лицемерно-осуждающе, ничего не говорили о тех, кто не по свое воле покинул дачи Переделкина — о Бабеле, о том же Пильняке? Она уверяла: нет, никто никого не осуждал, однако, и не вспоминал, вообще не вспоминали почти о случившемся, словно в иной и бесконечно далекой жизни все это случилось, а не два года назад... И только Афиногеновы обмолвились как-то невзначай о том, что не зажигали по вечерам света, сидели в темноте на балконе, ожидая: у каких ворот остановится машина — у Пастернака, Всеволода Иванова, Федина? Улица, ведшая к Афиногеновым, начиналась дачей Павленко: теперь известно, что, пользуясь друж-

бой со следователем, Павленко, прячась за портьерой, присутствовал на допросах Мандельштама. Но ведь и Бабель, и Пильняк близко знали видных должностных лиц, водили тесное знакомство с начальством из карательных органов — и как это повлияло на их судьбу?

Меч был занесен над каждым. И каждый, выходит, готов был при малейшем послаблении забыть гнетущие его страхи? Забыть или спрятать поглубже в себя (от чего вряд ли становилось легче)?

В общем узнавший страх (у него и портфель со сменой белья и пижамой был наготове) Александр Афиногенов к началу войны воспрянул духом после нашумевших премьер в лучших театрах. Дом его продолжал быть открытым. Родители мои частенько гостили у Афиногеновых, где и познакомились со Спириным. В квартире Спирина на стене висела фотография: Сталин целует Ивана Тимофеевича... Иван Тимофеевич Спирин — флаг-штурман воздушной экспедиции на Северный полюс — оказался в числе первых Героев Советского Союза. Он любил артистов, тянулся к писателям. В Переделкине он построил дачу уже после войны, но гостем зачастил сюда гораздо раньше. В свою очередь, переделкинские обитатели регулярно пользовались генеральским гостеприимством. Когда для родителей перестала быть тайной моя тяга к алкоголю, отец в сердцах предположил: а не зачат ли Саша был после винокушества у Спирина?

Работники искусства "обожают" начальство. К тому же в начале сороковых годов авторитет военных, тем более летчиков, был необычайно велик. Но в общении генерала Спирина с художественной интеллигенцией я бы все же обратил внимание на нюанс, подмеченный женой Афиногенова — американской журналисткой Дженни. Высказываемое в застолье писателями или актерами она обычно уже где-то читала или слышала. И только в репликах Ивана Тимофеевича находит для себя безусловно новое и вполне оригинальное.

Отец мой не умел дружить — и на одиночество, остро ощутимое им в конце жизни, был в общем-то обречен. Лю-

бопытно, что быстрее всего отцу наскучивали люди известные, те, к кому по обыкновению тянулись окружающие. Мне иногда теперь кажется, что относительно малая известность самого отца в какой-то мере связана с тем, что именно во взаимоотношениях со знаменитостями он бывал нетерпелив и недостаточно к ним внимателен. А на продолжительную известность скорее может рассчитывать тот, кто сумел попасть в определенный круг, задержаться в "стае" тех, кто "всегда" на виду... А писательское Переделкино изначально жило по неписанным правилам "стаи".

Судя по записям в "Борт-журнале", где рассказывается о новоселье Кассиля, отец к зиме сорок первого года уже охладел к Афиногенову. Но отношения со Спириным оставались наилучшими. И не только потому, что генерал был крестным его сына. Супруга Афиногенова тоже ведь считалась моей крестной матерью...

Считалась... Сегодня, разумеется, не меня одного шокирует "назначение" крестным в ходе застолья вместо положенного таинства. Как вообще могло прийти в голову отцу и Спирину — людям православным — обратить в шутку обряд, непременный в их детстве?

Но отец и в позднейших записях не хотел признавать, что не обжился. Четверть века спустя он записывает: "Очень религиозный в раннем детстве я вскоре, зараженный "духом времени", легко отверг все религиозное и, как все, привык, не размышляя, с насмешкой относиться к самому понятию — Бог. И сейчас я должен что-то преодолевать в себе, заставить себя прочесть хоть абзац из рассуждений В. С. Соловьева о Богочеловечестве..."

Накануне своего пятидесятилетия — в девяностом году, то есть еще до гиперинфляции — я вспомнил вдруг про вклад, сделанный генералом Спириным на мое имя, и захотелось узнать: во что превратились те с т о рублей за полвека? Выяснилось, что в д в а д ц а т ь д е в я т ь руб. с копейками...

Моя мать вспоминает, какой прелестной, юной девушкой приезжала Женя Таратута в Переделкино, когда еще не только

живы, но и сравнительно молоды были и Кассиль, и даже Корней Иванович Чуковский — она обычно к ним приезжала, как начинающий критик детской литературы. Сейчас и сорокалетним (не говоря уже о тех, кто помоложе) обитателям Дома творчества бывает не до воспоминаний Евгении Александровны — в один из вечеров я оказался ее единственным слушателем...

Вовсе не помню Ташкента времен эвакуации. Смотрю сейчас на снимок полувековой давности — возле черной щели среднеазиатского арыка: мать, тридцатичетырехлетняя, в черном пальто, Корней Иванович Чуковский, наш из Переделкина, тоже в пальто и с папкой под мышкой, седоголовый, но пружинисто-стройный в свои каких-то шестьдесят (ему предстоит еще долгая и непростая жизнь), и я в распахнутом коротком пальтишке, в картузике набекрень. Вижу себя, но ничего сейчас своими тогдашними глазами увидеть не могу. А ведь не сомневаюсь, что уловленное мною тогда живет во мне сегодняшнем...

В то же время, на излете марта сорок второго года вернувшийся в Москву отец протоптал тропинку в завалившем двор на Неглинном снегу — снег забился даже в подъезд — вошел в огромный, замороженный и необитаемый дом.

"Мертвенно-жесткий нетронутый снег, — вспоминает отец, — лежал у самых дверей квартиры. В коридоре холоднее, чем на улице..."

...Позапрошлый Новый год встречали у Афиногеновых. Дамы, кроме моей матери, что крайне огорчило ее, были в вечерних платьях. С необыкновенной красавицей пришел знаменитый авиаконструктор Микулин, послуживший прототипом Бережкова в романе Александра Бека... Каждый из гостей написал на отдельной бумажке свой прогноз: будет ли война в наступающем году? Бумажки сложили в конверты, конверты заклеили — они остались на хранение у Афиногенова. Уже после гибели Афиногенова вскрыли конверт с прогнозом Спирина: генерал был уверен, что войны в ближайшее время не будет...

Отец порылся в старых бумагах — и случайно нашел борт-журнал. Перелистал его озябшими пальцами: "Было грустно и стыдно читать эти записи, пусть иронические, пусть нарочито глуповатые. И захотелось сделать заключительную запись, хоть теперь уже и нет машины, и где-то далеко осталось сытое, ленивое и слегка тщеславное Переделкино..."

Рукою матери двадцать первого июня записано, что из города привезли в Переделкино режиссера, намеревавшегося работать с отцом.

"Я хорошо помню этот последний мирный вечер, — пишет в брошенной квартире продрогший отец, — режиссер Анненский Исидор Маркович, хорошо упитанный, чистенький молодой человек с озабоченно нюхающим воздух носом, стоял у ворот нашей дачи и благодарил меня за то, что я согласился писать сценарий на белорусском песенном фольклоре, где должна быть отражена наша зажиточная жизнь в деревнях, наше раздолье и пафос мирного труда. Я говорил: "Да, конечно, это надо, своевременно, интересно. Будем писать".

Переделкино первого дня войны мне не слишком трудно вообразить. Внешне, как свидетельствует запись, ничего не изменилось: "...буйно росла зеленая трава. Было знойное лето. Весь день по радио пели песни. Но в песнях этих уже была тревога. Пришла теща Вирты. Тревожилась, что вся семья уехала в Ригу. Обедали. Пили вино, думали. Из "Правды" приехал Миша Штих. Повез меня к редактору. Вызвался ехать военным корреспондентом. Вернулся на дачу. Всю ночь не спал. Всю ночь в мозгу стучали немецкие мотоциклы. Почему-то они первыми приходили на память, когда возникло представление о немецкой армии. Может быть, они были наиболее доступными выразителями ее стремительного марша в войне на Западе?"

В Киеве отец остановился в "Континентале": "Я тут жил неделями раньше, писал сценарии, пил водку..."

Он не был военнообязанным. После перенесенного в детстве полиомиелита он всегда потом заметно припадал на левую ногу, которую энергично и косолапо выбрасывал впе-

ред, стараясь скрыть хромоту особенностью походки. Тем не менее, хромой военный в уже охватываемом паникой Киеве вызывал подозрение — и его несколько раз забирали в комендатуру, принимая за диверсанта...

"Рано утром мы на машине уезжали на фронт. Я выносил из "Континенталя" свой рюкзак и шинель. В вестибюле уже было много народу, встревоженного бомбежкой. Парни, девушки. Девушки говорили нам: "счастливо". Было стыдно. Они не знали, что мы только корреспонденты..."

И еще из записей, сделанных в марте сорок второго в Неглинном переулке: "Мы оставляли все новые и новые города. Во Львове стреляли в нашу армию. Большой наш танк шел по плацу Бернардинскому. В него стреляли из окон. И кто-то бросил гранату. Танк развернулся и врезался в дом. Я вспомнил, как жил в отеле "Жорж"..."

"На станции Жмук произошел конфликт между начальником станции и старшиной, которому было поручено доставить состав со снарядами. Начальник станции почему-то не давал паровоза. Старшина три раза просил его. Потом застрелил. Минут через пять он застрелил еще машиниста и его помощника. Пришел в путейскую бригаду и сказал: товарищи, у меня никакого выхода нету. Я только что застрелил начальника станции, машиниста и помощника и сейчас вас всех перестреляю, если вы мне не составите состав. Состав, наконец, прицепили. Старшина снял гимнастерку, окатил себя водой из-под рукава, которым заправляют паровозы, и поехал дальше..."

Встретив по прибытии на обратном пути в Киев Бориса Лапина и Захара Хацревина, которых ко времени записи на этих оставшихся чистыми с июня сорок первого года страницах бывшего борт-журнала уже не было в живых, отец вспомнил юношеские стихи "Бобика" Лапина: "Солдат, учись свой труп носить, учись дышать в петле, учись свой кофе кипятить на узком фитиле".

Отец, похоже, начинал догадываться о сложности этой науки. Но вдрызг разругался со спутниками — корреспонден-

тами Яковом Цейтлиным, Григорием Певзнером и награжденным медалью за Хасан фотографом Виктором Теминым. Они сердили его разговорами о возможной гибели. В записи он оправдывал свой тогдашний гнев тем, что их перепуганность казалась ему циничной, атрофирующей профессиональное чувство любопытства. Но, зная отца, его нрав, его свойство воспламенять себя фантазией до необузданности, когда гиперболизировал он чужие слабости, словно забывая, что и сам им подвержен. Впрочем, и за собственные слабости он нередко казнил себя с той же почти яростью, если не большей — не оттого ли его долгосрочные депрессии в разные периоды жизни, включая и периоды удач?

Цейтлину и Певзнеру его гневные упреки могли показаться и опасной демагогией, уставным патриотизмом. Они, возможно, действовали в интересах самообороны. И, как сам отец признает, "не без ловкости отомстили".

"Не их, а меня вызвали в Москву. Я ехал в товарном вагоне с летчиками, потерявшими до боя материальную часть. Они ехали за новыми самолетами. И нас долго преследовали два "Дорнье". Они кидали бомбы в наш эшелон, но попасть не могли. На этот раз бомбежка уже не волновала меня. Я сильно струсил только один раз. В Житомире. Впервые за пять суток я снял сапоги, разделся голый и сел бриться в отеле. Все курятники на Украине называются отелями. И это был типичный курятник, деревянный, шаткий, скрипучий. Бомбы без предупреждения стали ложиться около меня, и меня посетила ужасная трясучка. Я хотел заскочить обратно в штаны, но не мог: тряслись коленки. Отказался от этого намерения. Понял, что выйти на улицу в таком трясучем виде нельзя, скажут, что же у вас уж и Красная Армия трусит (я был в военном). Заставил себя успокоиться. После этого в Тернополе, когда бомбили куда страшнее, никакой трясучки не было. Было просто унизительно страшно. А потом и страх прошел. Осталось только чувство, которое, наверное, никогда не пройдет и повторялось уже и будет повторяться при каждой бомбежке: человеку тяжело думать, что он беззащитен. В эшелоне это

чувство, по-моему, особенно остро испытывали летчики. Их пугали бомбежкой, а они ничего не могли: у них не на чем было воевать. Они хмуро молчали. А один самый молодой, младший лейтенант, посмотрев в открытую дверь на небо, крикнул: "Я хочу увидеть тебя, ...твою мать, когда полечу обратно на МИГе", — и заплакал. Плачущего этого летчика я не забуду никогда".

В пропотевшем, запыленном обмундировании отец вернулся жарким днем в Переделкино, показавшееся ему "потрясенным слухами". Он был здесь, в сущности, первым, кто видел войну. И после завтрака с вином на даче стал собираться народ. Отец рассказывал, успокаивал. Когда все, кроме Погодина, разошлись, Николай Федорович сказал: "Ну, Паша, все ушли. Расскажи теперь правду. Бьет нас немец? Бежим?"

"Бежим", — подтвердил отец. Но ничего особенно "правдивого" рассказать не мог: "Я говорил только то, во что верил тогда. Я говорил, что резервы наши в бой еще не вошли... Я верил в это и рассказывал, что армия наша все-таки и сейчас сильно бьет немца, хотя ей трудно...

Все это я потом рассказывал Чуковскому Корнею, Борису Пастернаку и другим. В воскресенье мы лежали с Афиногеновым на задах его дачи, около ручейка, в зеленой траве, и ему я тоже рассказал..." (Через много лет опубликованы были дневники Афиногенова. И есть в них запись: "Приехал Нилин. Рассказывал о героизме наших солдат".)

"В Москве, в гостинице "Националь", по просьбе Евгения Петрова я давал интервью американскому писателю Колдуэллу... Был в "Правде". Редактор Поспелов посоветовал мне написать сценарий о войне. Из Киева бежал режиссер Луков. Решили делать с ним вторую серию "Большой жизни" — "Знойное лето"...

Лирические вечера в Переделкине прекратились. Последний был, кажется, накануне бомбежки. На веранду к нам пришли Леонов и Парфенов. Пили водку. Потом Чуковские, муж и жена, их дочь Лида, ее бывший муж Цезарь Вольпе. Он сказал Чуковскому, что надо уезжать из Москвы, когда немцы возьмут Смоленск..."

Мать вспоминает, что в один из приездов из Переделкина в Москву заглянули к Первенцевым, у них были гости — и разговор, конечно, шел о том: опасно ли оставаться в Москве? И Первенцев на это сказал: "Вот когда Нилины увезут младенца, я скажу, что: да, опасно..."

Луков со своей съемочной группой собирался в Ташкент — кинематографистам дали вагон. "Я решил, — вспоминает отец, — ехать, чтобы написать там сценарий. И, главное, увезти семью. Впервые инстинкт отцовства заговорил во мне. Было страшно думать, что Сашу каждую ночь придется таскать в сырую щель на даче Петрова. Среди ночи во время бомбежки он вдруг проснулся и хохотал беззаботно. Веселила его свечка, горевшая в щели. А папе было страшно за него, хотя сама по себе бомбежка уже не казалась страшной".

Не зная дальнейшего, отец считал, что последней поездкой на своей машине была поездка к ташкентскому поезду.

Велик соблазн соврать, что я хоть какие-то детали этого путешествия запомнил. Однажды я так и поступил, когда на рубеже шестидесятых годов встретился в ресторане "Дома актера" с Петром Алейниковым — Ваней Курским из "Большой жизни". Мы расцеловались. Начались прилюдные воспоминания о "военной дороге". И мне уже казалось, что я все и всех из того времени помню. Хотя при слове "эвакуация" я теперь, отвыкающий врать, немедленно представляю себе великого и угасающего Алейникова за ресторанным столиком... Конечно, кое-что вообразить себе могу, поскольку некоторых из пассажиров я узнал позднее и в жизнь мою они вошли — и в мое дальнейшее повествование тоже непременно войдут. Ехали, например, Спешневы: Алексей Владимирович и Валентина Петровна с грудной Аленой. Они значили в моей дальнейшей жизни, пожалуй, не намного меньше, чем Ардовы...

Кинематографистам разрешалось взять с собою близких родственников. И мы везли с собою обеих бабушек. Отец поэтому спал в тамбуре на бурках из кинофильма "Александр Пархоменко". Ночью он заходил в вагон — посмотреть, как я

сплю: "После барской пищи на даче, после всяких соков и каш Сашу теперь кормят, чем придется, а он такой же крепкий, сильный, мой сын. Мать не закрывала на ночь окно, потому что в вагоне было смертельно душно. На ночь окно прикрывалось только простыней, и холодный ветер раздувал ее. А Саша спокойно спал, по-стариковски кряхтя во сне, будущий солдат наш. Днем я выносил его при остановках на перрон. Он самостоятельно еще не ходит. Но когда я держал его за руку, он рвался вперед, бежал и на первых его сандалиях собиралась пыль многих перронов Средней Азии...

...Утром к нашему вагону подошел какой-то старик с мешком, хотел сесть. Сытый молодой человек сказал: "Нельзя. Это спецвагон" — "Эх, вы, спецы, такую вашу мать, от войны хоронитесь, от Германии бежите". Может быть, этот старик уже воевал с немцами в четырнадцатом году. Русские били немцев, брали их города. И старик презирал немца, от которого бежали мы. Было стыдно".

...Со сценарием второй серии что-то не клеилось. Вечером отец сидел на прохладном крыльце гостиницы, когда пришел Луков и сказал, что получена телеграмма: "Нилин исключен из Союза писателей". "Я почему-то нисколько не взволновался. Моя личная судьба как-то потеряла даже для меня значение в общем всенародном несчастьи. Все теперь мне было все равно..."

Юрий Кашкаров

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Повести и рассказы великолепного мастера русской прозы, многолетнего редактора "Нового Журнала", складываются в трагический портрет России от Смутного времени до брежневских десятилетий.
(266 стр. ISBN 0-89830-112-2)
Цена книги $20.00, пересылка $1.50

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Марк Раев

Реформы в истории России*

Послушайте, ребята,
что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

А эту правду, детки,
За тысяча уж лет
смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.

Так писал Алексей Константинович Толстой в своей поэме "История от Гостомысла до Чернышева", таким же образом историография России XVIII-XIX веков все повторяла: реформы были необходимы в начале каждого царстования, а попытки их ввести обыкновенно оканчивались ничем; и в последующее царствование повторялось то же самое. В чем же дело? как это объяснить?

В русской исторической перспективе слово "реформа" толковалось по-разному. В итоге получались "недоразумения"

---

* Текст выступления на симпозиуме в честь пятидесятилетия Русской Школы при Middlebury College 15 июля 1995 г.

и разногласия, которые, в свою очередь, имели довольно серьезные последствия. Здесь я хочу лишь напомнить о главных моментах истории и о значении правительственных "реформ" со времен Петра Первого до современности. Не буду касаться периода Московского Царства — это не моя специальность. Хотя замечу мимоходом, что дóлжно критически рассмотреть вопрос о так называемых "реформах" Ивана Грозного или "новшествах" царя Алексея Михайловича и царевны Софии. Кроме того, как историк, воздержусь от комментариев о том, что нам ежедневно сообщают газеты.

В учебниках по русской истории и в иностранной историографии России принято писать о "реформах" Петра Первого. Но в дореволюционной исторической литературе куда чаще говорилось о Царе-Преобразователе. А сам Петр, как и его современники, писали о "преображении" русских людей и русского общества как о цели законодательства того времени. Как при этом не вспомнить советский лозунг "создать нового человека"?

Преобразование страны и населения Петр думал осуществить при помощи практики так называемого "регулярного полицейского государства" (état bien policé — well ordered police state). При этом не следует забывать, что понятие "полиция" в то время обозначало "внутреннее благоустройство города или страны" (следуя древне-греческому значению слова *полис, политея*). Благоустройство же должно было быть достигнуто посредством "регул", т. е. правил. Другими словами, регламентацией. Недаром Петр озаглавил свой основной законодательный и идеологический акт "Генеральный Регламент" (1720 г.).

В течение всего XVIII века, насколько мне известно, не говорили о "реформах". Скорее всего, речь шла об "улучшении" или "исправлении" правительственной работы; об издании более эффективных "регул". В конце века этот подход "консервативной реформы" был противопоставлен "возврату к исконным моральным началам Руси" такими авторами, как кн. М. М. Щербатов, бичевавший "повреждение нравов правителей и тем самым ставший родоначальником "истинных реакционеров", как некоторые славянофилы и Победо-

носцев.

Программа улучшения регламентов была согласна с принципами и практикой "регулярного полицейского управления", которые имели своей целью повышение производственного потенциала страны во всех областях ее жизни: экономической, культурной, военной и т. д. Главный недостаток системы, унаследованной от первого императора и плохо практикуемой его слабыми наследниками, состоял в слабой (если не говорить о несуществующей) связи между органами центрального управления и местными властями и общественной элитой. Этим объясняются попытки ввести "реформы" как "консультативное" (т. е. информационное) начало в правительственной практике. Таким был смысл так называемых "кондиций" и "проектов" (во времена наследственного кризиса 1730 г.) и предложения графа Никиты Панина в 1762 г. или созыва Законодательной Комиссии Екатериной II в 1767 г. Таким образом, можно считать, что в первые три четверти XVIII века слово "реформа" обозначало введение в какой-то форме постоянного органа для доведения информации о состоянии и нуждах страны и тем самым указывало на деятельную связь между правительством в Петербурге и высшими слоями и элитой дворянского общества на местах.

Успехи "европеизации" в культурном плане этой элиты позволили Екатерине II предпринять законодательные меры для укрепления роли элиты дворянства и с оговорками — купечества в делах местного управления и общественной деятельности. В этом заключался, думаю, смысл "жалованных грамот" 1785 г. дворянству и городам, как и предполагаемой грамоты государственным крестьянам (которая не получила силу закона во всей империи). Заодно грамоты явились первым, робким шагом на пути "раскрепощения" общественных элит, предоставив их членам право на неприкосновенность личности и имущества. При том им давалось корпоративное существование и ограниченная автономия — т. е. некоторая свобода действия, не зависимо от предписаний и надобностей государства.

Грамоты и стремительное культурное развитие "европеи-

зированной" части дворянства оказались в противоречии с практикой регулярного полицейского государства, введенной в России Петром. Противоречие проявилось резко и открыто вследствие расширения границ империи, вспышек революции во Франции и капризного правления Павла. Кроме того, несмотря на старания Екатерины и ее советника по вопросам народного образования И. И. Бецкого, к моменту смерти императрицы еще не образовалось "среднего сословия людей" и профессиональных альтернатив для культурной элиты. Для такого положения вещей были как экономические, так и культурно-религиозные причины, не говоря о крепостном праве, которое сковывало предпринимательские и творческие силы не только крестьянства, но и помещиков и горожан.

Это лишний раз показало, что не достаточно регламентации со стороны правительства, чтобы создать деятельное, так называемое гражданское общество. Это дело роста и проявления внутренних сил общества, для чего необходимо время. Так и было на Западе, где, несмотря на правительственную опеку (например, в форме кодификации права, поощрения отдельных экономических и культурных отраслей и т. п.), этот процесс длился два и три столетия.

Развитие и столкновение тех начал, которые я очертил вкратце, привели к довольно беспорядочному состоянию управления к моменту воцарения Александра I. Не чувствовалось ясности в направлении государственной политики. Совместно со своими друзьями, членами так называемого "негласного комитета", и избранными высшими чиновниками молодой император поставил своей задачей "восстановить распавшиеся храмины государства". В этом смысле был предпринят ряд "реформ" в государственном *аппарате* — в центре и на местах.

При этом обозначились почти противоположные толкования понятия "реформа". С одной стороны, опять возникли "проекты", имеющие целью дать некоторый консультативный (информационно-совещательный) голос представителям верхушки местного общества (преимущественно, конечно, дворянского). Эти же проекты стремились к основному преобразованию административной системы на началах

"деконцентрации" власти, но при сохранении неприкосновенности самодержавия. С другой стороны, сам император и главы центральных учреждений старались ввести рациональное делопроизводство и более эффективное распределение функций между правительственными учреждениями. Под влиянием современной западной терминологии оба направления именовались "конституционными". Но при внимательном рассмотрении мы видим, что термин "конституция" получил два значения. В первом случае он тождественен с аристократическим правлением английской олигархии XVIII в. Во втором случае защитники "конституции" в смысле александровской административной перетасовки имели в виду модель наполеоновской диктатуры или прусского абсолютистского Rechtsstaat'a.

Естественно, что такая ситуация привела к смешению понятий. Одни толковали "конституционные реформы" как угрозу самодержавию (например, Карамзин, Державин); другие отождествляли конституцию и реформы, но при сохранении самодержавной власти (таково было понимание Александра I и его советников Сперанского и Аракчеева).

Однако молодое поколение культурной элиты провозгласило свое понятие конституции: по примеру начальных дней французской революции и конституции США оно обозначало обеспечение "прав человека и гражданина" и "либеральную" форму правления. После 1812 г. молодое поколение не опасалось открытой (до поры до времени подпольной) борьбы с властью, требуя свободу мнения и личности для членов гражданского общества. В этом и состояла, на мой взгляд, суть декабризма. Как известно, декабристы воспользовались кризисом 1825 г. и открыто выступили против бюрократизма и анти-просвещенческой реакции.

Провал восстания на Сенатской площади и на Украине вернул правительство Николая I к практике регулярного полицейского государства. Но на этот раз оно было "полицейским" в современном смысле слова. Несмотря на "реакционность" режима Николая I, образованные, прогрессивные члены высшего и среднего административного аппарата империи

понимали необходимость лучшего знакомства с проблемами и состоянием страны. Они начали собирать информацию (при помощи ученых экспедиций и научных обществ) и обсуждать шаги, которые должны были привести к реформам государства и "модернизации" страны. Уточняю, что "прогрессивность" этих чиновников (граф Киселев, братья Милютины, Заблоцкий-Десятовский, Семенов Тян-Шаньский, Зарудный) и сановников (вел. кн. Константин Николаевич, вел. кн. Елена Павловна), их "либерализм" состоял в желании освободить производительный потенциал страны от стесняющих его административных и социальных оков — т. е., в первую очередь, освобождение крестьян из крепостного состояния. Благодаря их усилиям и несмотря на невозможность изменить основы политики Николая I, была проведена большая, успешная подготовительная работа для осуществления реформ в следующем царствовании.

"Великие реформы" Александра II были реформы в буквальном смысле слова. Они не стремились изменить общественный и экономический порядок; они хотели изменить лишь структуры, которые препятствовали развитию производительных сил. Раскрепощение крестьян устраняло тормозящую силу помещичьей власти, но при этом сохранялись существующие институты крестьянского быта.

Правительство ввело ряд учреждений, которые должны были способствовать развитию гражданского общества: земства, правосудие, профессиональные организации, ограниченную автономию печати, университетов и т. д. В последующие десятилетия наблюдается бурное развитие этих начал при параллельной модернизации экономики.

Этот процесс породил, на первый взгляд, парадоксальные осложнения. Новые институты не стали "передаточными ремнями", способными приблизить общество к правительству (или наоборот). При проведении в жизнь реформ возникли серьезные "недоразумения", которые затормозили "нормальное" или последовательное развитие начал, заложенных Великими Реформами.

Общественная элита смотрела на реформы как на первый шаг на пути к настоящей конституции, в "либеральном",

франко-американском, понимании конца XVIII века. И она ожидала, что получит право голоса и участия в государственной жизни — в этом суть так называемого земского движения, предшественника русского либерализма и партий КД и октябристов. На такой путь самодержавие не хотело (или не могло) согласиться. Отождествление реформ с либеральной конституцией привело к расхождению между наиболее энергичными и образованными членами общества и бюрократическим аппаратом.

Что же касается молодого поколения радикальной или прогрессивной интеллигенции, то оно видело в реформах только первую, кратковременную стадию немедленного и коренного преобразования. Другими словами, оно отождествляло реформы с началом настоящей революции. С этим не могли согласиться ни правительство, ни развивающееся гражданское общество культурной, профессиональной и экономической элиты.

Неясности и противоречия в понимании смысла реформ в конце концов породили открытый конфликт между правительством и всеми либеральными и радикальными кругами общественного мнения. Конфликт привел к революции 1905 г. Но революция, как и учреждение Государственной представительной Думы и введение ограниченной конституционной монархии, не устранила противоречий. Как мне представляется, тому были две основные причины: тупость и развивающийся склероз власти (не последнюю роль сыграли предубеждения и упрямство императора) и придворная камарилья — это с одной стороны. А с другой, слабость и неразвитость общественных структур гражданского общества. Можно ли было выйти из этого тупика? Может быть, но для этого небходим был долгий срок (Столыпин говорил, что ему надо по крайней мере 25 лет). Помешала Первая мировая война.

Не буду останавливаться на истории 1917 и последующих годов. Хочу только отметить следующие моменты.

Гражданская война уничтожила слабые ростки гражданского общества, которое медленно росло со времен Великих Реформ Александра II. Исчезли все общественные и

экономические структуры; осталось только крестьянство как более или менее способное к автономной жизни сословие. Нэп признала этот факт, пойдя на уступки деревне. Но крестьянство было уничтожено коллективизицией. В результате к концу жизни Сталина всемогущий аппарат партийного государства находился над аморфной массой населения, без всяких публично признанных автономных институтов и структур.

Гласность дала некоторую возможность более независимым и смелым культурным кругам (в университетах, в академиях, в искусстве) выступить в роли "общественного мнения" — как это уже было с европеизированной дворянской элитой в конце XVIII века. Перестройка очутилась в парадоксальном положении, из которого не сумела выйти: улучшить существующий аппарат и систему или разрешить коренное преобразование режима, не имея никакого представления, к чему это должно привести. Для первого пути, очевидно, не хватало смелости, дальновидности и энергии. Для второго не было общественной базы, на которую можно было бы опереться для коренного преобразования системы.

Можно ли будет когда-нибудь сказать, что "порядок существует"? Для этого, мне кажется, необходимо иметь возможность постепенного, "органического" развития таких институтов и структур, которые обеспечили бы плюралистическое, основанное на твердых правовых началах общество и свободу деятельности для всех и для каждого гражданина.

Осуществится ли это? Не знаю. Задача историка описать и объяснить прошлое, не предсказывать будущее. Но не теряю надежды. В противном случае, будущий поэт сочинит продолжение поэмы Алексея Толстого, но не в шуточном, а в трагическом ключе.

Марк Поповский

Вера, церковь и моя профессия

(***Свидетельствует писатель***)

Мне без малого семьдесят пять лет: возраст подведения итогов. "Возраст смертный" — подтверждает поэт. Вот я и решил заняться этими самыми итогами. Жизнь вроде прожита продуктивная. Как м у ж ч и н а я оставляю двух детей и шестерых внуков. Как л и т е р а т о р увидел при жизни опубликованными 25 своих книг на нескольких языках и тысячи полторы-две очерков, статей, эссе, радиопередач. Но главный успех выпал мне как ч е л о в е к у: я уверовал в Бога, и это решительно изменило мое видение мира.

Про детей и книги всё понятно, но как и почему пришла вера, я, откровенно говоря, до сих пор не понимаю. Еврей по крови, я не слышал от своих родителей-интеллигентов ничего положительного об иудаизме, а тем более о Христе. Мать-биолог читала антирелигиозные лекции, а отец-писатель начал свою литературную карьеру в 1922 году с пьесы "Суд над христианством". Не располагало к вере вроде бы и мое (незаконченное, правда) медицинское образование и то, что, став после войны журналистом, публицистом, я избрал темой своих статей, а затем и книг — науку, ученых-биологов. Большинство моих героев были людьми неверующими, хотя до разговоров на эту тему у нас как-то не доходило.

Но однажды беседа о делах церковных все-таки состоялась. Это произошло в 1957-м во время моей журналистской командировки в Ташкент. Сидя в квартире местного

профессора, я обратил внимание на портрет пожилого мужчины, стоявший на рояле. Лицо на фотографии поразило меня мужественной красотой, значительностью, внутренней силой. Одет человек на фотографии был в какую-то не ведомую мне (церковную, как я догадался) одежду. "Это хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, мой учитель", — пояснил хозяин дома. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Войно-Ясенецкий — крупный ученый, создатель гнойной хирургии в России. По его учебнику занималось несколько поколений врачей. Одновременно он был епископом русской Православной церкви и в монашестве носил имя Лука, Владыка Лука.

Ничего подобного я в своей жизни не слышал.

Оказалось, что человек с фотографии жив. Восьмидесятилетний епископ-хирург возглавлял в ту пору церковную жизнь Крыма. Заинтересовавшись им, я через несколько недель помчался в Симферополь. Нашел Владыку Луку на даче в Алупке, был принят. Мы беседовали в течение полутора часов. То, что он рассказал о своих хирургических операциях и тюремных сидениях, о своих ссылках и помощи раненым солдатам и офицерам советской армии во время войны, о Сталинской премии первой степени за книгу "Гнойная хирургия", что я тут же решил, что напишу о нем книгу. "Ее не опубликуют", — спокойно, своим сильным низким голосом произнес Владыка Лука. И оказался прав. В следующие 20 лет мне не позволили рассказать о нем даже в кратком журнальном очерке.

Тем не менее, тринадцать лет (1957—1970) я продолжал собирать материалы об этом человеке. Объехал двенадцать городов и сёл, в которых он когда-либо жил: от Симферополя до Ташкента, от Ленинграда и Одессы до Красноярска и Туруханска. Опросил за эти годы примерно сто пятьдесят современников ученого. Человек этот оставался для меня только блестящим ученым-медиком. Я подходил к его жизнеописанию лишь как историк, как литератор-документалист. Церковная жизнь Войно делала его судьбу в моих глазах как бы более занятной, несколько даже парадоксальной. Но не более того. Эта сфера его бытия оставалась для меня чуждой.

Собирать материалы приходилось, по существу, втайне от властей. Отправляясь "по Войно-Ясенецким местам" в Среднюю Азию или в Сибирь, я объяснял тем, кто подписывал мои командировочные удостоверения, что еду писать о лауреате Сталинской, то бишь, Государственной, премии. О епископе Луке, о Луке бывшем ссыльном и заключенном приходилось молчать. Но когда начинались интервью, церковная жизнь моего героя немедленно всплывала на поверхность. Об этом говорили мне и солдаты, которых он оперировал в годы войны, и енисейские жители, которых он лечил в 20-е годы от трахомы, и министр здравоохранения сталинских времен, и тем более епископы и священники, с которыми мне также пришлось немало потолковать. Я старался из каждого собеседника вытянуть как можно больше фактов и деталей, относящихся к характеру моего героя, но реалии его церковной жизни, повторяю, занимали меня мало.

Тут я вынужден сделать отступление и объяснить, почему же все-таки Войно так увлек меня. В конце концов, мало ли на Руси хороших хирургов? Почему я так уцепился именно за него? Дело в том, что в биографии этого человека меня, кроме его медицинских талантов, привлекла неоднократно проявленная нравственная твердость. Советские власти ценили хирургические знания ученого, хотели воспользоваться его врачебным мастерством. Но для этого им требовалось отделить Владыку Луку от профессора Войно-Ясенецкого. "Сними крест и рясу, — говорили они ему, — и мы сделаем тебя кремлевским врачом, откроем для тебя Институт гнойной хирургии". На это, двадцать лет таскаясь по тюрьмам и ссылкам, он отвечал чекистам-огепеушникам-энкаведешникам одно и то же: "С кожей вы с меня снимете мою рясу". Из-за того, что он не хотел расставаться со своей верой, его мучили на многочисленных допросах, ссылали вновь и вновь на край света. Меня всегда пленяли люди, готовые отстаивать свое право на свободу взглядов, независимость, честь. Я и прежде годами искал для своих книг и очерков людей именно такой конструкции. Иными словами, Войно пленил меня незыблемостью своей н р а в с т в е н н о й позиции. Этику, вот что я в нем ценил. В его вере мне виделись лишь какие-

то в з г л я д ы, которые ему почему-то милы. В чем суть этих взглядов, в чем суть его веры как силы, позволяющей преодолевать любые препятствия, я тогда еще не понимал, да и не задумывался об этом.

И вдруг, в 1970 году, когда я решил, наконец, засесть за книгу, я уразумел: без понимания сути христианства (в данном случае православия) написать биографию епископа Луки невозможно. Но кто в те годы мог серьезно, объективно и бесстрашно разъяснить всё это? Мне повезло: добрые люди порекомендовали съездить в подмосковную деревню, неподалеку от города Пушкино, и там познакомиться со священником о. Александром Ме́нем. Сегодня имя этого зверски убитого в сентябре 1991 года протоиерея известно всему свету, а тогда, более двадцати лет назад, этот образованный, умный и искренне преданный Господу человек мало кому был ведом.

Следующие пять лет, пока писалась книга о Войно-Ясенецком, отец Александр оставался моим главным советчиком, консультантом, собеседником по этой работе. Без его рекомендаций мне бы этой книги не написать. Я бывал на его церковных службах, в его доме на Парковой улице в Семхозе, ходил по той тропинке, на которой его впоследствии убили. И он несколько раз навещал нашу квартиру в Москве. Несмотря на разницу лет, мы крепко подружились. Он давал мне читать свои книги, выпущенные под псевдонимами на Западе. Более того, с его помощью удалось переслать в Брюссель, в издательство "Жизнь с Богом" рукопись самого Войно-Ясенецкого "О Духе, Душе и Теле". Там она вышла в свет с моим предисловием.

Но при всей нашей близости и, позволю себе сказать, дружбе с о. Александром он никогда не приглашал меня принять православие, креститься. Об этом у нас и речи не было. Мы говорили о литературе, искусстве, постоянно возвращались к проблемам нравственности. Говорили даже о политике, но никаких призывов к вере я от моего друга никогда не слыхал. Он отговаривал меня от эмиграции, читал и обсуждал рукописи моих книг, которые не предназначались к публикации в Советском Союзе. Его замечания были, как

правило, корректны, дельны, умны. Но о вере моей — ни слова. В этом проявлялась несомненная мудрость моего друга. Он, очевидно, понимал мой характер. Я — природный индивидуалист, не терпящий когда меня тянут в какую-нибудь компанию, общество, организацию. Я до всего привык доходить сам.

Книгу о Луке писал я в каком-то смысле тоже тайком. Пять лет подряд уезжал на три месяца в Дом творчества писателей под Ригу. Там полностью погружался в свое дело, работая по десять-двенадцать часов в сутки. Привозил в Москву очередные главы и мчался показывать их о. Александру. К 1971 году я уже ясно понимал, что издать книгу в Советском Союзе не удастся. Чем дальше развивалось повествование, тем меньше мой труд походил на те, что выпускали советские издательства. Меня это не пугало. Уже лежала в моем столе рукопись об умершем в тюрьме от голода академике Николае Вавилове и несколько других в том же роде. Позднее, покидая страну, я вывез пять таких рукописей. Важнее другое: приехав в Дом творчества осенью 1972 года и взявшись за перо, я ощутил в себе какую-то перемену. Герой стал мне ближе. Две прежде разделенные половины его — хирург и епископ — начали в сознании моем соединяться, сливаться в нераздельную фигуру. Будучи и сам многие годы в неладах с советской властью, я рассматривал твердость Войно-Ясенецкого, его стремление сохранить свои религиозные чувства как этакую протестантскую, диссидентскую акцию. Но осенью 1972 года, просматривая записи бесед с людьми, знавшими моего героя, я вдруг понял, что вера его была отнюдь не политическим жестом. Все свидетели единодушно говорили о страстной и искренней любви Владыки Луки к Богу, о его глубокой вере. Этот новый виток в моем понимании героя явно повлиял и на характер дальнейшего писания. Лука стал сложнее для меня, но одновременно и милее. Захотелось заглянуть поглубже в его душу, сблизиться с ним в понимании и его собственных поступков, и всего окружающего мира.

Я ничего не сообщил о. Александру об этом новом моем отношении к герою. Но, возвращая мне очередную главу, он сказал с неизменной своей дружелюбной улыбкой: "Прогрес-

сируете, сударь". Была у него такая шутливая манера выражать людям свое одобрение. Он не любил сантиментов, но всегда искренне радовался чужим успехам.

Я стал приезжать на службы Ме́ня в его церковь, но чувствовал себя там как-то неуютно. Православная служба с ее ритуальностью и даже элементами театральности отвлекала меня от мысле о Боге, о том что до́лжно и что не до́лжно в моей жизни. К тому же меня расстраивало недоброжелательство прихожан друг к другу. Они даже во время службы что-то делили, выясняли, ссорились ("Это моя свечка!" — "Нет, моя!"). Чтобы не слышать этих пререканий, я выходил на церковный двор, садился на скамейку и молился про себя. Там, рядом с бревенчатой одноглавой церковкой, возникла у меня нужда в одинокой молитве, которую я сохранил и доныне. Выходя после службы из храма, о. Александр с укором говорил мне: "Ну, что вы сидите у дверей, как мытарь?" Да, приближаясь к вере, явно ощущая какой-то глубинный сдвиг в своей душе, я тем не менее к церкви православной не приблизился. Мне хотелось чего-то иного. Вместе с тем, было неудобно перед о. Александром за свое поведение. Много лет спустя, живя в Америке, я получил от него письмо, где были такие искренно порадовавшие меня строки: "То, что вы полюбили свою баптистско-евангелическую церковь, мне понятно. Протестантская служба, протестантское видение мира более соответствует вашей натуре.

Так пришла вера. Я изменялся незаметно, без каких-либо потрясений. Но чувствовал: обретаю внутреннюю опору, устойчивость, бо́льшую жизненную силу. Одновременно началась и всё более год от года усиливалась борьба с самим собой, та, что продолжается и по сей день. Ибо христианство, как я его понимаю, есть постоянный надзор, контроль над самим собой, над своими мыслями, разговорами, поступками, выяснение, насколько они соответствуют записанным в Слове требованиям Господа. Как и все люди, я несовершенен и вынужден снова и снова преодолевать собственное несовершенство. Тот повышенный интерес к проблемам этики, о котором я писал выше, теперь, когда я уверовал, стал для меня еще более острым, порой даже мучительным. Ибо теперь, тре-

буя от себя и других нравственного поведения, я уразумел, что законы совести и чести даны свыше. Они а б с о л ю т н ы. Это действительно законы, и тот, кто ведет себя аморально, ведет себя по отношению к Богу беззаконно, в каком-то смысле даже преступно.

Рукопись моей книги об архиепископе Луке была заслана о. Александром в Париж. Там издательство "ИМКА-Пресс" выпустило ее в 1979 году под заголовком "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга". В России она увидела свет лишь одиннадцать лет спустя на страницах журнала "Октябрь". Предисловие к ней написал опять-таки о. Александр Мень.

Другая моя книга, в которой также нетрудно заметить влияние моих христианских взглядов, вышла в Лондоне в 1983 году под названием "Русские мужики рассказывают... Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе". История ее не совсем обычна. В семидесятые годы рукописи моих, не предназначенных к публикации на родине, книг (об академике Н. Вавилове, о Войно-Ясенецком) ходили по рукам в узком круге проверенных друзей. Но в какой-то момент они выскользнули за пределы этого круга и попали... нет, не к кагебешникам, а к нескольким доживавшим свой век крестьянам-толстовцам. Эти духовные наследники Льва Николаевича Толстого в первые годы после революции 1917 года создали в стране более ста религиозных сельских коммун. Честные, трудовые люди, они, руководясь своей верой, а также религиозной философией, прекрасно воспитывали детей, честно работали на полях, дружно и скромно жили в своих коммунах. Когда началась коллективизация, им приказали идти в колхозы. Они отказались. Пытались объяснить властям, что их коммуны — объединение верующих, живущих по строгим нравственным законам, а не по уставу сельхозартели. Они обещали и впредь сдавать государству всё положенное количество зерна, молока и мяса, но просили сохранить им их привычный порядок жизни. Власти, разумеется, слушать ничего не стали (коллективизация!), коммуны распались, толстовцы разбрелись. Последнее сообщество этих достойных и, я бы сказал, интеллигентных крестьян просуществовало до

конца 30-х годов в Западной Сибири (Кузбасс). Многих толстовцев бросили в лагеря, расстреляли. Последнюю группу молодых последователей Толстого (шестьдесят человек) расстреляли во время войны за то, что они отказались взять в руки оружие и служить в боевых частях Советской армии.

В середине семидесятых в разных частях страны оставалось еще сотни две толстовцев. Вот к этим-то людям и попали мои рукописи. Очевидно, они почувствовали доверие и симпатию к автору, который в своих книгах пытался сохранить утаиваемую советскими властями историческую правду. Между нами возникла переписка, я стал получать от них интересные документы, воспоминания об их борьбе за свои коммуны, о трагической судьбе их убитых и сидевших в лагерях собратьев. Некоторые из них навестили меня в Москве, к другим я съездил сам. Моя библиотека о судьбе толстовцев пополнялась всё бóльшим и бóльшим числом документов. В конечном счете я оказался владельцем трех тысяч страниц уникального текста, многих фотографий, писем, народных песен. Когда я решил эмигрировать, то мои московские друзья (и в первую очередь, писатель Юрий Дружников) принялись фотографировать все эти бумаги. С помощью западных журналистов, аккредитованных в Москве, удалось переправить эти пленки в Соединенные Штаты. Добравшись до Америки, я предложил Институту Кеннана, известному научно-исследовательскому центру в Вашингтоне, написать книгу о толстовцах. Так в 1980-81 годах родилось это произведение.

Я вложил немало труда, составляя историю толстовского движения в СССР. Но, в отличие от многих наших диссидентов, ставил своей целью не раздувание еще одного политического скандала-разоблачения. Гнусность коммунистического режима, уничтожившего сообщество честных тружеников только оттого, что они не хотели отказаться от своих нравственно-религиозных принципов, и без того лежала на поверхности. Значительно важнее было показать российскому читателю тот тип соотечественников, которых вера и нравственные принципы делали наиболее дельной, полезной, продуктивной частью общества. Мне было совершенно не

важно, какой тип христианства исповедовали мои герои. Значительно важнее было то, что, сохраняя эту веру, толстовцы во всех своих поступках следовали учению Христа. Я ставил целью напомнить современникам о той полностью уничтоженной кучке морально непорочных людей, чьи принципы, на мой взгляд, не устарели и сегодня.

Вот уже 18 лет, как я покинул страну своего рождения. Живу в Америке. Литературный труд русского писателя тут, разумеется, не кормит (нобелевские лауреаты И. Бродский и А. Солженицын — не в счет). Чтобы здесь как-то заработать, мне пришлось за эти годы несколько раз менять профессию. Случалось и мусор убирать в большой юридической конторе, и в подъезде жилого дома сидеть в качестве швейцара, служить клерком, преподавать в университете, работать в качестве радиожурналиста и в редакциях русских журналов "Грани" и "Страна и мир". Но главным местом работы все эти годы оставался мой письменный стол. Книг на Западе я написал немного, но число статей, очерков, радиопередач за эти годы, видимо, перевалило далеко за тысячу. Религиозно-этические темы постоянно оставались объектом моего внимания. Этому, в частности, способствовала церковь в Нью-Йорке, которую я начал посещать.

Надо сказать, что после грустного опыта в приходе о. Александра Ме́ня я несколько лет избегал каких бы то ни было церквей. Проблемы конфессиональные меня занимали мало. Находясь в любой стране, я запросто захожу в любой храм, будь то католическая, протестантская или греческая церковь. Меня более всего устраивает, если церковь в этот момент вообще пуста. Но в 1980 году я тем не менее подходящую для себя церковь нашел. То был русскоязычный баптистско-евангелический Дом молитвы в Нью-Йорке. Таких в нашем городе несколько. Я десять лет посещал один из них, а ныне каждое воскресенье провожу в другом.

Церкви такого рода, как правило, невелики. На службе присутствует от 30 до 50 человек. По праздникам собирается сто и больше. Большинство прихожан — российские эмигранты. Я заинтересовался составом церкви и узнал, что среди верующих — двенадцать разных национальностей, включая

русских, украинцев, белоруссов, евреев, есть также грузины, армяне, греки, поляки. В одной церкви я познакомился даже с уроженцем республики Бангладеш. Этот черный инженер получил образование в Москве и там же женился на русской.

Чем больше знакомился я с прихожанами, тем более удивлялся и, откровенно говоря, радовался за них. Судите сами. Средний возраст в церкви — 45 лет. Но есть немало молодых семей с детьми-школьниками. Обилие юных и молодых лиц опрокидывает одно из наиболее упорно навязываемых нам в прошлом пропагандистских клише о том, что в церковь ходят только малограмотные старички и старушки. Кстати, о грамотности. Опросив членов церкви (в этом сказалась моя давняя страсть к социологии и публицистике), я узнал, что почти половина из них — люди с высшим образованием. Среднего образования не имеют лишь несколько человек, в основном дети и очень старые женщины из "второй волны" эмиграции. В первой посещаемой мной церкви среди прихожан оказалось четыре профессиональных литератора, пять врачей, несколько юристов, инженеров и компьютерщиков. Были и кандидаты наук. Тут же рядом сидели, столяры, парикмахеры, водители такси. Разница социальных положений никого не тревожила. Слова "брат" и "сестра", часто произносимые в этом сообществе, — здесь не пустая форма.

Всё это не означает, что церковная среда, в которую я попал, не знает конфликтов. Конфликты время от времени случаются. Но, во-первых, за полтора десятилетия я не был свидетелем трений на национальной почве. Да и разница социальных положений не вызывает, как я уже говорил выше, взаимной зависти и вражды. Ну, а характеры у людей бывают разные. Случается, что один не ладит с другим...

Хочу отметить еще одну особенность такого рода церквей. Баптисты почти не знают внешней обрядности, столь пышно демонстрируемой православными и католиками. Главная часть службы посвящена молитвам и тому, что зовется "библейскими уроками". На этих уроках пастор имеет обыкновение связывать христианские идеи с каждодневным жизненным опытом современного человека, с теми житейскими ситуациями, с которыми то и дело сталкиваются его слуша-

тели. Связь веры с жизнью особенно привлекает их. Нередко между пастором и паствой возникают диалоги, люди стремятся в подтверждение или отрицание своих взглядов привести случаи из собственной жизни. Но все эти дикуссии, по словам прихожан, только укрепляют их веру и единение.

Естественно, меня заинтересовало, что́ именно привело этих столь разных, а главное, советских по своему воспитанию людей в церковь. Время от времени члены церкви *свидетельствуют*, то есть со всей искренностью, стоя на кафедре, рассказывают о том, какими путями шли они к Господу. Пути эти у каждого свои: у одного — это результат тяжелого жизненного потрясения — болезнь, смерть близкого человека, у другого — логическое следствие размышлений нравственного характера. Есть и люди из традиционно верующих семей, есть и мученики, которых за их взгляды на родине таскали по тюрьмам и психушкам. У меня нет оснований не доверять этим свидетельствам, но в личной беседе, как правило, выявляется еще один элемент. Да, конечно, в основе их появления в церкви лежат религиозные чувства. Но есть и кое-что другое. Люди, сидящие на "библейских уроках", находятся на разных уровнях приближения к вере. Есть и подлинно уверовавшие, живущие по законам Священного Писания, есть и такие, что лишь недавно пустились по этому пути. Есть, наконец, люди, для которых церковь — нечто вроде клуба, место встреч с единоязычными. Пасторов это не оскорбляет и не удивляет. "Процесс естественный", — говорят они. Процесс этот оставляет людям самим решать, принимать ли им крещение, быть ли им с Богом или не быть. В этом сказывается американское воспитание. Американцы привыкли к тому, что свободное общество дает им свободу выбора партии, президента, страны, церкви, и не возмущаются, если чьи-то взгляды не соответствуют их вкусам.

В своих очерках и статьях, которые я публикую в последние годы, я нередко возвращаюсь к тем переживаниям и мыслям, которые возникают в процессе церковного общения. Мне, в частности, приходилось много ездить по Америке и Европе. Вот несколько абзацев из очерка "Чувство церкви".

Перед Пасхой оказался я в Германии, в Мюнхене. Город большой, знакомых немного, а близких людей и вовсе нет. А тут еще Великий праздник подходит. Полез я в свою записную книжку и стал разыскивать телефон, который мне перед отъездом дал в Нью-Йорке мой пастор. Позвонил. На проводе оказался пастор местной евангелической церкви, армянин. Узнав о моем приезде, пригласил меня на пасхальную службу. "Церковь у нас маленькая, — как бы извиняясь, сказал он. — Но мы любим друг друга". Добравшись по указанному адресу, увидел я, что, собственно, никакой церкви в общепринятом смысле этого слова там нет, а есть дом для престарелых и в том доме, в комнате отдыха, нашему пастору разрешают собирать свою паству на два часа два раза в месяц. Собралось человек 12-15. Люди были явно рады встрече. Мы молились, я свидетельствовал, общались, завтракали вместе. Два часа пролетели, как две минуты. Русские, немцы, украинцы, армяне... У каждого свой путь к Христу, но все едины, дружелюбны, счастливы встретить брата, приехавшего издалека. По сей день храню я тепло той неожиданной для меня пасхальной службы и того общения с людьми, вдруг ставшими мне близкими и милыми. Вернувшись в Нью-Йорк и передавая в своей церкви приветы из Мюнхена, я, помнится, с некоторым удивлением сказал: "Как это прекрасно, перелететь на другую сторону Земли и вдруг встретить там прежде не ведомых тебе братьев и сестер..."

Это чувство радостного удивления от встреч с близкими по вере людьми не оставляло меня и потом. В Монреале (Канада) попал я в церковь, где гимны поочередно пелись на украинском, польском и русском языках. В красивом монреальском храме были представлены все три народа. Как и в Мюнхене, приняли меня очень тепло. И снова — общая молитва, свидетельство, множество дружеских рукопожатий, приветов, улыбок. Я ощутил там себя совсем как дома. Они и стали своими эти вчера еще не ведомые мне мужчины и женщины. Потом еще более сердечная встреча произошла у меня в Торонто (Канада) в Евангельской украинской церкви. Кстати, узнал я там, что проповедует у них еврей-христианин из Израиля. Поездки в Германию и Канаду, встречи с приезжими пасто-

рами, прибывшими в Нью-Йорк из Аргентины и Польши, всё это выстроилось в сознании как зрелище гигантского храма, под высокими сводами которого на многих языках гремит слово Господне: "Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Галат. 3:28).

Но вернусь к исходному вопросу, ради которого я пишу это свое признание. Я начал с того, что преклонный возраст заставляет меня подвести итоги своей духовной и профессиональной жизни. Вот они, эти итоги: вера сделала меня сильнее, я гляжу теперь на мир более оптимистично. Вера одарила меня множеством друзей. Вера же побуждает меня к творчеству, к очеркам, статьям, книгам, в которых я пытаюсь передать свои раздумья о роли Бога и Божьих законов в нашей жизни. Одна из статей моих в газете "Новое русское слово" называлась "Зачем писателю совесть?" Она вызвала большую дискуссию, ибо толковала о нравственных началах, особенно важных для людей моей профессии. А ведь наша этика, в том числе профессиональная — оттуда, из Слова Божьего.

В 1991 году в Иерусалиме вышла моя книга "Три жизни Владимира Хавкина". Герой книги — бактериолог В. Хавкин (1860—1930) создал первые в мире вакцины против чумы и холеры, спас миллионы людей и стал национальным героем Индии. Я однажды уже писал об этом человеке ("Судьба доктора Хавкина", Москва, 1963 г.). Но советские издатели не позволили мне тогда рассказать всю правду о религиозных чувствах моего героя. Ныне, разыскав в Иерусалиме личный архив Хавкина, я заново переписал свое произведение. Теперь читатель узнáет о пятнадцати последних годах жизни ученого-иудаиста, наполненных страстной верой в Бога.

Но самой большой радостью моей литературной жизни является выход второго издания книги "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга". Со времени первого издания прошло уже шестнадцать лет. И вот теперь христианская семья эмигрантов, живущая в Нью-Джерси, предложила средства для издания второго. Предисловие к книге написал опять-таки отец Александр Мень. Он завершил свои заметки

буквально за несколько недель до своей трагической смерти. Так почти через сорок лет после моего первого знакомства с владыкой Лукой я получил от Господа еще один подарок, связанный с именем Войно-Ясенецкого. Мне было радостно узнать, что в ноябре 1995 года Православная церковь на Украине канонизировала этого замечательного человека. На нашей родине дозрела мысль, которая одолевала меня все эти десятилетия: мой герой — свят.

Хочется надеяться, что мне еще не раз представится возможность взяться за перо, развивая тему Веры. Ибо, как сказано в одной из самых любимых мною книг Евангелия, ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА (Яков, 2:20).

Нью-Йорк
Февраль 1996 года

Леонид ЮНИВЕРГ

Эрих Голлербах как издатель и библиофил

(К 100-летию со дня рождения)

Эрих Федорович Голлербах (1895—1942) — весьма примечательная фигура литературно-художественной жизни России 1920-30-х гг. Человек разносторонних дарований, он одновременно был искусствоведом и литературоведом, поэтом и философом, художественным критиком и гравером, наконец, — библиофилом и коллекционером. Не каждое дело в равной мере удавалось ему, но все вместе сделало его личностью незаурядной.

Литература и искусство на протяжении всей деятельности Голлербаха были наиболее близки ему, о чем свидетельствует свыше 600 его статей в периодической

печати и около 50 различных книжных изданий. В то же время, постоянно пересекаясь с профессиональными интересами, росли и крепли его библиофильские пристрастия. При этом Голлербах выступал не столько книголюбом-собирателем, сколько библиофилом-издателем и библиофилом-искусствоведом.

Мое знакомство с творчеством Э. Ф. Голлербаха началось с того, что Юрий Сергеевич Торсуев — старый московский коллекционер, встречавшийся с Эрихом Федоровичем еще в 1930-е гг., предложил мне прочесть его небольшую изящную книжку — второе издание "Города муз". "Мне кажется, заметил Торсуев, — она должна вам понравиться: на мой взгляд, это лучшее сочинение Голлербаха".

Так оно и случилось: я пришел в восторг от книги, написанной ярко, образно, как бы на одном дыхании. Заинтересовало и то, что она была иллюстрирована самим автором и им же выпущена в свет небольшим тиражом. Вскоре после этого я встретился с сотрудниками редакции факсимильных и репринтных изданий московского издательства "Книга", с которыми поделился своими впечатлениями от "Города муз" и идеей факсимильного воспроизведения этой книги. Предложение поначалу было встречено вполне благожелательно, однако позже, по прочтении, зав. редакцией смущенно пояснил, что его начальство не возражало бы против переиздания, если бы в тексте не упоминался ... Николай Гумилев. И тут же добавил: "Давайте подождем несколько месяцев до его 100-летия, авось полегчает..." Шел 1986-й год, и гласность только набирала силу. Гумилев оказался одним из ее первых пробных камней и, к счастью для поклонников поэта, а заодно и потенциальных читателей "Города муз", юбилей на редкость удался: все газеты и журналы в один голос возносили хвалы реабилитированному поэту и обильно цитировали его стихи.

Спустя некоторое время мне позвонили из редакции и предложили, срочно подписав договор, заняться подготовкой

вступительной статьи. Так начался новый этап моего вхождения в "мир Голлербаха" — теперь уже на более глубоком, архивном уровне. Поняв, что в короткий срок не смогу тщательно изучить десятки интересных материалов, хранящихся в московских и ленинградских архивах, я предложил Ольге Острой — известному искусствоведу и библиографу, многолетнему сотруднику Российской национальной библиотеки — стать соавтором предстоящего издания и взять на себя ленинградские архивы. Ольга Семеновна, ранее изучавшая искусствоведческие работы Голлербаха, с готовностью согласилась и, таким образом, мы успели уложиться в указанные сроки. Пройдя свой обычный путь через мучительно-медлительные издательские жернова, книга увидела свет в начале 1990 года. Помнится, что и само факсимильное издание и отпечатанная в виде отдельной книжки наша вступительная статья, дополненная перечнем работ Голлербаха, посвященных Царскому Селу, а также комментариями к тексту, имели определенный читательский успех: 10-тысячный тираж книги разошелся в течение двух недель.

Увлекшись в конце концов самой личностью автора "Города муз", я углубился в его архивные материалы, продолжил знакомство с его книгами и статьями, что помогло в дальнейшем опубликовать несколько работ о нем, а также содействовать появлению еще двух факсимильных изданий. Остается добавить, что со временем мне довелось познакомиться с Евгением Голлербахом — внуком Эриха Федоровича, талантливым исследователем и литератором, несколько лет назад закончившим Ленинградский институт культуры, а чуть позже — я вступил в переписку с Сергеем Голлербахом, племянником Эриха Федоровича, известным американским художником, педагогом, эссеистом. Здесь уместно будет также отметить, что в связи со 100-летним юбилеем Голлербаха Иерусалимский клуб библиофилов посвятил ему свое 29-е заседание, на котором автор этих строк сделал доклад, легший в основу настоящей статьи.

Царскосел в четвертом поколении, Голлербах родился в обрусевшей немецкой семье. С раннего детства он полюбил неповторимую атмосферу Царского Села (ныне г. Пушкин), с его живописными пейзажами и замечательными памятниками искусства с его неуходящей памятью о былой литературной славе родного города — этой своеобразной "колыбели поэзии", "города муз". Впоследствии адресатами и героями многих статей и поэтических упражнений Голлербаха стали писатели и художники, связанные с Царским Селом. Этой "обители бессмертных теней Державина, Жуковского, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Тютчева..." посвятит он одну из самых поэтичных своих книг — "Город муз".

В разное время предметом пытливого исследователя становились книжная графика и архитектура, фарфор и миниатюра, костюм и портрет... Сам Голлербах, зная за собой страсть к всеядности, так характеризовал себя в автоэпиграмме: "Полупоэт, полуфилософ /Полуэстет, полумудрец. /В потоке мировых вопросов /он захлебнется наконец."

Мнение же большинства людей, хорошо знавших или друживших с Голлербахом, наиболее емко и объективно выразил известный ленинградский поэт Всеволод Рождественский: "В обиходе он (Голлербах) был очень общительным, заряженным деловой энергией человеком, а работоспособность и разносторонность его интересов были поистине удивительны. Он всегда что-то писал, на что-то "откликался", организовывал выставки, издания, был страстным библиофилом и коллекционером".

Эрих Федорович совершенно справедливо полагал, что сам процесс коллекционирования может доставлять увлеченному человеку глубочайшее удовлетворение. В январе 1935 года он записал в своем дневнике: "Всякое собирательство в области искусства сопряжено с поиском, разглядыванием, любованием и, наконец, познанием вещи (тут годится газетный термин "освоение"); дает что-то похожее на опьянение, которое не мутит душу, а напротив, просветляет. Вино без

похмелья. Особая форма постижения, не требующая никаких усилий — ничего, кроме хорошего зрения и умения видеть. Особый подъем духа, исполненный чистейшей радости".

И все же самым главным и наиболее серьезным увлечением Голлербаха явилось библиофильство. Его книжная коллекция, начало которой было положено в раннем детстве, а основная часть собиралась им в 1915—1920 гг., состояла из русских и иностранных изданий 18 — начала 20 вв., посвященных изобразительному искусству, литературоведению, художественной литературе и философии. Уже в детстве книга вызывала у него собирательскую страсть и одновременно уводила от прозаической обстановки дома отца — владельца булочной в Царском Селе. И в дальнейшем домашняя библиотека Голлербаха не поражала воображение библиофилов ни количеством, ни качеством книг, хотя в ней был ряд раритетов 16-17 вв.(в том числе издания Альдов и Эльзевиров). Библиофилов покоряло в Голлербахе другое: его страстная, действенная любовь к книге и книгоизданию, неуемная энергия, с которой он подключался к любому книжному мероприятию: будь то выставка, доклад, подготовка малотиражного издания или статьи на библиофильскую тему... Всё это снискало Эриху Федоровичу заслуженный авторитет и признание в библиофильской среде. Не случайно он стал одним из создателей и первых председателей знаменитого Ленинградского общества библиофилов (ЛОБ).

Здесь следует отметить, что это общество во многом было задумано как "издающая организация" и рассматривало себя как "единение людей, интересующихся не только изучением книги, но и творчески участвующих в ее производстве". Голлербах искренне считал — и с ним нельзя не согласиться — что "вдохновительницей всех книговедческих и книгоиздательских подвигов является именно библиофилия — любовь, страсть и ревность к книге". Отсюда понятно, что Эриху Федоровичу принадлежала ведущая роль почти во всех издательских начинаниях ЛОБ, наиболее значительным из

которых по праву считается первый в России "Альманах библиофила" (1929), который и по содержанию, и по оформлению до сих пор является недосягаемым образцом для современных "Альманахов библиофила", с 1973 г. выпускающихся в Москве. Кроме того, Голлербах явился автором пяти книг и брошюр, изданных ЛОБ при его непосредственном участии.

В 1926 году Голлербах выпустил первое свое авторское издание — миниатюрную книжечку "Портреты". В него вошло около десятка стихотворных портретов хорошо знакомых ему поэтов и художников, в том числе М. Волошина, Ф. Сологуба и А. Головина, а во втором издании этого сборника (1930) к ним были добавлены портреты А. Ахматовой и Н. Гумилева. Интересно, что тексты обоих изданий написаны автором от руки, им же сделаны концовки в технике силуэта, а затем эти изящные рукодельные книжки были тиражированы цинкографским способом в небольшом количестве экземпляров "не для продажи". (Только в 1990 г. Ленинградская секция миниатюрных изданий сумела переиздать "Портреты" 1930 года тиражом 500 экз., сделав эту редчайшую книжку доступной библиофилам.)

Безусловно лучшим авторским изданием Голлербаха стала уже упомянутая мною книга "Город муз" (1927, 2-е изд., 1930). В ней он впервые попытался осмыслить Царское Село как своеобразный историко-литературный и бытовой памятник, как "приют муз" и, в то же время, "кладбище воспоминаний", где "зеленорунное лоно царскосельских парков, голубые озера и каналы, величественные дворцы — создания Растрелли, Кваренги, Камерона, кокетливые павильоны, беседки, памятники славы, тенистые гроты, античные боги и герои, застывшие беломраморными видениями в тишине вековых аллей, — вся эта сказочная, почти театральная панорама, отразившая, как в зеркале, эпоху Елизаветы, Екатерины, Александра /.../, явилась для многих наших поэтов источником вдохновения и радости". Пожалуй, как ни в какой другой своей книге,

Голлербах здесь абсолютно раскован. Его "песнь" льется свободно и вдохновенно, он целиком в своей стихии. Никем не отредактированный "поток сознания" автора увлекает нас буквально с первых же строк книги и несет по волнам времени согласно его воле и желанию. Книга насквозь пронизана самыми разными, порой весьма далекими друг от друга, чувствами и настроениями автора: от глубокого лиризма и возвышенной патетики, до едкого сарказма или легкой иронии. Интересны ёмкие, выпуклые характеристики героев повествования, уместны яркие цитаты из их произведений, порой виртуозно вкрапленные в собственную ткань лирических отступлений; наконец, поражают неожиданностью и меткостью наблюдений мемуарные зарисовки Голлербаха в последних главах книги, где он выступает уже в качестве очевидца, современника своих героев.

В обоих изданиях "Города муз" автор выступает также как опытный художественный редактор: со вкусом истинного царскосела он оформил небольшие, карманного формата книги. Однако, если в первой из них Голлербах лишь подобрал ряд весьма удачных силуэтов известных художников-графиков, то во второй — сам проиллюстрировал все издание в той же силуэтной манере. Конечно, он понимал, что его рисунки далеки от совершенства, но соблазн самому целиком сделать книгу был весьма велик. "Пусть это дилетантизм, — оправдывался Эрих Федорович перед знакомым библиофилом и искусствоведом, — но, мне кажется, всегда занятна попытка автора "себя" иллюстрировать. Тут требования качества должны быть снижены". Как бы то ни было, второе издание "Города муз", отпечатанное тиражом 1000 экз., быстро разошлось и имело большой успех в литературно-художественных кругах России. Интерес к этой замечательной книге вновь возник в конце 1980-х гг., и за короткий срок в Париже, Москве и Петербурге увидели свет три ее новых издания.

Наиболее библиофильским по своему духу и содержанию явились "Диоскуры и книга"(1930) — небольшая 32-стра-

ничная брошюра, написанная Голлербахом в жанре "библиофильского дифирамба" и посвященная 10-летию Комитета популяризации художественных изданий (КПХИ) — известного ленинградского издательства 1920-х годов. С ним Эриха Федоровича связывали не только его авторская, редакторская или составительская работа, но и добрые отношения с большинством основных авторов издательства — ленинградскими искусствоведами и художниками. Именно дружеские чувства к ним вдохновили Голлербаха на создание весьма остроумного и оригинального библиофильского произведения. В "Диоскурах" ощутима особая дружественная атмосфера, господствовавшая в околоиздательском литературно-художественном и библиофильском кругу. Собственно, сам дифирамб, как и псевдонаучные комментарии к нему, вполне передают характер тогдашних библиофильских посиделок, приправленных аттической солью и густо замешанных на бытовых наблюдениях.

В качестве примера достаточно привести один из пассажей "Научных комментариев", характеризующих личность самого автора; "Голлербах — монстр, чья роль в природе не вполне выяснена: по Блоку — "всеядный эстет", по Розанову — "фантазер и приверединк", "мизантропический ум", по Вс. Рождественскому —"садовник царскосельских парков" и "вольный ректор университета", по А. Сидорову — "вождь библиофильской рати" и "хранитель античного пламени", по Л. Авербаху — "медведь", по А. Гвоздеву — "рыцарь театральной реакции", по А. Михайлову — "разносчик поповского товара" etc., etc.; во всяком случае, явление злокачественное".

К счастью, и эту редкую книгу (ее тираж всего лишь 100 экз.), не без помощи автора этих строк, удалось факсимильно переиздать в Москве в 1990 г. как приложение к каталогу выставки изданий КПХИ. Знаменательно, что она стала первым изданием незадолго до того учрежденной Всероссийской ассоциации библиофилов!

Завершая рассказ об издательской и библиофильской деятельности Голлербаха, не без сожаления заметим, что прошедшие годы зримо повыветрили библиофильский дух у российских книголюбов, а потому сегодня, в год 100-летия со дня рождения Эриха Федоровича, хочется вновь помянуть его добрым словом и воздать должное замечательно яркой и талантливой личности "всеядного эстета".

К. Андроникашвили-Пильняк

Загадочная история дневников провинциала в творчестве Бориса Пильняка

В дошедших документах о писателе много белых пятен. Одно из них — история с дневниками провинциала, авторство которых до конца не выяснено. Б. Пильняк использовал их в ранних рассказах, в повести "При дверях"[1], пытался опубликовать как отдельную книгу, включил в последний роман "Соляной амбар"[2]. Мысль использовать дневники преследовала писателя. Его, очевидно, привлекала идея создания образца пошлости, которой была насыщена провинция.

Есть несколько тем, которые Б. Пильняк пронес через всё свое творчество. Рожденные в отроческие годы, они мучили его своей неразрешимостью. Такова, к примеру, мечта о чистой девушке в белом, о маленькой девочке, потерявшей свои сказки, о "я" и др. Среди них и дневники провинциала.

Дневники — пошлый рассказ чиновника о своих буднях, о любительском театре в маленьком городке, о балах, о любовных похождениях. Наиболее полно дневники представлены в последнем романе Б. Пильняка и представляют собой отдельную часть романа. По официальной версии, дневники — записи провинциала — существовали, но не сохранились. Они были приобретены у коломенского мещанина Ухова, с которым Пильняк был знаком лично. Покупка произошла в 1915 году, а дневники датированы 1913 годом. Этот факт описан у

Пильняка в повести "При дверях" (1919), где впервые использованы фрагменты дневника.

"Помолчали. Закурили. Позатянулись.

— Мы насчет дневников пришли.

— Ах, насчет дневников! Пожалуйста!.. я от своих слов не отказываюсь... только... только к чему они вам?.. так, пустяки.

...— Как уговорились. Я ведь продаю, как писателю, а другому бы ни за что...

— Другой бы и не купил. Разве на обертку.

— Верно! Совершенно верно!.. Только не забудьте, что это ведь душа моя. Тут вся моя жизнь...

— Да.

— А вы хотите за тысячу рублей!

— Тысячу вы сами назначили"[3].

В повести хозяин дневников — Иван Петрович Бекеш. Дневники в повести были куплены для Оли Веральской. Они поданы в восприятии и затем, в контексте повести, противопоставляются окружающему хаосу революции. "И опять больно падает дневник на колени. — Господи! Избави от боли, от лжи, от грязи!.."[4]

В повести "При дверях" использованы куски из дневника, связанные с балом у Ольги Николаевны Жмухиной, купчихи, и ее любовным приключением с автором этих записей.

В 1924 г. Б. Пильняк попытался вновь использовать эти дневники. Вместе с художником Юрием Анненковым он готовил их к изданию. Книга была готова к выходу с 22 рисунками и текстом на 128 страницах. Было сделано клише, но книга не вышла — Главлитом не была пропущена. История не дошедшей до нас рукописи дневников описана в воспоминаниях Ю. Анненкова "Б. Пильняк"[5]:

"Вчера я сдал последние рисунки к "Дневнику Jean'a Сухова". Текст, слегка приведенный в порядок Пильняком (хотя синтаксические и орфографические ошибки остались нетронутыми) написан неким Суховым, вернее — Уховым, коломенским недоучкой и лоботрясом. Рисунки же исполнены моей женой, которая до того никогда в жизни не рисовала.

Я рассказывал ей, как и что надо изобразить, и она, смеясь, рисовала это с ребяческим недоумением. Если книга появится, то она будет чем-то вроде литературного таможенника Руссо... Пильняк сделал единственную в своем роде попытку опубликовать простой "человеческий" документ затерянного провинциала, отнюдь не мечтавшего увидеть свой дневник (1913 г.) напечатанным: образчик человеческой пошлятины, не имевший примеров в литературе. О таких провинциальных пошляках написаны многие томы, но их с о б с т в е н н ы е рукописи никогда не публиковались"[6].

Книгу готовил, как вспоминает Ю. Анненков, И. З. Хилминский, который вскоре заболел почками и был перевезен в больницу. "Выход книги сомнителен", — отмечает он. Далее идет описание дневника. Приведены стихотворения, описаны рисунки и фотографические открытки Сухова. "Страницы моего дневника являются дорогим букетом бесхитростных, но всегда ароматных, чудных, непосредственных воспоминаний. Мой девиз: Прощай прошлое — скорее к неизведанному завтра.

Не нужно мне слова участья!
Не нужно, не нужно мне проблесков счастья.
Оставь и дозволь мне мечтать о БЫЛОМ!"

Свой рассказ Анненков завершает повторным заверением, что "суховский дневник ни в коем случае не был выдумкой Пильняка, он показывал оригинал мне с его неподражаемым почерком и "старой" орфографией. Желая издать его, Пильняк поступал, как "искатель правды", а не как писатель".

Книга должна была появиться под именем Пильняка, так как под именем Сухова никто не согласился бы ее издать. Сохранилось совместное предисловие Ю. Анненкова и Б. Пильняка, датированное 9 января 1924 г. (Коломна, Никола-на-Посадьях). В предисловии описан внешний вид дневников, который совпадает с описанием дневника в "Соляном амбаре", сказано о судьбе Сухова, месте действия, цели и истории покупки: "Составители приобрели эти тетрадки нижесле-

дующим образом: один из составителей, Б. А. Пильняк, лично знавший И. П. Сухова, получил эти дневники от автора с тем, чтобы он, Пильняк, их использовал для романа; это было в 1915 году; когда Пильняк их не использовал в течение полугода, Сухов потребовал их назад или уплатить за них 25 рублей; между Пильняком и Суховым произошел торг, в результате которого дневники были куплены Пильняком в полную собственность, с правом обнародовать их, за десять рублей".

Автор внутренней рецензии на эту книгу[7] писал с нескрываемым раздражением: "По форме это — дневник уездного конторщика типа Володина из "Мелкого беса". Весь смрад старо-уездной пошлости от бездельного слоняния по бульварам и ухажерства до тупого внешнего патриотизма и столь же тупого подкрепления своих позиций внешне подобранными цитатами из опошляемых писателей и поэтов, — всё это нашло себе место в дневнике в непереносно-лошадиной дозе. Тут же и стилизованные под пошлость, квази-неграмотные, неизменно-эротические рисунки Ю. Анненкова... в дозе, тоже превышающей всякую меру".

Критик продолжает: "На протяжении всех 128 страниц мы видим только "пятки" и "брюхо" какого-то тела (символизирующего российский народ) — с такой нелепой п е р е г р у з к о й эротической и всякой прочей пошлости, что пошлость явно обращается в самоцель, а книжка, долженствующая излечить от пошлости, может служить у ч е б н и к о м... пошлости".

Во внутренней рецензии приводятся обильные цитаты из дневника, по которым можно судить, что в роман он вошел, если не считать некоторой авторской правки, без изменений, но значительно отличается от варианта в повести "При дверях". В романе "Соляной амбар" Б. Пильняк использовал дневники в последний раз.

Дневники Ипполита Разбойщина упоминаются также и в письмах Б. Пильняка к Е. Замятину. 24 февраля 1924 года он спрашивает Замятина: "НАПИШИ МНЕ, пожалуйста, как обстоят дела с Жаном Суховым, куда он определился, как

столковались с Юрием? И будет ли он напечатан в вашем журнале? — мне это надо знать, потому что у меня просят этот рассказ в несколько мест, хорошо платят, а денег у меня постоянно не хватает и я люблю их получать. НАПИШИ"[8]. 5 апреля он уже просит переслать ему рукопись Жана Сухова, так как он "ее здесь загнал, надо сдавать в набор".

А вот как описаны дневники в романе "Соляной амбар": "Дневники в Камынске писали многие — и самыми обстоятельными оказались дневники Ипполита Разбойщина. Если б эти дневники были проведены через всю жизнь Ипполита, они б дали ему право быть камынским писателем, как был камынским художником мещанин Полканов. Дневник велся в щеголеватых клеенчатых тетрадях. Кипа клеенчатых тетрадей исписана была, главным образом, фамилией — Ippolit Rasboichin или просто Поля, а также стихами, сотнями стихотворений, под которыми изредка подписывалась фамилия поэта, но всегда — фамилия Разбойщина и приписки — "списано из альбома Бетси Коровкиной", "нравится, но не очень, знаю наизусть"[9].

И тем не менее, вопрос об авторстве дневника остается нерешенным. Записи Ипполита Разбойщина — записи неграмотного и недалекого человека. Стилистическая безграмотность соответствует его образу. Посредственный конторщик пытается походить на великих людей, воспринимать жизнь сквозь призму трагичности. Литературный слог в его устах становится гротеском, опошлением, пародией на человеческие переживания. Сентиментальность и обилие восклицательных знаков, тире, пауз — объясняется переносом разговорной мимики на письмо — вздохов, пауз, жестов.

В начале 1916 года Б. Пильняк помечает в записной книжке: "Еще — надо написать о *народных спектаклях*. Обязательно: дорога, "все знакомы. Пожар — "Эй-уберите!"... "Сеанс окончен". И там же, 12 июля 1916 года, в записи о планах написания новой книги опять упоминаются дневники: "Вторую книгу не надо будет спешить выпускать. Надо будет там коснуться всех тех мыслей, что задеты в "Арх. Арх." Там же

надо будет поместить из дневников. "Бал в провинции", "Весной"[10], "Жизнь женщины"[11] — то, что найдено на чердаке в Зиновьеве"[12].

Идея использования дневников не оставляет писателя и в последующие годы. В той же записной книжке, но уже весной 1918 года, Пильняк возвращается в этой теме: "Скроить провинциальную повесть из дневников Ухова — a la чёрт побери!"

Рассказ "Моя жизнь" (первоначальное название "Весной", 1912 г.) совпадает текстологически с той частью дневника в романе "Соляной амбар", где Ипполит Разбойщин описывает свою жизнь по неделям Поста. Об этой части можно с уверенностью сказать, что она написана самим Пильняком и полностью вошла в дневник, а также в роман "Соляной амбар". Рассказ написан от лица молодого чертежника. Короткими фразами он рассказывает о своей жизни. Рассказ насыщен описаниями природы. Рассказ построен на неделях Великого Поста и также вошел в роман. Первоначальным замыслом автора было, по-видимому, описать через дневниковую форму быт и жизнь простого мещанина. Об этом рассказе Б. Пильняк писал 23 сентября 1912 года из Нижнего Новгорода родителям в Коломну:

"Сегодня я написал новый рассказ "Весной".

Написан в совершенно иной форме, чем я пишу обыкновенно.

"Чудо" и этот рассказ как-нибудь пришлю вам.

В этом новом рассказе нет ни фабулы, ни завязки, ни конца. Написан в духе Флобера. Завязкой служит — время. В рассказе встретите имена и названия коломенцев и улиц коломенских. Это потому, что поводом к этой повести послужил дневник одного коломенского жителя..."

27 октября 1912 года, письмо родителям из Н. Новгорода:

"Получил сейчас открытку от Ухова. Он написал страшно дикую вещь: сестра Дины, Наташа, пишет он, забеременела и уехала в Москву родить. Разузнайте, правда ли это?! Ведь это дико! Ведь она — почти ребенок...

...Сегодня же ответьте!

Это — так дико

Особенно, когда это связано с таким захолустьем, как Коломна, где это не первый факт (Непомнящая в моем рассказе — действительно существует там), где моя сестренка... Мне думается, что это — не случайности".

В том же письме:

"Ох, Рождество бы скорее... Приеду домой, займусь рассказом одним, из своей теперешней жизни: я, Мосенко, Николаев, Сазанов...

И еще думается всё о Наташе Акинфиевой...

И как это грубо написал Ухов! Пишет открытку и сбоку приписал: "Наташа Акинфиева поехала в Москву (родить)... Ха! Ха! Вот какие у нас дела"...

Уж слишком это нагло, цинично для лжи!..

Хотя, если это правда, не смеет он так писать! Чего он знает?!

Скоты какие все люди!.."

Если предположить, что в 1915 году дневники все-таки были куплены, то, очевидно, Б. Пильняк соединил их в одно целое со своим ранним переработанным рассказом. Покупка 1915 года, очевидно, лишь дополнила его замысел или подтолкнула писателя к его осуществлению. В письме родителям из Нижнего Новгорода в 1912 году он пишет о рассказе "Весной" ("Моя жизнь"), что "поводом к этой повести послужил дневник одного коломенского жителя..."

В архиве семьи писателя сохранился и другой, к сожалению, без конца и даты рассказ Пильняка "Бал в провинции", текст которого является еще одной частью дневника Ипполита Разбойщина. Этот документ также может пролить свет на неясную историю судьбы дневника провинциала.

По тому, как оформлен рассказ "Бал в провинции" — рукописный текст на длинных узких листочках, на которых Пильняк писал свои ранние рассказы — можно предположить, что он написан между 1912-1916 годами. Рассказ представляет собой дневник "одного юного чиновника", в котором опи-

сывается бал в провинциальном городке после премьеры, с подробным изложением пошлого пьяного разгула. Начинается с авторского вступления:

"Вот, что мне удалось вычитать в дневнике одного юного чиновника, служащего в провинциальном городке.

Я ничего не изменил в его повествовании и лишь исправил орфографические ошибки".

Сравнивая три варианта дневника в текстах раннего рассказа "Бал в провинции", повести "При дверях" и романа "Соляной амбар", — можно предположить, что если и был какой-либо оригинал дневников, то стилистическая и орфографическая правка Б. Пильняка настолько существенна, что, в любом случае, тексты дневников являются авторской работой писателя.

Мысль об изображении провинциальной жизни через ничем не примечательного обывателя, пишущего дневники (дневники в то время писали все), а также, быть может, и существование какого-нибудь оригинала, подтолкнули писателя к тому, чтобы написать дневники самому. Возможно, писатель скрыл свое авторство, чтобы проверить степень точности своего творческого эксперимента.

Синтаксическая и орфографическая правка дневника, сделанная, по словам Ю. Анненкова, Пильняком — шли в сторону большего выявления обывательщины.

К примеру, возьмем фразу из рассказа "Бал в провинции":

"Стариков и пожилых людей хозяюшка поместила в зале, а нам, господам, участвующим в спектакле, отвела отдельную комнату, *изолированную от косых взглядов стариков*".

Эти слова в повести "При дверях" изменены: "*а наши господа — отдельно изолированную от посторонних взглядов*". В романе "Соляной амбар": "Старики и пожилые заняли две комнаты, а наши господа участвующие заняли отдельную комнату, *изолированную от взглядов посторонних неприятностей*".

Интересное сходство можно найти между образом Ипполита Разбойщина и приятелем Б. Пильняка по Нижнему Нов-

городу, где он заканчивал в 1912 году последний курс гимназии, хотя, безусловно, образ Ипполита — собирательный. Вот как Б. Пильняк описывает своего приятеля из Нижнего Новгорода в письме родителям 21 октября 1912 года: "*Алексей Михайлович* — чиновник почтово-телеграфной конторы. Из 4-го класса нашего реального был за что-то вышиблен — за что? — не знаю и очень удивляюсь этому факту, т. к. это безобиднейший человек. Он служит в военной службе. Ему 28 лет.

Его комната — будто девичья. Вся в открытках. Белый полог на кровати. На столе — образцовый порядок. Камешек с надписью "Ялта", портрет какого-то актера. И о камушке, и о портрете (и об остальных вещах) мы слыхали десять раз...

— Это брат из Ялты привез, вот и написано "Ялта". А это — дедушка мой, артист Императорских театров Тольский...

Он редко бывает дома. Когда дома — читает книги из своей библиотеки (у него полочка книг — "библиотека" — как называет он). Раз застал его за чтением геометрии Киселева.

Он очень любит рассказывать свою прежнюю жизнь... Вымысел, бедный и пошлый, смешивается с бедною и пошлою действительностью... Показывал "любовныя" послания — жалкие безграмотные письма. Показывал две-три фотографии (финалы его романтических похождений): жалкие и пошлые лица, с устремленными дико глазами, с развернутыми книгами... Показывал стихи своего друга-солдата. Свой билет — оставшийся от тех далеких времен, когда он был реалистом.

Показывал порнографические открытки...

Всё это убрано у него в сундучке в образцовом порядке... Сохранена у него газета, где он был пропечатан за "в пьяном виде"...

У него своя жизнь.

У него — есть "любов", как он называет какую-то портниху.

По праздникам он ходит в монастырь, там у него тетя — старшей монахиней. Пишет ей ведомости, проводит звонки...

По субботам, сбегав в баню, спешит обойти церкви три..."

Не исключено, что дневник существовал и навел писателя на мысль о создании "учебника пошлости", как выразился критик. Провинция этого периода пестрила дневниками, альбомами, обывательской пошлостью был пропитан воздух. Но некоторые места имеют прямое отношение к Пильняку. В частности, поездка любительской труппы в город Рогожск — в Богородске писатель жил на Рогожской улице. Сохранилось также воспоминание Пильняка о праздновании трехсотлетия Дома Романовых: "...Тогда была весна, — тогда я впервые видел (и последний раз) человека, правившего Россией... У императора Николая было лицо затравленного человека, очень обрюзгшее в пьянстве, очень седеющее"[13].

Описание императора Ипполитом Разбойщиным: "Не понравилось (не очень) мне его лицо, очень пропойное, хотя чисто русское..." Другая любопытная деталь. Ипполит Разбойщин в своих дневниках в романе пишет о посещении им лекций, в частности, по животноводству, которые читал отец Андрея Криворотова, доктор Иван Иванович Криворотов:

"Второй лекцией остался не так доволен — неинтересна содержанием и лектором — доктором Ив. Ив. Криворотовым... На этой лекции говорилось про бактерии и про бациллы, про состав воды и про чуму... интересного пришлось узнать мало... хотя из некоторого я извлек интересное и даже очень интересное — это только одно, а именно "Криворотов" сказал: "Марфин брод это есть врата для всех заразительных болезней в Камынске... и причина *вода*, которая вытекает с фабрики, а что за вода после мойки шелка всем известно!!!"[14]

А вот, что сообщает в письме родителям из Нижнего Новгорода 20 октября 1912 года Б. Пильняк: "Сижу главным образом дома. Читаю. Прочел половину очень солидного труда ученого Геккеля "Чудеса жизни"...

Володя, заметив, что я начал работать, очень много говорит со мною.

Он сейчас готовится к курсам, которые здесь будут открыты для народа.

Он будет читать по животноводству.

Готовится, рассказывает мне много из этой отрасли..."

Необъяснима привязанность Пильняка к этим дневникам. В архиве сохранились маленькие записки, в которых не раз упоминаются дневники. Чрезмерность в них — явственна, и в описании, и в сгущении красок. Всё это не мог не заметить Пильняк. Разгадка, может быть, кроется в словах писателя:

"...Мои глаза сделаны так, что я эту "рвань" — вижу... Я пишу о ней... чтоб те, кто волят и могут создать Россию, знали, каким материалом они располагают, чем этот "материал" занят, — чтоб знали, в частности, и тебя, обыватель, дурак и хам (очень часто встречающаяся у нас разновидность, здравствующая от Гоголя, Достоевского и Щедрина), и что ты сидишь не только в клопиных щелях, но часто и на больших дорогах нашей общественной и государственной жизни"[15].

Примечания

1. Повесть "При дверях" была написана в 1919 г., появилась в первом номере журнала "Художественное слово" в 1920 г. (под редакцией В. Я. Брюсова). Входила во все собрания сочинений и в сборник "Смертельное манит" (1922). Печаталась также под названием "Метелинка".

2. Роман впервые был опубликован спустя полвека после написания в сборнике произведений Б. Пильняка "Расплеснутое время" в издательстве "Советский писатель" в 1990.

3. Б. Пильняк, сб. "Третья столица", повесть "При дверях" — изд-во "Русская книга", М., 1992, с. 148.

4. Б. Пильняк. "Повести и рассказы", повесть "При дверях" — изд-во "Современник", М., 1991, с. 159.

5. Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий, т. 1, издательство "Советский композитор", сс. 288-299.

6. Архив семьи писателя.

7. Лицо не установлено.

8. Письма Б. Пильняка — Е. Замятину. ИМЛИ. Речь идет о журнале "Русский современник", в котором участвовал Е. Замятин.

9. Б. Пильняк. Расплеснутое время. М., "Советский писатель", 1990, с. 492.

10. Рассказы нигде не публиковались. Вошли составной частью в роман. Рассказ "Весной" имеет и другое название — "Моя жизнь" (Архив семьи писателя).

11. Об этом ничего не известно.

12. Архив семьи писателя.

13. Воспоминания Б. Пильняка "О Нижнем Новгороде" в журнале "Зори" (Нижний Новгород), 1923, № 1, сс. 6-7.

14. См. прим. 9, с. 500.

15. Из ответа на критику его очерков об Англии. Коломна. Никола-на-Посадьях, 8 ноября 1923 г. (архив семьи писателя).

Анатолий Либерман

Волшебная сказка и строгий расчет

(К столетию со дня рождения В. Я. Проппа)

Серебряный век русской поэзии совпал с золотым веком русской филологической науки. Именно тогда родились люди, опередившие на целое столетие ход развития языкознания и литературоведения и в России, и далеко за ее пределами. Среди них был и фольклорист Владимир Яковлевич Пропп (1895-1970). Потомок немецких колонистов, осевших в России при Екатерине, он был уже потомственным петербуржцем. В 1918 г. он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета по разряду славяно-русской филологии и десять лет преподавал русский язык в средних школах, а потом немецкий в разных вузах. С 1932 г. началась университетская карьера Проппа, которая продолжалась тридцать лет и три года.

В 1928 г. Пропп выпустил небольшую книгу под названием "Морфология сказки". Термин морфология он заимствовал из работ Гёте по естественным наукам и употребил его в значении "структура, организация". Речь в его книге идет только о волшебной сказке, то есть о такой, в которой герой после многочисленных приключений женится на принцессе. Мысль Проппа, как считал и он сам, необычайно проста и доступна неспециалисту, ибо, слушая сказки детьми, мы все в какой-то мере делаем то же открытие, что и Пропп. Мы замечаем, что если в семье три брата, то первые два ничего не достигнут в жизни, а на принцессе женится третий. Сколько бы принцесса

ни задавала ему трудных задач, он их выполнит, обычно с помощью зверей или таинственных существ, которых он облагодетельствовал, выйдя из дому. Если его убьют, он оживет и т. д. Но Пропп, конечно, заметил не только это. Он обнаружил, что практически все волшебные сказки имеют один и тот же сценарий: герой попадает в опасную ситуацию (он осиротел или его родители надолго куда-то уехали, или он должен пройти мимо опасного перекрестка), он встречает лиходея и своей наивностью способствует беде, беду надо ликвидировать, и герой отправляется в дальние странствования; он встречает своего будущего помощника и дружеской услугой завоевывает его любовь; он приходит в далекое царство, где живет принцесса на выданье, и либо спасает ее, либо выполняет ее капризы, женится на ней и после смерти тестя становится царем. В центре внимания может быть молодой человек (Иванушка) или юная девушка (Золушка). Не всегда речь идет и о браке: порой приходится ублажать мачеху и искать под снегом землянику или веретено в колодце, отбивать братца у Бабы Яги, приносить воду жизни умирающему отцу и т. п., но стержень всех волшебных сказок один и тот же: надо что-то найти или вернуть, то есть добиться удачи, и поиски развиваются по неизменному плану. Пропп несколько упростил ситуацию, но в принципе был прав: волшебная сказка строится по определенной формуле, которую он первым и вывел.

В истории гуманитарных наук постоянно борются два течения. Люди, изучающие язык, литературу, музыку, историю, могут всматриваться либо в переливы художественной ткани, в бесконечное многообразие деталей, либо в конструкцию, на которой детали крепятся. Эти подходы не враждебны друг другу, как не враждебны друг другу товароведение и политическая экономия; в идеале они должны были бы уживаться в рамках единой теории. Но в жизни так происходит редко. "Художники" обвиняют "конструктивистов" в слепоте и догматизме; "конструктивисты" же говорят, что "художники" за деревьями не видят леса. Одним нужен скелет, чтобы покрыть его плотью; другие спешат избавиться от плоти, чтобы обнажить скелет. Многое зависит от научного

климата эпохи и темперамента исследователя. Пропп имел врожденные склонности к конструктивизму, а климат в науке и искусстве Европы и Америки начала XX в. был откровенно конструктивистский: от Корбюзье и Пикассо до Шкловского и Шёнберга — все искали законов, управляющих развитием формы. В этом и была суть авангарда, и не случайно, что одна из самых блестящих школ в русском и мировом литературоведении назвала свое учение формализмом: тогда слово формализм еще не превратилось в ругательство.

С идеей "Морфологии сказки" согласились крупнейшие знатоки фольклора, но над Проппом словно тяготело проклятье: он всегда опаздывал. К 1928 г. формалисты были забиты марксистскими дубинками (в свое время сам Троцкий удостоил их сановной брани). Пропп стал дежурной мишенью антиформалистических атак, а потом о его книге перестали говорить. Как и большинство его современников, Пропп постепенно привык к марксизму и старался взять из него то, что, не кривя душой, можно было использовать в работе. Ритуальные ссылки на "классиков" ни для кого не прошли даром. Лучшие ученые не без интереса штудировали ругань всего и всех в "Материализме и эмпириокритицизме" и наперебой писали статьи по марксистскому языкознанию и марксистскому литературоведению.

Проппа всегда интересовала история; он и "Морфологию" рассматривал как введение в исторический анализ сказки. В 1928 г. он уже ясно представлял себе направление своей дальнейшей работы, но закончил вторую часть только перед войной. Он успел защитить ее в качестве докторской диссертации, однако книга вышла лишь в 1946 г. под названием "Исторические корни волшебной сказки". Пропп пытался уяснить себе, как сложилась та формула, которую он вывел в "Морфологии..." По его мнению, волшебная сказка возникла из обряда инициации, но так как инициацию в наше время можно изучать в основном по обрядам народов Америки (индейцев), Африки и Океании, "Волшебные корни..." пестрят ссылками на работы этнографов всего мира. В книге нет ничего марксистского, кроме программных заявлений, но и ничего противоречащего догмам марксизма, а взгляды Проппа

на древнее общество можно при желании выдать за развитие взглядов Энгельса. Но не номинальный марксизм нужен был отцу народов. Марктвеновский Янки освободил из тюрьмы человека, всю жизнь проведшего в заключении за одну фразу: он сказал, что у Фаты Морганы рыжие волосы. "Так оно и было, — замечает Янки, — но говорить этого не следовало". Пропп вскрыл связи русской сказки с мировым фольклором, чего после войны нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. "Интернационализм" кончился. Во всеобщее употребление входили страшные слова: космополит и приоритет.

Власти устроили Проппу, немцу, вообразившему, что русская сказка чем-то похожа на сказки других народов, показательный разнос. Подонки из "Литературной газеты", "Культуры и жизни" и "Нового мира" втоптали его в грязь. В Ленинградском университете назначили проработочное собрание. Число выбрали соответствующее: 1-е апреля (1947 г.). Главным обвинителем выступал Дементьев, будущий комиссар при Твардовском. Гражданской казни Проппа предшествовало уничтожение А. Н. Веселовского (1838-1906), одного из величайших русских ученых. Как сообщает "Энциклопедический словарь" (1953 г.): "Веселовский рассматривал русский фольклор и русскую литературу как 'сумму влияний', отрицая самобытный национальный характер русской литературы и ее мировую общественно-прогрессивную роль. Это приводило Веселовского и его последователей к прямому низкопоклонству перед Западом." В низкопоклонстве и притуплении классового чутья обвинили и Проппа. Пропп признал свои ошибки, одобрил ниспровержение Веселовского, поблагодарил "товарища Дементьева" за науку и пообещал работать еще больше, чтобы искупить свою вину. Он пережил все издевательства, но в 1949 г. его увезли с инфарктом прямо с лекции. В эти страшные годы одни ученики, как водится, отреклись от Учителя, другие остались верны ему.

Вскоре после войны Пропп обратился к изучению русских былин, и в 1955 г. вышла его третья книга — "Русский героический эпос". И эта книга достойна всяческого внимания, но ее писал затравленный, запуганный человек. Развитие эпоса втиснуто в прокрустово ложе марксистской эволюции обще-

ства. Пропп почти не исследовал морфологии былин, а когда сравнивал их с западными сказаниями, то подчеркивал независимость русских вариантов; он больше не хотел быть ни формалистом, ни космополитом. Но, как всегда, он опоздал. Даже на фоне серенькой оттепели 1955 г. "Русский героический эпос" выглядел анахронизмом, и почитавшие Проппа Ухов и Мелетинский удивлялись в рецензиях, почему он не ссылается на работы своих западных коллег. Поистине загадка! Издание 1958 г. выглядело несколько пристойнее, но суть осталась той же.

В конце пятидесятых годов к Проппу пришла широкая известность. Еще в 1949 г. туринское издательство "Эйнауди" выпустило итальянский перевод "Исторических корней..." Издательством владел коммунист. Неужели он не знал о приеме книги на родине Проппа? Почему у Проппа не было из-за перевода неприятностей? Возможно ли, что "Эйнауди" получило совет от старшего брата, желавшего показать Западу человеческое лицо? В Италии книга вызвала много споров, но по-итальянски в мире читают не больше, чем по-русски. Главное событие произошло в 1959 г. Усилиями Р. О. Якобсона в Америке был опубликован английский перевод "Морфологии сказки". Якобсон же попросил Клода Леви-Стросса, тогдашнего главу мирового структурализма, написать пространную рецензию на это издание. Леви-Стросс, увлеченный собственными идеями, мало что понял в книге Проппа, но критика его была в высшей степени доброжелательной, и "Морфология сказки" сделалась знаменитой — сначала в США и во Франции, а потом и во всем мире. Ее перевели на множество языков, а за ней последовали другие книги Проппа и сборники его статей. Выждав некоторое время, "Морфологию..." переиздали и в Москве.

Последняя прижизненная книга Проппа — "Русские аграрные праздники"; "Теория комического и смеха" и "Русская сказка" вышли посмертно. Пропп умер в 1970 г. Его еще успели оскорбить, наградив в 1961 г. ничтожным орденом "Знак Почета". Однажды Пропп сказал в частной беседе: "Я неправильно выбрал свою специальность. Мне следовало стать биологом. Я люблю все систематизировать и классифи-

цировать. Думаю, в биологии я достиг бы больших успехов". Надо полагать, что специальность Пропп выбрал все же правильно, но силу свою он определил с удивительной и безжалостной точностью.

В 1995 г. в Санкт-Петербурге состоялась конференция, а в Москве вышел превосходный номер журнала "Живая старина" (№ 7/3), посвященные столетию со дня рождения Проппа. В их центре стоял не только Пропп-ученый, но и Пропп-человек. По работам Проппа почти невозможно восстановить его облик. Читатель видит сдержанного, даже сухого человека, не стремящегося писать бойко или афористично и с равным интересом классифицирующего элементы сказки, составные части праздников и проявления человеческого юмора. Поражает несоответствие между предметом и стилем изложения: и коврами-самолетами, и заламыванием березы, и сатирой поистине занимается биолог, который столь же бесстрастно мог бы составлять гербарии и накалывать на булавки бабочек. Сквозь все статьи и книги проходит нелюбовь к полемике, хотя Пропп не боялся возражать и самым именитым оппонентам, но возражал так корректно, как никто уже почти и не делал в его время. Крайне сдержанны и написанные им некрологи. Конечно, таким он и был, каким он предстает перед читателями, но не только таким.

В юбилейном выпуске "Живой старины" напечатаны воспоминания людей, долгие годы общавшихся с Проппом. Он запомнился им прекрасным пианистом, тонким ценителем живописи и архитектуры и великолепным фотографом. Он трогательно заботился о своих учениках (пытаясь, среди прочего, "пробить" тех, кого не пускал отдел кадров), всю жизнь помнил о них, был бессребренником и отличался удивительным незлопамятством. Он ценил старомодные, "старорежимные" добродетели: женщины, по его мнению, должны были воспитывать детей, а не сидеть по месткомам; достигнув вершин власти, следовало оставаться доступным и приветливым; исследователей (особенно молодых) надо хвалить за успех, а не подвергать зубодробительной критике за ошибки и недомолвки. Он не любил политики и сторонился людей, слишком усердствовавших в общественной жизни,

вернее в ее крикливом и пустопорожнем советском варианте. Даже бурные диспуты оттепельной поры оставили его равнодушным: он слишком много помнил, и у него постоянно болело сердце. В "Живой старине" помещено множество фотографий, на которых запечатлен Пропп – умное, сосредоточенное, на редкость интеллигентное лицо, а в глазах часто видна не отмеченная многими "веселая искорка", спутник "лукавой улыбки", а смертельная тоска.

Влияние Проппа на русскую и мировую фольклористику и науку о литературе огромно. Он стоит в одном ряду с величайшими учеными золотого века русской филологии. Он разделил их жестокую судьбу и всемирную славу.

Миннеаполис

РОМАН ГУЛЬ
"РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ",
"РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

($15.00 и $18.50 плюс пересылка).

Заказы посылать в редакцию
"Нового Журнала".

БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Русакова. Символизм в русской живописи. М., "Искусство", 1995.

Прекрасно изданная в России книга "Символизм в русской живописи" представляет собой значительный вклад в отечественное искусствоведение. "Из общей картины европейского символизма в течение многих десятилетий выпадало одно звено: совершенно игнорировался символизм в изобразительном искусстве России", — пишет автор книги А. А. Русакова. "Еще в 1960-е годы некоторые исследователи вообще отрицали факт его существования". "Лишь в 1970-е годы этот интереснейший феномен стал предметом серьезного искусствоведческого исследования", — продолжает она. "Одним из первых обратился к нему Дж. Боулт, автор диссертации о "Голубой розе" и ряда статей о некоторых аспектах русского искусства рубежа веков вообще. Резко изменилось в последнее время отношение к русскому символизму и у отечественных искусствоведов". Достоинство книги — богатый фактический материал об интенсивной художественной жизни того периода, о связи изобразительного искусства с символизмом в русской поэзии, с философскими и религиозными устремлениями и, наконец, о сходных веяниях в жизни Западной Европы. Другая заслуга А. А. Русаковой в том, что в книге воспроизведены многочисленные картины западно-европейских символистов, и читателю дается возможность наглядно проследить связь русского искусства с западным, увидеть, сколь велико было заимствование русскими художниками западных образов и стилевых приемов.

Надо отдать должное не только простоте и ясности изложения,

но и дару повествования, которым обладает А. А. Русакова. Книга читается почти как роман, в котором самые различные по характеру и своим судьбам герои соединены в одно многогранное целое.

Сохранив первоначальный пиетет к художественным увлечениям юности, я смотрю на русское искусство уже другими, более "западными", глазами. Не скрою, что, прочтя "Символизм в русской живописи", я усомнился даже в моем праве писать о нем — уж слишком много возражений вызвала у меня эта книга. Если я всё же счел возможным взяться ее рецензировать, то только потому, что она подымает вопрос о фундаментальном различии русского и западного понимания задач искусства. А. А. Русакова считает 1910 год датой кризиса русского символизма. Мне же кажется, что он, в широком его понимании, никогда не умирал. Даже советский соцреализм можно назвать насильственным политическим символизмом, а творчество художников-диссидентов (от 1970-х годов до последнего времени, когда противостояние режиму уже отпало) — разве не попытки осмыслить действительность в философском, политическом и моральном плане? Таких разнородных по характеру творчества художников, как Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Комар и Меламид, Леонид Ламм, Гриша Брускин и Михаил Шемякин можно, думаю, причислить к продолжателям традиций русского символизма. Даже Илья Глазунов вписывается в эту картину, если учесть, что к протосимволистам А. А. Русакова причисляет В. М. Васнецова.

В книге шесть глав: "Протосимволизм (Абрамцево)", "Михаил Врубель", "Мир искусства", "Виктор Борисов-Мусатов", "Голубая роза" и "Кузьма Петров-Водкин". Все, кому дорого отечественное искусство, с благодарностью прочтут о тех страстных, преданных своему делу и своим идеалам творческих натурах, усилиями которых создавалась художественная жизнь предреволюционной России. В главе "Протосимволизм (Абрамцево)" мы читаем: "Атмосфера, царившая в конце семидесятых, в восьмидесятых и девяностых годах в кружке друзей С. И. Мамонтова, собиравшихся то в Москве, в его доме на Садовой-Спасской, то в подмосковном Абрамцеве (купленном Мамонтовыми в 1870 году у семьи видных литераторов-

славянофилов Аксаковых), была пронизана духом напряженных и вместе с тем радостных поисков новых путей, новых решений в самых различных областях художественной культуры — музыке, театре, архитектуре, прикладном искусстве. Однако ведущее положение в этом дружеском сообществе занимали живописцы. В Абрамцевский художественный кружок входили последовательно мастера двух поколений. К старшему принадлежали сверстники Мамонтова, в первую очередь — И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, скульптор М. М. Антокольский. Младшие "мамонтовцы", энергично заявившие о себе во второй половине восьмидесятых годов, — это В. А. Серов (введенный в кружок своим учителем Репиным и нашедший в семье Мамонтова недоставшее ему родственное тепло), К. А. Коровин, И. С. Остроухов, И. И. Левитан, Е. Д. Поленова и сблизившийся с Мамонтовым в конце 1889 года М. А. Врубель. Несколько в стороне стоял (в силу особенностей своего характера) М. В. Нестеров. Под влиянием деятельности кружка (или отдельных его членов) шло становление М. В. Якунчиковой и А. Я. Головина. Именно они, эти младшие "мамонтовцы", внесли, каждый по-своему, основной вклад в формирование русской живописи рубежа веков".

Таково было начало, из которого вырос русский символизм. Но что же такое символизм? Вот как определяет его А. А. Русакова: "Символизм, — пишет она, — на протяжении всей своей истории — направление, восстающее в первую очередь против позитивизма и эмпиризма второй половины XIX века. В его основе лежит идея двойственности мира, цель символизма — в поэзии, музыке, живописи — познать "подлинные сущности" предметов и явлений интуитивным путем. Вместе с тем символизму была в известной мере свойственна жажда разрушения или, скорее, преодоление буржуазных стандартов, отвращение к прозе буржуазного мира". Русакова пишет также о влиянии на символистов творчества А. Иванова, "гениального, хотя и не высказавшегося до конца мастера середины XIX века, с его философией нравственного очищения через искусство". Наконец, она приводит слова немецкого искусст-

воведа Ханса Хофштеттера: "Символизм — не стиль, он пользуется зато многими стилевыми приемами, применяемыми им в зависимости от смысловых потребностей".

Это заявление очень знаменательно и объясняет включение А. А. Русаковой в группу русских символистов таких разных по характеру творчества художников, как, например, Бакст и Добужинский, с одной стороны, и Чурленис, Филонов и даже Шагал — с другой.

Многие художники, которых Русакова хотя бы частично причисляет к символистам, таковыми себя не считали. В каждой главе книги Русакова дает подробный анализ творчества отдельных художников, попутно касаясь поэтов-символистов, указывая на аналогичные явления на Западе и создавая таким образом достаточно полную картину идей и устремлений определенного круга творческих людей у нас и за рубежом. Автор не раздает оценок, стараясь только объяснить замысел художника в данной картине. Лишь изредка встречаются критические замечания, касающиеся главным образом несовместимости натурного, реалистического подхода и символики. "Созданию подлинно символистических произведений Васнецову мешали... твердо усвоенные им принципы реалистической живописи", — говорит Русакова и добавляет: "Недаром сам художник называл картину ("Сирин и Алконост") — "курятником". В ней действительно много крыльев. В основном же преобладают описания, даже в тех случаях, когда картина воспроизведена в книге. "Царевна-Лебедь" — это прекрасная грустная женщина с огромными тревожными глазами и одновременно птица с переливающимися перламутровыми крыльями — вечно ускользающая мечта о счастье, воплощение двойственности, лежащей в основе всего мироощущения и творчества Врубеля".

Возможно, в этом и заключается достоинство книги "Символизм в русской живописи" — не критика, а только объяснения, описания, сравнения. Но взгляд "извне" допускает критическую оценку. Вполне сознавая, что я не имею права "подымать руку" на маститых русских художников, которые, в конце концов, были детьми своего времени, я дерзну высказать ряд соображений. Одно

из них особенно "гложет" меня. Указывая на то, что Васнецов и Нестеров были глубоко верующими людьми, знавшими русскую икону и сами создававшими религиозную живопись, Русакова никак не оценивает художественный результат их работы в этой области. То, что они не достигают уровня старой иконописи, нельзя ставить им в упрек. Но за сладость, умильность и красивость их упрекнуть можно. Если личико девушки, то миловидное и бледное, с большими глазами, "зеркалами души". Если шейка — то тоненькая, и т. д. Интересно, что Александр Блок, большой почитатель живописи Нестерова, находившийся одно время даже под сильным влиянием его картин, отзывается о "Димитрии, царевиче убиенном" так: "...Царевич, возникший легким видением на весенней травке, возле малых березок: какой-то не окровавленный Димитрий, а маленький царевич Митя, явившийся мужичкам, с легким сердцем зачинающим весеннюю пашню". Как далеко это от настоящей религиозной живописи! Спустимся на несколько ступеней ниже по лестнице таланта — и мы получим наши рождественские и пасхальные открытки. Это-то и есть страшный рикошет современного религиозного символизма. Мы — не Византия или ранняя готика, и именно тот буржуазный дух, против которого восставал символизм, оказался в данном случае победителем. Ахиллесова пята религиозного символизма на рубеже веков, если смотреть на него сейчас, в конце 20-го столетия, может быть выражена знаменитой фразой Наполеона: "От великого до смешного всего один шаг". В данном случае — от возвышенного до сусального, от духовного — до претенциозного.

Другой пункт, вызывающий возражение это размер заимствования русскими художниками западных идей. Отечественное искусствоведение склонно преуменьшать его. А. А. Русакова возражает Морису Дени, который охарактеризовал Врубеля, как "немножко от Густава Моро под влиянием Беклина". Конечно, Врубель — другой, более темпераментный, стихийный. Но есть доля правды в словах Мориса Дени. Я бы добавил, что у Врубеля много от немцев, от Франца фон Штука с его "Люцифером" и "Грехом". Русакова склонна видеть в мозаичной технике Врубеля

нечто близкое к Сезанну. Но последний стремился привести органические формы к простейшим геометрическим фигурам путем цвета (дав толчок кубизму), в то время как Врубель искал живописной убедительности. Разница тут огромная. В книге можно найти и другие, с моей точки зрения весьма спорные, утверждения. Например, очень высокое мнение о творчестве Виктора Борисова-Мусатова. Кстати, интересно было прочесть, что и Андрэ Жид, видевший полотна Борисова-Мусатова в Париже, сравнивал их с работами Гогена. Мнение явно ошибочное. Возможно, эта похвала русскому художнику и позволила Русаковой утверждать, что "Особенности русского искусства, до начала нашего века отставшего от французского на срок, исчисляемый художественной деятельностью одного поколения... затем в крайне сжатое, как бы спрессованное время *нагнавшего* (курсив мой. — *С. Г.*) Запад..." и т. д. Это вечное русское "нагнать","перегнать"! Когда мы перестанем смотреть на культуру как на гонки?

Но перейду к тому, что мне кажется фундаментальным различием между русским и западным пониманием задач искусства. Содержание, смысл — духовный, нравственный, социально-политический — всегда были для русских художников, вне зависимости от их направлений, основой их творчества. Символисты в этом смысле типично русские художники. На Западе это гораздо сложнее. Там существовала в то время совершенно иная плеяда художников, создавшая живописную традицию, бóльшую, чем западные символисты, родословную которых Русакова ведет от Уильяма Блейка и Иоганна Генриха Фюссли к Обри Бёрдсли, Одилону Редону, Густаву Моро, Джеймсу Энсору и Арнольду Бёклину (перечень, конечно, далеко не полный). Плеяда эта — Делакруа, Курбэ, Дега, Эдуард Манэ, Клод Монэ, импрессионисты и фовисты во главе с Дерэном и Матиссом. Они-то и создали современную западно-европейскую живописную культуру, которой питались и все русские живописцы, включая лучших из символистов. Мы часто называем современную западную живопись более формалистической, чем русскую, и это верно. Форма без содержания нам чужда. Но с западной точки зрения, содержание

рождается из формы. Конечно, это уже другая, очень большая и для многих спорная тема и вдаваться в нее здесь не следует.

Вернусь снова к "Символизму в русской живописи" и закончу рецензию благодарностью А. А. Русаковой за ценную книгу, которая заставляет думать, соглашаться, протестовать, но и наполняет сердце теплом и уважением ко всем деятелям искусства нашего прекрасного "Серебряного века".

Сергей Голлербах

Алэн Герра. Прогулки по русской Ницце. Перевод с франц. Ренэ Герра. Изд. "Альбатрос" и изд. "Пан", Париж – Москва, 1995.

> "Ницца — рай, солнце, как масло, ложится на всем, мотыльки, мухи в огромном количестве и воздух летний. Спокойствие совершенное".
>
> Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому, 1843 г. Ницца

> "О, этот Юг, о, эта Ницца!"
>
> Ф. Тютчев, 1864 г. Ницца

> "Здесь тепло, даже по вечерам не бывает похоже на осень. Море ласково, трогательно..."
>
> А. П. Чехов — А. С. Суворину, 1898 г. Ницца

Да, они все побывали там — Гоголь, Тютчев, Чехов и множество других русских, писателей и поэтов, аристократов и членов царской семьи, художников и революционеров. Если можно говорить о "русском Париже" или "русском Нью-Йорке", то тем более можно, даже должно, говорить о "русской Ницце". В 1992 году в краеведческом музее Ниццы "Эспас Жан Жилетта" устроена была усилиями ее куратора Алэна Герра выставка "150 лет русского

присутствия на Лазурном берегу" (так называют часто французскую Ривьеру). В прошлом году Алэн Герра выпустил прекрасный небольшой альбом "Прогулки по русской Ницце", который может служить хорошим путеводителем по городу. Действительно русские стали посещать, а потом и селиться в Ницце еще в первой половине 19-го века, когда город принадлежал Королевству Сардиния (присоединение к Франции в результате плебисцита произошло в 1860 году).

Что влекло их в этот край? В первую очередь климат, а также язык — ведь русские аристократы (именно они и оказались первыми русскими поселенцами Ниццы) прекрасно говорили по-французски и любили средиземноморскую культуру. Как ни хороши Крым и Кавказ, они — не Европа, и для всех тех, кто тянулся на Запад, Ницца стала своего рода "зимней столицей". "Благорасположение императора Наполеона III, а вслед за тем и первых президентов Французской Республики позволило Ницце занять единственное в своем роде и особенно завидное положение во времена, которые принято называть золотым веком "аристократического туризма". Этим блеском Ницца в немалой степени обязана российской императорской фамилии", — пишет Алэн Герра.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна, Жозефина (побочная дочь императора Николая I), цесаревич Николай Александрович (сын Александра II), княгиня Юрьевская, урожденная княжна Долгорукая (вдова царя Александра II), великий князь Константин Николаевич, великая княжна Мария Николаевна, графиня Апраксина, князь Вяземский, барон фон Дервис, князь Лобанов-Ростовский — вот далеко не полный список лиц царствующего дома и русской аристократии, живших или бывавших в Ницце. На противоположном конце этого списка следует упомянуть наших революционеров: Александра Герцена, опубликовавшего в Ницце одно из самых известных своих произведений "Развитие революционных идей в России", и Владимира Ульянова (Ленина), жившего в Ницце в 1909 году. О писателях и поэтах уже было кратко сказано, но после революции к ним прибавилась еще русская эмигрантская интеллигенция, тоже оставившая глубокий след в истории города. Но о них несколько позже.

"Нет, наверное, нигде в мире такого количества неодушевленных предметов с "русской душой", как на Лазурном Берегу, в особенности в Ницце", — пишет Алэн Герра. Эти реликвии — свидетельства русского присутствия, напоминающие о русской колонии, укоренившейся на Ривьере, хотя и позднее, нежели англичане, но разместившейся тут с гораздо большим размахом и, главное, остававшейся в этих местах гораздо дольше". Там, где поселяются русские, в первую очередь строится церковь. Первую из них стали строить еще до присоединения Ниццы к Франции. Вот как описывает Алэн Герра историю ее постройки: "Русская колония Ниццы была достаточно многочисленной для того, чтобы в 1857 году организовать сбор средств на возведение православного храма. Этот проект активно поддержала российская императрица, которая во время первого своего посещения Ниццы вынуждена была довольствоваться для богослужений временной часовней, устроенной на террасе виллы в квартале Мраморного Креста... Спустя месяц с начала сбора денег, 14-го декабря 1858-го года, был заложен первый камень небольшой церкви в новом квартале Лоншан, на участке, приобретение которого императрица поручила графу Стакельбергу, российскому послу в Турине. Для того, чтобы привести замысел в исполнение, потребовалось преодолеть массу административных препон: графу Стакельбергу пришлось пускаться на всевозможные ухищрения, чтобы добыть все необходимые подписи и добиться отмены запрета на строительство на этом участке. Чтобы избежать неудовольствия местных религиозных властей, которые были отнюдь не в восторге от проекта возведения на земле Сардинии храма иной конфессии, чей культ был явно чужд римско-католическому, решено было с самого начала отвести под богослужения второй этаж здания, проект строительства которого был поручен архитектору российского императорского двора Сергею Кондякову.

Руководивший постройкой местный архитектор Баррайа существенно изменил первоначальный проект. Чтобы в храме было больше света и воздуха, Баррайа решил увенчать его куполом. Иконостас и вся церковная утварь были подарены императрицей

Александрой Федоровной. В этом же году на первом этаже поэт и писатель князь Петр Вяземский открыл библиотеку, вскоре ставшую центром встреч местной русской интеллигенции и очагом русской культуры в Ницце. Так продолжалось и после Первой мировой войны и революции в России, когда на юге Франции оказалось много русских эмигрантов.

Однако, главная достопримечательность "русской Ниццы" — это собор св. Николая Мир-Ликийского, построенный в московско-ярославском стиле 17-го века по проекту М. Т. Преображенского и освященный в 1912 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых. Находится собор на авеню Николая II. (Есть в Ницце и бульвар Цесаревича и даже бульвар Сталинград!) Алэн Герра отмечает, что цветовая гамма собора — сине-зеленые купола, белый и розово-охристый цвета в окраске стен — очень гармонично сочетаются со всем цветовым обликом Ниццы и окружающей ее природы. Неудивительно, что собор привлекает массу туристов. Кроме того, в парке собора находится часовня в память почившего наследника цесаревича Николая Александровича.

Не менее знамениты в Ницце и русские дворцы и виллы. Во дворце княгини Елизаветы Кочубей находится сейчас музей изящных искусств имени Жюля Шере, в котором собрано много полотен рано умершей русской художницы Марии Башкирцевой (1858—1884). Она нередко бывала в Ницце. Следует отметить также Шато д'Олльер, выстроенный архитектором Детлоффом для князя Лобанова-Ростовского и в особенности Шато Вальроз, построенный в 1867-70 гг. русскими архитекторами Макаровым и Гриммом для русско-балтийского барона Павла Георгиевича фон Дервис. Особенно хорош был окружавший этот замок парк, созданный трудами садовода из России Владимира Фабриканта и его местного коллеги Жозефа Шарля. "Буйные заросли розовых кустов, высота которых порой доходила до десяти метров, не были главными сюрпризами для редких посетителей, которые допускались в "розовый дол", т. е. "Валроз", — пишет Алэн Герра. Другие сюрпризы состояли из многочисленных фонтанов, озер, искусственных скал и гротов. Сам владелец этих богатств был страстным мелома-

ном и тонким знатоком музыки. При замке он построил театр на 400 мест с одной единственной ложей для самого себя, куда он заходил через зимний сад, чтобы не смешиваться с толпой приглашенных. Сцена театра пригодна была для оперных постановок, и 5-го января 1879-го года там состоялась премьера оперы М. И. Глинки "Жизнь за царя". Вообще музыкальная и светская жизнь в Шато Вальроз отличалась особым блеском. Но концерты давались не только в светских, но и в благотворительных целях, о чем хозяева Шато Вальроз заботились с момента его основания. Деньги шли в пользу неимущих — как русских, так и уроженцев Ниццы. Распределением сумм занимался российский консул и православное духовенство Ниццы, с одной стороны, и местный муниципалитет, в соответствии с инструкциями, данными жертвователями, с другой. Надо отметить еще одну интересную деталь: в роскошном парке Шато Вальроз прямо напротив замка красуется... изба, самая настоящая русская изба из киевских владений барона фон Дервиса, которую тот приказал разобрать по бревнышку, переправить морским путем из Одессы в Ниццу и там вновь собрать на месте.

В альбоме "Прогулки по русской Ницце" приведен список других достопримечательностей этого города. Помимо упомянутых выше церквей, дворцов и вилл мы находим, например, отель-пансион "Оазис" на улице Гуно, где останавливались Антон Чехов и Владимир Ленин; музей Массена, где можно найти предметы, принадлежавшие Гоголю; стела Марии Башкирцевой — на месте виллы Романовых, где она жила; отель Негреско, где останавливались русские великие князья перед Первой мировой войной. Там, под застекленной крышей, можно увидеть большую люстру баккара, второй экземпляр которой находится в Кремле. В отеле Бориваж останавливался Антон Чехов. Недалеко от площади Мраморного Креста жил Гоголь. На кладбище дю Шато находится могила и статуя Герцена. Наконец, в Ницце выходило несколько газет на русском языке – "Голос Ривьеры" и "Русско-французский Вестник". Всё это относится, однако, к предреволюционному периоду русского пребывания в Ницце. "После всех переломов и потрясений современной истории свидетелями этой ушедшей

жизни русской Ниццы оказались изгнанники, пришедшие после 1917-го года в поисках прибежища", — читаем мы в альбоме Алэна Герра. "...После большевистской революции Ницца оставалась прибежищем для творческой интеллигенции. Действительно, на прекрасном русском кладбище в Кокаде, расположенном над морем, покоятся известные российские художники и литераторы первой эмиграции, жившие в Ницце. При этом как не вспомнить художников Георгия Лукомского, Филиппа Малявина и Павла Мансурова, ретроспективная выставка которого открылась летом 1995-го года в Музее современного искусства... Думаешь также и о писателе Марке Алданове, мастере исторического романа, о Георгии Адамовиче, поэте и признанном литературном критике, о Леониде Сабанееве, известном музыковеде, собиравшихся в "Кафе де Франс" на бульваре Гамбетта, где изредка встречали Ивана Бунина, первого русского нобелевского лауреата по литературе, приезжавшего время от времени из Грасса, где он провел долгие годы изгнания."

Алэн Герра упоминает еще многих русских, имена которых мало или совсем неизвестны в России. Например, художник-эмигрант Евгений Клементьев расписал в Ницце церковь св. Жанны д'Арк. Молодая русская эмигрантка Лидия Делекторская приглашена была Анри Матиссом в качестве компаньонки для его жены, но спустя какое-то время стала ему позировать, порой одна, порой вместе с другой русской эмигранткой Еленой Голицыной. Вскоре Лидия стала не только любимой моделью художника, но и бесценной сотрудницей и конфиданткой последнего периода его жизни в Ницце. "Многие эмигранты, которые были архитекторами, и их сыновья, продолжавшие династию, полностью вписались в жизнь Ниццы", — говорит Алэн Герра. Особенно он отмечает семьи Свечиных и Диканских. Сын генерала Белой Армии Андрей Свечин прибыл в Ниццу в 1926-м году. Ему было 14 лет. Учился он в Высшей школе декоративного искусства в Ницце (класс Клемана Гоенеша) и именно там влюбился в провансальскую архитектуру, которая и вдохновляла его всю его жизнь. Наиболее известное здание, им созданное, — музей Фернана Леже в Биоте (около Ниццы).

Постройка заказана была Надей Ходасевич, русской художницей и ученицей, а затем супругой этого художника. Однако Свечин не терял интереса и к архитектуре своей родины, где в особенности его привлекало деревянное зодчество 16 -17 веков. Реставрация собора св. Николая в 1985 году была произведена под его руководством. Построил он и дом для Марка Шагала в Сэн Поль де Ванс. Сам Марк Шагал, кстати, никогда не жил в Ницце, но оставил городу прекрасный музей "Библейское послание" со своими религиозными полотнами, а также большое мозаичное панно "Послание Улисса" на факультете права и экономических наук местного университета. "По всем этим причинам можно понять, почему Ницца после краха коммунизма превращается в оживленный центр паломничества новых русских туристов", — заканчивает свою книгу-альбом Алэн Герра.

И тут следует сказать несколько слов о нем и о его брате Ренэ. Братья Герра — коренные жители Лазурного Берега. Алэн Герра, уроженец Ниццы, первый президент Клуба филокартистов Ниццы и Приморских Альп, собрал ценнейшую коллекцию старинных открыток с видами родного города. Часть ее была опубликована в книге "Прошлое Ниццы в открытках", опубликованной в 1981 году и получившей ряд призов. Будучи хранителем и куратором краеведческого музея Эспас Жан Жилет, Алэн Герра организовал вместе со своим братом Ренэ, как было уже сказано, выставку "150 лет русского присутствия на Лазурном Берегу". Он — член правления Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции и возглавляет также Франко-Русский Дом в Бер-лез-Альп около Ниццы — дом творчества для русских художников, поэтов и писателей. Его брат Ренэ Герра — президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции, проживает в Париже. Он — профессор-славист, коллекционер, издатель и автор книг о Борисе Зайцеве и Сергее Шаршуне. Часть его коллекции работ русских художников-эмигрантов, проживавших во Франции с 1920 по 1970-й год, выставлена была в 1995-м году в Третьяковской галерее в Москве под названием "Они унесли с собой Россию" (в

коллекции — многочисленные работы Анненкова, Бенуа, Добужинского, Малявина, Сомова, Чехонина и многих других). После показа в Москве коллекция выставлялась в парижском Сенате и в Музее современного искусства в Ницце, где лето 1995-го года названо было "Русским летом" ввиду целого ряда выставок русского искусства: русский авангард, Павел Мансуров, Мария Башкирцева, русский лубок, современные русские примитивисты и, наконец, симпозиум по случаю 125-летия со дня рождения Ивана Бунина. Такова "русская Ницца", прогулки по которой будет совершать не одно еще поколение русских людей в немалой степени благодаря деятельности больших любителей и ценителей русской культуры братьев Ренэ и Алэна Герра.

Сергей Голлербах, Нью-Йорк

"Вернуться в Россию — стихами... 200 поэтов эмиграции". Составитель, автор предисловия, комментариев и биографических сведений Вадим Крейд. Изд. "Республика", Москва, 1995, 688 сс.

"После оскорблений, которых эмигрантская литература вдоволь наслушалась, после леденящего равнодушия, которым была окружена, после бесчисленных окриков и поучений на тему о том, каким путем надлежит ей идти, хочется, наконец, сказать: спасибо, многое было сделано и когда-нибудь Россия признает это!" — писал Г. Адамович более сорока лет назад ("Одиночество и свобода", 1954, с. 14). И его предсказание сбылось.

"Вернуться в Россию — стихами... 200 поэтов эмиграции" — таково название новой антологии, в которую включены произведения поэтов первой и второй волн эмиграции. Последняя строка стихотворения "В ветвях олеандровых трель соловья" Г. Иванова послужила названием этой книги:

Кончаю земное хождение по мукам,
Хождение по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.
(с. 231)

Составитель антологии Вадим Крейд, специалист по творчеству Г. Иванова, автор нескольких книг о Серебряном веке, уже знаком нам по опубликованной в 1991 г. антологии "Ковчег". Если в "Ковчег" вошли произведения только девятнадцати известных поэтов первой эмиграции, то в этой антологии объединены двести известных и доселе малоизвестных поэтов обеих эмиграций. На шестистах страницах этого объемистого тома можно встретить представителей разных поэтических школ и направлений, разных возрастов, религиозных вероисповеданий и эстетических вкусов. Поэты здесь представлены в алфавитном порядке, чтобы не разделять их на "великих" и "малых сих", на старших и младших", — как пишет В. Крейд в своем предисловии.

"О духовном опыте эмигрантской поэзии" — так названо предисловие. В нем дается анализ творчества некоторых поэтов, проводится экскурс в историю творческой эмиграции. Отмечает автор предисловия и географическое разнообразие поэтической диаспоры: поначалу Европа и Дальний Восток дали пристанище "первым", а уж затем они рассеялись по всему свету. "Вторые" же, в большинстве своем, нашли приют в Европе и после войны — в Америке.

Обобщая творчество поэтов и первой, и второй волн эмиграции, В. Крейд утверждает, что и той, и другой свойственна "двойная ностальгия: по родине покинутой и по отчизне духовной". Да, действительно, родина у всех одна, а "отчизны духовные" разные. Духовный "багаж" поэтов первой эмиграции велик. Как сказано в предисловии, "вывезены" и русские классические (поэтические и философские) традиции, и созданные еще в России новые направления. На чужбине образовалась большая интеллектуальная семья поэтов, прозаиков, философов, художников, поставивших

перед собой задачу воссоздать Россию и ее культуру за рубежом. Так что можно считать, что, покинув родину, "отчизну духовную" они вывезли с собой. Именно поэтому они провозгласили себя "посланниками", хранителями и продолжателями традиций.

Поэты второй эмиграции появились на Западе "налегке" — в закрытом обществе им было уже не ведомо, ни что такое творческая свобода, ни что такое Запад вообще. Целый пласт русской литературы, очутившийся за рубежом в 20-е годы, был им не доступен, как, впрочем, и многое из западной культуры. Однако бегство в неизвестность, в одиночество, иногда в нищету было осознанным актом. Душевные переживания, невзгоды житейские, вынужденные странствия породили невиданный до сих пор духовный опыт у большинства представленных в антологии поэтов. И стихи, и биографии поэтов, представленные в антологии, подтверждают это.

Огромная и кропотливая работа проделана В. Крейдом. Книга является ценным справочником, в котором можно найти не только подробные биографические сведения, но и указания, откуда перепечатаны стихи, приведенные в антологии.

Заглянем в этот раздел. Вот одна из поразительных судеб поэта-эмигранта:

Перелешин Валерий Францевич (наст. фам. Салатко-Петрище, 20 июля 1913, Иркутск — 7 ноября 1992, Бразилия). Узнаём, что, родившись в Сибири, поэт перебрался в Харбин в 1920 г., начал печататься, учился на юридическом факультете, а затем в семинарии св. Владимира. Был монахом в харбинском монастыре. С 1939 г. до 1943 г. жил в Пекине. В 1950 г. пытался эмигрировать в США. С 1953 г. жил в Бразилии. Работал в ювелирной мастерской, на мебельной фабрике, преподавал английский в школе Берлица, русский — в морском училище... И писал стихи. Издано 13 поэтических сборников, большая поэма, мемуары, переводы с английского, китайского и португальского на русский и с русского на португальский.

Слияние с жизнью и культурой чужой страны (да не одной) вылилось в удивительное явление, свойственное не каждому рус-

скому поэту-эмигранту — проникновение родной культуры в чужую:

Я сердца на дольки, на ломтики не разделю,
Россия, Россия, отчизна моя золотая!
Все страны вселенной я сердцем широким люблю,
Но только, Россия, одну тебя больше Китая.
(с. 371)

В поэзии Перелешина Россия, Китай, Бразилия сплетаются в затейливый орнамент. "Три родины" — так и называется один из его сборников. Впрочем, Перелешин — довольно редкое исключение. Для большинства поэтов первой волны Россия навсегда осталась единственной родиной. Вначале многие из них жили в ожидании возвращения: "... Эх, если бы узкоколейка/ Шла из Парижа в Елец", — мечтает Дон Аминадо (с. 37). К. Оленин вторит ему:

Я готов целовать те ступени,
По которым я прежде ходил...
О, верните мне что-нибудь... тени...
Ну, хоть призрак того, чем я жил...
(с. 361)

В этих строках еще можно уловить нотки надежды. Но гибнет Россия, гибнут оставшиеся в ней поэты, бедствуют друзья и родные. "Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом все вренуть в России к тому состоянию, о котором многие в эмиграции так горько и бескорыстно мечтают?" — размышляет Г. Адамович ("Комментарии", 1967, с. 27). Да, исчезло, — отвечает на этот вопрос Н. Белавина:

Нет, я не вернусь умирать домой,
Туда, где увидела свет.
Там все незнакомо. И город чужой,
И близких давно в нем нет.
(с. 66)

Вероятно, многих, очень многих поэтов-эмигрантов читатель может обвинить в пессимистическом характере их творчества, в частом обращении к теме смерти. Трагически звучат следующие строчки В. Ходасевича, написанные в 1928 году и обращенные к прошлому:

Нет у меня для вас ни слова,
Ни звука в сердце нет,
Виденья бедного былого,
Друзья погибших лет!

Быть может, умер я, быть может, —
Заброшен в новый век,
А тот, который с вами прожит,
Был только волн разбег.
(с. 507)

"Родина, чужбина, одиночество — так определил тематику русского Зарубежья Ю. Иваск в 1953 г. Чувство родины свойственно всякому человеку, а чувство поэта, потерявшего ее, обострены до предела. В изгнании, по другую сторону железного занавеса, эта тема звучит искреннее, трагичнее, преломляясь через опыт неустроенности, бездомности, одиночества скитальцев:

О, я не меньше чувствую изгнание,
Бездействием не меньше тягощусь,
Храню надежды и воспоминания,
Коплю в душе раскаянье и грусть.
(Ю. Мандельштам, с. 318)

Как жаждет чуда в каменном чужом городе с аккуратно подстриженной травой И. Легкая: "Вот проведу рукой по глазам и проснусь /На дне моей жизни в детстве в саду" (с. 292). В. Набоков в неоднократно повторяющемся кошмаре видит похороненную Россию:

"Читай, читай!" — кричит мне кровь моя:
Р, О, С... нет, я букв не различаю.
(с. 336)

Стихи поэтов второй эмиграции не только об отчизне, детстве, любви и одиночестве. С появлением ее на Западе ворвались новые темы: Вторая мировая война — не как Великая Отечественная, а как исчадие Зла, Насилия, Абсурда. Нашел отражение и советский быт 30-х, лексика пополнилась выражениями, не встречавшимися до сих пор в русском Зарубежье: "Я вырвался из плена..." (Г. Глинка, с. 166), "Кто за смертную казнь врагам народа, / Прошу поднять руки" (Н. Моршен, с. 331), "Районной газетой покрыли край стола..." (О. Анстей, с. 46), "Мой век! Ты —школьник,/ И твой диплом/ Добыл ты в штольнях / Тупым кайлом" (И. Елагин, с. 213).

Можно поспорить о степени одаренности некоторых представленных в антологии поэтов. Несомненно, что такие корифеи первой эмиграции, как И. Бунин, Г. Иванов, Вяч. Иванов, З. Гиппиус, М. Цветаева, К. Бальмонт, В. Ходасевич (ведь перекочевал на Запад почти весь Серебряный век), затмевают поэтов второй эмиграции, ряды которых не столь многочисленны. Однако новые круги ада, сквозь которые пришлось пройти "вторым" — насильственный угон в Германию или бегство, плен, бараки остовских рабочих и бараки лагерей Ди-Пи, не освободили и их от ностальгических мотивов в поэзии:

Где-то Старого Света оставленный край:
Дом. Каштан. Потемневшие стекла аптеки.
Сколько жизни моей там осталось навеки —
Если хочешь, попробуй, поди, подсчитай.
(И. Елагин, с. 213)

В отличие от "первых" "вторые" твердо осознавали, что пути назад нет. На родине их снова ждали лагеря, а то и расстрел как врагов народа, предателей:

В Петербурге, давным-давно...
Для чего ты о прежнем бредишь?
Все равно туда не поедешь,
А куда? Не всё ли равно?
(Ю. Трубецкой, с. 481)

Подавляющее большинство "вторых" начало публиковаться уже после того, как оказалось за пределами родины. Как правило, это были еще молодые люди, некоторые совсем подростки (О. Ильинский, В. Синкевич, Е. Димер), хлебнувшие лиха в отечестве в период войны и очутившиеся волей судьбы на чужбине.

Воспоминания детства вызывают у В. Синкевич чувство тревоги, ассоциируются с ужасами войны:

Когда я пряталась в погребе и бежали чужие солдаты,
предвещая путь на Запад, откуда не возвращаются
поезда...

Вспоминается многое при свете лампы, но
забываются лица и даты
И забывается, с какими словами рифмовалась
настоящая беда.
(с. 428)

Синоним беды для всех "вторых" — война. И кто знает, сколько будущих поэтов погибло в невообразимой мясорубке Второй мировой!

Двести поэтов — двести человеческих судеб, у одних — относительно благополучных, у других — трагических. О каждом из них можно написать роман — ни одной банальной биографии. И каждый из них располагает к размышлению о сущности бытия, любви и смерти.

Почти все двести оставили Россию, когда там постановили писать "Бог" с маленькой буквы, и наконец вернулись к ней, когда вернулся "Бог" с заглавной буквы. Вернулись, за исключением еди-

ниц, не физически, а только стихами. (Из двухсот осталось в живых только семнадцать!)

Хочется закончить обзор строками Г. Адамовича, в которых звучит благодарность Творцу за судьбу, выпавшую на долю эмигранта:

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь "влачим существованье".
Нет доли сладостней — всё потерять.

Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,
Без сил, без денег, без любви,
В Париже...

Л. Ратникова, Филадельфия

"Встречи" Альманах. Ежегодник. Филадельфия, 1995. Под ред. В. Синкевич.

Вышел в свет поэтический сборник "Встречи" за 1995 год. Выход сборника стал настолько регулярным событием, что невыход его в очередном году просто удивил бы нас несказанно. И удивил бы тем более, что сборник становится "краше" год от года. Последний выпуск особенно хорош: во-первых, гораздо толще обычного, во-вторых, в чисто полиграфическом отношении отличается от всех предыдущих: прекрасные цветные вклейки, две из них подписаны самими художниками. Здесь и эстамп Виктора Лазухина, посвященный пятидесятилетию Великой отечественной войны. Сколько раз я открывал книжку на этом эстампе и любовался им! Прекрасна, как всегда, графика, рисунки; одним словом, "Встречи"

оказались не только долгоживущим изданием, но еще и *расцветающим*.

На этот раз в чисто литературном отношении сборник намного выше предыдущих. Конечно, и на этот раз есть звезды "первой величины", есть звезды поменьше, но нет откровенной графомании, которая так вредила предыдущим сборникам. Я это объясняю несколькими причинами: во-первых, растет слава издания, и у Валентины Синкевич теперь есть выбор, а, во-вторых, — растет слава издания, и Валентина Синкевич не хочет, чтобы у этой славы был пусть небольшой, но неприятный привкус. Она стала жестче в отборе, решительней отказывает авторам, которые не утруждают себя более тщательной отделкой стихов.

Сборник открывается стихами, посвященными Михаилу Крепсу, который так рано от нас ушел. Стихи не очень сильные, но если это стихи, которые поэт предложил сборнику, то в их посмертном выходе есть свой глубокий и трогательный момент. Недавно был выпущен посмертный сборник поэта ("Космос, Петербург, плечо") и там напечатано *очень много* стихов необыкновенно сильных. Нет никакого сомнения, что Михаил Крепс был большим поэтом, и смерть унесла его из жизни в момент, когда его талант достиг расцвета. Меня несколько поразило стихотворение Игоря Чиннова, посвященное М. Крепсу. Убежден, что Чиннов посвятил его *живому* поэту, а не мертвому. Смысл стихотворения в том, что вот сломал я плечо, как это неприятно, но теперь все хорошо, вот я гуляю и дай Бог, чтобы и после смерти мне тут погулять. Стихотворение блестящее, но в контексте пережитой нами потери несколько странное.

Я пишу о Михаиле Крепсе, а в голове неотвратимая мысль о другой потере, о другой смерти. Почему смерть поэта переживается так остро, так болезненно? Мы с готовностью открываем ему потаенные наши двери, впускаем в свой дом, потому что мы знаем: кто не открывает свою душу до дна, тот не есть поэт... Мы просто взаимны в откровенности.

Каждый раз, когда я приступаю к рецензии на "Встречи", мне хочется сказать о *каждом* поэте, о *каждом*, кто подарил нам, чита-

телям, свои стихи. И каждый раз это оказывается невозможным. На этот раз я попробую обойтись без цитат, что представляется мне потерей для духа повествования, но во мне живет чисто ответная уважительная реакция на исключительную полноту и *ровную глубину* сборника.

Очень хороши стихи Олега Ильинского, в них сохранилась присущая ему глубина, быстрая и легкая компоновка фразы, прибавилось кое-что новое: он отвлекся от чисто городского пейзажа, от описательности, расширил горизонт видимого и чувствуемого.

Умна и интересна Ина Близнецова, но она очень суха. Читаешь ее стихи с таким напряженным вниманием, будто это статья. У иного поэта всё утопает в слезах, а Ине Близнецовой так и хочется подсказать: ну, поплачь же, расслабься, не всё же быть такой умной.

Бахыт Кенжеев — король этого номера. Еще пять лет назад И. Чиннов хвалил его, говорил, что это восходящая звезда, а я не очень Чиннову верил. В этом сборнике Кенжеев поразителен. Его стихи пластичны, они выгибаются, переливаются, они музыкальны, они именно *стихи*, а не разговор в форме стихотворения. Он диалектичен, что вообще является самой большой трудностью поэзии, потому что это-то *и есть* поэзия. Дал слово, что не буду цитировать, но как хочется! Понимаете, смотрит "сквозь стакан", а тут у него и океан, и изумруд, и жизни труд, который и мутен, и безотраден, и светел. Вот этот изоморфизм самая-то тайна поэзии и есть. Мне скажут: не изоморфизм это, а самое обыкновенное прославление "стакана". Если бы "обыкновенное", мы бы пропустили мимо ушей, а тут *необыкновенное*, тут лирика, тут мысль...

Владимир Френкель очень жив, но как-то холоден. Вполне профессионален, читать его легко. Н-но... такое же чувство, какое испытываешь, читая Регину Дериеву или Галину Семенченко.

В своем репертуаре Вадим Крейд — небольшие пейзажные зарисовки, но на этот раз они внутренне как-то масштабнее, в них больше воздуха, и поэтому интересные поэтические находки, игра со словом не то что заметнее, но воспринимается как-то с бóльшей

благодарностью. Мне очень жаль, что Крейд не обращается больше к теме искусства. Сам он поэт несколько рационалистический и у него отлично получились бы стихи о произведениях искусства. Этот опыт у него есть и довольно успешный.

Михаил Бриф очень "советский" поэт. Я не хочу его обидеть ни в коем случае, это похвала — он мне очень напоминает "хороших" шестидесятников — романтичных, чистых, таких уже устарелых!

Что сказать про Лию Владимирову? Это мастер! Всё тонко, точно, в конце обязательно синтезирующая мысль. Почему-то всякий раз, когда я читаю ее, мне представляется, что вокруг нее обязательно должны собираться молодые поэты. Она мне кажется поэтом-учителем, хотя ничего такого специально "учительского" в ее поэзии вроде бы и нет. Может быть, через ее строки сквозит собранная, волевая натура, которую невольно уважаешь за ее строгость и силу. Вот вокруг Рины Левинзон я охотнее вижу легких приятелей и друзей, которые сегодня здесь, а завтра там... И ей все равно! Про Рину Левинзон ничего не говорю. Мне Синкевич однажды сказала: мы уже знаем, чего от вас ждать — будет хвалить Левинзон и ругать Богачинскую. Богачинской на этот раз нет, а хвалить Левинзон в одностороннем порядке считаю несправедливым.

Евгений Любин сначала кажется странным; от его космических фантазий веет телепередачами. И вдруг ловишь себя на том, что синтез твоего дома и космоса им уловлен точно, он захватывает; но воспоминания о первом впечатлении стереть до конца ему не удается. С ним надо познакомиться поближе; охотно верю, что разочарует с первой строки, но может случиться и нечто прямо сему противоположное.

Интересен Марк Гордон; он умен и наблюдателен, но ему не хватает вдохновенности, в которую умная мысль должна расплавиться, должна слиться с событием, чтобы быть не выводом *из* такового, а *выводом такового*, что очень трудно. В этом отношении поразительна Ирина Машинская — тут вам и ум, и острота, и блестящая форма, то есть все очень легко, изящно, хотя и дьявольски мудрено. Не очень понятно первое стихотворение, а читается взахлеб, зачем нужно было делать сноску к "ливанскому кедру" в

стихотворении "TV", тоже непонятно, но настоящая поэзия потому и настоящая, что непонятность в ней воспринимаешь как достоинство, а не недостаток. К хорошему стихотворению боишься подступаться со своей критикой, даже когда и есть за что "критикнуть". Просьба к издателю: в следующий раз побольше Ирины Машинской!

Очень хороша Евгения Ошкуркова. Первое стихотворение написано "под Бродского", но я уже давно понял, что Бродский тут ни при чем. Великая вещь — открыть новую ноту, слава тому, кто первым взял сверхверхнее "до", но это не значит, что после него эту ноту может взять каждый, кто открывает рот не с целью зевнуть. Следующие два стихотворения какие-то суицидальные, но зато какие поэтичные!

Очень меня удивил Давид Шраер-Петров. И раньше читал его в этом сборнике, слышал, как он читал свои стихи. И на этот раз уже состроил скептическую мину и вдруг... очень нежная, глубокая и, главное, *красивая* лирика. Я за красивую поэзию, я люблю, когда слова вылетают из авторского горла песней, поэт — певец, а не версификатор. Ум поэта — в умении заразить чувством.

Тонка и поразительна Татьяна Царькова. Поначалу кажется суховатой, то есть первое стихотворение — гекзаметр, пленяет с самого начала. Но, думаешь, культурный человек, умело использовать столь благодатную форму, в конце концов, не очень трудно, такая форма сама может работать за поэта. Вот причина, по которой остальные два стихотворения я как-то проглядел. А потом вернулся к ним, и они мне показались удивительно тонкими, афористичными.

Нора Файнберг замечательна, но так и хочется сказать: и что бы вам не написать что-нибудь свое, так хорошо у вас и про Одиссея, и про Медею, что вот теперь... про себя бы! А так, в общем-то, это мы уже где-то читали... Но повторяю, это крепкая, "нормальная" поэзия. Перед нами профессионал.

Очень удачна Валентина Синкевич. Даже удивительно, она, как правило, любит хорошие стихи перемежать со слабыми. А тут вдруг — ни одного слабого. Синкевич — поэтесса-разговорщица, и, если

читать ее стихи с учетом этого обстоятельства, они начинают светиться и переливаться, как драгоценные камни. Плохо другое — когда она читает свои стихи, она читает их, как *разговор*, хотя, на самом деле, это *поэзия*. И слушать ее невозможно, как невозможно слушать всякого хорошего человека, который на себя клевещет.

Я бы не стал приводить тут эту критику, но ведь когда-то я упрекнул в неудачном чтении Бобышева. В Чикаго я слушал, как он читал свою балладу "Жизнь кадета Евгения Гирса" (быль). В чтении "дома" мне эта баллада понравилась несравненно больше. Это талантливая вещь, в которой автор не боится прямых перекличек с революционной классикой. Это своеобразное "переворачивание" тех же "Двенадцати" Блока производит очень интересный эффект.

Несколько слов о поэтах-эмигрантах "балканского периода". Все эти стихи очень неплохи, но совершенно вторичны. Вот пример того, что поэзия сродни архитектуре: линии и углы одни и те же, а здания получаются разные...

Я ничего не сказал о стихах Нонны Белавиной, Ираиды Легкой, покойной Лидии Алексеевой. Тут мы видим всё то же ровное творческое свечение, всё тот же стиль, привлекательность которого для нас остается неизменной.

Мне очень жаль, что даже принципиальное воздержание от цитат не сберегло достаточно места для разговора о каждом участнике сборника. В заключение повторю — сборник на редкость удачен, так что решительно каждого, кто внес свою лепту в его издание, можно поздравить от всей души в причастности к делу, которое найдет много почитателей как здесь, в США, так и там, *дома*, как в настоящем, так и в будущем.

Виктор Дмитриев

Helen Yakobson. Crossing Borders. Hermitage Publishers, 1994.

Книжка Е. А. Якобсон "Пересекая границы" написана по-английски и это, пожалуй, самый серьезный ее недостаток. Всё остальное — выше всяких похвал. И прекрасный английский язык,

и жизненные события, которые не просто интересны, но еще и значительны, и тонкий психологизм книги, основанный на том, что писательница говорит нам только правду... Впрочем, как я сказал? — "писательница"? Но Елена Александровна Якобсон не писательница — она профессор, преподаватель, и вообще, она —Елена Александровна ...

Дочь очень талантливых родителей, Елена Александровна Якобсон родилась в России, в семье доктора. Спустя несколько лет после революции семья эмигрировала в Китай, точнее говоря, последовала за отцом на место нового назначения, откуда, в общем-то, уже и не полагала вернуться. Выйдя замуж за американца, героиня повествования уезжает в Америку. Постепенно она находит свое место в этой непростой американской жизни, становится профессором русского языка и литературы. Выходит замуж второй раз ...

Книга очень хорошо написана, а коли так, то пересказать ее невозможно. Всё ее содержание — между строк, в стиле, в способе повествования, в способе выдать тайну ... Якобсон рассказывает о себе просто и искренно. Вас захватывает чисто человеческая прав-да. Зная автора лично, я с огромным интересом читал о ее совет-ском детстве. Вспоминал свое и поражался, до какой же степени наш интернат номер десять был похож на то, что описывает Якобсон! И до какой же степени это коллективистское детство наложило на нас свой отпечаток: мы в такой же степени склонны к лукавству, как и к честности. Коллектив развивает желание скрыться от него, уйти в такой же степени, как и обнажиться, не пря-таться. Человеку, воспитавшемуся в коллективе, люди в такой же степени необходимы, как и неприятны, беспокойны. Елена Якобсон вовремя ушла от испытания, которое могло бы погубить ее такой замечательный, светлый характер. И все-таки в этом испы-тании была своя доля "истины" — в неуемном энтузиазме (не только в ее деятельности, но даже вот и в этой книге) я вижу проявление всё того же коллективизма. Коллективизм заражае беспричинным энтузиазмом, мечтами о благе общества, о благе всех. Одним словом, каждому из нас есть над чем подумать, мечтами читая

главы, в которых Якобсон рассказывает о своем советском (или "советизированном"?) детстве.

А потом следует не менее интересный рассказ о Китае. Как же не читать его с интересом, если всякий настоящий эмигрант знаком с этим "китайским" периодом в своей жизни — когда он висел между небом и землей. Этот период мог длиться месяцы, а мог длиться и годы; его вкус всегда и везде одинаков. Но вот человек, вылупившийся из советского кокона, успевший избавиться от его твердой оболочки, врастает в совершенно новую среду — интеллигентов-индивидуалистов, увлеченных идеями марксизма-коллективизма. Америка тридцатых годов необыкновенно интересна в описании Якобсон. Такое впечатление, будто ты бродишь вместе с автором по красно-кирпичным улицам Нью-Йорка, будто видишь этих молодых интеллигентных людей, не лишенных снобизма, увлеченных экзотическим учением, от воплощений которого, почти вопреки ее воле, увезли девочку ее родители, теперь вот оставшиеся там, в Китае, в тревожном далеке, из которого им удалось потом перебраться в Австралию.

Якобсон рассказывает о своей семейной жизни, и это тоже очень интересно, потому что, опять-таки, рассказ ведется от лица человека, который нас — своего читателя — любит и вполне нам доверяет. Интимно-исповедальный тон книги нигде не превалирует, всегда приглушен тонкой иронией, интересом к другому человеку, к окружающей обстановке, но всегда остро чувствуется, окутывая повествование тонким лирическим флером.

В Америке молодая энергичная женщина сделала блистательную карьеру. Работала в "Голосе Америки", стала заведующей кафедрой, основала всеамериканское общество славистов... Особенно меня поразило то место, где Якобсон рассказывает о том, как ей приходилось бороться за создание отдельной кафедры русского языка и литературы. Мне казалось, что авторитет Достоевского и Толстого представлялся американцам бесспорным уже где-то в начале века. Какое заблуждение! Якобсон рассказывает о том, как ей приходилось отстаивать идею значительности и важности русской литературы перед снобами с "английской кафедры"... Ох, уж этот

академический снобизм, эта академическая глупость, впрочем, ничего подобного (таких вот интонаций) у Якобсон вы не найдете, она терпима и доброжелательна — в способе повествования, но никак не в своих действиях, которые выдают в ней натуру яркую, нетерпеливую, временами нерасчетливую, но смелую, талантливую и, к счастью для нее, — внимательную к окружающим...

Книга Якобсон рассчитана на читателя, который воспитан на большой литературе, любители клюквы дальше заглавия ее книгу читать не станут, хотя, повторяю, в этой книге многое сказано такое, что не так-то просто выговорить даже и мастеру слова.

Особенно рекомендую книгу тем, кто изучает английский язык: масса идиоматических оборотов, которые не требуют перевода, потому что понятно, о чем речь; очень богатый словарь, отнюдь не простые, но, опять-таки, "понятные" грамматические конструкции... Тут тот редкий случай, когда иностранный язык описывает удивительно родственную реальность. Кажется, эти мои восторги никакого отношения к "чистому искусству" не имеют и, тем не менее, я охотно делюсь ими с вами, читатель, потому что таков урок этой книги: в жизни не бывает мелочей — всё существенно. В этом залог не только успеха, но и счастья, которое меряется талантом души...

Впрочем, не только души, но еще и — пера.

Виктор Дмитриев, Оклахома

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВОВ

На путях изгнания. А.Н.Донсков вспоминает. Сост. А.А. Донсков (внук). Legas. Ottawa, 1992 .

Месяц, Вадим. *Ветер с конфетной фабрики*. "Былина". М., 1993.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о русских людях. В Эстонии. По дороге оттуда. В Америке*. Н-Й, 1994.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о старом и новом мире*. Н-Й, 1995.

Снежин, Виталий. *Моя ненаглядная*. Проза. "Абрис". М., 1995.

Шраер, Максим. *Американский романс*. Стихи. Русслит. М., 1994.

Lemkhin, Michael. *Missing Frames*. Photographs. Intr. by Olga Andreyev-Carlisle. Hermitage Publishers. Tenafly, NJ, 1995.

Socialist Realism without Shores. SAQ, Vol.94 (3). Spec.Iss. Eds.: T. Lahusen and E. Dobrenko. Duke Univ.Press. Durham, NC, 1995.

Курилова, Таина. *Поводырь мой — любовь*. Стихи. "Джангар". Элиста, 1995.

Кудлай, Алексей. Каталог иконописи. "Фонд". М., 1995.

Chef, Genia. *Neo-Mythology and Regressive Projects*. Stuart. NY.

Зубарева, Вера. *Ледяная игла*. Стихи. Effect Publishing, Inc. NY, 1993.

Описание документов XIV-XVII вв. в копийных книгах... (Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.

Рукописные книги собрания придворной певческой капеллы. (Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.

Горчаков, Генрих. *О Марине Цветаевой глазами современника*. Antiquary. Orange, CT, 1993.

Hilton, Alison. *Russian Folk Art*. Indiana Univ. Press. Bloomington & Indianapolis, 1995.

Ильинская, Анна. *Матушки земли русской*. Духовные очерки... ЛитУч. 4. М., 1994.

Тальберг, Николай. *Неизвестная Россия* (1825-1917). Очерки истории Императорской России... ЛитУч. М., 1995.

Терновский, Е. *Кудесник*. Роман. Klincksieck. Paris, 1996.

J. Thomas Shaw. Collected Works, Vol. I. *Pushkin. Poet and Man of Letters and His Prose*. Charles Schlacks, Jr., Publisher, 1995.

E. Ternovsky. *Pouchkine et la tribu Gontcharoff*. Klincksieck. Paris. 1992.

Страна Синей Птицы (Русские в Бельгии). Под общей редакцией проф. Э. Вагеманса. Наука, М., 1995.

The NEW REVIEW (NOVYI ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron	— $1,000
Benefactor	— $ 500
Sponsor	— $ 250
Fellow	— $ 100
Friend	— $ 50

The Internal Revenue Service has determined, in a letter of March 29, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a "public charity" pursuant to the provisions of the Internal Revenue code.

Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks may be made to The NEW REVIEW.

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, NY 10012

РЕДАКЦИЯ
РАСПОЛАГАЕТ

номерами "Нового Журнала" прошлых лет издания.

Цена — от 15 до 10-ти долларов.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА "НОВЫЙ ЖУРНАЛ" —
— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ В С. Н. Г.

Стоимость подарочной подписки,
включая пересылку — $ 40.00

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

Условия подписки:

Подписная цена на 1996 год (за 4 книги) для университетов и организаций — $60.00 (пересылка в США — $7.00, заграницу — $14.00)

Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц — $40.00 (пересылка в США — $7.00, заграницу — $14.00)

Цена отдельного номера — $12.50 (пересылка в США — $1.70, заграницу — $3.00)

Цена N 198-199 — $30

Плата от заграничных подписчиков принимается ТОЛЬКО в международных чеках.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012

Телефон и факс редакции (212) 353-1478

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам от 10 до 12 час. дня.

Наш представитель в Москве:
Галина Ивановна Завидовская
Тел.: (095) 468-4457.